Владислав Крапивин

ШЕСТАЯ БАСТИОННАЯ

БУХТЫ И БАСТИОНЫ
СИНЕКАМЕННАЯ БУХТА
КАЗАЧЬЯ БУХТА
СТРЕЛЕЦКАЯ БУХТА

Южная бухта
I
II
III
IV
V
VI
БАСТИОНЫ

Владислав Крапивин

ШЕСТАЯ БАСТИОННАЯ

Повести
и рассказы

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1987

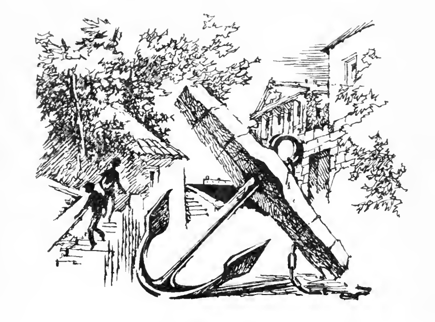
84Р7
К78

Рецензент Л. Г. Румянцев

К $\frac{4803010102-023}{М158(03)-87}$ 60-87

ШЕСТАЯ БАСТИОННАЯ

Рассказы и повести об улицах детства



СЕНТЯБРЬСКОЕ УТРО

Даже не знаю, как называется такой материал. Бетон? Или что-то другое? Смесь цемента с морской галькой, крупным песком и ракушками. Словно искусственный камень-ракушечник. Из него сложены ступени многих севастопольских лестниц. Старожилы называют эти лестницы по-морскому: трапы.

Я поднимаюсь по трапам от Большой Морской к Владимирскому собору, где похоронены севастопольские адмиралы: Лазарев, Корнилов, Истомин, Нахимов. В тени дворов и переулков, среди кустов и под каштанами еще сумерки раннего утра. Но небо уже светлое. Прохладно, пахнет сыростью от короткого ночного дождика. Пахнет морем — с рейда тянет ветерок. А еще пахнет теплой травой — у нее мелкие листики, крошечные стручки и цветы, похожие на лютики. Ею поросли пустыри, бастионы, развалины Херсонеса и старые переулки.

Щелк-щелк-щелк!— стучат позади легонькие сандалеты. Меня обгоняют с двух сторон девочка и маль-

чик. Видимо, первоклассники. У них на спинах подпрыгивают твердые ранцы. Мальчик оглядывается:

— Дядя, который час?

— Без двадцати восемь... Вы куда так рано топаете?

— А! Дела всякие...— Взял девочку за руку, что-то прошептал и — та-та-та-та-та!— защелкали по ступеням их подошвы. Умчались деловые люди, только белые носочки замелькали высоко на лестнице, будто запрыгали вверх по ступеням шарики от пинг-понга.

Я поднимаюсь к собору... и в глаза бьет алый луч. Над мачтами и сигнальными вышками Южной бухты, над крышами Корабельной стороны появилось солнце. Еще приплюснутое, неяркое, но чистое, будто умытое.

Выхожу на высокий берег бухты. На военных кораблях начинают играть горнисты. Негромко, но отчетливо и очень красиво. Это сигнал построения. Через несколько минут под переливчатую мелодию трубачей будут подняты флаги. И начнется севастопольский день...

Солнце поднимается очень быстро, нарастает его блеск. Оглядываюсь. Над куполом собора, в золотом яблоке, сверкает огненная точка...

Я помню время, когда вместо купола был ржавый каркас, а в стенах темнели щели и выбоины от снарядов. Но и тогда сверкающее яблоко на вершине собора отражало солнечные лучи, блестело над бухтами, как маяк...

Неподалеку три школы. Одна совсем рядом, другая внизу, на улице Очаковцев, третья в конце улицы Советской. Я выхожу на Советскую и шагаю вниз, к школе номер три. Скоро мне придется уезжать, и хочется перед отъездом повидаться со знакомыми ребятами.

На улице все больше и больше школьников. Взбегают с откоса по трапам, выскакивают из подъездов и переулков. Это, конечно, те, кто поменьше. А старшие шагают солидно. Два десятиклассника в светлых офицерских рубашках басят:

— Она и говорит: «Тогда будете сдавать отдельный зачет...»

— У нее сдвиг по фазе на этих зачетах...

— Я говорю: «Я уже приходил, а вас не было. А мне, между прочим, не только английский учить надо». А она опять: «Если вы собираетесь в училище...»

Впереди топает толстая, солидная девочка лет восьми. Рядом — энергичная бабушка. Девочка рассказывает:

— А на другой день, когда папа попросил мальчика, чтобы...

— Неправильно!— восклицает бабушка.— Ты не так выучила! Хорошие мальчики не ждут, когда их попросит папа, они сами...

— Нет, я правнльно. Там так написано.

— Ничего там не написано! Ты слушай, что бабушка говорит, а то я тебе... послушаю!

Бабушки всегда всё знают. Лучше всех.

Трое мальчишек, видимо класса из шестого, шагают мне навстречу и на ходу заглядывают в книгу. Ее лнстает тот, что посредине. Книга явно не «Математика» и не «География». Судя по толщине, это или бессмертные «Мушкетеры» нли «Детн капитана Гранта». Ребята сдвинулись над книгой разлохмаченными головамн, но идут четко, в ногу... В ногу-то в ногу, но вперед не смотрят и налетают на молодого черноусого мичмана.

— Ой, простите...

Мичман смеется как-то очень по-штатски, треплет самого маленького по макушке и, словно сам мальчишка, заглядывает в кнкгу. Говорит понимающе:

— А-а...

На белых домах еще сняя тень, однако по верхним этажам все чаще пролетают желтые бабочки солнца: лучи пробилнсь сквозь ветки, а ветки качаются под ветерком. Я думаю, что день будет ясный и теплый — такой, какимн обычно бывают здесь сентябрьские днн. Такой, как в далеком шестндесятом году, когда я впервые шел по этим улицам и увидел Леньку.

Рассказ о Леньке — один из первых моих рассказов о Севастополе. Я написал его давно, и он был напечатан под названием «Флаг отхода». Но сейчас мне очень хочется его повторнть. Потому что в нем для меня — радость открытия и радость встречи с городом, о котором я мечтал с детства.

Попал я в Севастополь гораздо позже, чем хотел: когда стал уже взрослым и вполне серьезным (по крайней мере, так считали мои взрослые знакомые). Я поехал туда в конце сентября. На Урале, в Поволжье и в Подмосковье начиналась слякотная осень. Вагонные окна былн в бисере дождя. Над разноцветными под-

московными дачами висели такие низкие облака, что, казалось, щетина телевизионных антенн вырывает из них клочья.

Поэтому следующее утро обрадовало меня, как неожиданный праздник. За окнами пронеслись блестящие от солнца воды Сиваша, мелькнул обрыв с громадными буквами «КРЫМ» и поплыла, кружась, желтоватая знойная степь с белыми кубиками хаток и свечками пирамидальных тополей. Не было и намека на осень.

За Симферополем с его нарядным вокзалом потянулись плоские предгорья хребта, а потом открылись Инкерманские высоты с меловыми обрывами разработок. Одна гора была срезана наполовину — от вершины до подошвы, словно ударом гигантского ножа. Вверху, у края обрыва, уцелел домик. Я вспомнил, что почти весь Севастополь сложен из белого инкерманского камня.

Здесь же, у Инкермана, я впервые увидел Северный рейд. Выход из бухты терялся за желтыми крутыми берегами, и открытого моря еще не было заметно. Может быть, поэтому обилие судов на рейде особенно бросалось в глаза. В блеске синей воды я увидел красные от ржавчины и сурика разоруженные линкоры, белые катера, шаланды, закопченные буксиры, высокие сухогрузы с черными бортами и сидящие по палубу в воде танкеры... В этой пестрой толчее, трепете разноцветных флагов и блеске белоснежных надстроек только серые узкие корабли казались неподвижными. Они стояли шеренгой и были похожи на зубья громадного гребня.

А у края воды пролетали за окнами заросли кустов с желтой цветочной россыпью, изгороди, лодки, причалы, бакены, вышки и пакгаузы. Бухта открывалась то с одной, то с другой стороны. Поезд с грохотом буравил короткие туннели и опять выскакивал под жаркий солнечный свет, мчался у желтых откосов с крепостными башнями, с лестницами, храмами и бойницами, вырезанными в скалах. Потом побежали каменные белые заборы, оранжевые черепичные крыши, а над ними неожиданно возник колоссальный форштевень и борт с надписью «Советская Украина». Это стояла у берега знаменитая китобойная база.

Поезд сбавил ход...

На вокзале меня сразу же ухватила загорелая су-

хощавая старушка, пожелавшая сдать комиату. Слегка обалдев от ее напора, я покорио втиснулся в крошечиый автобус довоеиного вида. Ои, завывая, потащил нас куда-то иаверх.

Через несколько минут мы оказались иа улочке, состоящей из побелеиных камеиных изгородей и глубоко врезанных в них калиток. Вслед за старушкой я нырнул в такую калитку. Двор был закутан в виноградную зелень.

В густой тени у забора послышалась тяжелая возия, и я увидел какого-то зверя. Сиачала показалось, что это рыжий коровий подросток, но зверь поднял голову, и выяснилось, что это пес. У него были синие младенческие глаза и виновато-добродушная морда. Но грандиозные размеры пса наводили оторопь.

— Не бойтесь, ради бога,— заторопилась старушка.— Ои мухи за всю жизнь не обидел. Он боится даже божьих коровок. За что кормим, сама ие знаю.

Пес вздохнул шумно, как холмогорская корова, и опустил морду иа лапы.

Комната моя была пустой и пахла известкой. Я бросил в угол чемодан, проскочил виноградиую теиь двора и сиова нырнул под белое севастопольское солнце.

Запутаиными тропиниками, мимо иепролазных кустов и бетониых решетчатых изгородей я начал спускаться к площадке извилистой лестницы. Лестница убегала в темиую зелеиь. Узор изгородей был похож иа поставлениые в ряд штурвалы. За листьями блесиули стекла и белые стеиы большого дома. Потом я услышал стоголосый ребячий гомои и иа школьиом дворе, окружеином той же штурвальной изгородью, увидел севастопольских ребят.

Мне снова почудилось, что я попал на праздник. Наверно, с иепривычки. Странио было видеть у школы ребятишек, одетых так легко и разиоцветио. Оии казались совсем непохожими на уральских школьников, которые почему-то при любой погоде упаковаиы в серую униформу из сукиа, толстого и жесткого, как казениое одеяло.

Была середииа дня; первая смеиа спешила по домам, вторая — на уроки, и на дворе крутилась яркая карусель красиых испаиок, матросских воротииков, белых, синих и пестрых рубашек, чериых морских пилоток и пуицовых галстуков.

Чуть ниже школы, на широких перилах лестницы, сидел темноволосый мальчик в рубашке очень звонкого голубого цвета. Он поставил на парапет коричневую, в белых косых царапинах ногу и рассматривал брезентовый полуботинок с оторванной подошвой.

«Четвероклассник,— мельком отметил я.— Или нет, скорее, из пятого». На рукаве у мальчишки алела звездочка октябрятского вожатого. Четвероклассников по молодости лет обычно не назначают на такие посты.

А подошву бедняга оторвал здорово, до каблука...

Неловко проходить мимо, если у человека беда. Я остановился и сказал полувопросительно:

— Авария...

Он поднял голову. Я ожидал, что под низко подстриженным чубчиком блеснут глаза сердитые и темные, как смородина. А у него были серые улыбчивые глаза. И улыбка была славная — чуть виноватая и в то же время немного озорная.

— Вот, смотрите,— сказал он мне, как знакомому.— Что теперь с ней делать?— и покачал ногой. Подошва зашлепала по башмаку, и это было похоже на злорадные аплодисменты.

— Здорово ты ее рванул. Где это так?

Он сказал с веселой досадой:

— Да... с мальчиками банку гонял.

— Что же эти мальчики тебя бросили? Банку гоняли вместе, а теперь...

Он проговорил с неохотой:

— Ну что они могут... Маленькие еще.

— А-а,— сказал я, снова взглянув на звездочку.

Мальчик еще раз тряхнул пострадавшим башмаком и весело сказал:

— Ладно, как-нибудь дохромаю до дома...

Я вспомнил, как дождливым осенним днем в сорок шестом году отодрал на улице подошву старого кирзового сапога и сказал почти такие же слова. А Лешка Шалимов — мой сосед и старший приятель — умело обмотал сапог куском провода.

Сейчас провода под рукой не было, но в кармане у меня лежал моток лейкопластыря (перед отъездом я заклеивал им пакет с фотокассетами).

— Ну-ка, сними ботинок.

Он послушно сдернул башмак, не развязав шнурка. Я сел и начал прибинтовывать подошву.

Мальчик сидел рядом и немного смущенно вздыхал. Двое ребят остановились над нами.

— Ой, Ленька на приколе!— весело заметил один.— Ремонтируетесь?

Ленька еще раз вздохнул.

— А где твои мальки?— не отставал товарищ.

— Ну, тебе-то что?.. Прогнал уроки учить.

— Зря вы ему чините,— заметил второй.— Все равно его салажата ему опять подошвы оторвут. Вместе с пятками.

— Шагайте вы...— сдержанно попросил Ленька.

Они засмеялись и запрыгали по ступенькам.

Я протянул ботинок.

— Спасибо,— заулыбался Ленька.— У, крепко держится...

— Теперь за труды скажи мне, как добраться до Херсонеса.

— Да это же просто! На пятом автобусе от Графской пристани.

— Дорогой мой Леня,— проникновенно сказал я.— Представь себе, я пока еще не знаю, где Графская пристань. Это во-первых. А во-вторых, я люблю ходить пешком.

— Пешком?— немного удивился он.— Ну тогда... тогда так...— Он встал на парапет, поджав босую ногу, и зажатым в руке ботинком указал куда-то за деревья.— Вы увидите: разбитая церковь на берегу. Разными улицами можно идти, а потом направо по шоссе...

Мы вместе спустились по лестнице и неторопливо свернули в боковую улочку. Ленька брел чуть в стороне, поддавая коленками свой заслуженный портфель.

— Капитан...— окликнул я.— А большая у тебя команда?

— Семь,— сказал он, не поднимая головы.

— Хороший народ?

Он пожал плечами, но вдруг весело глянул на меня и признался:

— Да, хорошие...

Он остановился у калитки в белой нише каменной стены.

— Я здесь живу...

Я кивнул ему и двинулся дальше. Прошел еще несколько улиц. Мимо вокзала, вдоль бухты, похожей на реку, забитую судами всех размеров. Через площадь,

иад которой белела башня с квадратными часами. По белым лестиицам и плитам. Потом за стадиоиом свернул иаугад и остаиовился, словно от толчка холодной ладоиью в лоб.

Над белыми террасами улиц, над черепицей крыш, над пыльио-зелеными пустырями, маячными вышками и желтыми развалииами храма стояла тумаииая и мерцающая стеиа густой сииевы. Лишь через несколько секуид я поиял, что это и есть море. И показалось, что поют камии.

...Вечером, просолеииый морем и прожаренный солицем, я возвращался из Херсоиеса. Мои кармаиы иеприличио оттопыривались из-за того, что в иих лежало миожество иитересиых вещей. Там были пестрые и чериые камни, осколки мраморных колоии, черепки древних амфор, ржавые гильзы, большая крабья клешия, наконечиик маленького гарпуна, обточенные морем бутылочиые стекла и плоские перламутровые раковины мидий.

Я не старался идти прежней дорогой, просто хотел выбраться на лестиицу, ведущую к моей улице на Зеленой горке. Но так или ииаче оказался иа Леньккиой улице. Я узнал ее по двум заметным тополям.

Потом я увидел и самого Леиьку.

Он прислоиил к тополю велосипед и звякал ключом по передией оси.

— Опять авария?— спросил я.

Ои гляиул через плечо и улыбиулся, будто ждал меия.

— Да нет, коиуса подтягивал.

Ленька опустил в сумку ключ и мельком, но с любопытством взгляиул иа мои разбухшие карманы. Я испытывал к этому человеку полиое доверие и, не боясь иасмешки, протяиул иа ладоии иесколько своих трофеев.

— У, какой был зверюга,— с уважеиием заметил Леиька, увидев клешню. Оценил он и патрониые гильзы: — Наши, от старого автомата. Знаете, были такие с круглыми магазииами?— К черепкам ои отнесся без иитереса, а про самый большой, с загадочиыми буквами M A R, сказал: — Это ие очень стариниый, ои от черепицы. Есть такая, иа старых домах.

Кажется, мои уши приобрели цвет этой самой черепицы. Ведь я до сих пор был увереи, что отыскал обломок древнего изделия времеи римского владычества.

«Изделне» полетело в траву. Леиька поиял мое смущение и тороплнво предложнл:

— А хотите рапаиу?

Я ие поиял. Я решил, что он хочет чем-то угостить меня. Но Леиька нз кармаиа (тоже нзрядио оттопыренного) нзвлек раковнну. Она была круглая, завнтая, размером с мой кулак. Серая, бородавчатая. Но внутри оиа блестела чнстым, розовато-ораижевым лаком с перламутровымн разводамн.

Коиечно, я очеиь хотел такую раковину. Так хотел, что даже нз вежливости не стал отказываться.

— Она шумнт,— ласково сказал Леиька.— Вы послушайте...

Я поднес раковину к уху. Из глубнны ее наплывал тихий звенящий шум. Ленька ревннво следнл: слышу лн?

— Шумит,— сказал я.

— Это ие море,— объяснил ои с легким вздохом.— Это кровь в ушах звенит. Но все равно похоже, верио?

— Еще бы,— сказал я, разглядывая рапаиу. В глубнне ее от вечериего солица загорался желтый огонек.— Я и не знал, что есть такне...

— Говорят, они после воины развелнсь,— откликиулся Ленька.— Немецкие подводиые лодки занеслн их в Чериое море... А может быть, какие-ибудь другие корабли.

Раковина была тяжелая и теплая. Я рассматривал ее, покачивая на ладонн. И ие знаю, почему так получнлось: подвел какой-то мускул или иерв — ладоиь вздрогиула слишком сильио, и раковина соскользиула.

Прежде чем рапаиа долетела до земли, я представил, как иа плитах тротуара оиа рассыплется иа осколки. И погасиет ее желтый огоиек, н оборвется шум. Так бы и случилось, но Ленька успел подставнть иогу. Раковина мягко ударилась о коричиевые ремешкн саидалии и невредимая откатнлась по твердому песчаннку.

Мы тихоиько вздохнули и посмотрели друг иа друга.

Потом я подиял рапаиу. На иеи ие было даже трещинкн.

— Не ушнб иогу?

— Не-ет,— иебрежио ответнл Леиька и покачал ступией.

Только сейчас я понял, что он в иовой обувн — в кожаных плетеиых босоиожках.

— В таких уж ие погоияешь байку,— сказал я просто так, чтобы ие угас разговор.

Леиька чуть улыбнулся, глядя в стороиу, потом коротко и серьезио взгляиул иа меия.

— Да я ие гоиял... Я так сказал, просто... Ну, поиимаете, не всегда ведь будешь все объясиять.

— Коиечио,— вздохиул я с легкой обидой иа его иедоверие.

Но у Леиьки ие было иедоверия. По крайией мере теперь. Ои объясиил со скрытой улыбкой:

— Это оии оторвали, когда искали одии тайиый докумеит. Это игра такая. Я спрятал, а оии угадывали, где спрятаио. Я думал, ие угадают, прибил вчера под подошву, а оии догадались, иу и пришлось отрывать...

— «Оии» — это кто? Твои октябрята?

— Ну да...

Я засмеялся:

— Слушай, а ие оторвут оии тебе когда-иибудь голову? Видио, люди это скорые и решительиые.

— Нет,— увереиио ответил ои.— Не оторвут, если я ие разрешу... А сегодия игра такая,— повторил ои.— Оии искали докумеит, чтобы зиать, что будем делать в воскресеиье.

— Узиали?

— Коиечио, раз иашли.

— А ты бы его зашифровал еще для иитереса.

— А там иечего зашифровывать. Вот...— Ои вытащил из кармаиа мятый бумажиый прямоугольиичек, широко закрашеииый по краям сииими чериилами.

— И это все?— удивился я.

— Да...

— Какой-то тайиый зиак?

Тогда слегка удивился Леиька.

— Это же флаг отхода. Разве вы ие зиаете? Это зиачит, что пора собираться в дорогу. У иас будет поход.

Я тогда еще ие комаидовал морским отрядом «Каравелла», ие разбирался во флотских сигиалах и ие зиал, что такое флаг отхода.

— Это буква «П» в Междуиародиом своде сигиалов,— объясиил Леиька.— Такой флаг подиимают иа кораблях, когда оии собираются уходить в море. Разве вы ие видели?

— Нет... Я еще очень многого не видел. Я первый день у моря. Так уж получилось...

— Ну, вы еще увидите!— весело пообещал Ленька.

...Он оказался прав. Эти флаги я увидел на следующее утро над большими теплоходами на Северном рейде. Синие флаги с белыми прямоугольниками в центре. Они рвались по ветру отчаянно и весело, и сразу становилось ясно, что у моря не кончаются, а только начинаются дороги.

Ленькину раковину я не сохранил. Она перепуталась с другими, которые я в те дни выловил в Артиллерийской бухте (тогда там на месте нынешних пассажирских причалов еще торчали деревянные зеленые сваи, а на высоком берегу не было ни похожего на корабль Института биологии южных морей, ни белого громадного обелиска). Потом я все эти раковины раздарил дома знакомым мальчишкам. И не жаль было. У меня сохранилось более ценное — память о первом дне в Севастополе и о двух встречах с Ленькой.

Он был первым человеком, с которым я познакомился в этом городе. Впрочем, была еще старушка, хозяйка комнаты, но она думала о квартирной плате, а Ленька был бескорыстен в стремлении разделить со мной свои радости.

Больше встретиться с Ленькой мне не пришлось. Но сейчас кажется, что я виделся с ним еще многомного раз. Потому что потом я встречал множество мальчишек, чем-то похожих на Леньку. Чем? Пожалуй, вот этой готовностью обрадовать другого человека. И еще — умением дружить. И любить свое море. И свой город...

Я их всегда считал своими товарищами, этих севастопольских мальчишек. Не только тех, с кем знаком давно и прочно. Даже тех, кто меня не знает.

Например, как эти двое...

Я уже не раз видел их здесь, на утренней улице. И хорошо запомнил. Один всегда спускается с крыльца двухэтажного дома, второй выходит из-под арки рядом с крыльцом.

Они, скорее всего, четвероклассники. Один — коренастенький, невысокий, неторопливый. С короткой белобрысой челкой, пухлыми губами в трещинках и с но-

сом-сапожком. На нем довольно мятые серые брюки с вытертыми добела коленями и оттопыренными карманами, а поверх пионерской рубашки — вязаная синяя безрукавка. У желтой сумки длинный ремень, но мальчик не надевает его на плечо, а держит ремень в руке, и сумка почти волочится по тротуару.

Я про себя называю этого мальчишку веселым именем Антошка. Мне кажется, его любят и ребята, и учителя, хотя он далеко не отличник и часто опаздывает на уроки.

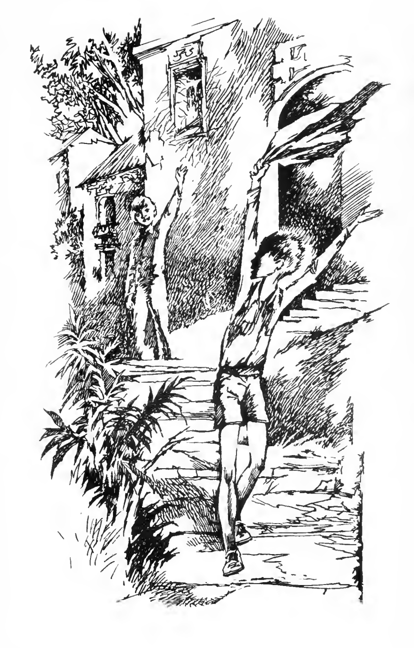
А второго я мысленно зову «Меркуренок». Маленький Меркурий. В каком-то музее давным-давно я видел бронзовую статуэтку быстроногого бога-мальчишки с крылышками на сандалиях и шлеме. Этот Меркуренок такой же худенький, гибкий, с бронзовым отливом загара на длинных ногах и тонкой шее. И вообще весь он шоколадно-бронзовый. Коричневый пиджачок от школьного костюма свободно болтается на узеньких плечах, он великоват для мальчишки и почти полностью прячет под собой легонькую пионерскую форму. А на бегу пиджачок взлетает, как коротенький плащ.

Крылатого шлема, конечно, нет, но жесткие, с медным отблеском волосы на темени топорщатся двумя параллельными гребешками — как прорастающие крылышки. А когда Меркуренок легко и широко шагает по ракушечным плитам, кажется, что и на его плетеных сандалетках появляются маленькие крылья. Оттопыренная крышка большого портфеля тоже похожа на крыло.

Иногда Меркуренок быстро, как-то по-птичьи, оглядывается по сторонам. Но глаза у него не птичьи, не испуганные. Это темные продолговатые глаза, строгие и серьезные. А губы мальчишки будто спорят с глазами — у него широкий улыбчивый рот. Этот рот кажется особенно добродушным на тонком и загорелом лице Меркуренка...

Мальчишки обычно выходили на улицу одновременно. И каждый раз я испытывал толчок досады и тревоги. Я знал, что снова буду свидетелем короткой, незаметной для прохожих драмы.

Ребята быстро взглядывали друг на друга и расходились — видимо, они учились в разных школах. Но не в том беда, конечно, что они расходились, а в том, как это делалось. Их взгляд был короткий, сбивчивый



какой-то. И нерешительиый, и насуплениый. И все это в полсекуиды. Посмотрят, будто хотят шагиуть друг к другу, обрадоваться, сказать что-то, и тут же — раз!— будто стеика между иими. И повернулись, пошли в разные концы. Мечется коричиевый плащик за Меркуреиком, цепляется за камии и траву Аитошкииа сумка.

Я был увереи, что это два давиих друга, которых развела большая ссора и обида. Такие друзья если уж ссорятся, то по очень важиой причине. Они не выясияют отиошеиий в обычиой мальчишечьей драке или скандальном споре. Оии страдают молча, и каждого гложет тоска по прежией дружбе. А подойти друг к другу ие могут: мешает ие стыдливость и ие мелкое самолюбие, а что-то очень серьезиое. Такое, что ие можешь пересилить и простить.

Да, ио как жить без друга? Без Вовки, без Аидрюшки, без Владика — без того, кто вчера был тебе как брат (а может, и лучше брата, потому что братьев мы ие выбираем, а друга иаходим сами). И вот ночью мычишь в подушку, как от зубиой боли, а на уроках ие слышишь ни ребят, ии учителя и даже ие читаешь в диевиике размашистые записи классной руководительиицы.

...Сегодия Меркуреиок вышел раиьше Аитошки. Сбежал с крыльца, порывисто огляиулся, чуть ссутулился и легкой своей походкой двииулся вдоль кромки тротуара.

Ои был почти в полквартале от своего дома, когда из-под арки появился Антошка. Меркуреика ои увидел сразу. Несколько секуид ои стоял с опущениыми руками (сумка валялась у иог). Потом Аитошка негромко, ио с отчаяиной решимостью (и с резкой жалобой!) сказал вслед Меркуреику:

— Сережа...

Между ними была чуть ие сотия их мальчишечьих шагов, но тот услыхал. И сразу встал, как по команде «замри!». И толчком повериулся.

Аитошка медлеиио, боязливо подиял иад плечом ладонь, будто хотел помахать и ие решился.

Я был иа другой сторокие улицы, на одииаковом расстояиии от того и от другого. И все же я разглядел издалека (а может, просто угадал), как широкий рот Меркуренка дрогиул и растяиулся в улыбку. Гибкий коричиево-броизовый мальчишка выдернул из-под наки-

нутого пиджачка тонкую руку и замотал растопыренной ладошкой над головой с гребешками-крылышками.

— Се-ре-жа-а!!— ликующе завопил Антошка. И замахал двумя руками.

Тогда Меркуренок сдернул пиджачок-плащик и закрутил им в воздухе, будто подавал веселый сигнал с берега далекому кораблю.

— Вовка!— крикнул он.

— Ты ко мне приходи-и!!— счастливым криком отозвался Антошка-Вовка.

— Ладно-о!!

Они, улыбаясь и радуясь вновь обретенному счастью, стали пятиться и все махали друг другу, пока Вовка не врезался спиной в грузную тетеньку, которая дала ему шутливого шлепка. Тогда мальчишки громко засмеялись и бегом бросились каждый в свою сторону.

...Я иду по солнечной стороне, и мне так хорошо, будто я сам стал десятилетним пацаненком и снова встретил давнего друга детства.

Я радуюсь за Вовку и Сережу — цепь их дружбы спаялась накрепко. Да здравствует город, где утро начинается с такой справедливости судьбы!

Да здравствует улица, где пробегающий навстречу мальчишка вдруг заглянул мне в лицо радостно и открыто — как четвероклассник Алька, с которым мы когда-то сидели на соседних партах и мечтали откопать клад на обрывистом берегу сибирской реки Туры́!

Да здравствует море, которое искрится и синеет в конце белых улиц и несет на себе далекие паруса яхт, похожие на летучие семена!

Да здравствует день, который начинается с такого хорошего утра!

Этот день, этот город распахнуты передо мной, время сделало мне щедрый подарок, судьба опять привела меня сюда.

Я знаю, что у меня сегодня будет много хороших встреч. Сперва я повидаюсь с восьмиклассниками во дворе старинной, похожей на за́мок школы номер три — эти ребята, сами того не ведая, помогли мне написать книгу о море и крепкой дружбе. Девочки будут вежливо улыбаться и задавать серьезные вопросы о литературе, а мальчишки толкаться и наперебой щелкать моим «Зенитом». Затем они утыкают мою рубашку новой порцией севастопольских значков...

Потом я заглянул в яхт-клуб, где мой друг Олег Вихрев недавно стал капитаном новой яхты и готовит ее к дальнему плаванию.

Может быть, я поеду в Херсонес, где в солнечной тишине и стрекоте кузнечиков греются среди желтых камней и зарослей дрока тысячелетние мраморные колонны, а в сухой траве хрустят под ногами черепки древних ваз и кувшинов.

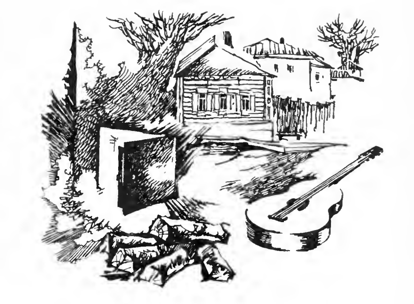
Надо еще потолкаться на рынке, заваленном разноцветными грудами фруктов, потом пройти к школе на Одесской улице, повстречать там знакомого пятиклассника Владика Глущенко и наконец подарить ему давно обещанную книгу (я прихватил ее с собой). Владик тихонько обрадуется, будет посапывать остреньким, чуть веснушчатым носом и опять станет смущенно приглашать в гости, на улицу Очаковцев, чтобы познакомить с очень хорошим человеком — годовалым племянником Санькой...

Я люблю этот город. Разные у меня были в нем дни: были суровые, связанные с памятью о войне, с бедами и потерями; были пасмурные — с серыми дождями и неудачами. Но солнечных — больше.

А этот день — я знаю — будет долгим и беззаботным. И половину его я проведу в неторопливом бродяжничестве по тихим улицам Артиллерийской слободки и по Шестой Бастионной.

Шестую Бастионную я несколько раз пройду из конца в конец.

Ничего особенного нет в этой улице. Но для меня она удивительным образом переплелась с улицами детства. То пересекается с ними, то продолжает их, убегая к морским обрывам...



ДАЛЕКО-ДАЛЕКО ОТ МОРЯ...

Когда спрашивают, почему я, человек вполие сухопутный, так привязан к Севастополю, к морякам н кораблям, я говорю:

— Потому что в детстве мне очень ие хватало моря.

Детство я провел в Тюменн. Тюмеиь тогда еще ие славнлась как столнца иефтеиосиого края. Это был город с деревяннымн тротуарамн на центральных улицах, довольио зелеиый летом и тонувший в грязи осеиью.

Наш дом номер пятьдесят девять стоял в самой середиие улицы Герцена. Одноэтажная н немощеная, эта улица по тогдашним масштабам счнталась очень длнниой. Начииалась она у старого Текутьевского кладбища, которое синело вдали, как неведомый лес, а кончалась у Земляного моста через лог, недалеко от района Большое Городище.

По вечерам над крышами Городища и дальиими тополями горелн очеиь яркие закаты. Со стороиы заката брелн с пастбнща коровы. Я каждый раз поражался, нз какой дальней дали шагают эти невозмутимые

Милки, Машки и Зорьки. Ведь за Земляным мостом, за Городищем, за таинственными башнями старинного монастыря были, говорят, еще кварталы, дороги, военный городок со стрельбищем, а уж потом начинались луга и рощицы. Сам я до семи лет не бывал ни в том, ни в другом конце улицы. И порой мне казалось, что на востоке, за страшновато-загадочным кладбищем, и на западе, за чернеющими на закате тополями, сразу начинаются неизведанные края. С заповедными лесами и непохожими на Тюмень городами. И с морем...

Осенью сорок шестого года, когда мне было восемь лет, мы с мамой переехали с милой сердцу улицы. Недалеко переехали, за пять кварталов, на Смоленскую. И хорошо хоть, что недалеко...

Смоленская на первый взгляд ничем не отличалась от улицы Герцена. Те же домики, ворота и хлипкие деревянные тротуары. Но была она гораздо короче, несолидно виляла, и в концах ее никогда не светились ни восходы, ни закаты. И я ни разу не мог представить, что за дальним краем этой улицы есть что-то необыкновенное.

И я то и дело убегал туда, где провел свое дошкольное детство. Там была родина. Там были друзья-приятели. Были и недруги, но даже они казались симпатичнее недругов на Смоленской. И там, в нашем длинном одноэтажном флигеле, по-прежнему жил холостяком дядя Боря.

Дядя Боря — это мамин брат. Уже тогда он был немолод и болен. Во время войны он перенес жесточайшую дистрофию, считался среди соседей полным неудачником, но душа и характер у него были неунывающие. Он учил меня делать луки и деревянные мечи, бумажные кораблики и самолеты, рассказывал о своем детстве на берегах Вятки, о шумных и дымных химических опытах, которыми увлекался в школьные годы. И при случае довольно безжалостно высмеивал меня, если узнавал, что я опять спасовал в стычке с вечным соперником Толькой Петровым.

Обитал дядя Боря в проходной комнатушке между общей кухней и комнатами, где после нас поселилось большое семейство моего приятеля Вовки Покрасова. Имущество дяди Бори состояло из двух табуретов, трехногого кухонного стола (четвертый угол был прибит

прямо к стенке), ходиков с картоиным циферблатом и тяжелыми плоскогубцами вместо гири и оклееииого драиой клеенкой чемодаиа, где лежала кое-какая одежда, бритва и потрепаниая книжка «Евгеиий Оиегии». Эта киижка была чем-то дорога дяде Боре, он ни разу ие дал мие ее полистать. Спал дядя Боря иа железной койке с досками вместо сетки. Но, когда мы уезжали из этого дома, мама оставила дядюшке широкую кровать с узорчатыми спинками из железиых завитушек и медными шишками в виде крошечиых самоваров.

Да! Еще был самовар! Правда, подставка у него отвалилась, и нижней частью ои был засуиут в старую, обгорелую кастрюлю. В другой такой же кастрюле дядя Боря варил картошку. Оиа вместе с хлебиым пайком была в те годы почти едииственной дяди Бориной едой. Но варил он картошку здорово! С лавровым листом, с укропом, в каком-то особом душистом пару. Клубни получались покрытыми мягкой розоватой корочкой и пахли, как райские плоды. Подуешь иа картофелину, макнешь в крупиую серую соль и, слегка обжигаясь, начинаешь жевать ее вместе с тоиким пластиком хлеба...

Варили мы картошку иа таганке. Дядя Боря ставил тагаиок на плиту, в зев большущей русской печи, сложенной в общей кухне. Зажигал под кастрюлей костерок из трескучих щепок. Отблески разлетались по стенам. Искрился в углу пузатый самовар (ие дяди Бории, а Шалимовых, соседей), в погашенной лампочке дрожала оранжевая искра. Посидеть у огоиька приходили с вечерией улицы ребята. Они вспомиали иедавний футбольный матч с пацанами с улицы Челюскиицев или спорили, кто победит завтра в цирковой встрече по фраицузской борьбе.

Дядя Боря включался в спор. Ои любил азарт спортивиых матчей и часто ходил смотреть борцовские соревнования иа арене. Тем более что это было иедалеко: деревяииый, пестреющий фаиериыми афишами цирк стоял в квартале от иас, иа углу Первомайской. Вечерами было слышио, как перед иачалом представлеиия оркестр играет марш Дуиаевского...

От цирковой темы разговор переходил иа другое. Иногда дядю Борю просили рассказать какую-нибудь историю. И ои, посмеиваясь, рассказывал о том, как в детстве с друзьями иапугал вредную соседку: они

выдолбили тыкву, намалевали на ней рожу, прорезали глаза и зубастую пасть, вставили внутрь свечку и поднесли такого «гостя» к соседкиному окну. Или о том, как он катался в тележке, запряженной громадным воздушным змеем. Или как ехидная коза съела его папку с документами, когда он служил в страховой конторе и ходил по дворам, переписывая хозяйственные строения...

Но иногда дядя Боря говорил о серьезных вещах. Например, каким городом станет Тюмень в будущем. Он работал в плановом отделе какой-то строительной организации, и через него «проходили» многие чертежи и проекты.

Проекты были фантастичны. Оказывается, на нашей улице уже запрещено строить дома ниже двух этажей. В центре города будет возведено множество кирпичных зданий. А за рекой скоро построят — невозможно поверить!— шестиэтажную больницу. В городе, где вéрхом монументальности было несколько четырехэтажных домов, это казалось непостижимым. И мы притихали, пораженные грядущим размахом цивилизации... А дядя Боря щепал смолистую лучину и подбрасывал под кастрюлю. Кастрюля начинала булькать, крышка на ней подпрыгивала...

Но еще больше я любил зимние вечера, когда мы топили голландку.

Круглая, обитая черным железом печка стояла посреди флигеля и выходила на четыре стороны: половиной — в две комнаты Покрасовых, четвертушкой — к Шалимовым и еще четвертушкой — в дяди Борину каморку. Дверца находилась здесь, у нас с дядей Борей. Тяжелая, с выпуклым, узорным литьем. Чтобы открыть ее, нужно было открутить могучий винт и убрать чугунный засов. За тяжелой дверцей была еще одна — тонкая, с овальным отверстием — поддувалом.

Дрова в голландке разгорались стремительно. Печка начинала празднично гудеть, как топка на веселом пароходе (так мне казалось). Прижимаясь лицом к изогнутым прутьям кроватной спинки, я смотрел, как мечется в глазке поддувала желто-белое пламя. Тонкая дверца мелко дрожала. Не выдержав вибрации, круглый лепесток заслонки срывался и закрывал поддувало. Тогда дядя Боря слегка отодвигал дверцу. Гул огня переходил в мурлыканье, оранжевый свет вырывался из печ-

ки и плясал на цирковой афише, где фокусник Мартин Марчес выкидывал из рукавов цветные ленты. Ленты выписывали в воздухе две буквы М...

Мурлыканье печки убаюкивало, и я не сопротивлялся дреме. Спешить было некуда, я ночевал у дяди Бори. Но тут с шумом являлся Володя Шалимов — студент лесного техникума — со своими приятелями. Приносили заиндевевшую на морозе гитару.

Меня деликатно выпроваживали с кровати, на ней рассаживались гости. Вваливался Вовка Покрасов с охапкой дров: его семейство посылало свою долю для печки. Мы с Вовкой устраивались у трехногого стола и лениво расставляли на картонной доске шашки. У потолка повисали слои табачного дыма. Начинала рокотать гитара.

Или мне сейчас так помнится, или в самом деле все песни были о море и дальних краях...

«Прощайте, скалистые горы...»

«На рейде ночном легла тишина...»

«Ой вы, иочи, матросские ночи...»

«Плещут холодные волны...»

А потом разухабистая:

«В кейптаунском порту с какао на борту «Жанетта» набивала такелаж...»

Может быть, Володя глушил тоску по океанам: из-за сломанной и плохо сросшейся руки он не попал в морское училище...

Гитара начинала рокотать тише и печальнее. Это наступало время песни о Диего Вальдесе, которого не пощадила судьба — сделала из вольного бродяги верховного адмирала. Потом на одних басовых струнах звучал тревожный киплинговский марш:

Осторожно, друг: бьют туземцев барабаны —
Онн нас нщут на тропе войны...

Дядя Боря иногда подпевал, а чаще молча слушал да подбрасывал в печку дрова. (Вот и Лешка Шалимов, Володии брат-пятиклассник, прииес полешки). Дядя Боря прикуривал, ухватив желтыми пальцами выпавший на железный лист уголек. Лицо его было неулыбчивым.

Он был в душе поэтом и путешественником, но жизнь получилась не такая. Надо было помогать матери и родственникам, пришлось работать поближе к дому на конторских должностях. Да к тому же не пойдешь в матросы с больным позвоночником. Но дядя Боря ни-

когда не жаловался на судьбу и печальным бывал редко. Пожалуй, только во время песен. Наверно, они напоминали, что он до сих пор не видел моря...

Я ловлю себя на том, что далеко ушел от разговора о Севастополе. Но мне хочется вспомнить подробности тех дней, когда я впервые ощутил тоску по этому городу. Все это неразрывно: комнатка с одним окном, старые ходики, гитара, афиша на стене, хорошие люди, которые грустили о море. И книга, которую я стащил у Лешки Шалимова.

Это случилось в начале июня. Дяди Бори не было дома, и я от нечего делать зашел к Шалимовым. Лешка сердито мастерил из загнутой медной трубки и гвоздя пугач-хлопушку. На меня он глянул с хмурым равнодушием. Вообще-то мы были хорошими знакомыми, почти приятелями, потому что несколько лет жили рядом. Но иногда Лешкин возраст брал свое, и тогда я чувствовал себя малявкой. Случалось, что Лешка с друзьями-ровесниками хихикал над моими большими ушами и пугал мохнатыми гусеницами, которых я жутко боялся. В те дни, о которых я рассказываю, он дразнил меня непонятным прозвищем Кнабель. Дразнил за голубой нарядный костюмчик — мне прислал его в посылке отец (он еще не демобилизовался и служил в Германии). Прозвище было обидным и несправедливым, потому что я обновкой нисколько не хвастался. Просто больше не в чем было ходить, все прежние штаны и рубашки поистрепались.

Впрочем, Лешкины дразнилки были беззлобные. А по-настоящему злился он, если к нему лезли под руку во время важной работы. Поэтому я не стал соваться и разглядывать пугач, а смирно присел на укрытую суконным одеялом койку.

На коричневом сукне лежала книга. На книге были разлапистые якоря и парусные корабли. И слова: «С. Григорьев. Малахов курган».

«Тюх... Тюх-тюх-тюх...» — затолкалось у меня сердце. Все, что было связано с морем и парусами, приводило меня в волнение. Книгу я тихо открыл и стал читать, как десятилетний мальчик Венька стоит на крыше своего дома и смотрит на входящую в бухту эскадру.

Страница за страницей... Я листал их неслышно и

сидел не шевелясь, хотя ныла спина, а колючее одеяло кусало ноги. Я боялся лишним движением напомнить про себя Лешке. Если с пугачом не заладится, Лешка книгу отберет, а самого меня выставит.

Видимо, с пугачом ладилось. Лешка, не сказав ни слова, ушел, а через минуту на дворе грохнуло и перепуганно завопили куры. Выстрел встряхнул меня. Надо было принимать решение. Сказать Лешке «дай почитать»? Он может ответить «бери», а может и буркнуть «сам читаю», или «не моя», или «иди ты на фиг, Кнабель»...

Я непослушными пальцами расстегнул на животе перламутровые пуговки, запихал книгу под куцую заграничную рубашечку и боком скользнул на кухню, а потом в комнату дяди Бори. Щелкнул на двери крючком и замер с книжкой у стола...

Через какое-то время (кто его знает, через какое!) Лешка задергал дверь.

— Кнабель! Это ты стырил книгу?

— Сам «Кнабель»,— дерзко отозвался я, уповая на прочность крючка.

— Ну ладно, Славка. Давай сюда...— сказал Лешка довольно миролюбиво.

— Я только маленько почитаю.

Дверь задергалась изо всех сил.

— Давай сюда, кому говорят!

— Жи́ла! Все равно не дам, пока не дочитаю!— отчаянно сказал я, потому что расстаться с повестью о Севастополе было выше сил.

— Ну, только выйди,— нехорошим голосом предупредил Лешка.

В окно я увидел, как он присел на крылечко и стал скоблить спички для пугача.

Выходить я не собирался. Но в любую минуту мог явиться кто-нибудь из Покрасовых и пришлось бы отпереть дверь.

Я тихо откинул крючок. Потом проник в незапертую квартиру к Покрасовым, а оттуда через окно выбрался на улицу.

Домой я не пошел. Чего доброго, Лешка явится за книгой и туда. Я забрался в гущу желтой акации в сквере у цирка и просидел там с «Малаховым курганом» до вечера. Потом читал дома допоздна, а кончил к середине следующего дня, когда за окном плескался

и лопотал теплый июньский дождик, перебиваемый солнечными вспышками.

Виноватый, готовый к заслуженной каре, но все равно счастливый понес я книгу Лешке. По лужам. Лешка встретил меня миролюбиво. Даже не сказал «Кнабель». Может, потому, что я был босой, с ногами, заляпанными до колен грязью, а голубой костюмчик, истерзанный и перемазанный в пыльных кустах акации, потерял свой заграничный блеск. А может, Лешку подкупила моя виноватость. Или он что-то понял... В общем, он улыбнулся распухшими после недавней драки губами и самокритично произнес:

— Ловко ты вчера меня обкрутил...— Потом вытащил из кармана пугач и великодушно предложил: — Айда, жахнем...

Я побаивался жахать. Но признаться в этом Лешке!.. К тому же десятилетний Венька из повести «Малахов курган» не боялся палить из настоящей мортиры и даже медаль за свою стрельбу получил.

И мы за помойкой по очереди грохнули зарядами из пяти спичек (и я даже почти не жмурился). А про книгу Лешка сказал:

— Да ладно, у меня сейчас «Восемьдесят дней вокруг света» есть. А эту читай еще, если охота...

И я читал еще. На второй раз и на третий. Не спеша. Про Веньку и про Нахимова, про гибель кораблей, затопленных у входа в бухту, и про матросов на бастионах. В книге было много печального, но сильнее печали была гордость. Спокойная такая гордость людей, которые дрались до конца и сделали все, что могли. Тогда я впервые, смутно еще, почувствовал, что в самые тяжкие дни гордость для человека может быть утешением. Если он держался до последнего, если не сдался...

А еще в книге был сам город. Севастополь. Я читал о жутких бомбардировках, о развалинах и пожарах, но сквозь дым военного разрушения продолжал видеть мирный и солнечный город у необозримого моря — тот, который видел Венька с крыши в начале повести. Тот, который нужен был мне. Уже тогда я представлял его совершенно отчетливо. Синие-синие бухты, желтые слоистые обрывы, оранжевую ребристую черепицу на белых домиках, каменные лестницы в за-

путанных переулках, полукруглые равелины с амбразурами, маяки и бастионы...

Я рассматривал рисунки. Они были сделаны тонкими штрихами, очень понятно и удивительно похоже на то, что написано. Портреты севастопольцев, корабли, орудия. Может быть, сейчас эрудированные критики-искусствоведы нашли бы эти картинки излишне реалистичными и несовременными, не знаю. Мне они нравились. Не меньше, чем сама книга.

Потом, уже взрослым, я узнал, что рисунки для книги делал художник Павел Иванович Кузьмичев, который много лет работал в журнале «Пионер».

Однажды в редакции «Пионера» сильно затянулось какое-то совещание, и я провожал Павла Ивановича домой. Мы ехали в такси по вечерней Москве. По дороге я рассказал, как читал в детстве «Малахов курган» и как мне нравились иллюстрации.

Павел Иванович расчувствовался. И стал вспоминать, с какой радостью работал над рисунками.

— Сергею Тимофеевичу они тоже нравились... Мы с ним хорошо знакомы были. Знаете, я ведь помню, как он работал над своим «Курганом». С любовью работал, переживал. Однажды встречаю, а он говорит просто со слезами: «Похоронил я сегодня свою Хонюшку...»

Хоня — это старшая сестра Веньки, она умерла во время обороны города. Я помню в книге ее маленький портрет — на фоне покосившихся, торопливо сколоченных кладбищенских крестов...

Мы с Павлом Ивановичем поднялись к нему в мастерскую и засиделись до полуночи. Он подарил мне свою гравюру «1942 год». Одноногий солдат на костылях движется куда-то по размытой дороге, а на горизонте разрушенный город.

Войны не щадили ни людей, ни города...

После Первой обороны от Севастополя остались груды обгорелых камней. А в те дни, когда я впервые прочитал об этом лучшем на свете городе, он опять лежал в развалинах. Я это знал, и от такого горького знания у меня временами появлялась тяжкая, совсем не мальчишечья тоска. Все равно как если бы у меня на глазах разграбили, расстреляли, разбомбили мою

улицу Герцеиа. Мие даже снился тогда пустой черный сои: будто я и мама идем откуда-то осеииим вечером, сворачиваем с улицы Дзержиисного к нашему дому — а дома иет. Угольиые, мокрые от дождя развалииы, обгорелый, обломаииый тополь, желтая лампочка иа кривом столбе, а вокруг нее летящий бисер дождя. И глухо, мертво вокруг. Я поворачиваюсь к маме, ио и мамы уже иет. И иекуда бежать, бесполезио звать, потому что пусто и темио — везде... И я стою без слез. И ие страшно даже, а только чудовищио одииоко и беспросветио.

Избави иас судьба от таких сиов...

Дядя Боря говорил, что Севастополь уже восстаиавливают и через иесколько лет ои будет лучше прежнего. Это меня утешало (хотя ие иадо, чтобы «лучше», пускай стаиет такой, как прежде!). А еще утешало, что враги заплатили за севастопольские развалины ой-ей-ей какой ценой! Это была та самая гордость, которую я впервые почувствовал в кииге «Малахов кургаи». Даже больше — это была гордость победителя. На капельку такой гордости я имел право: мой отец тоже был иа этой войие. Ну, пускай ие в Севастополе, ио войиа-то была общая для всех солдат и для всех городов. Папа коичил войну в Берлине и расписался иа рейхстаге, и есть у иего медаль «За победу иад Германией» и орден Красиой Звезды...

Только что-то все ие едет и ие едет домой ои...

Как-то в конце августа тетя Леиа, Лешкина мама, спросила:

— Эй, бывший соседушка, хочешь в кино?

Оиа работала администратором в кииотеатре имеии Двадцатипятилетия ВЛКСМ. В просторечии этот киио-театр назывался «Детский». Тетя Леиа иногда брала компанию ребят со двора и проводила в зал по знакомству, без билетов. Коитролерши ставили иам несколько стульев в углу у высокой печки, а кое-кто из нас усаживался иа половицы. Экран был иевысоко от пола, сидели мы совсем близко от иего, и мерцающее чудо черио-белого киио буквальио обиимало иас.

Новых фильмов было иемиого. Но и старые для иас, мальчишек, были открытием. Сопя от волнения, мы смотрели «Щорса» и «Чапаева», «Пархоменко» и

«Котовского», «Мы нз Кронштадта» н «Юность Максима»...

В этот раз с тетей Леной пошла привычная наша компания. Я теперь вспоминаю ее н внжу четко, как на фотографии. Рыжнй недруг Толька в пыльйых оранжевых трусах до колен, прожженной на пузе полннялой майке и громадной кепке — ои воображал себя зиаменитым вратарем нз одиониенной картнны. Толькниа длиииая н прыщеватая сестра Галька в кокетлнвом веике из поздинх одуванчнков н выгоревшем до белнзиы платьнце. Вовка Покрасов — стрнженный под машннку, с распухшим носом (треснулся о стропнлниу, когда мы лазили по чердаку), в обвнсшей безрукавке и гремучих брезентовых штанах до пят. Лешка в мятых, ио почищенных брюках и новенькой ковбойке — поскольку иа глазах у матери. И я в своем «трофейиом» костюме, потерявшем уже небесный цвет и перламутровые пуговки,— вместо них пришнты былн честные латуииые пуговнцы со звездочками, а одиа даже с якорем... И все мы, кроме Галькн н Лешкн, боснком, нсцарапаииые в бурных дворовых играх н футбольиых схватках... Только не помню, какой же это год: сорок шестой или сорок седьмой?..

— А какое кино?— спросил я у Вовки.

— Вот балда, ие слыхал, что ли? «Малахов кургаи»!

Что? Нет, правда? Вот чудо-то... Неужелн я увнжу то, про что читал в Лешкниой кннжке?

Нет, было ие «про то». Было про войну с немцами. Совсем недавиюю. Про гибель иашего эсмиица, про иемецкне таикн, про пятерых моряков, которые ие пустнлн эти танки в Севастополь. Очень просто не пустнли — пошли под гусеинцы с гранатамн.

Просто?..

Попрощались, отложили иенужные тяжелые пистолеты, взялн по связке граиат н пошлн, однн за другнм. Навстречу лязгающнм махннам. Зная, что через несколько секунд вспышка и потом — инчего...

Ни-че-го.

...В то лето меия часто мучнла мысль, которая когда-ннбудь приходнт к каждому человеку: зачем я живу, если все равио будет конец? Еслн все равно иаступнт момент, когда меия не станет? Поннмаете, меня! Совсем ие станет. Тогда зачем все на свете? Зачем что-то делать, ходить в школу, куда-то спешнть,

с кем-то дружить, читать книги? Ведь все равно... Эта мысль хватала за сердце неожиданно, во время игры, купанья в реке, запуска змея. И тускнел яркий день. Страха не было, но становилось необъяснимо и безнадежно: зачем?.. Потом эта мысль милостиво отступала, давая место радостям жизни. Но я знал, что она, эта оглушающая, как удар, тоска может упасть на меня снова, и боялся заранее. Потому что понимал: ответа я не найду.

И вот — это кино. Про жестокий, про смертный бой, когда спасенья нет. Как пять человек зло и спокойно сами идут навстречу смерти.

Почему спокойно?

«Потому что за ними Севастополь»,— подумал я.

Сейчас эта мысль может показаться неправдоподобной для мальчишки. Звучит, как лозунг какой-то. Но тогда это были не слова, а скорее ощущение. Я почувствовал, что люди с гранатами любили Севастополь сильнее себя. Конечно, не только Севастополь, а многое: всю нашу землю, своих родных, свои корабли, своих товарищей. Но в тот момент для меня это соединилось в слове «Севастополь». Самом лучшем для меня слове.

Они любили его так, что это было самым главным. И поэтому не боялись умереть. Мало того — они не боялись жить. Они знали зачем. Жизнь и смерть имели для них четкий смысл. И тогда, по дороге из кино, я своим колотящимся ребячьим сердцем впервые смутно ощутил этот смысл человеческого бытия. Очень неясно, по-детски, без слов, но ощутил. Живешь по-настоящему, если что-то любишь. Что-то или кого-то. Если ты не один. Если вокруг тебя есть то, что дорого. Если ты — сам частичка этого. Тогда — не страшно...

Я не смог бы про это сказать да и не собирался. Но я ощущал радостное спокойствие. И чтобы другим стало так же хорошо, сказал:

— Все равно его скоро опять построят.

— Кого?— не понял Толька. Он, если что-нибудь не понимал, всегда говорил «кого».

— Севастополь,— сдержанно ответил я.

— А тебе-то чё?— сказал Толька.— У тебя там невеста, чё ли?

И он хихикнул.

Я понимал, что он не против Севастополя, а против

меня. Из-за рыжей своей вредности. Но все же я очень разозлился и сказал Тольке, что он конопатая коза и унтер-фон-сопель-фюрер. На последнее Толька жутко обиделся, и через пять минут мы подрались на нашем дворе за поленницами. При секундантах Вовке Покрасове и Амире Рашидове, который всегда был тут как тут при таких случаях. Драка получилась жидкая и кончилась вничью, потому что у Тольки лопнула резинка в трусах, и секунданты нас развели. Мы помирились.

А что нам оставалось делать? Мы и раньше с ним дрались и мирились множество раз. И чувствовали, что так будет впредь. Но драки были все же лишь мимолетными эпизодами в нашей жизни, а сама жизнь — удивительно длинной. Каждый летний день был бесконечным и солнечным. Мы понимали, что жить надо по-хорошему. И когда дядя Боря дал мне три рубля на маленькую порцию мороженого, я разрешил Тольке лизнуть у этой порции краешек...

АЛЬКА

В Севастополе у меня есть «свое» место для отдыха. Скамейка перед школой номер сорок четыре. Это в самом центре. Рядом гостиница «Севастополь», рынок, на котором можно купить гроздь винограда, сушеного краба или яркую корзину для фруктов; универмаг, куда то и дело забегаешь за фотопленкой; Артиллерийская бухта с причалами пассажирских катеров и паромов, а за ней, у подножия Хрустального мыса,— городской пляж. В общем, приезжему человеку трудно миновать улицу Одесскую. Ходишь, ходишь, ноги загудят, а тут, пожалуйста, скамейка.

Я привык отдыхать здесь давным-давно, когда еще был в Севастополе новичком.

Говорят, раньше, года до пятидесятого, здесь тянулся Городской овраг. Сейчас на месте оврага детский парк с каруселями, фонтаном и крошечным кинотеатром в раскрашенном кузове старого автобуса. Когда в автобусе крутят мультфильмы, веселая ребятня снаружи приклеивается к щелястым стенам — как пчелы к сладкой арбузной корке...

Одесская улица, которая раньше проходила по правому берегу оврага, теперь — сплошная каштановая аллея. В сентябре разлапистые листья на старых деревьях подсыхают по краям и шелестят по-особому: будто шепотом слова выговаривают. Южное небо в разрывах среди листьев кажется еще более густым и синим. Сквозь листву солнце бьет лучами, похожими на стеклянные спицы. Оно рассыпает по песку и асфальту, по скамейкам и стенам киосков круглые светлые пятнышки. Они дрожат и скачут друг через друга. Когда раздается звонок и со школьного крыльца начинают разбегаться ребята, солнечные кружочки вспархивают, словно поднятые ветром. И прыгают по разноцветным лакированным ранцам, по смуглым ногам и голубым рубашкам, запутываются в волосах мальчишек и девчонок, вспыхивают в них белыми искрами...

Это похоже на маленький солнечный праздник. Я смотрю на него много лет подряд, каждый сентябрь, и никогда не надоедает.

Мне все здесь знакомо: и серая школа за рядами каштановых стволов, и ее высокое крыльцо с бетонными ступеньками и парапетами, и дверь с шелушащейся коричневой краской, и даже голос этой двери.

Вот она приоткрывается и начинает негромко визжать: з-з-зы-ы-ы. Видимо, кто-то не очень сильный налег на нее плечом и отодвигает. Визг усиливается: з-з-зи-и-и-и! Сопротивление двери сломлено, она распахивается. Победитель — щуплый, похожий на Буратино первоклассник — выскакивает на крыльцо и щурится от уличной яркости. А дверь за спиной — бух! Захлопнулась. Но ненадолго. Тут же опять:

Ззи-и... Бух! И снова: з-зи-и-трах!

И все чаще: з-з-бух, з-з-бух! Бух-бух-бух!

Уроки кончились. Школьный народ спешит по домам. А впереди еще почти целый день — безоблачный, летний, с теплым морем, с играми, с рыбалкой, с друзьями... Дверь пушечно салютует этому дню...

Ближе к вечеру здесь поспокойнее. По одному расходятся ребята с продленки. Около пяти часов появляются на крыльце третьеклассники — они учатся во вторую смену. Эти люди не так спешат. Может быть, действует вечернее настроение?

В такой вот спокойный час я познакомился с третьеклассником Вихревым.

...Дверь бухнула, и третьеклассник появился на крыльце.

Я опишу его подробно. Не потому, что он показался особенным, а наоборот. Это был «типичный представитель» севастопольской школьной братии младшего возраста. Загорелый, с выбеленными солнцем волосами (когда их подстригут, на висках и шее остаются участки светлой кожи), с царапинами и ссадинами на коленях и локтях. Ссадины разной давности: и совсем свежие, и покрытые коричневой корочкой, и очень давние — корочка отвалилась, и на ее месте розовые пятнышки кожи, окруженные несмываемыми колечками въевшейся зеленки и пыли... Костюм тоже самый обычный: голубая рубашка с латунными пуговками (застегнутыми у ворота, но расстегнувшимися на животе), синие пионерские шорты, которые, сколько ни утюжь утром, к вечеру все равно мятые, как гармошка; сандалеты — их застегнутые ремешки торчат в стороны, будто петушиные шпоры... Октябрятская звездочка рубиново блестит на рубашке, белеют широкие ремни ранца...

В общем, совершенно обыкновенный третьеклассник, и я обратил на него внимание лишь из-за одной особенности — из-за широкого бинта на голове. Повязка косо шла через лоб и прихватывала правое ухо.

Мальчишка снял ранец с алым фрегатом на белой крышке. Открыл, вытянул тетрадку. Не спеша, но без тени колебаний выдрал из нее двойной лист. Оторвал половинку и деловито смастерил бумажного голубя. Послал его к верхушкам каштанов. Голубь, однако, туда не полетел, а сделал круг над асфальтом и лег у ступенек. Мальчишка подобрал его, запустил еще раз. И еще... Он делал это неулыбчиво и, кажется, без особой охоты.

Наконец голубь сел недалеко от моей скамейки. Мальчишка подошел, и мы встретились глазами.

— Покажи,— попросил я.

...Когда-то я хорошо делал бумажных летунов. Вырезать из тетрадных обложек планеры меня научил брат Сергей. Как мастерить из тонких листов самолеты с хвостовым оперением, мне показал Лешка Шалимов. Сворачивать из бумаги голубков и узкокрылых ласточек обучил дядя Боря. А потом я сам полюбил изобретать новые конструкции. Брат и сестра уходили ранним утром на оборонный завод, мама спешила на работу в военкомат, а я, дошкольная личность пяти с половиной лет, оставал-

ся один — после строгих наказов не съедать сразу утром свой скромный обед и не отпирать незнакомым людям.

Я запирал дверь на крючок и устраивался на кровати, прихватив старые тетради сестры и ножницы... И потом весь день реяли в комнате голуби и ястребки, садились на печку, на подоконники, атаковали лампочку, повисшую на пыльном крученом проводе... Эти птицы и самолетики были друзьями моего детства.

Нынешние ребята не знают очень многих игр, с которыми росли мы. И я рад, что с ними осталась хотя бы эта давняя игра — бумажные голуби...

— Покажи,— попросил я.

Мальчишка без улыбки протянул голубка. Это была незнакомая мне конструкция. И я счел, что она не очень удачная.

— А ласточек делать умеешь?

Он мотнул головой: не умею.

— Листок есть?

— Там,— он кивнул в сторону крыльца.

Мы поднялись по ступеням. Половинка тетрадного листа была прижата ранцем к бетонному парапету.

Я смастерил тонкую ласточку. Но, видимо, мастерство поубавилось за долгие годы: ласточка полетела тяжело и клюнула на асфальте кожуру лопнувшего каштана.

— Д-да...— неловко сказал я.— В молодости бывало не так.

— Попробуйте еще раз,— деликатно предложил мальчишка и принес ласточку.

Я поправил ей хвост и крылья. Пустил аккуратнее. И она вдруг пошла, пошла, взмыла в струе прилетевшего от Артбухты ветерка...

— Во! Теперь как надо,— обрадовался мальчик. За меня обрадовался.

— Тебя как зовут?

— Алька.

Я даже засмеялся. Это было здорово! Алька — счастливое для меня имя.

Алькой звали мою соседку по парте в первом классе. Она спокойно и молчаливо заботилась обо мне, оборачивала газетой мои потрепанные учебники, подкармливала своими завтраками, делилась промокашками и карандашами...

Алькой звали моего товарища в четвертом классе. С ним бегали мы в пригородный лес и мастерили из фанеры и жести рыцарское вооружение. Жаль, что я скоро уехал с той улицы...

Алька — это было имя соседки-семиклассницы на улице Герцена. Мы собирались у нее по вечерам и читали книги про Тома Сойера, Робинзона и человека-невидимку. Я, второклассник, был в эту Альку немного влюблен и однажды признался ей в этом. Она отнеслась к признанию без насмешки.

Алькой звали храброго малыша в моей самой любимой гайдаровской книжке...

Алькой я назвал семилетнего героя своей первой в жизни повести. А когда эту повесть напечатали, ко мне явился вдруг восьмилетний читатель из соседнего переулка и сердито потребовал ответа: почему я в книжке про него многое перепутал, а кое-что просто-напросто сочинил? Этот Алька (которого до той поры я в глаза не видел) стал моим верным адъютантом и другом. В шестьдесят пятом году мы вместе приехали в Севастополь и бродили по старым улицам Корабельной стороны, по заросшим бастионам и по развалинам Херсонеса... Алька полюбил Севастополь так же, как я. Потом он стал взрослым, очень серьезным. Женился. И сразу после свадьбы повез в Севастополь жену — показывать самые любимые места...

И вот опять Алька...

Алькой может быть кто угодно: Алевтина и Александр, Алена и Алексей, Алла и Альберт... Этот оказался Олегом. Олег Вихрев, ученик третьего «А», школа номер сорок четыре, вторая смена.

— Смена-то кончилась. Что же ты, Алька, домой не идешь?

— Да... так просто. Маму жду...

— А она где?

— Да... так просто. Там... С учительницей разговаривает.

— А о чем?

— Да... так просто,— вздохнул он.

— А с головой-то у тебя что?— спросил я, дипломатично меняя тему.— Почему забинтована?

— Это не голова, а ухо,— сумрачно сказал он.— Оторвал...

— Как? Совсем?!
— Не... Висело чуть-чуть. Пришили.
— Бедняга. Как же это ты?
— Да просто. С дерева полетел, ухо зацепилось...
Я понимающе кивнул. Характер собеседника начал прорисовываться.
И тут появилась Алькина мама.
Красивая, моложавая, строгая. Глянула на Альку и на меня сквозь большие дымчатые очки.
Я торопливо представился и сообщил, что собираюсь писать для «Пионера» очерк о севастопольских школьниках и вот, оказавшись у этой школы, познакомился с ее сыном.
Мама Вихрева вдруг возликовала:
— Отлично! Превосходно! Напишите про него, обязательно напишите! Пусть все узнают, что это за человек!
Оказалось, что третьеклассник Олег Вихрев — человек беспутный и безответственный. Думаете, он только здесь, на крыльце, занимается голубями? Нет, он пускает их на уроках! Именно поэтому и пригласила учительница маму Вихреву для подробной беседы. Кроме того, учительница говорит, что...
Через две минуты было ясно: если Олег Вихрев и может быть упомянут в очерке, то с единственной целью: «Дети, не будьте такими».
Однако Алька не сник под множеством обвинений. Факта с голубями он не отрицал («Я один, что ли?»), но другие упреки отмел, а в адрес учительницы выдвинул ряд своих претензий. Честно говоря, кое-какие из них показались мне справедливыми. Я тут же непедагогично сообщил об этом маме — Людмиле Васильевне.
— Спелись уже...— печально сказала она.— Но вы еще не знаете всего! Пусть он расскажет, как его силой приходится гонять в музыкальную школу, в которую он сам (с а м!) просил его записать в прошлом году. А парусная секция? Из-за собственного разгильдяйства перевернулся на «оптимисте»! В феврале!
При упоминании о музыкальной школе по лицу третьеклассника Вихрева прошла легкая судорога. А насчет яхт он решительно сказал:
— Ну их, «оптимисты» и «кадеты», мелочь эту. Я лучше с папой.
Оказалось, что папа — военный музыкант по профессии и старпом на большой крейсерской яхте «Таврида».

Я обрадоваино призиался, что тоже имею отношение к парусным делам.

— Ну, все,— скорбио сказала Людмнла Васильевиа.— Значнт, как сойдетесь с мужем, будет все тот же разговор: тросы, стакселя, оверштаги, талрепы н курсыгалсы. А я-то думала, что познакомнлась с нормальным человеком... Но все равио заходите в гости. В воскресенье пойдем на «Таврнде».

Но нн о каком воскресенье не могло быть речн. В кармаие лежал билет до Москвы. На завтрашннй поезд. Едниствеиное, что я успел на следующнй день, это забежать к Вихревым, на улицу Бакиискую, прнеисти Альке свои киигн н сфотографнровать его в ближнем сквернке. С бумажиой птичкой в руках и ранцем за плечамн (а на раице фрегат со всеми парусами — Алька специальио повериулся так, чтобы его было видио).

Потом пошли мы к лестиице, к спуску, что тянется вдоль стены старнииого укрепления и называется Крепостиой переулок. Ои ведет почти прямо к Алькнной школе. Я хотел проводнть Альку, а у рынка сесть на троллейбус, чтобы ехать в гостииицу «Крым»: собнрать чемодан.

— А зачем?— удивился Алька.— Вы же пешком быстрее дойдете. Прямо по Шестой Бастнонной.

Он помахал рукой н побежал вниз по кремнистой тропинке, вдоль лестиицы и полуразрушеиной желтой стены с бойинцами. И ранец с алым фрегатом прыгал у него на спиие. А я вышел на улицу, которая начнналась тут же, рядом.

И открыл для себя Шестую Бастнонную.

БАСТИОНЫ И ФОРТЫ

Когда поезд проскочил уже все тоннели и, замедляя ход, катит по берегу Южной бухты к вокзалу, сердце у меня начинает «выбиваться из ритма». С волнением и даже с тревогой какой-то колотится, хотя причин для тревоги нет, а есть только радость. Так бывало в детстве перед началом праздника, которого долго-долго ждешь...

Я знаю во всех подробностях, что будет дальше. Вагон остановится, я шагну на горячий от сентябрьского солнца перрон и по мосту над путями пройду к троллейбусной остановке напротив заросшего дроком обрыва с каменной лестницей. Троллейбус, подвывая на подъемах, привезет меня к площади Ушакова, над которой вознеслась башня Матросского клуба с золоченым шпилем и квадратными курантами. Куранты ударят один раз и сыграют «Легендарный Севастополь». Час дня.

Через площадь я дошагаю до гостиницы «Украина», где заботливые работники детской библиотеки заказали мне номер. Конечно, сначала администратор скажет, что

номеров нет и ни про какую заявку она не слышала. И конечно, потом заявка найдется и номер тоже. Из него я позвоню домой, в Свердловск, и узнаю, что дома все в порядке. После этого исчезнут последние беспокойные мысли и останется в душе ощущение спокойного и беззаботного праздника.

Я понимаю, что в этом большом городе сейчас не у всех хорошее настроение. Люди живут в заботах, живут в трудной работе. У кого-то, наверно, сегодня несчастливый день. Кого-то грызет тревога. Я понимаю этих людей, потому что сам жил так целый год. Но именно поэтому я могу позволить себе праздник на несколько дней. Весь год я ждал этого праздника — свидания с городом, который люблю больше всех городов на Земле. Свидания с друзьями.

Сейчас я выйду из гостиницы, неторопливо двинусь по Большой Морской, потом по улице Адмирала Октябрьского поднимусь до площади Восставших. Здесь вздымается стеклянно-высотная гостиница «Крым», от которой убегает вправо, к морским обрывам, Шестая Бастионная.

Впрочем, для меня начинается она не от этого ультрасовременного отеля, а от домика с зеленой калиткой. В каменный столб у калитки вделано чугунное ядро времен Первой обороны.

...Я знаю, что многих удивит моя привязанность к этой улице. Самая обыкновенная улица. В меру зеленая, в меру шумная — часто проскакивают по неширокому асфальту автомобили. Здесь одноэтажные и двухэтажные белые домики, каменные заборы, не очень ухоженные газоны, в которых ребятишки по вечерам жгут иногда безобидные костерки. Не центральная и не окраинная, она как бы служит границей между главными городскими кварталами и Артиллерийской слободкой (это название осталось со времен парусных линейных кораблей и бронзовых карронад). И очень она похожа на другие соседние улицы.

Похожа, и все-таки есть в ней что-то неповторимое. Для меня. Она мне кажется особенно с е в а с т о п о л ь с к о й. Во всем — начиная от названия и кончая мелочами: кольцом якорной цепи, что ржавеет в пыльной траве у забора; треском деревянной вертушки, которую крутит над калиткой прилетевший с моря ветер; сухими раковинами улиток на шероховатых камнях ма-

ленькой оборонительной башни Шестого бастиона...

Но, наверно, дело не только в этих черточках и не в названии. И славных названий, и признаков приморской жизни в городе сколько угодно. Дело в том, что Шестую Бастионную мне показал хороший человек Алька Вихрев. И она всегда приводит меня к друзьям...

Всю улицу можно прошагать за пятнадцать минут. Но мне торопиться некуда. Я бреду по Бастионной, то и дело сворачивая в улочки Артиллерийской слободки. Это старый город с домиками под черепицей. Четыре десятка лет назад огонь и снаряды разгромили и опалили эти кварталы, но люди отстроили свои дома заново — на тех же фундаментах, в том же виде, какими были они в прежние времена. Стены домиков сливаются с белыми заборами, над которыми висят на жердях плети винограда. Здесь много крутых, извилистых спусков, кремнистых тропинок, каменных лесенок-трапов и заросших жесткой травой тупичков. В траве рассыпаны мелкие желтые цветы.

Я очень люблю эти места. Если бы не антенны над оранжевой, похожей на корытца черепицей, могло бы показаться, что ты попал в эпоху Первой обороны...

А еще эти улочки мне напоминают детство. Даже не знаю почему. Они совсем не похожи на деревянные улицы старой Тюмени с ее дощатыми тротуарами и заборами, с мохнатыми, совсем не такими, как на Юге, тополями и пыльной желтой акацией. Но что-то неуловимо сближает их. Может быть, тишина? Или эта россыпь мелких цветов без названия? Или дело в том, что в детстве я мечтал как раз о таких вот лестницах со стертыми ступенями, о заборах с черными вмурованными ядрами, об узких проходах среди ракушечных стен? Много раз виделось, как босой, веселый, свободный выбегаю из такой каменной прохладной улочки-щели на солнце — и синевой бьет в глаза близкое море!

И может быть, из моего детства прибежала сюда эта коричневая от загара, коротко стриженная девчушка в цветастом сарафанчике?

Девочка — этакое серьезное большеглазое существо лет шести — топает через маленькую площадь (к этой площади с сухим деревом посередине сбегаются сразу

пять похожих на декорации улочек). Девочка иесет совсем не девчоиочью вещь — громадиый, с себя ростом воздушиый змей. Мочальный хвост змея тащится по кремиистой, сверкающей блестками земле. Его хватает зубами и лапами пузатый щенок песочиого цвета. Девочка не оглядывается: иаверио, считает иепедагогичным обращать внимаиие на хулигаиские выходки щеика.

В двух шагах от меия девочка останавливается и подиимает коричиевые глазищи. Словио увереиа, что я обязательио заговорю с ней.

— Какой громадиый,— говорю я, глядя на змей.— Летает?

— Летает,— произиосит оиа неожидаиио иизким, сипло277ватым голосом.— Когда ветер есть. А сейчас иету.

— А куда ты его иесешь?

Оиа кивает в стороиу:

— На спуск. Там легче запускать.

— Но ветра-то иет!

— Дeииска придет из школы, и будет ветер,— сообщает она.

Мие соверщенно нечего возразить против столь решительной метеосводки.

— Ну, счастливо,— говорю я.

Девочка кивает и топает дальше. Щеиок, приветливо обиюхав мои сандалеты, догоняет мочальиый хвост. А я сквозь солнечиое тепло и безлюдье белых переулков не спеша выхожу иа Катерную, потом опять иа Шестую Бастионную. И теперь уже не сворачивая, иду в ее конец — туда, где сходятся улицы Адмирала Владимирского, Бакииская, Крепостиой переулок...

На поросшем сурепкой бугре стоит желтый двухэтажиый дом. Его угол похож иа корабельный нос. В этом доме живет Алька Вихрев, с которым я познакомился пару лет иазад. Живет с мамой — учительницей музыки, папой — военным музыкаитом и семилетиим братом Роськой.

Роську я вижу иа откосе, он с двумя приятелями колотит кирпичом по колесу самоката — видать, заело. Роська поднимает голову и замечает меня. Через секуиду ои мчится, летит иад верхушками травы мне навстречу. Я вскидываю его иад головой...

Потом я иесу Роську на плечах к дому, и он с высоты сообщает иовости. У папы выходной, он дома. Мама тоже пришла с работы, и всем попало: Роське

просто так, Альке за двойку в «музыкалке», папе за то, что опять собирается на яхту, где и так «торчит всю свою жизнь». Но папа все равно собирается, потому что надо чинить порванный стаксель.

Папу Вихрева я нахожу во дворе, у сарайчика с дровами и верстаком: Олег-большой (именуемый так в отличие от Альки) занят непонятным делом — гнет в широкий обруч длинную дюралевую трубку. Он объясняет, что это для штурвала. На «Тавриде» вместо румпеля поставили большое рулевое колесо — с медным кольцом, точеными рукоятками, в точности как на старом паруснике. Сплошная романтика. Но романтика эта может выйти боком: во время шторма, когда яхту швыряет вверх-вниз, можно запросто напороться на рукоятку грудью или пузом и белый свет покажется с овчинку. Чтобы он, белый свет, сохранял нормальные масштабы, надо поверх штурвальных рукояток укрепить этот обруч...

Но, конечно, разговор о штурвале начинается не сразу. Сначала старший Вихрев снимает очки и — громадный, лохматый, в лопнувшей на плече тельняшке — обхватывает меня лапами, которые больше похожи на клешни боцмана, чем на изящные руки музыканта.

Минут десять мы выкладываем друг другу самые срочные новости, потом Олег предлагает:

— Если не очень голодный, давай пока смотаемся на яхту. А то Люда загонит нас за стол и в клуб сегодня не пустит.

Я понимаю серьезность опасений и говорю, что совсем неголодный.

Роське дается наказ:

— Маме пока ни гугу, что дядя Слава приехал. Понял?

— Так точно, товарищ старпом!

— Бежим! — командует папа Вихрев.

Яхт-клуб в двух кварталах. Он расположен на месте старой Александровской батареи. В конце первой осады батарея была взорвана, потом ее отстроили, поставили новые орудия, но после Отечественной войны уже не восстанавливали — устарела. Теперь в сводчатых погребах и бетонных капонирах — кладовки, где хранится имущество яхтенных экипажей. Здесь, среди развешанных по стенам тросов и корабельных фонарей, среди компасов, карт, лоций и спасательных кругов, можно

было бы снимать какой-нибудь фильм о пиратах и кладах. Одни двери чего стóят! То из сплошного железа с пудовыми петлями и засовами, то из могучих решеток...

На скользком пластмассовом ялике мы переправляемся на «Тавриду» — стальную крейсерскую яхту с десятиметровым корпусом и шестнадцатиметровой мачтой. «Таврида» ошвартована у плавучей бочки. Пока плывем, я вбираю в себя морской воздух так, что легкие скрипят и трещат по швам.

На палубе двое молодых и незнакомых мне матросов, студентов по виду, возятся с порванным стакселем. Олег отдает им дюралевое колесо и распоряжения. Мы спускаемся в рубку. Здесь пахнет вперемешку машинным маслом, морской водой, деревянным лаком, пеньковым тросом — неистребимый и волнующий запах корабельного помещения. На кожухе мотора лежит широкая доска, заменяет стол. На столе — пачка стенгазет. Олег объясняет, что эти газеты экипаж выпускал во время июльского похода в Батуми.

Я начинаю листать. Газеты что надо, особенно карикатуры. Как говорится, с морским рассолом. Олег рассказывает о плавании. Сверху нас окликают, мы поднимаемся на палубу, чтобы помочь привинтить к штурвалу обруч. То есть Олег помогает, а я любуюсь морем и берегами. В море нет-нет да и проблеснут пенные гребешки (видимо, вернулся из школы Денис, братишка той девочки со змеем, и позаботился о ветре). Сигнальные флаги над вышками клуба трепещут. Вблизи от нас, между ошвартованных у бочек парусных крейсеров, как пестрые бабочки, носятся ребячьи яхточки —«оптимисты». В глубине бухты синеют громады военных кораблей. Чайки перелетают с буйка на буек и качаются на них, как ребятишки...

Покончив со штурвалом, Олег опять зовет меня в рубку. Показывает новую книгу о парусниках. И мы снова ведем неторопливую беседу о всяких корабельных делах...

Яхту тихо подымает и опускает на ровной зыби, и я наконец чувствую, что от такого монотонного качания (да еще на пустой желудок!) мне не по себе. Мы опять выбираемся на бак.

Ого! Поговорили! Солнце уже на самом краю неба.

Оно медно-красное, продолговатое. Горизонт дымча-

тый. Барашки исчезли, зыбь стала пологой. Вода как бы составлена из разноцветных зигзагов — пунцовых, сизых, розовых, фиолетовых. Дальше к горизонту она сливается в общую поверхность лилового тона, и солнечный шар там уже не дает отражений...

Солнце утонуло, зигзаги на воде погасли, а с берега доносится крик:

— Папа! Дядя Слава-а!

— Алька!

Мы подгребаем к пирсу.

Алька стоит под яркой лампочкой и машет рукой.

Вид у Альки крайне живописный. Ярко-синяя рубаха пестрит рисунком из желтых разлапистых якорей; мятые брезентовые штаны обрезаны у колен крупными, разлохмаченными зубцами; у старых незашнурованных полуботинок вывалились наружу «языки», и Алькина обувь похожа на пиратские башмаки времен Моргана и Флинта. Подпоясан Алька, естественно, флотским ремнем; ремень обшарпанный, но надраенная бляха сияет под лампочкой... Уже потом я узнаю, что Алька соорудил этот флибустьерский наряд специально для выходов в море: нынешним летом отец зачислил его юнгой на «Тавриду».

Алька все машет рукой, а я приглядываюсь к нему — какому-то незнакомому, не прежнему. Дело, конечно, не в костюме. Я знаком с Алькой два года, виделся с ним последний раз прошлой осенью, и тогда он был коренастым, крепеньким пацаненком, а сейчас — тонкий и гибкий, как смычок от его скрипки. Вытянулся, а в плечах не раздался. И лицо худое. Выгоревшие космы торчат вразлет.

Но улыбается Алька знакомо-знакомо.

— Здрасте!.. Мама велела сказать, что если сейчас же не придете, ужинать не даст. И бутылку «Кальвадоса», которую припасла, тоже не даст.

— Жуткая угроза,— говорю я.— Привет, Алька... Значит, этот обормот Роська все же проболтался...

— Трепло,— сокрушенно подводит итог папа Вихрев.

Но Алька бесстрашно признается:

— Это я проболтался. Роська мне, а я маме... Потому что вас нет и нет...

Он с хохотом увертывается от папашиного подзатыльника, подходит ко мне с безопасной стороны и берет за руку. Твердыми, намозоленными ладошками юнги.

Мы топаем вверх по хрустящей каменистой дороге. Алька слегка хромает, из-под зубчатой штанииы у него выглядывает бнит.

Дома у Внхревых меия ждут буриые приветствня и тут же головомойка. Потому что «такое свииство и нарочно ие придумаешь». Приехать и сразу бежать на это ржавое корыто! Даже иа мннуту не заглянуть в дом! Пускай ие для того, чтобы поздороваться с хозяйкой (на такое джеитльмеиство ие способны даже обычные ыынешние мужчины, не говоря уже о парусиых фанатиках), а хотя бы затем, чтобы понитересоваться, как у иенаглядиого дружка (кнвок в сторону лохматого Алькн) ндут дела в школе! И в обычной, и в музыкальиой. Может быть, дорогому гостю любопытио будет узнать, что это чадо, проучнвшись в пятом классе всего две иедели, успело...

— Ябедиичать нехорошо,— подает голос Алька н укрывается за книжиым стеллажом, стоящим поперек комиаты.

— Ах, иехорошо...— проияносит нараспев Людмила Васнльевиа, и ее очки загораются проблесками красиого маяка.— Тогда нди и расскажи дяде Славе сам, как ты...

Там-м!! — раздается за стенкой железиый удар и звои. У Роськи и Альки отиошеиия довольно сложиые, ио в трудиые миитуы братья прнходят друг другу на выручку. И сейчас Роська отвлекает «огоиь на себя»: роняет ие то поднос, ие то крышку от кастрюли.

— О, погибель моя! — мама Вихрева летит на кухию.

Потом в уютной кухие мы ужинаем н пьем чай. Олег рассказывает о иедавнем шторме, когда «полетел» стаксель, а я о плаваннях иашей ребячьей флотнлнн по Верх-Исетскому озеру. У нас на уральскнх озерах морскне волны не бушуют, ио когда засвистит крепкий ветер, прнключеннй тоже хватает. И разговор иаш с Олегом затягивается.

— Штагн, оверштагн, ваиты, курсы, галсы,— говорнт Люда.— Как вы мие надоелн!.. Роська, марш спать, носом в стакаие булькаешь...

Роська иеожндаиио слушается, ио требует, чтобы я

рассказал ему на сон грядущий «приключенческую интересину». Я иду в «кубрик», где у Роськи и Альки двухъярусная корабельная койка, сколоченная отцом. Присев на край нижней постели, я придумываю историю про корабельного гнома-пенсионера. У меня и в мыслях нет, что через два года я напишу про этого гнома повесть...

Наконец я прощаюсь. Алька заявляет, что пойдет меня провожать. Люда пугается. Я шепотом ее успокаиваю: говорю, что мы погуляем, а потом я в свою очередь провожу Альку до дома, ничего с ним не случится. Люда разъясняет, что боится не «случаев». Просто она уверена, что Алька проспит завтра школу. А главное, она убеждена, что он мне уже надоел до чертиков.

Но ни Алька мне, ни я ему не надоели. Мы даже и поговорить-то не успели как следует. И теперь мы отправляемся провожать друг друга. По Шестой Бастионной.

Я говорю:

— Давай попетляем.

Алька соглашается. Мы углубляемся в переулки Артиллерийской слободки. Длинно и рассыпчато звенят цикады. В окошках уютный желтый полусвет или синеватое мерцание телевизоров. Издалека, со стадиона «Авангард», долетает шум болельщиков, приглушенный и ровный,— видимо, там севастопольская команда заканчивает удачный матч с гостями. А здесь тихо. Только шастают в траве у каменистых изгородей кошки да изредка промчится стайка смеющихся ребятишек: наверно, играют в разведчиков. На маленькой площади — оранжевый костерчик. Похоже, что здесь у мальчишек нынче главный штаб.

Потом опять узкий переулок: ракушечные ступени, каменные стены у плеч, а вверху — несколько ярких звезд.

Мы шепотом переговариваемся. Алька не лишен воображения и соглашается, что здесь подходящее место для всяких приключений и сказок. Но скоро Алька наносит крепкий удар по моему поэтическому настроению. Я спрашиваю, как называется похожее на пальму растение, которое раскидало у забора перистые листья, и Алька пренебрежительно отвечает:

— А, это вонючка.

Я озадаченно кашляю, потом возражаю, что это название, во-первых, не научное, а во-вторых, обидное для такого красивого куста.

Алька заявляет, что научного названия не знает, а «вонючкой» эти кусты названы за дело.

— Вы потрите листок между пальцами и понюхайте.

Я так и делаю. Да, запах не очень приятный. Но и не такой уж противный. Скорее просто странный. Я это говорю Альке, он пожимает плечами. Но скоро выясняется, что у Альки с этим растением личные счеты. Именно с «вонючки», разросшейся в большое дерево, слетел Алька два года назад — в тот раз, когда оторвал себе ухо. (Кстати, эта история имела печальное продолжение: когда уже была снята повязка и Алька с приятелями прыгал по гаражам, играл в десантников, его ухватил за ухо местный пенсионер — один из тех, кто считают себя прирожденными воспитателями юношества. Ухо пришивали вторично.)

Должен заметить, что здешние мальчишки вообще лихой народ. Это особенно заметно, когда в какой-нибудь школе кончаются уроки и веселая толпа выхлестывается из дверей. Бинты на локтях и коленках мелькают, будто кто-то мелко разорвал чистую тетрадку и пустил по ветру клочки. Иногда среди этого мелькания неторопливо проплывает гипсовый лубок...

Но Алька даже на фоне здешних боевых компаний может считаться чемпионом по синякам и травмам. В позапрошлом году — ухо, в прошлом (когда я опять приехал в сентябре) — рубец на лбу и вывихнутый мизинец на ноге, сейчас Алька тоже «раненый». Правда, на сей раз дело было самое обычное — ободрал колено о школьное крыльцо. Промыть бы да замотать — и никаких проблем. Но Алька, чтобы не расстраивать пришедшую на обед маму, торопливо натянул на открытую ссадину пыльные, старые джинсы. И конечно, засорил ее. Обнаружилось все вчера вечером. Расстройство и нахлобучка получились двойные: во-первых, из-за распухшего колена, во-вторых, из-за того, что Алька в этих жеваных и залатанных штанах, оказывается, ходил в музыкальную школу. В храм искусства!

Сейчас Алька слегка хромает, поэтому шагаем мы неторопливо. И разговор наш неторопливый и спокойный.

Но, когда разговор этот касается «храма искусства», Алька мрачнеет:

— Неохота мне туда ходить...

— Ты же любишь музыку!

— Ну и что? Я и читать люблю. Значит, мне и книжки самому надо писать, да?

Аргумент неожиданный и потому неотразимый. Я решаю больше не касаться музыкальной темы.

Но когда мы опять выходим на Шестую Бастионную, я вспоминаю:

— К слову сказать, Шестой бастион, который был здесь в Первую оборону, называли музыкальным.

— Почему? — досадливо изумляется Алька.

— Там среди защитников было много любителей музыки. В одном из офицерских блиндажей даже стояло фортепьяно.

— И его не раздолбали ядрами?

— По-моему, нет. Видишь ли, этот бастион был самый крепкий в линии обороны...

Алька оживляется. Оборона, крепости, штурмы — это разговор интересный.

Шестая Бастионная идет почти точно по старой оборонительной линии — между Седьмым и Пятым бастионами. Я рассказываю Альке про укрепления, которые стояли здесь в середине прошлого столетия: батареи Шемякина и Бутакова, люнет Белкина, Ростиславский редут. И про людей, которые здесь воевали...

— А откуда вы все это знаете?

Я объясняю, что многое знаю еще с детства, из книжек. Кое-что мне рассказывал мой отчим.

Это был человек, немало хлебнувший в жизни, с характером тяжелым и неровным, но когда он говорил о временах Нахимова, то делался совсем другим. Однажды, кажется, в третьем классе, я заболел, и отчим, присев рядом со мной, начал пересказывать «Севастопольские рассказы» Льва Толстого. Почти наизусть. Както удивительно тепло, по-доброму. Эти рассказы да еще «Севастопольская страда» Сергеева-Ценского были его любимыми книгами.

Тогда же, посмеиваясь, отчим поведал мне, как изза любви к севастопольской истории получил в гимназии переэкзаменовку. Учитель — старорежимный сухарь — наставил ему двоек, а в последний день учебного года вызвал, чтобы дать возможность спасти положение.

— Спросил не о чем-нибудь, а о Севастопольской

обороне! Представляешь? Я подумал: вот счастье-то! И давай расписывать все в деталях: позиции, имена командиров, названия кораблей, Инкерманское сражение, Балаклавское сражение... Несет меня на волнах вдохновения, а он не перебивает. И вдруг звонок! И слышу я такие слова: «Вы не закончили ответ, я не могу поставить вам оценку. Придете осенью». Вот так...

Отчима уже давно нет на свете. Оставшуюся от него книгу «Севастопольская страда» я берег долгие годы, а когда она потерялась, купил другую — в таком же издании...

И сейчас я по-прежнему люблю читать все о Первой обороне Севастополя. Конечно, я не считаю себя знатоком того времени, просто мне нравится делать в ту эпоху «глубокие рейды».

Один из таких «рейдов» я совершил два года назад, когда Алька показал мне Шестую Бастионную. Уж раз моя судьба пересеклась с этой улицей, мне захотелось подробнее узнать, чем был знаменит Шестой бастион. В истории Крымской кампании он не так известен, как, скажем, соседний Пятый или центральные — Четвертый, Третий, Корниловский... Я помнил только, что именно с Шестого бастиона в день Инкерманского сражения Минский полк атаковал французские укрепления между Карантинной бухтой и кладбищем. Командовал вылазкой артиллерийский генерал Тимофеев. Это было славное дело: минцы сквозь огонь французских штуцеров прорвались на неприятельские батареи и заклепали большущие осадные гаубицы. Потом полк отошел к батарее Шемякина, и та встретила огнем французскую бригаду генерала Лурмеля, которая попыталась преследовать русских. Многие французы, в том числе и сам генерал, были сражены картечью насмерть, остатки бригады в расстройстве отступили...

Чтобы узнать о Шестом бастионе подробнее, я опять «закопался» в старые карты и схемы, в воспоминания ветеранов из трехтомного «Севастопольского сборника», который вышел в свет больше ста лет назад, и в другие старинные книги — в те, что были у меня раньше, и в те, что сумел разыскать вновь, обходя московские букинистические магазины. Из двухтомной «Обороны Севастополя» Тотлебена, из «Восточной войны»

Богдановича, из старого романа забытого писателя Лавинцева «Под щитом Севастополя» я узнал, что Шестой бастион был самым сильным сухопутным укреплением, когда высадились на здешнем берегу французы и англичане. Другие бастионы еще только строились или были едва намечены, а Шестой, хотя и тоже не законченный, представлял собой крепость с облицованными камнем насыпями и рвом, с оборонительными башнями. С тыла его замыкала каменная казарма. На поворотных платформах наготове стояли пятнадцать крепостных орудий. Прочность бастиона, видимо, и была причиной того, что интервенты ни разу не пытались его штурмовать.

Оборонительная линия, которая в Крымскую кампанию защищала от врагов Севастополь, на картах похожа на шипастую подкову. Концы «подковы» примыкают к берегу большой Северной бухты. А шипы — это бастионы. Линия была разбита на несколько дистанций. Шестой бастион стоял в центре первой дистанции, на правом фланге обороны.

Весной и летом 1855 года артиллерией первой дистанции командовал капитан-лейтенант Стеценко. Он сменил на этой должности убитых и раненых товарищей — тоже флотских офицеров.

До начала Севастопольской обороны Стеценко служил на флагманском корабле адмирала Корнилова «Великий князь Константин» и в то же время заведовал флотскими юнкерами. В первые дни боев юнкера вместе со взрослыми моряками ушли на бастионы, и это доставило Стеценко массу хлопот. Пятого октября, когда началась первая бомбардировка Севастополя, Стеценко среди свиста ядер, дыма и грохота разрывов метался по бастионам, разыскивая начальство, которое отдало бы приказ убрать юнкеров с передовых укреплений. Как всякий нормальный человек, Стеценко понимал, что война — не детское дело, а среди его воспитанников были совсем мальчишки... Начальства он не нашел и ребят из-под огня убрал своей властью. Позже он встретил Корнилова и доложил о своих действиях; адмирал распоряжения Стеценко вполне одобрил и приказал отправить юнкеров в Николаев.

Тогда Стеценко еще не знал, что оборона продлится почти год и что, несмотря на все разумные распоряжения, много севастопольских мальчишек сложат го-

ловы вместе со взрослыми защитниками... А Корнилов этого не узнал никогда: в тот же день вражеское ядро смертельно ранило его на Малаховом кургане...

Стеценко — человек невидной наружности, спокойной отваги и большого опыта — был истинно черноморским офицером, влюбленным в Севастополь и в свои корабли. Кстати, именно по нему и по сопровождавшим его казакам были сделаны первые выстрелы той давней Крымской войны. Во главе группы разведчиков, на виду у противника и вблизи от него, Стеценко наблюдал за высадкой вражеского десанта недалеко от Евпатории. И хладнокровно рассылал с казаками донесения начальству в Евпаторию и Севастополь.

Главнокомандующий Меншиков сделал опытного офицера своим адъютантом, и в этой должности Стеценко оставался до отставки князя, а потом перешел на бастионы.

В своих воспоминаниях Стеценко замечает, что бо́льшая часть первой дистанции была наименее опасным участком в обороне города. Видимо, это в самом деле так. Только безопасность здесь была очень относительная. Осколки, ядра и штуцерные пули косили матросов, солдат и офицеров ежедневно. У Стеценко есть такие строчки: «За мое трехмесячное пребывание на ба́стионах многие командиры были убиты или ранены, некоторые выбыли по болезни, некоторые, возвратясь на свои места с худо зажившими ранами, почти все переконтужены или оглушены, и, сколько я помню, только один Белкин на своем опасном месте с начала до конца осады вышел невредим».

Разумеется, и сам Стеценко каждый день был на волосок от смерти, но об этом не вспоминает. Однажды на Ростиславском редуте рядом с ним свистнуло ядро, подбило ближнее орудие и ранило комендора. Стеценко описывает этот случай лишь для того, чтобы лишний раз показать спокойную храбрость и умение черноморских матросов: «Ходивший постоянно за мной ординарец бросился немедленно распоряжаться за комендора, и вместо подбитого новое орудие было поставлено и открыло огонь так же быстро, как на самом взыскательном смотре; подобных примеров было множество».

Стеценко отличался смелостью не только под огнем врага, но и в отношениях с начальством. Не так-то

легко было спорить с генералами, но он решился на это, когда командование разработало план устроить передовые укрепления на кладбищенской высоте, впереди Шестого бастиона. Он доказывал, что удержать слабо укрепленные позиции, которые выдвинуты далеко вперед и оторваны от основной линии, не удастся. Доводы капитан-лейтенанта не убедили старших командиров. Четыре тысячи наших солдат полегли во время безуспешных попыток закрепиться на старом севастопольском кладбище. Уцелевшие вернулись на батареи первой дистанции, на Шестой бастион.

Траншеи англичан и французов неумолимо приближались к нашим позициям. Люди гибли и гибли. Орудия выходили из строя. А те, что оставались, требовали пороха и снарядов. Особенно прожорливы были глотки тяжелых бомбических пушек. Стеценко писал, что для батареи его дистанции тяжелые 68-фунтовые снаряды совсем перестали отпускать. Вместо них приходилось использовать пудовые гранаты, а под них подкладывать деревянные поддоны нужного калибра...

Все это я рассказываю Альке, пока мы бредем мимо неярких окошек Артиллерийской слободки, под цвирканье цикад и вечерние шорохи. Рассказываю о Стеценко не потому, что он какой-то особый герой, а потому, что совсем недавно прочитал его «Воспоминания и рассуждения» о Крымской кампании. Те, что Стеценко написал уже после, когда стал контр-адмиралом...

Алька слушает с интересом. Иногда переспрашивает. Требует разъяснения:

— Что такое поддоны?

— Это деревянные пыжи. Сперва в пушку клали пороховой заряд, на него такой пыж — по калибру ствола, а потом уж ядро или бомбу. Пудовые гранаты из больших пушек без этого и не полетели бы: они же были почти вдвое меньше, чем полагалось для таких орудий...

— Все равно большие. Целый пуд... И как их бросали, такие тяжеленные?

— Это же не ручные гранаты. Так назывались разрывные снаряды...

— А у меня ручная есть. Только не старинная, а лимонка.

Я задерживаю шаг.

— Да пустая,— снисходительно говорит Алька.— Одна оболочка. Знаете, такая вся из квадратиков...

— Знаю,— сумрачно говорю я. Но Алька моей сумрачности не замечает. «Оружейная» тема подтолкнула его к воспоминаниям. Он рассказывает, что недалеко от яхт-клуба, на маленьком пляжике, волны вымыли из песка ящик с артиллерийским порохом. Конечно, тоже не старинным, а, наверно, от последней войны. Порох в пакетах разный — «лапша» и «семидырки». В воде он раскис, но, когда высыхает, очень хорошо — с шипеньем и треском — горит в костре.

Тут я совсем останавливаюсь.

— Алька...

Алька неторопливо объясняет, что это случилось не сейчас, а давным-давно, когда он был «совсем дурак, во втором классе». А теперь того ящика и в помине нет и самого пляжика нет, а главное, Алька и его приятели поумнели и прекрасно знают, что э т о — не игрушки.

Я верю Альке. Но полного покоя уже нет. Я вспоминаю, как год назад видел на Шестой Бастионной короткую, почти незаметную сценку: горит в газоне у тротуара игрушечный костерчик, сидят у него на корточках двое мальчишек лет девяти и смущенно, потерянно как-то смотрят в спину пожилому седоусому мичману. А мичман идет от них ровным шагом и несет перед собой ржавую керосиновую лампу.

Это я так подумал: лампа.

Помню, что такая лампа — плоская, круглая, с головкой для стекла — была во время войны у наших соседей Шалимовых в Тюмени. Лешка Шалимов говорил, что она похожа на противопехотную мину...

А может, ничего не случилось? Может, правда лампа или другая безобидная железяка, нужная мичману для хозяйства? А мальчишки были не такие уж насупленные?

Может быть, на этот раз и так... И все же до скольких мальчишек война дотянулась своей ржавой лапой через долгие мирные годы. Дотянулась и вырвала из жизни...

Прошуршал зябкий ветерок, и разом замолчали цикады. Я подумал, что завтра, наверно, будет дождь.

— Пойдем домой, Алька...

Назавтра дождя не было, и мы опять гуляли вечером с Алькой. Вышли на высокий берег между Хрустальным мысом и яхт-клубом. Было тепло и безветреино, закат уже почти догорел, в море мигали огоньки. На Константиновском мысу, над старинным фортом тоже мигал красный огонь маяка. Его отражение вспыхивало в воде рубиновой стрункой.

— Ты там бывал? — спросил я Альку, показав на форт.

— Не,— вздохнул он.— Там же моряки хозяйничают, они всяких любопытных не любят.

— Может, и не любят, но иногда пускают. Если очень попросить... Хочешь туда завтра со мной?

— Ой-й,— сказал Алька.— Правда?.. Ой, а если мама не пустит? Она и так недовольна, что я много хожу. Говорит: «Ты, хромой, тебе вредно...»

— Я проведу беседу... А ты старайся не хромать.

Назавтра Алька постарался не хромать и даже размотал бинт, уверяя, что все прошло. Кроме того, он ухитрился получить пятерку на уроке сольфеджио. Это настолько ошарашило его маму, что она и не подумала возражать против поездки.

Экскурсию эту устроили для меня работники Центральной детской библиотеки Севастополя. И сами тоже поехали. Маленький библиотечный автобус обвез нас вокруг Северной бухты, через Инкерман, и доставил к Константиновскому равелину.

Строгие знатоки фортификации постоянно напоминают, что называть этот форт равелином неправильно. Однако севастопольцы называют, и я буду поступать так же. У придирчивых читателей заранее прошу прощения. Еще в детстве я читал очерк Леонида Соболева «В старом равелине» о том, как семьдесят четыре краснофлотца с капитаном третьего ранга Евсевьевым и батальонным комиссаром Кулиничем удерживали эту старинную крепость. У них была важнейшая задача: обеспечить выход всех наших судов из Северной бухты, не дать немцам прорваться к берегу.

Очерк был написан в сорок втором году, почти сразу после окончания героической обороны Севастополя в Великой Отечественной войне. Соболев не знал тогда многих подробностей, многих имен. Он даже неточно назвал фамилию командира — Евсеев вместо Евсевьев. Но в самом главном Соболев был, конечно,

абсолютно точен — в опнсаннн человеческого мужества. И когда я чнтал простые н твердые, как осколкн крепостных стен, слова, у меня, у мальчишки, перехватывало горло. Так же, как в те часы, когда я смотрел кнно «Малахов курган». И даже сейчас мне кажется, что пнсатель Соболев — этот мужествеииый человек, отдавшнй всю жнзиь флоту и литературе,— стнскнвал зубы, когда писал о защитннках равелииа...

Краснофлотцы н комаиднры сделалн все, что должны былн сделать. Четыре дня — до изиачеииого приказом срока — отбнвалн фашнстскую пехоту н танки. Потом те, кто уцелел, вплавь переправились на Южную сторону, в райои Херсонеса. Мертвые иавсегда осталнсь в равелиие. Онн слнлнсь с кремнистой землей, с обугленными камнямн форта, с морем. В полукруглом дворе равелииа, средн высоких пнрамидальиых тополей, нм поставлен памятник...

...Во дворе, замкнутом каменной подковой укрепления, был отчетливо слышен каждый шум, каждый шаг по камеиной крошке. И каждое слово отдавалось в вогиутых стенах. Про последнюю оборону рассказывал капитан второго раига, который встретил иас у входа в равелни. Он ннтересно рассказывал. Может быть, слегка заученно (видио было, что ие первый раз ведет экскурсию), ио все равно ннтересно. Небольшая наша группа окружила капнтана кольцом. Ребятишек — детей, приехавших с библиотекарямн, н Альку — пропустили вперед. Ребята слушалн, задрав подбородкн н округлнв рты. Когда капнтан сказал, что уцелевшне защнтиики равелнна почти все благополучио добралнсь до своих, Алька шумио и облегченно вздохиул.

Потом наш хозяин стал говорнть о давней нсторин форта, о прошлом веке. Здесь рассказ получился чуть сбнвчнвее, а кое-что капитан даже напутал. Я это не в упрек ему замечаю, нн в коем случае! В деталях путаются и мастнтые нсторнкн, н даже автор знаменнтой «Обороны Севастополя» генерал-адъютант Тотлебен. Просто я объясняю, почему отвлекся от рассказа и стал смотреть по сторонам.

Был уже вечер, иеожнданно зябкий н ветреный. По стенам, балкончнкам и галереям крались сумеркн. Ветер, плотиый н ровный, шел с моря. Сюда, в каменный двор, он не залетал, но моиотоино шумел над равелнном н сгнбал в одну сторону острые верхушки

тополей. Над тополями в синевато-сером небе быстро двигались подкрашенные заходящим солнцем небольшие облака. Покачиваясь из стороны в сторону, реяли несколько чаек.

Хотя внизу ветра не было, неприятные сквознячки все же ползали над камнями. Алька поеживался. Он был в легонькой пионерской форме, в той, что прибежал из школы днем. Я накинул на него свой пиджак. Алька улыбнулся, но продолжал зябко перебирать ногами.

— Мерзнешь? — прошептал я.

— Да не...— тихонько отозвался Алька.

Капитан повел нас вдоль внешней стороны форта по узкой полоске суши. Два яруса широких амбразур сумрачно темнели в сложенных из каменных глыб стенах. Кое-где края амбразур казались обглоданными. Серовато-желтый камень там и тут был изрыт ударами снарядов и осколков. У берега плескалась небольшая зыбь: начавшийся недавно ветер не успел раскачать волну. Когда волны вырастут, пена примется хлестать по обветренным и обожженным войной стенам равелина...

Впрочем, не везде стены были такими. Кое-где мы увидели плиты ярко-белого никермайского камня.

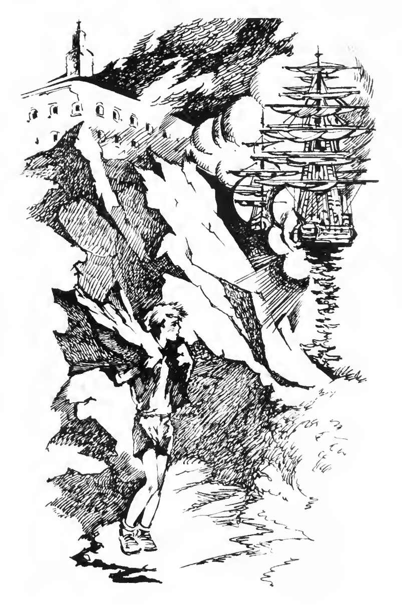
— Зачем это? — спросил я капитана.

Он разъяснил, что начинается ремонт и скоро весь форт покроют новенькой облицовкой. А в амбразурах поставят, как прежде, старинные пушки. Правда, это будут бетонные макеты, но издалека совсем как настоящие.

— Зачем? — это спросили уже и я, и Алька, и еще несколько человек. Даже очень скромный шестиклассник Алеша, который до сей поры не сказал ни слова, только смущенно мигал и улыбался.

В самом деле, зачем? Разве пережившей две страшные осады крепости нужна декоративная подмалевка? Разве следы от снарядов портят вид цитадели? И какой смысл закрывать крепчайший крымский известняк (его, говорят, теперь уже и не осталось в разработках) нынешним мягким строительным камнем? Для красоты? Но это все равно что старый, поставленный на вечный якорь броненосец стали бы покрывать белой кафельной плиткой.

Моряк пожимал плечами. Он был согласен с нами,



но говорнл, что ннчего не поделаешь: деньги отпущены, планы составлены, работы начаты. И скоро Коистантиновский форт примет «обновленный» облик.

Так оно н вышло. Сейчас равелнн уже не тот. Ои стал аккуратиее, сменил свой древннй песочный цвет иа белый, исчезли следы развалин. Торчащие из амбразур орудня, может быть, и придают ему внд настоящей крепости, но это всего-навсего внд. Он производит впечатление лишь иа приезжнх экскурсантов. А однн мой знакомый журналист, коренной севастополец, сказал, глядя на белые гладкие стеиы:

— Больничный корпус какой-то...

Но это было позже, года через два. А в тот раз мы шли вдоль еще настоящих стен Константиновского равелина и я трогал его настоящий камень — шероховатый и почему-то очень теплый.

Когда проходили мимо тыльной части форта, где еще сохранились развалины, Алька отстал (это деликатно не заметнлн). Скоро он бегом (н все еще прихрамывая) догнал нас. Мой пиджак летел за ним, словно казачья бурка.

Под конец экскурсии капитаи предложил прогуляться по стене волнолома, которая тянулась от форта поперек бухты. Дамбу эту только что закончнли строить. Она должна была защнщать внутреиинй рейд от снльных волн, когда их гнали с открытого моря штормовые западные ветры.

По верху дамбы шла выложенная плнтамн дорога. Обращеииая к морю сторона щетиннлась бетоннымн ежами. В ннх все снльнее плескалось море. Поверхиость воды была перламутрово-стальная. На горнзонте лежало снзое облако, н темное большое солнце быстро погружалось в него.

Мы дошлн до коица мола. Там, двигая заградительные боны, пыхтел буксир под флагом вспомогательного флота. На нем уютно светились иллюмннаторы. Мы двниулись обратно. Алька опять захромал, и мы с инм отстали. Ои виновато глянул на меия, сказал «я сейчас» и заковылял вниз, хватаясь за бетонные зубья.

— Да что с тобой, живот, что ли, болнт? — обеспокоеиио спросил я. Подождал Альку с полминуты, потом глянул вннз.

Алька заиимался не тем, чем я думал. Отворачнваясь от брызг, он окунал в море руку. Повериулся

ко мне и показал раскрытую ладонь. На ней лежал камешек размером с грецкий орех.

— Я его намочил, чтобы морем пропитался,— сипловатым полушепотом сказал Алька. И стал карабкаться ко мне. Я помог ему и спросил:

— Зачем тебе камень?

— Я его там, среди обломков, подобрал.

— Значит, на память?

— Ага... Я подумал, что скоро таких настоящих-то не найдешь. Стены замуруют, а осколки выметут.

«Да, он прав»,— подумал я и пожалел, что не догадался тоже подобрать камешек.

— А в море зачем макал?

— Но у вас же дома нету моря.

— Значит, ты это мне?

— Ага... Надо?

— Еще бы!

Я зажал камешек в левой руке, а правой взял Альку за мокрые пальцы, и мы пошли к берегу.

Было еще довольно светло, но форт казался темным. На его вышке вдруг часто замигала белая звезда прожектора.

— Как броненосец,— вдруг сказал Алька.

В самом деле, приземистое здание с двумя рядами амбразур, с маячной башенкой и корабельной мачтой было похоже на выдвинувшийся от берега в море старинный броненосный корабль.

...По сути дела, севастопольские форты и были береговыми броненосцами, призванными защищать город с моря. Эту задачу они всегда выполняли гордо и до конца.

К началу первой осады, в 1854 году Севастополь оказался почти незащищенным с суши, но его береговая оборона была сильна. Вход в Северную бухту охраняли два форта — Константиновский и Александровский. За ними стояли по берегам бухты еще несколько каменных батарей (Михайловский равелин сохранился до сих пор).

Свою готовность к бою морские крепости Севастополя показали 5 октября, когда французы, англичане и турки начали первую отчаянную бомбардировку города. Наши наспех воздвигнутые батареи вели кровавую

дуэль с сухопутными батареями врага, а к фортам придвинулся могучий иностранный флот. Корабли и крепости окутались дымом.

Результатом боя было то, что вражеские суда больше ни разу не отважились приблизиться к нашим береговым крепостям.

В прошлом веке в Британии жил-был контр-адмирал Коломб. Он написал известную в то. время научную книгу «Морская война». В 1894 году она вышла в России. Тогдашний наследник престола Георгий Александрович, который ведал военным флотом, всячески рекомендовал ее для изучения морским офицерам, а один экземпляр с собственноручной надписью даже преподнес выпускникам-гардемаринам Морского корпуса. Неведомыми путями эта книга через много лет попала в московский магазин «Книжная находка», а оттуда перекочевала в мою библиотеку. Меня, разумеется, привлек не автограф монаршего наследника, а описания морских баталий и осад береговых крепостей. Тем более что пишет Коломб и о Севастополе.

Впрочем, тот день 5 октября (17-го по новому стилю) этот британский флотоводец вспоминает неохотно и высказывается туманно:

«Нет необходимости сделать больше, как отметить тот факт, что наши суда в Черном море,— главным образом парусные линейные корабли,— действовали против могучих русских фортов в Севастополе 17 октября 1854 года, как довершение в помощь бомбардированию с суши и одновременно с ним. Это была превосходная выставка, или зрелище доблести, но русские форты были не алжирские и не египетские; и затем к ним нельзя было подойти ближе 750 ярдов со стороны, избранной английским флагманским кораблем, так что результаты в пользу этого особенного метода атаки были на этот раз не более ободрительны, чем до тех пор».

«До тех пор» автор описывал бомбардирование нашей крепости Свеаборг на Балтике, хотя оно произошло позже севастопольского. Этот бой тоже не принес славы флоту ее величества.

Автор «Морской войны» не совсем точен в своих описаниях. Английские корабли подходили к нашим батареям и ближе 750 ярдов (ярд — чуть меньше метра). Например, так поступил их пятидесятипушечный корабль

«Аретуза», который вел перестрелку с батареей Карташевского (недалеко от Константиновского форта). Впрочем, это и привело к тому, что после боя он отправился на ремонт в Константинополь.

Что касается «выставки или зрелища доблести», то, очевидно, контр-адмирал Коломб имеет в виду такой эпизод. Четыре английских военных корабля — «Родней», «Агамемнон», «Сан-Парейль» и «Лондон» — втерлись в сектор к северо-западу от Константиновской батареи, который почти не накрывался выстрелами русских орудий. Там эти корабли с дистанции в 450 сажен громили верхнюю открытую площадку форта из ста пятидесяти девяти пушек. Форт мог отвечать лишь из двух орудий...

Константиновская батарея пострадала в тот день больше всех береговых укреплений. Из четырехсот семидесяти человек там оказалось пятьдесят контуженых и раненых, шестеро были убиты. Верхняя площадка была разрушена, двадцать два орудия из двадцати семи, стоявших на ней, разбиты. Но бо́льшая часть пушек стояла в казематах, и там ни одна не пострадала. Форт продолжал громить врага. Вступившие с ним в бой корабли были изрядно потрепаны. На «Лондоне», «Кние» и «Агамемноне» полыхали пожары...

Нет, не принес успеха союзной эскадре англичан, французов и турок бой с русскими фортами, хотя с кораблей действовало в восемь раз больше орудий, чем с наших береговых батарей. Вражеские суда загорались. Теряли рангоут. Получали десятки пробоин. Французский адмиральский корабль был продырявлен пятьдесят раз, причем трижды в подводной части. Бомба снесла у него кормовую палубу, ранены были многие офицеры из штаба адмирала Гамелена, корабль горел. Британский «Альбион» получил девяносто три пробоины, у него были сбиты мачты.

В тот полный орудийного грохота и смертей день русские береговые батареи потеряли ранеными и убитыми сто тридцать восемь человек, эскадра противника — пятьсот двадцать. Причем только англичан и французов. Потерь турок мы не знаем.

...В августе 1855 года, когда французам удалось захватить Малахов курган, защитники бастионов взорвали укрепления на Корабельной и Городской сторонах и по наплавному мосту в полном порядке отошли на

северный берег бухты. Враг заиял горящне развалнны южной части Севастополя.

И что же?

Перед ними лежала водная полоса рейда, а на другом его берегу был все тот же Севастополь. Валы бастиоиов и иесокрушимые камеииые крепости. Чтобы взять эту часть города, иужно было форсировать бухту или обойти ее и снова начииать осаду — такую же, как иа Южиой стороие. Измотаииая армня интервентов была совершенио неспособна к такнм действням. Это поимали обе воюющие стороны. Война перестала быть войиой пушек и сделалась войной дипломатов, которые спорнлн об условнях мира.

На совести этих дипломатов — нтог всей Крымской кампании. А Севериая стороиа с ее укреплеииямн осталась иепобежденной частью Севастополя.

Обратио ехали в сумерках. В автобусе горела желтая лампочка. Все устало молчали, только мы с Алькой переговаривались вполголоса.

— Жаль, что в казематах ие успелн побывать,— вздохнул Алька.— Интересно, как там...

— Да иичего особенного,— утешнл я.— Пушек там сейчас все равно нет.

— Ну и без пушек интересно.

Тогда я стал рассказывать Альке, что казематы — это просторные помещеиня с амбразурамн в стеие двухметровой толщины. Каждый каземат был разделеи поперечной стенкой с проходом. В передией частн стояло орудие, а в задией жилн комеидоры. Большиинство пушек стреляло ядрами весом в двадцать четыре фунта, то есть прнмерио в десять килограммов. Деревянные парусинки и пароходы тех времеи легко загорались от каленых ядер. Чтобы раскалять ядра, в Коистаитниовском форте былн устроены шесть специальиых печей...

— А пианиио?

— Что «пнаинио»? — изумился я.

— Там его ие было? — хитровато спросил Алька.— Ну, как на Шестом бастиоие?

— Н-ие знаю... По-моему, иет.

— И иичего, жили людн,— сказал Алька.

Автобус довез нас до прнчала иа Севериой стороне, а оттуда мы иа катере переправилнсь к Графской прн-

станн, прямо в центр города. Здесь было тепло, н Алька отдал мне пнджак. Я перекинул его через локоть. В кулаке я все еще держал Алькин камешек. Он уже высох, но когда я лизнул его, оказалось, что на крошечном кусочке Константиновского равелина сохраннлась морская соль.

Алька заметил, что я коснулся камня губамн и сказал чуть снисходительно:

— Он долго соленый будет... еслн часто не лизать.

— Часто не буду,— пообещал я.

Алька коротко улыбнулся, но вдруг спросил очень серьезно:

— А вы знаете песню «Севастопольский камень»?

— Еще бы. С детства помню...

— Я тоже. И папа. Он ее на трубе играет.

— Песню?

— Ну, это не совсем песня. Это целая такая пьеса музыкальная. Фантазия на темы песен о Севастополе. Хотнте послушать?

— Хочу, конечно...

— Тогда пошли! Еще успеем!

— Куда?

— Папнн оркестр сегодня на Прнморском бульваре выступает. Тут, совсем рядышком... Слышите?

Я н в самом деле услышал в отдаленнн упругне голоса труб.

...Все скамейкн перед эстрадой былн заняты, нам пришлось встать у края площадкн. Но так было даже удобнее — лучше видно.

Над головамн у нас, в гуще деревьев, качалнсь цветные лампочкн, а белая раковнна эстрады сияла яркнм светом. И трубы сияли. И форменные пряжкн, н якоря на фуражках н ленточках. Я впервые увидел Алькнного отца в морской форме — в рубашке с погонами главстаршины и фуражке с «крабом».

Оркестр нграл долго — марши, вальсы н, кажется, что-то нз «Кармен-сюнты». Я уже занервничал: вернемся поздно — влетнт нам от Алькнной мамы. Но Алька мой осторожный шепот не слушал н прирос к месту.

Наконец объявнлн «Голоса Севастополя». Олег Вихрев поднялся и встал впереди оркестра.

Трубы сначала зазвучалн глухо, медленно, н я узнал суровую мелодию «Севастопольского камня». Она была похожа на тяжелый накат усталых волн. Пото-

му что печальная песня... Но Олег вскннул трубу, подхватнл мелодию, как бы поднял ее, и она зазвучала по-ниому — непобеднмо н дерзко. А потом смешалась с другой музыкой, с мотнвамн иных песен — с «Легендарным Севастополем», «Севастопольскнм вальсом», с «Вечером на рейде»... Голоса этих песен переплетались, рождалн иовую музыку, в которой был н грохот прибоя, н звон корабельных колоколов, н блеск приморского праздннка...

Затем как иапоминанне издалека снова пришла песня о легендарном камне. И Олег Вихрев опять подхватнл ее голосом своей трубы, заставил звучать тревожно н высоко, а потом перевел на иовый мотив н закоичил музыку ясной, слегка печальной мелодией, похожей иа ту, что нграют на палубах горннсты во время вечернего спуска флага.

Секунды три людн снделн тнхо, словио еще ждали чего-то. Наконец захлопалн — громче, громче. Я тоже. Алька хлопать не стал. Решнл, наверно, что неловко: получится, будто хвастается отцом. Но лицо у него было счастлнвое. Когда шум утнх, Алька спросил:

— Хорошо, да?

— Да...

— Я больше всего люблю, когда папа это играет.

— А сам не хочешь стать музыкантом,— ие удержался я.

Алька сразу набычнлся:

— Потому что ему нравнтся нграть, а мие иет. Я слушать люблю, а нграю плохо.

— Вовсе не плохо...

— Ну, все равно. Мне не нравится.

— А что нравится?

Алька вроде бы не расслышал. Через полмииуты он сказал:

— А мы с папой модель строим. Трехмачтовый фрегат. С алыми парусами.

...Теперь этот фрегат стонт в комнате Вихревых, иа широкой застекленной полке, перед книгами. Замечательиый корабль, как иастоящий...

Алька так н ие стал скрнпачом. После восьми классов ои поступил в училнще, чтобы сделаться корабельным плотннком. Огорченной маме он сказал, что это одна нз самых древннх профессný. И самых почетиых. Между прочим, Петр Первый тоже был корабельиый плотинк.

Мама ответила, что Петр Первый был не только корабельным плотником, но и (между прочим!) императором России.

Алька заявил, что императором быть не согласен. Эта профессия нравится ему еще меньше, чем скрипач. Папа добавил, что если бы Петр Первый не был корабельным плотником, он не построил бы российский флот и не стал бы Петром Великим. Этим папа отвлек мамино внимание на себя. Мама повернулась к нему, чтобы изложить свою точку зрения на Петра, на историю российского флота, на профессию плотника и на него, на папу.

Но тут отвлек на себя внимание Роська. В кухне он уронил на пол алюминиевую кастрюлю, в которую мама сложила помытые ложки и вилки...

СТРЕЛА ОТ ДЕТСКОГО АРБАЛЕТА

Шестая Бастионная начинается у площади Восставших. Здесь многие названия напоминают о мятежном крейсере «Очаков», поднявшем красный флаг в ноябре 1905 года. Недалеко улица Очаковцев, улица Шмидта, улица Частника. Рядом кладбище Коммунаров, где похоронены руководители восстания — Шмидт, Частник, Антоненко и Гладков.

...На кладбище безлюдно. Тихо-тихо. Желтоватое сентябрьское солнце нагрело цоколь памятника. Он из красноватого камня и сложен в виде пятиконечной звезды. На цоколе дремлет худой серый котенок. Он иногда вздрагивает и трогает лапой полузасохшие цветы, которые лежат рядом. Их шевелит еле заметный ветерок.

Над цоколем серая скала с металлическим флагом и настоящим якорем — то, о чем просил перед смертью Шмидт. Есть, пожалуй, что-то трогательно-детское в том, как он описывал памятник, который поставят на его могиле севастопольские рабочие. Он был их пожиз-

иеиим депутатом. Ои требовал, чтобы тело его после казии было отдаио рабочим и оии сами похороиили его.

...Первый раз я прочитал о Петре Петровиче Шмидте еще в давием детстве. Среди старых киги в шкафу Лешки Шалимова я иаткиулся иа тоикую книжечку Б. Звонарева «Лейтеиаит Шмидт». Оиа была издаиа в 1939 году в серии «Библиотека красиоармейца». Потом я читал о Шмидте все, что мог иайти. Найти удавалось ие так уж миого, ио даже из скупых и часто сухих рассказов вырастал образ человека с удивительиой душой. Если бы Шмидта ие было иа самом деле, если бы его придумал какой-иибудь писатель, автора обвиииили бы в иеправдоподобии. В стремлеиии создать образ героя без страха и упрека, уместиый в старых ромаиах и легеидах, а ие в реальиости иачала двадцатого века.

Но Шмидт был.

В его ясиой душе сочетались иежиость и стальиое мужество. Ои боялся причииить людям зло и в то же время был абсолютио бесстрашеи, готов пожертвовать для людей жизиью. В ием кипела иеудержимая, доходящая до яростиых вспышек иеиависть к злобиым солдафоиам в офицерских и адмиральских погоиах, к царю, к жестокости, ко всему, что угиетало и оскорбляло Россию. А рядом с этой иеиавистью — удивительиая ласковость и любовь к товарищам, к морю, к детям...

Иногда ои был даже иаивеи. Но это — иаивиость человека с благородиым, открытым сердцем.

Ои с самого иачала поиимал, что иеподготовлеииое восстаиие окоичится разгромом. Но матросы видели в ием комаидира, оии позвали его, и ои без колебаиий пошел с иими. Чтобы ие оставить их одиих. Чтобы стать щитом и миогих спасти от смертиого приговора. И сам пример его жизии и смерти сто́ит миогих выиграииых сражеиий...

Шмидт иапрасио иадеялся, что власти разрешат рабочим похороиить его. Царь боялся очаковцев и живых, и мертвых. Расстреляииых зарыли иа месте казии, иа острове Березаиь, и разровияли землю.

Голько в мае семиадцатого года прах героев привезли в Севастополь. Здесь оии были похороиеиы в склепе Покровского собора иа Большой Морской. В двадцать третьем году их торжествеиио переиесли иа кладбище Коммуиаров, а в тридцать пятом встала иад могилой скала с якорем и флагом...

На улице Частника, что проходит в квартале от Шестой Бастионной, я встречался с писателем Геннадием Черкашиным. В домике его бабушки. Это была удивительно добрая, ласковая старушка, одна из тех, кто хранил и хранит память о старине своего города.

Мы приходили в белый домик с зеленой калиткой, врезанной в каменный забор, с двориком, укрытым виноградными зарослями. Бабушка угощала нас инжиром, чебуреками с вишней и домашним вином. Геннадий утверждал, что вино в точности такое же, какое делали в этих местах древние греки — жители Гераклейского полуострова.

В прохладных, побеленных комнатках висели поблекшие фотопортреты усатых матросов — предков Геннадия. На ленточках бескозырок были различимы «яти» и твердые знаки...

Геннадий Черкашин пишет о Севастополе и Черноморском флоте. Есть у него книга и о Шмидте. Хорошая, большая книга. Черкашин много работал над ней и, конечно, знал о жизни Шмидта не в пример больше меня. Ему было что рассказать, а мне послушать. Но оказалось, что и у меня есть кое-что интересное для Геннадия. Например, история о материалах судебного дела Шмидта, которые хранятся в Вильнюсе.

Вильнюс — родина моего отца. Летом шестьдесят третьего года мы с отцом приехали в этот город. Вильнюс показался мне сказкой Андерсена. Путаница старинных улочек, зеленые откосы и мостики, крепостные башни, арки, флюгера. Готика и барокко соборов, которые подымаются вокруг тебя прямо к зениту. Средневековые глобусы в полутемном читальном зале университета. Лавки с антикварными книгами. Смех ребятишек, играющих в узких вымощенных дворах среди плюща, каменных лесенок и галерей. Чешуя солнца на отполированной брусчатке мостовых.

Я влюбился в город «с первого взгляда», и отец был счастлив. Он повел меня на обширный пустырь за вокзалом, и мы остановились у плоского бугра. Бугор зарос высокой травой и колючками. Кое-где среди травы виднелась кирпичная кладка.

— Вот здесь был наш дом... То есть не наш, конечно...— отец тихо улыбнулся.— Мы с мамой снимали две комнатки...

Я молчал, взяв отца за локоть.

Свою бабушку, мать отца, я не знал. Она умерла задолго до моего рождеиия. Говорят, в молодости эта панна нз какого-то местечка под Варшавой была ослепнтельно красива. И чудовищио бедна. Она служнла кассиршей в захудалом виленском магазнччке. Но, несмотря на бедность, гордости моей бабке было ие занимать. Если верить семейным легендам, оиа утверждала, что род ее восходит к каким-то древиим графам королевства польского. Возможно, из-за этой истинно шляхетской гордости она трудно ужнвалась с людьмн и была несчастлива в замужестве. Подробностей ее жизни я уже никогда ие узиаю, известно только, что сына Петеиьку, моего будущего отца, она с малолетства воспитывала одна.

Мне рассказывали, что до старости бабушка оставалась человеком сурового нрава, с характером иеприступиым и капризиым... Но для отца она была просто мама, которая по-русски, по-польски и по-литовски пела ему колыбельные песеики и мазала бальзамом своего изготовления царапины, когда восьмилетний Петенька с луком и стрелами являлся домой с «охоты» из ближних зарослей...

...Из зарослей вылетела и упала рядом с нами желтая оструганная стрела. С голубиным сизым пером и жестяным иакоиечииком. Потом появились двое мальчншек лет десяти и девочка. Оии шли к нам через бугор. Один из мальчиков тащил за собой через траву сделанный из досок самокат. Другой нес маленький арбалет с резиновой тетивой. Они остановились в трех шагах и нерешительно смотрели, как отец вертит в пальцах поднятую стрелу.

Мальчик с арбалетом — белоголовый, со светлыми царапинами на загорелых плечах и иогах, с репьями, прилипшими к майке,— сказал с легким прибалтийскнм акцентом·

— Извините. Мы не знали, что здесь кто-то ходит.

— Здесь иикого ие бывает,— строго заметила смуглая девочка.

А похожий на нее мальчик с самокатом — иаверио, брат — так же строго спросил:

— Вы уже посмотрели? Можно взять?

Отец подал стрелу белоголовому мальчику с арбалетом.

— Спасибо,— тихо сказал мальчик.

Брат и сестра заулыбались, тоже сказали «спасибо» и вдвоем развернули тяжелый самокат. Вопрос для них был решен. Стрелок пошел за ними, но вдруг обернулся и спросил:

— А она в вас не попала?— Он качнул стрелой.

— Все в порядке. Мы целы и невредимы,— отозвался я.

— Хорошо,— сказал мальчик опять без улыбки.

И они ушли. Трава качалась, над ней летали пушистые семена.

— По-моему, ты в детстве был такой же белобрысый и серьезный,— заметил отец.

— Гм...— сказал я, имея в виду серьезность. Отец многого не знал, после войны мы жили порознь. У меня был отчим.

Мы обошли заросший фундамент. У каменного забора, спрятавшись в кустах, стояла маленькая почерневшая статуя не то святого, не то рыцаря в высоком шлеме и плаще.

— Рядом с ним я играл когда-то...— улыбнулся отец.— Таких памятников еще много в старых дворах, они все на учете. Но про этот, по-моему, не знают даже в Литовской академии наук.

— Что же ты не расскажешь им? Ты же часто там бываешь...

Отец не ответил, только опять улыбнулся. Я его, кажется, понял: не всегда хочется пускать в свое детство посторонних.

В середине дня отец повел меня в Академию наук показать кое-какие издания в отделе редких книг. Это была его ошибка, потому что на том и закончились наши прогулки по Вильнюсу. В библиотеке мне рассказали, что ее основателем был видный общественный деятель юрист Фаддей Евстахиевич Врублевский. Один из тех, кто защищал на суде Шмидта.

Врублевский и Шмидт подружились в те трагические дни.

В архиве Врублевского осталось много бумаг, связанных с процессом. Сейчас они хранились здесь, в библиотеке.

Через пятнадцать минут я зарылся в письма, черновики и оттиски судебных речей, газетные вырезки, записки. Кое-что было написано рукой Шмидта.

Я увидел листок со строчками:
«Caesar morituri Te salutant!
Слова многоуважаемого защитника моего Ф. Е. Врублевского в его защитительной речи по моему делу.
П. Шмидт
16 февраля 1906 г.»

Шмидт оставил эту записку на память Врублевскому, когда все шло к концу. Не помню, в какой связи использовал Врублевский древнее приветствие гладиаторов. Но у Шмидта оно звучало как прощание: «Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!» Он приветствовал так своего беззаветного и смелого защитника, потому что знал: усилия Врублевского и других адвокатов оказались бесполезными. А защищать себя сам он не собирался.

Назавтра ему предстояло сказать свое последнее слово.

И Шмидт сказал это слово. Речь его и сейчас читаешь с нервным холодком и с гордостью за человеческое мужество. Она потрясла всех: и слушателей в зале, и судей, и охрану. Есть много свидетельств, что если бы Шмидт в тот момент захотел уйти на свободу, ни один конвойный не встал бы на пути и не сделал бы попытки выстрелить вслед. Да и в крепости охрана предлагала Шмидту бежать.

Он не ушел. Для этого пришлось бы оставить товарищей. Это дало бы повод врагам обвинить его в малодушии.

И что он стал бы делать потом? Скрываться? Или жить за границей, вдали от России, без которой он не мог? Это было не для него. Он был человек-факел, и судьба ему предназначила сгореть яростно, светло и открыто...

И все-таки, читая о Шмидте, я каждый раз жалел, что он не ушел. Я представлял, как он мог это сделать. Закончил говорить, медленно оглядел поникших судей, притихший зал, пожал плечами и пошел к двери. Локтем отодвинул растерянного конвойного офицера. И зашагал, постукивая каблуками по каменным плиткам коридора, прямой, легкий, в черном своем плаще, застегнутом на груди медной пряжкой в виде львиных голов. К узкому, как щель, выходу, за которым светился солнечный день...

Но не было этого. И день в Очакове стоял сырой и промозглый...

Я читал, а отец томился рядом. Он-то надеялся еще походить со мной по Вильнюсу и показать массу интересных мест. По-моему, он даже обиделся. И наконец спросил:

— Неужели это для тебя так важно?

— Важно,— сказал я.— Очень... Ты уж поверь и не сердись.

Отец понял. И ушел раскапывать материалы для своей диссертации по славянским языкам...

Я просидел над бумагами до вечера.

Осенью того же года я написал не то очерк, не то рассказ «Тень Каравеллы». Там говорилось о Вильнюсе и Севастополе, о книгах про Шмидта и о маленькой каравелле, которую давным-давно, в сороковых годах, построил Володя Шалимов, старший брат моего соседа и приятеля Лешки. Каравелла называлась «Лейтенант Шмидт». Очерк напечатали в журнале «Урал» и даже похвалили. Я был счастлив. И тогда я еще не знал, что это лишь начало. Что я напишу потом повесть с таким же названием и что компания моих друзей-мальчишек на окраине Свердловска превратится в отряд «Каравелла», которым мне предстоит командовать больше двух десятков лет.

Но повесть была написана. Отряд вырастал, делался крепким. В поселке Уктус, у самого леса, недалеко от знаменитого свердловского трамплина, разносились хрипловатые сигналы горнистов и треск барабанов, выводя из себя владельцев местных огородов, угрюмых пенсионеров и всех, кто считает шумных и самостоятельных ребят помехою для своего устоявшегося куркульского бытия. Мы ходили в походы, пели песни на костровой площадке в ближнем лесу, устраивали фехтовальные турниры, снимали маленькой кинокамерой приключенческие фильмы. Шили паруса для будущих яхт. Наступил шестьдесят восьмой год.

В июле, когда я вернулся с ребятами из палаточного лагеря, пришло письмо из Минска, где жил отец. В письме сообщалось, что отец смертельно болен. Я вылетел в Белоруссию.

Отец сильно похудел, все время кашлял, часто лежал.

С вежливой улыбкой выслушивал объяснения врача о затяжной пневмонии. Про незаконченную докторскую диссертацию он уже не говорил, часто вспоминал детство и Вильнюс. Меня он спросил:

— А как твоя книга о Шмидте? Ты ведь собирался писать.

Я сказал, что все равно не сумею написать так же хорошо, как Паустовский в повести «Черное море». Эту повесть я всегда возил с собой и дал отцу. Он полистал, обещал прочитать.

— А как твои ребята?

Я показал ему фотографии мальчишек с рюкзаками, отчаянных фехтовальщиков, устроивших бой на заросшей поляне, и горнистов, играющих сбор на вершине скалы.

— Ты не боишься?— спросил отец.

— Чего? Что свалятся?

— Нет,— сказал он.— Будущего. Ты, кажется, выбрал нестандартный образ жизни. А образ жизни выбирают навсегда. Или по крайней мере на долгие годы.

— Ну и... что?— осторожно спросил я.— Это плохо?— Спорить сейчас с отцом мне не хотелось.

— Нет...— улыбнулся он и закашлялся.— Но... трудно...

Я хотел напомнить отцу, что и сам он не был баловнем судьбы, но он все кашлял, кашлял. Ему принесли таблетки...

А через полчаса затрезвонил телефон. Длинно и тревожно. Я знал эти звонки: междугородная связь. И понял: меня...

Звонили ребята. Они не могли не звонить: отряд был в беде. Его просто-напросто громили. Местная «общественность» активизировалась. В «Каравеллу» являлась комиссия за комиссией. Ребятам вспомнили всё: колючие заметки в школьной стенгазете, «неуважительное» отношение к жильцам соседнего дома, сломанный (якобы ими, ребятами) стул в красном уголке домоуправления, громкие сигналы горна и споры с учителем труда в школе (который раздавал ученикам тычки и затрещины).

Оставшиеся за командиров семиклассники и восьмиклассники отбивались как могли. Они даже пошли к очень высокому начальству с вопросом: почему пионерский отряд преследуют, будто хулиганскую компанию? Бескомпромиссная ребячья логика подсказывала им пре-

дельио ясиую мысль: справедливость за иами, зиачит, иас должиы выслушать, поиять и защитить. В прииципе эта схема безупречиа. Одиако в жизии оиа требует поправок иа миогие коикретиые условия и характеры. По молодости лет и иедостатку житейского опыта ребята об этом ие зиали. Увы, сам факт, что «мелочь», пацаиятa в пиоиерских галстуках, задают взрослому иачальству вопросы, был восприият как величайшая крамола.

(Эти ребята сейчас — журиалисты, врачи, офицеры, геологи. У иих растут дети-школьиики. Но мие лишь иедавио перестали иапомииать, как «эти ваши мушкетеры» своим визитом потревожили «высшие педагогические и адмииистративиые сферы». Напомииаиия имели цель доказать, что ребят я воспитываю иеправильио.)

Положеиие накалилось до предела. У четыриадцатилетиих капитаиов ие было выхода. По междугородиому телефоиу оии дали «sos».

— Поезжай,— сказал отец.

Я поиимал, что едва ли еще увижу его живым. Ои тоже это поиимал. Мы обиялись. Щека у отца была теплая и иемиого колючая. На ией резко толкалась жилка.

— Я иапишу,— выдохиул я.

— Хорошо,— серьезио сказал ои с какой-то страиио зиакомой иитоиацией. И я вдруг вспомиил Вильиюс, траву иа фуидамеите разрушеииого дома и упавшую к иогам стрелу. И мие показалось, что ие я, а отец в детстве был очеиь похож иа того белоголового мальчика с арбалетом...

Я улетел, ио ие домой, а в Москву. В Свердловске рассчитывать иа помощь ие приходилось.

В Москве была жара. Пыльиые листья уиыло висели иад горячим асфальтом. Я пришел в редакцию «Пиоиера». Рассказал, в чем дело. В коице коицов, «Каравелла» — корреспоидеитский отряд журиала. Пусть помогают. Тогдашиий редактор «Пиоиера» Наталья Владимировиа Ильииа успокоила меия:

— Отряду мы, коиечио, поможем. Я созвоиюсь со школьиым отделом «Правды», попрошу их вмешаться. Это будет вериее всего... Завтра после обеда всем этим и займемся.

— Почему же ие с утра?— иетерпеливо спросил я.

— А вы утром ие пойдете в Дом литераторов?

— Зачем?

— Разве вы ие слышали? Умер Паустовский.

Утром я поехал на улицу Герцена, в Центральный дом лнтераторов. Люди шли н шли к его распахнутым дверям.

Зал был полон н тих. Мие показалось, что это ие просто похорониая тншиna. В ией было какое-то печальио-тревожиое ожндаиие. Паустовский лежал иогами к залу. Гроб был поставлеи слегка иаклонио. Казалось, Коистаитии Георгиевич приподиялся, вслушиваясь в иепрочную тишину.

Смерть разгладила морщины, и лнцо Паустовского было молодым. Гораздо моложе, чем иа снимке, который я как-то сделал с экрана телевнзора. Эта фотография висела у меня над столом. Коистаитни Георгневнч смотрел с иее насуплеиио н требовательио, иадвннувшнсь на зрителя большнм лбом с ломаиымн лнниями морщнн...

Я иикогда не видел Паустовского при жизии. Коиечно, хотелось увидеть. Несколько раз думал иабраться смелостн и поехать в Тарусу. Илн хотя бы послать свон книги. Но останавливала трезвая мысль: сколько молодых лнтераторов, сколько влюбленных в его книги чнтателей мечтают о такой встрече; сколько авторов шлют свои книжки и рукопнси. Ему, человеку, который всю жизиь так цеинл уеднеиие н покой — ие ради покоя, а ради возможиости миого н без суеты работать. Пнсать, писать, пнсать, чтобы успеть как можио больше рассказать людям о земле н о море, о страдаииях н благородстве, о мужестве и нелегком уменнн быть счастливым.

Я утешал себя, что короткая встреча все равно инчего ие нзмеиит в жизин. Паустовский и без иее сделал для меия все, что мог. Ои сделал меня писателем.

В пятом классе я прочитал его «Далекне годы». Прочитал взахлеб. С благодариостью и с тоской, что у меня иет такого друга, как тот мальчишка, жнвшнй в заросшем каштаиами Киеве в иачале иашего века. Мы бы поияли друг друга. Ои, как и я, мечтал получнть в подарок осколок окаменевшей ржавчнны от старого якоря. Он так же, как н я, берег свои придуманиые корабли от насмешек сытых, самоувереиных людей... Так же, как я, жил врозь с отцом...

С того дия я читал у Паустовского все, что мог разыскать в библиотеках и у зиакомых...

Осеиью пятьдесят шестого года мы, студеиты-первокурсиики, убирали картошку иа раскисшнх от дождей

полях под Красноуфимском. Сапог у меня не было. Брезентовые ботинки развалились. Я заходился кашлем. Бывший с нами заместитель декана отправил меня и одного моего сокурсника с поля дежурить в большой избе, которая служила нам общежитием. Мы вымыли полы, перетряхнули соломенные тюфяки, накололи дров и уселись у разгоревшейся печки. Было тихо, шуршал за окном мелкий дождь, трещала горящая береста. Однокурсник — человек с «жизненным опытом», из вечных студентов — дал мне для согрева что-то хлебнуть из фляжки. Потом стал читать свой рассказ. То ли под влиянием глотка, то ли потому, что рассказ был очень скверный, я придрался к одному пышному сравнению и ударился в критику. Мой коллега был оскорблен. Он прекратил чтение, обозвал меня сосунком и сказал, что я сам бездарь со своими потугами на романтические новеллы.

— Будущее покажет, что из кого получится,— уверенно произнес он.

— Покажет,— заносчиво согласился я и улегся на тюфяк.

На низком подоконнике вразброс лежали старые журналы. Я взял прошлогодний номер «Октября» и открыл наугад. И увидел имя Паустовского. Это была первая публикация «Золотой розы», о которой я раньше только слышал.

Я читал до позднего вечера эту повесть о красоте земли и человеческих душ. О тяжкой, порою непосильной писательской работе и о счастье, которое эта работа дает. О том, что писательство — не только труд, не только долг, но и потребность души. Это когда человек *не может не писать*.

Я радовался повести и мучился. Мучился потому, что *не мог* не писать, но знал, что писать не умею. Не в силах. Нет терпения довести до конца даже коротенький рассказ. Слова лепятся в беспомощные фразы, и никогда мне не рассказать людям то, что задумано.

Я стонал от бессилия. И от стыда. Мое недавнее согласие, что «будущее покажет», было хвастливым выкриком сопляка, бездарного и нахального,— теперь я это понимал отчетливо.

Ночью я включил под одеялом фонарик и, сцепив зубы, начал писать новый рассказ. Он опять не получился. Тогда я еще не знал простой истины: если сам видишь, что не получается, значит, не все потеряно. Значит, есть

хоть какая-то иадежда, что когда-нибудь что-иибудь получится. Я не знал этого, но все же иадеялся. И мучился снова. Потому что иначе не мог.

С этой поры осталась привычка писать карандашом в общей тетради. И мучиться приходится, пожалуй, не меньше, чем тогда. И радоваться, несмотря на мученя. В этом и есть то непростое счастье, о котором писал Паустовский.

...Из зала я поднялся в комнату, где готовнли смены почетного караула. Было миого людей, ио из зиакомых я увидел только Агнию Львовиу Барто. Мы молча кивнули друг другу. Желающих встать в караул было миого, и я долго не решался подойти к распорядителю. Потом подошел. Спросили, кто и откуда. Я иазвал себя, сказал, что из Свердловской пнсательской органнзации. Мне дали широкую черио-красную повязку.

В карауле я стоял в ногах у Паустовского и видел его легкие коричиевые полуботинкн. Новые, с нетроиутой кожей иа подошвах. Виднмо, специальио купнлн для похорои. Почему-то ие оставляла мысль об этнх полуботинках. О том, что Паустовский никуда и никогда в иих не пойдет. Эти подошвы не оставят следа ин на траве, ни на асфальте, ни на прнбрежном песке, нн иа камнях в Херсоиесе...

Говорят, Паустовский мечтал поселнться в Херсонесе, иа краю Севастополя, рядом с развалинами древних башен, рядом с сигнальным колоколом иад высоким обрывом — в этом старнином колоколе отдается эхо штормов. Среди камней, поросших травой с мелкнмн желтыми цветамн. Теплым запахом этой травы пропитаны старые переулкн, прибрежные камни и бастионы...

У края сцены стоял рояль. Седая пиаиистка в черном бархатном платье негромко играла «Смерть Озе» Грига.

О Грнге я тоже узнал в детстве от Паустовского. Он много пнсал о «снежиой» музыке Грига в разных киигах. В том числе и в повести «Далекне годы».

Мне вспомнилась опять эта повесть. Начинается она главой «Смерть отца». Я не мог не думать о своем отце. Две смерти — уже наступившая и та, которая неизбежно придет,— давали ощущение одной большой утраты. И безиадежности.

Но сквозь безнадежность пробивалась тревога. За ребят, за отряд. Будто где-то далеко трубил в помятый горн дежурный горнист Валерка. Трубил неумело, отрывисто и сердито. Это звучал сигнал опасности. Но безнадежности в нем не было. Это была тревога жизни...

Когда караул сменили, я опять прошел в зал. Начиналась гражданская панихида. Сердитый, взлохмаченный Виктор Шкловский вскинул голову и резко сказал:

— Не надо плакать! Река закончила свой путь. Она слилась с морем...

Конечно, он говорил о море вечной жизни, литературы, борьбы за истину и радость. Но мне тут же вспомнилась опять синяя искрящаяся ширь и всплески прибоя у скал Херсонеса...

«Черное море»... Повесть о Севастополе, о революции, о Шмидте. Сколько бы ни говорили о любви Паустовского к средней России, к рязанским проселкам и омутам близ Оки, Черное море он любил не меньше. Любил преданно и постоянно. Это же видно на каждой его странице, написанной про моряков, про Севастополь, про любой клочок древних крымских берегов.

Говорят, в болгарском городе Созополе есть музей Паустовского. Жаль, что нет у нас. Мне кажется, когда-нибудь благодарные севастопольцы поставят памятник Паустовскому. Он был певцом этого города.

Было бы хорошо, если бы памятник стоял где-нибудь на скалистом мысу и постаментом ему служили бы источенные морем и ветрами камни этой скалы. Крепкий ветер с моря прижимал бы к камням жесткую траву все с теми же мелкими желтыми цветами. И было бы тихо, только вскрикивал в отдалении бакен-ревун, который раскачивают волны недалеко от Константиновского равелина...

После панихиды я вышел на улицу. Всю ширину улицы Герцена занимала плотная молчаливая толпа. В окнах арабского посольства напротив ЦДЛ были видны прижатые к стеклам коричневые лица. Протискиваясь от дверей, я увидел Олега Тихомирова, молодого писателя, автора хороших детских книжек. Тогда он работал в «Пионере». Мы встали рядом.

— Выносят...— сказал кто-то. Толпа разом качнулась. Мы с Олегом взялись за руки, чтобы держаться вместе. В мегафон громко объявили, что желающие ехать на кладбище в Тарусу могут занять места в автобусах.

Я не мог поехать. В три часа меня ждали в редакции «Правды»...

Идти в газету со мной должен был знакомый журналист. Мы договорились встретиться в «Пионере». Когда я пришел туда, он ждал меня. Я сказал, что был на похоронах Паустовского.

Мы помолчали.

Стало темно.

Стало удивительно темно. Это неожиданно собралась над Москвой черная июльская гроза. Из окна одиннадцатого этажа стало видно, что зажглись окна в домах и фары автомобилей.

Никогда я не видел такой грозы — ни раньше, ни потом. Это не риторический прием, в самом деле не видел. Было гораздо темнее, чем обычной летней ночью. Словно все грозы, о которых писал Паустовский,— с их чернильной тьмой, седыми шипучими ливнями и обжигающими глаза вспышками,— сошлись над печальной вереницей автобусов, чтобы отдать последний громовой салют...

После грозы стало прохладно. Москва была умытая, асфальт блестел, как синие реки.

Встреча в «Правде» прошла хорошо. Столько лет минуло, а я до сих пор помню ощущение прочности и успокоенности, которое принес мне тот разговор. У журналистов «Правды» прекрасное умение проникать сразу в суть событий и принимать четкие решения.

— Мы ребят в обиду не дадим,— сказали мне.— Сегодня же позвоним в Свердловск. А потом пришлем туда корреспондента. Вот вы...— Это уже моему спутнику.— Вы и поедете. Согласны?

Тот радостно сказал, что согласен.

После редакции мы вдвоем зашли на междугородный телефонный пункт и поехали на ВДНХ. Просто так, в парк. Бродили по аллеям. Вечерело, мокрые листья мягко поблескивали под желтым солнцем. Я думал, что сейчас в Свердловске тоже прошел теплый дождь. И, может быть, мои штурманы-пятиклассники Игорек и Валерка бегают по заросшей улице от дома к дому, путаясь ногами в мокрой высокой траве, среди которой почти не видно тропинок. Они, эти мальчишки, разносят весть, что отряду больше ничего не грозит («Откуда ты знаешь?»— «Слава только что звонил из Москвы». Они во все времена называли меня просто по имени)...

В Свердловске было не так уж спокойно. Правда, звонок из редакции подействовал, комиссии на время прекратились. Но местная «общественность» (особенно дамы из «домового комитета») не сдавалась. В союзниках у нее была окрестная шпана, не терпевшая «пионерчиков» в форменных рубашках с красными галстуками и морскими нашивками.

Знакомый журналист из Москвы не приехал: его неожиданно послали в командировку за границу.

Ребят надо было держать вместе, готовыми к «обороне». Я собрал отряд по тревоге. Но, собрав, нужно было начинать какое-то дело. И мы назло недругам сняли в ближнем лесу наш самый лучший и веселый фильм той поры: «Вождь краснокожих».

Лихого Джонни играл Игорек — тонкий, быстроногий насмешливый мальчишка в матроске. Совсем непохожий на американца и похожий на веселых загорелых севастопольских мальчишек.

Отец умер в середине ноября. Пришла телеграмма.

Гроб закопали в закаменевшую от ранних морозов землю. Это был черный гроб с орнаментом из картонных серебристых листьев. Листья были похожи на картонажные игрушки, которыми в детстве я украшал небогатые новогодние елки военных лет.

В тот же вечер я уехал, забрав с отцовского стола его медаль «За победу над Германией» и старинный фотоснимок — на нем отец снят годовалым мальчиком с матерью. Это было мое единственное наследство...

Я мало знал отца. После войны мы виделись редко. Но я все чаще вспоминаю то, что сохранилось от довоенного детства. Как мы лежим на кровати и отец читает «Сказку о рыбаке и рыбке» — сказку, где есть синее море. Или как мы стоим на высоком крыльце городского музея, а перед нами весенний разлив реки Туры — до самого горизонта сизая, пасмурная вода.

— Папа, это море?

Не помню, что он сказал.

А так хочется вспомнить. Многое. Чем дальше, тем все дороже для нас крошечные искорки памяти, самые маленькие вестники из далекого детства.

Даже если это бумажный голубь или стрела, пущенная из травы белоголовым мальчиком.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТАРЫМ ТЕТРАДЯМ

1

Всегда я завидовал людям, которым хватает умення вести дневникн. Особенно своему другу художнику Евгенню Пииаеву. В его тетрадках, блокнотах н толстых коиторскнх киигах — н воеииое детство, н полная дорог и приключеинй юность, и рейсы на траулерах и парусниках по разиым морям и океанам...

А меня лишь однажды хватило на иесколько месяцев — с февраля по апрель пятьдесят второго года,— когда был семиклассннком. И сколько же радостей н горестей в этих трех месяцах! Намек на первую влюблеииость (записанный хнтрым «двойиым» шнфром). Печальный рассказ об нзмене друга. Гнев на несправедлнвость взрослых. Радость иовой дружбы. Плаиы на будущее (еще такое далекое!), записи о только что прочитаиных книгах, о трофейном фильме «Тарзан», о солнечиом затменин 25 февраля, о героической драке на деревяниых мечах... И первые стихи:

Стихн, конечио, о море. Я его тогда еще не видел. И вообще не видел никаких мест, кроме родиого города Тюмени и нескольких окрестиых деревеиь.

Потом пришлось поездить иемало, ио уже инкогда не хватало временн и терпения для подробиых записей. Только иа Кубе в течеиие месяца делал иаброскн в тетрадн почти каждый деиь. Но это исключеннe.

И тем не меиее иакопилась в шкафу чуть ие сотня общнх тетрадей. Чериовнки рассказов, которые я сочинял студентом на лекциях. Незаконченная фантастическая повесть — я писал ее иа целнне в Хакаснн в пятьдесят шестом году (иа нарах при фонарике, на грудах зериа в минуты коротких перерывов обмолота, в хибарке полевого стаиа Карасук во время редкнх дождливых выходиых и даже в тряском кузове грузовнка). Тетради с плаиамн походов н спискамн ребячьей флотилии «Каравелла». И опять чериовнки, плаиы, иаброскн, адреса, чертежн парусов, сценарии любительских фнльмов...

И все же там и тут, среди перепутаниых страниц недопнсаиных рассказов, средн перечней дел, которые иеобходнмо провернуть в блнжайшне дни (теперь уже давио минувшие), попадаются тороплнвые карандашные строки путевых записей и беглых заметок о встречах.

Например, такне:

«Дорога на Дмнтров. Яхрома. Броизовые каравеллы на башиях шлюза... Может быть, отправнться в дальнее путешествие прямо из Дмитрова? И каравеллы, застывшие в иеподвижиой стремнтельности, проводят в путь...»

«Подмосковье. Густые плакучие березы стоят без лнстьев н похожи иа частое темиое кружево. Из длинных щелей между темными серо-лнловыми облакамн сочится огонь заката, растекается. Пробивается сквозь сетку берез. Щель в облаках такая же яркая, как в приоткрытой печиой дверце, когда в комнате погашеи свет».

«Красные клеиовые лнстья — как озябшие ладони. Погреть бы у печки...»

«Москва — Ростов.

Кругловатая н болтливая девочка лет десяти шумно сочнняет стихи в вагоином корндоре у окна: «В небе желтым пятиом солнце желтеет, а на льду иа реке рыбаки сииеют...»

«У Тагаирога застывшее Азовское море. Застругн сие-

га вдали блестят, как волиы. А дальше иепоиятио, есть лед или иет, там сииий тумаи. А так хотелось увидеть, открытое море...

Мальчик лет четырех, чериоглазый и бойкий. Подружился с моряком-сверхсрочииком, тот дарит ему фуражку с золотым «крабом». Малыш громко ревет, когда мать хочет вериуть фуражку старшиие. Фуражка остается у малыша. Проводиик Сергей учит его играть в иарды. Сергей иазывает эту игру «шешу-беш»...

Фаяисовые изоляторы иа перекладииах телеграфиых столбов похожи иа белых иахохлившихся пичуг, сидящих парами. Сои-сказка: поздио иочью изоляторы вдруг привстают иа тоиких иожках, раскрывают крылышки и разом — фр-р-р! — сиимаются с надоевших перекладии-насестов... Это сои для малыша в морской фуражке».

Или вот сиова запись о далеком от моря подмосковиом Дмитрове, где я часто гостил у приятеля.

«Май. Березы, иависшие иад улицей. Оии плывут в иебе, слегка освещеииые дымчатым послезакатиым светом. В это время иа улицах громче голоса ребятишек. Костры иа огородах. Толька Жильцов поджег иа грядах мусориую кучу...

Третьеклассиик Толик Жильцов иеравиодушеи к рослой пятиклассиице Малышкииой. Про иего рассказывают, что в мииуту откровеииости ои призиался: «Буду летчиком и буду катать Малышку иа самолете».

Леия Леваков — белеиький и сероглазый — самый иезаметиый из всех. Хорошо улыбается.

...Овраг в Дмитрове. Мы с мальчишками стреляем из моего спортивиого лука. Стрелы втыкаются в откос. Издалека откос ровиого зелеио-бурого цвета, а когда подходишь вытаскивать стрелу — ои в молодой траве, мелких камиях, глииистых проплешииах. Моросит дождик, пахиет мокрой травой.

Разговор. Солидиый Вова Игиатьев убеждает Леню Левакова:

— Этот дождь ие коичится до иочи.

— Коичится,— тихо говорит Леня.— Видишь, просвет? Скоро будет солице и даже радуга будет.

— Никакой радуги...

— Ну, ладио,— сказал он.— Ну, пусть. Хорошо... А если коичится дождь, и засветит солице, и будет радуга, тогда пойдем в лес?

Ои отчаяиио иадеется, верит, что ни дождь, ни солн-

це не обманут его и радуга встанет. Она вырастет на востоке, как громадные ворота, и тогда мы отправимся в лесной поход...

...Мы приходим в сумрачный еловый лес. Толька поджигает на стволе подтеки смолы. У нее запах ладана. Смола стекает в подставленные осколки бутылочного стекла и застывает удивительными фигурками: петух, кикимора, морская звезда...»

И так далее... Простите меня за сумбур этих строчек. Для себя я здесь вижу все-таки некоторую закономерность. Больше всего записей о ребятах. Такая уж профессия: ловить черты быстрой ребячьей жизни, мелькание мальчишечьих и девчоночьих характеров, их слова, поступки, неожиданные мысли... Что-то войдет в будущие книжки. Что-то навсегда останется в торопливых строчках полустершегося карандаша.

И среди этих строчек то и дело мысли о море. Тянет оно к себе.

Каравеллы у Дмитрова — как упрек: «Что-то долго ты не был в Севастополе...»

И застывшая смола в подмосковном лесу — как морская звезда...

Это я наугад перелистал две голубые тетради шестьдесят третьего — шестьдесят четвертого годов (их липкие клеенчатые обложки с треском отклеились друг от друга).

Каждая запись — как первое колечко в тонкой цепи. Потянул — и пошли воспоминания. О разных людях и городах. И все-таки больше всего о Севастополе.

2

«5 ноября 63 г.

Улица Сергеева-Ценского — просто лестница. Двое мальчишек лет семи козыряют морякам и просят «звездочку, конфетку или яблоко». В их представлении это вполне порядочное дело, все закономерно: моряки — большие, добрые люди, просто полубоги, они все понимают и все могут...»

Я отчетливо помню этот солнечный, тихий день больше двадцати лет назад — он пришел ясный, почти летний, после холодных дождей. Я жил тогда недалеко от Севастопольской ГРЭС, у приятеля, в тихой улочке на высоком берегу Северной бухты. Несколько суток

я провалялся с непонятной какой-то лихорадкой и теперь впервые после болезни приехал в город.

Солнечное тепло было как подарок. И как подарок — эта забавная сценка с мальчишками. Один — в матросской курточке, большущих не по росту брюках и детской бескозырке, круглощекий и большеухий. Второй — в рыжем лыжном костюме, худенький, веснушчатый и сдержанно-решительный.

Они совсем не походили на хитрых попрошаек. Их, по-моему, не так уж привлекала сама «добыча». Главное было убедиться в доброте самых лучших людей на свете — моряков (на штатских прохожих мальчишки не обращали внимания).

Ладони вскинуты к бескозырке и курчавой голове.

— Здрасте! Дядя, у вас есть конфетка?

— Или звездочка?

У матросов растерянные лица. Потом кто-то смеется, дарит значок, огрызок карандаша. Малыши сияют. Молоденький мичман с блестящим кортиком неожиданно достал из кармана шоколадную конфету. Они солидно поблагодарили. Конфету разломили, а фантик разыграли: веснушчатый спрятал его в кулаке и протянул обе руки товарищу. Тот хлопнул по кулаку и угадал...

Оттуда, с улицы Сергеева-Ценского, я поехал в Херсонес. Он был тогда тих и пустынен.

«В сухой траве у древней колонны затрещал поздний, осенний кузнечик... Под ногами хрустят ракушки и черепки. Насупленный, сердитый мальчик ходит и что-то подбирает с земли. На нем спортивные штаны, надетые наоборот — задний карман спереди, чтобы удобнее складывать находки. Подобрал какую-то вещицу, повертел, отбросил. Я подождал и поднял ее. Цоколь большой лампы. Черная надпись: «600 вт. Цоколем вниз». Наверно, от фонаря решетчатого створного маяка, что на обрыве...

Ветер от берега, и волны пологие, без гребней. В Карантинной бухте плеск волн похож на шум беспрерывно льющейся, звонкой воды...

Волны обтачивают камни и придают им удивительные формы. Изъеденный морем белый камень похож на выбеленный солнцем лошадиный череп.

Развалины и скалы. Часто непонятно, где кончается

каменная кладка древних стен и начинается дикая порода ракушечника и песчаника. Блестят перламутровые осколки мидий, мелкие обломки костей, обточенные, как голыши...

Круглые впадины на каменных площадках похожи иа следы громадных зверей. Скалы желтые и серовато-белые, а во впадииах сочная трава — маленькие оазисы. Трава в каждой впадине разная; в одной иа длиниых стеблях мелкие, частые листнки, сложеииые в звездочки; в другой — травка обыкиовениая, как в старом городском дворе (та, которую козы щиплют). А на склонах холмов, под которыми скрыты древние дома и храмы,— солиечная россыпь сурепки и поздиих одуваичнков...

И еще удивительиая трава: мясистые листики с шипами, словно крошечные кактусы. Маленькая Мекснка на черноморскнх скалах. Эти лнстикн с шипами осторожно выкапывает н кладет в передник загорелая старушка...

У каменного забора, иа лужайке, окружеииой зарослями дрока, сошлись рыжий телеиок и огиеино-ораижевый петух. Нос к иосу. Внимательно и удивленно разглядывают друг друга...

Внизу, недалеко от каменистого пляжа под колоколом, рыбаки ставят сетн иа кефаль. У берега мотобот со шлюпкой на буксире... Девочка в синей шерстяной кофте до колеи принесла обед отцу. Здесь работает рыбацкая артель...

Мотобот стрекочет очень звоико, будто большой кузиечик. При таком звуке мне почему-то вспомииаются сухие стрекозиные крылья, которые блестят на солнце...»

Такой вот был этот день. Ннчего тогда ие случнлось, ио сейчас он вспоминается, как тихий праздник.

А потом — отрывистая запись о вечере:

«Черная вода Севастопольского рейда. Катер проходил почти под самыми навнсшими иосами кораблей. На ннх — редкие огоньки...

Мальчик и кот. Окошко в домике иад обрывом.

Среди множества ярких огней — скромные синне огоньки. Уднвительиое дело: когда смотришь прищурнвшнсь на сиийе огни, оии выбрасывают ие четыре луча, а пять — звездочкой...

Прнчал ГРЭС. Рыбак таскает рыбу за рыбой...

Отражеиия огней полощутся в воде, как развериутые из рулонов полосы материи...»

3

Отражения огней в самом деле были похожи на желтый шелк. Узкие полотиища вертикальио уходили иа глубину и полоскались в чериой воде. От иих отрывались яркие лоскутки и прыгали по волнам.

От веселых этих отражеиий делалось теплее. А вообще-то вечер был зябкий... После тихого, солиечного дня, когда закат над морем и Коистаитиновским равелииом растаял и небо почернело, потянул с Севериой стороны прохватывающий ветерок. Чтобы опять не схватить какую-иибудь лихорадку, я ушел с открытой кормы в железную внутренность катера.

Пассажиров было мало. Суетливо стучал двигатель, горела неяркая лампочка, подрагивала железная палуба. Нить лампочки искрами отражалась в бугорках палубных заклепок, отполироваииых миогими подошвами. К сырому железу прилипли брошениые билетики с бледно-голубыми якорями.

Я прошел в нос, где слабее был звук движка. Сел иа пустую скамейку и опять увидел мальчика и кота.

Опять потому, что первый раз я заметил их при посадке. Мальчик лет одиннадцати, в куцем пальтишке и синем беретике от школьной формы, шел впереди меия. Кота он нес под мышкой. Кот был большой, серо-полосатый. Ои ие сопротивлялся, лапы и голова его размягчеино висели. Только прямой гладкий хвост иетороплино описывал круги. Это означало сдержанное раздражение и протест.

Теперь мальчик сидел наискосок от меня, а кот в проходе между скамьями. Кот делал вид, что с мальчиком незнаком и едет по своим делам.

Мальчик сердито двинул потертым резииовым сапожком и проговорил громким шепотом:

— У, паразит. Попрошай усатый...

Кот сидел иеподвижио, и усатая морда его выражала полиую отрешеииость. Ои явио давал поиять, что слова мальчика не о ием.

— Обормот,— вполголоса сказал мальчик. Потом встретился со мной глазами и смутился. Повозил сапожком по заклепкам палубы. Снова быстро подиял гла-

за. Хорошие были у него глаза, теплые такие. Они смотрели из-под аккуратной светлой челки, и я вспомнил дмитровского Леню Левакова. Мальчик шевельнул уголками губ, но сразу погасил эту нерешительную полуулыбку. Опять повернулся к коту:

— У, швабра...

Кот снова не отреагировал. Тем более что на швабру он, гладкий и упитанный, совсем не походил.

— За что ты его так? — спросил я.

Мальчик коротко шмыгнул носом и сказал:

— Да ну его... Он бродяга.

— В каком смысле? Из дома бегает?

— Ну да! — Мальчик опять бросил на кота неласковый взгляд, а мне улыбнулся.— Он такой... Вот как выйдет из дома да увидит катер — сразу шасть на него. И едет на Графскую. Он умный, всегда знает, какой катер на Графскую... А там трется у рыбаков и попрошайничает. Ждет, когда рыбу дадут.

— Ясно,— сказал я.

Мне была известна эта порода здешних котов. Я не раз видел их на севастопольских пристанях. Они сидели рядом с удильщиками и ждали долю добычи. Но мальчик напрасно сказал о попрошайничестве. Коты держали себя очень достойно. Даже величественно. Они были неподвижны, и на мордах их отражалось полное спокойствие. Коты были уверены, что получат свое. И правда, рыбаки — мальчишки и взрослые — обязательно давали такому хвостатому сторожу по рыбке. Может, это был обычай, а может, примета: если не дашь, то и клева не будет.

Я заступился за кота:

— Что такого? У него к этому делу свой интерес. Угостится рыбкой и придет домой.

Мальчик озабоченно сдвинул светлые бровки.

— Ага, а если не придет? Если на катер не пустят? Один раз совсем мокрый вернулся, среди ночи. Наверно, кто-то с трапа спихнул...— Он повернулся к коту, сказал с досадой:— Не можешь, что ли, на своей пристани сидеть? Обязательно на Графскую надо...

Кот независимо дернул кончиком хвоста.

— Самостоятельный он у тебя...

— Да...— охотно отозвался мальчик.— Бродячий он. У него, наверно, с детства такой характер. Я его, беспризорного, нашел в колючках, когда он вот такой был...

Малеиький хозяии кота нешироко развел ладоии, и тоиеиькие руки его далеко высуиулись из обтрепаиивых рукавов пальтишка. На запястьях я заметил подсохшие царапииы. Уж ие от кота ли?

— Зиачит, ои удирает, а ты за иим ездишь? — спросил я.

Мальчик шевельиул плечом: что, мол, поделаешь? Потом вздохиул:

— Жалко ведь, если пропадет. Я ведь его... иу, привык уже. И мама тоже...

— Мама за тебя, иаверио, больше волиуется, когда ты по вечерам уезжаешь...

Ои улыбиулся:

— А ее сейчас дома иет, оиа во вторую смеиу работает иа ГРЭСе.— Потом повериулся к коту:— Скажи спасибо, что иа работе. А то бы оиа тебя вздрючила.

Кот демоистративио зевиул розовой пастью.

Двигатель застучал реже: катер подходил к причалу «Голлаидия». Кот подиялся и ие оглядываясь пошел к выходу. Мальчик — за иим. У выхода ои огляиулся иа меия. Словио хотел сказать «до свидаиья» и ие решился. Наше коротеикое зиакомство было ие таким, чтобы прощаться по всем правилам. И все же мальчик попрощался со миой теплыми своими глазами и короткой улыбкой.

Я вышел к трапу. Неподалеку светились ряды окошек морского училища. А справа, иа скалистом мысу, при свете редких фоиарей лепились к скалам, громоздились друг иад другом белые домики. К иим вела среди камией и кустов крутая тропиика. Мальчик подиимался по тропиике. Кота я ие разглядел, ио мальчик двигался спокойио, зиачит, кот благополучио шел впереди...

Катер стоял долго. Через иесколько мииут я заметил, как в одиом из домиков, за чериыми плетьми вииограда, засветилось уютиое окошко. Я был уверен, что это мальчик с котом пришли домой.

Оии съедят оставлеииый мамой ужии, после этого мальчик возьмет кингу (обязательио иитересиую и толстую), заберется с ией в постель, а иакормлеииый и прощеииый кот устроится у иего в иогах и замурлыкает от леии и спокойиой радости. За стеиами домика будут вскрикивать сиреиы катеров, изредка греметь корабельиые цепи и шуршать в подсохших виииградиых листьях ветер...

Катер отвалил от пирса. Я опять вышел на палубу. Высокие берега и корпуса громадных кораблей сдерживали ветер, стало теплее. Высоко над нами нависали изогнутые форштевни с сигнальными огоньками на носовых флагштоках. А по всему простору черной воды опять полоскались отражения больших огней — береговых и корабельных. Желтых и разноцветных.

Тут-то я впервые и заметил, что синие огоньки на судах и рельсовых стрелках, если сощуришься, выбрасывают не четыре луча, а пять...

Через полчаса катер ткнулся бортом в причал ГРЭС. Над причалом горела очень яркая лампочка. В разных концах пристанской площадки торчали из-за поручней длинные удилища. Между ними метался мужичок в брезентовом плаще и полинялой торгфлотовской фуражке. Он вскидывал то одну, то другую удочку, и ярко вспыхивали чешуйки добычи.

Мужичок казался веселым. На его подбородке горели искорки седой щетины.

Сильно пахло йодистой водой и деревом обросших свай.

Домой мне совсем не хотелось, и я завязал с удачливым рыбаком беседу.

— Хорошо берет...— заметил я, когда он, грохоча сапогами, проскочил мимо.

— Берет! Я ее на соленую кефаль ловлю! — тонким обрадованным голосом откликнулся мужичок. Видать, он был несуеверный и не боялся хвастовством спугнуть везенье.— Ишь, дергать не успеваю! Чуть не голый крючок хватает!

— А что за рыба-то?

— Да пикша! — крикнул он и дернул удилище. Взметнулась леска с бусинами грузил и крючками. Блестящее зеркальце дугой пронеслось в черном небе. Рыбак отцепил и бросил его в фанерный садок. Садок был наполовину наполнен рыбками длиной от перочинного ножика до ладони.

— Всякая попадается,— охотно разъяснил веселый мужичок. Он возился с наживкой.— Есть и крупная, а есть, конечно, мелочь. Кошачья еда...

Я усмехнулся про себя и спросил наугад:

— Кот сюда случайно не приходил?

Мужичок не удивился:

— Был! Целый вечер сидел, глядел, как я дергаю...

— Угощали рыбкой?

— А как же! Ему же хочется. Существо ведь, не как-нибудь...

— А куда он подевался? Унес кто-то?

Мне почему-то хотелось, чтобы и этого кота забрал какой-нибудь мальчишка. Но рыбак сказал:

— Сам ушел! Как наелся, так и двинулся до хаты. Самостоятельный...

Я кивнул удачливому рыбаку и стал подниматься по тропинкам и каменным трапам к улице, где жил мой приятель.

С высоты, сквозь сухие листья и скрученные стручки акаций, я еще раз взглянул на рейд и берега. Мыс, где стоял домик мальчика, был отсюда не виден. А если и увидишь, разве отыщешь неяркое далекое окошко среди множества огней?

Неподалеку сдержанно гудела и светилась громадными окнами электростанция, где работала мама незнакомого мальчишки.

...Мама вернется с работы среди ночи, вздохнет, поднимет с половика книгу уснувшего мальчика, поправит на сыне одеяло. Подумает, не турнуть ли с кровати дрыхнущего кота, улыбнется и махнет рукой. И скоро окошко за черными плетьми винограда погаснет. А в Северной бухте будут по-прежнему погромыхивать якорные цепи, сдержанно урчать под стальными палубами двигатели, перемигиваться прожектора. Будут замирать и вспыхивать у черного горизонта маячные огоньки.

А над высокими рубками, над темными береговыми скалами, вдали от огней, невидимо и неустанно будут вертеться решетчатые локаторы. У мерцающих пультов, на вахте — молчаливые люди в черных морских пилотках. У них ясная и четкая задача: охранять уснувшего мальчика.

Мальчик будет во сне то хмуриться, то улыбаться: мальчишечьи сны полны приключений, в которых перемешаны сказки, школьные заботы и только что прочитанная книжка...

А коту, конечно, приснится рыба. И завтра он опять проникнет на рейсовый катер и удерет в город, на Графскую пристань. Он мог бы дежурить с рыбаками здесь, недалеко от дома, но что поделаешь, если в детстве он был беспризорником и сохранил бродячий характер...»

Я прочитал эти записки, и стало немного грустно. Никогда я больше не встречу этого мальчика с котом под мышкой. Четверть века прошла, мальчик давно вырос. Одно радует: я знаю, что он вырос хорошим человеком. Из мальчишек с такими теплыми глазами всегда вырастают добрые и храбрые мужчины.

А кота, конечно, нет уже на свете. Кошачий век по сравнению с людским короток. Но по-прежнему шастают в береговых зарослях, греются на ступенях каменных трапов и дежурят рядом с рыбаками независимые приморские коты. И среди них, я уверен, внуки того полосатого кота.

Они полны солидности и достоинства. Если им скажешь «кис-кис», они или не обращают внимания, или подходят лениво и безбоязненно. И снисходительно дают пощекотать себя за ухом...

4

Это все записи первой недели ноября шестьдесят третьего года. Среди них попалась такая:

«Школа на улице Очаковцев. Сухой шелест на асфальте. Мальчик с листом каштана. Солнце...»

Потом, через несколько лет, об этом мальчишке и об этом солнце я написал маленький рассказ. Он был напечатан среди других рассказов и путевых зарисовок, но сейчас мне хочется вставить его сюда. Он тут очень к месту: как веха, как точка на карте путешествия по старым тетрадкам...

У теплого моря осень наступает гораздо позже, чем под Москвой или на Урале. Но все-таки пришла она и сюда — в белый город над синими бухтами. И зеленые склоны, по которым вьются улицы и лестницы, покрылись желтыми и светло-коричневыми пятнами.

...Акации облетали. По серым плитам школьного двора бегали стайки рыжеватых высохших лестьев. Их гонял зябкий ветерок, и они сильно шуршали.

Было сухо, но пасмурно. Лишь кое-где голубели клочки неба. Совсем небольшие клочки.

В школе приглушенно протарахтел звонок. Во двор и на улицу стали выбегать ребята — все уже одетые по-осеннему, кое-кто даже в пальто. Только один мальчик словно попал сюда прямо из сентября, когда над го-

родом еще стоит прочное сухое тепло. Он был в зеленой с белыми клетками рубашке и светло-серых шортиках с черным лаковым ремешком. В плетеных сандалетах и аккуратных желтых носочках, которые ярко мелькали над серыми плитами, когда мальчик шел по двору.

Было ему лет десять. Худенький такой, но круглолицый мальчишка с веснушками, похожими на новые копейки, с медным ежиком волос.

В школьных воротах он на миг остановился, весело глянул на хмурые клочкастые облака и легко затопал по улице мимо деревянных прилавков, за которыми женщины продавали осенние цветы. Цветы были яркие. Мальчик тоже был яркий. Женщины смотрели на него то с улыбкой, то с тревогой: не озяб ли? Но ему, видно, совсем не было холодно в почти невесомой летней одежде. Он словно дразнил осень. Легко и независимо шагал среди плотно одетых, застегнутых на все пуговицы прохожих. Казалось, что солнечный зайчик скользит по улице.

Что-то радовало мальчика. Может быть, пятерка, может быть, близкий праздник и каникулы. Или он знал что-то хорошее, чего пока не знали другие... Он вышел на улицу Восставших и запрыгал вниз по каменным ступеням. В твердом полупустом ранце у него что-то застукало.

На углу Большой Морской он поднял с асфальта сухой пятипалый лист каштана. Очень большой, размером с бескозырку. Красивый был лист — такой же рыжевато-золотистый, как мальчик. Они понравились друг другу.

Легонько трогая листом коленки, мальчик зашагал по Большой Морской и перешел площадь Ушакова. Стоя у парапета над Южной бухтой, послушал, как часы на башне Матросского клуба отбивают склянки и вызванивают песню «Легендарный Севастополь».

Потом от стал смотреть на небо сквозь лист каштана.

В сухих листьях бывают крошечные отверстия, они похожи на проколы граненых булавок. Когда смотришь сквозь такой прокол на свет, в отверстие пробиваются искристые лучи, а в них зажигаются крошечные радуги... Но сейчас было пасмурно.

Мальчик смотрел сквозь лист и ждал чего-то. Ветер шевелил у него на рубашке растрепанные концы старенького, но очень красного галстука.

У серого облака начал золотиться край. Сперва чуть заметно, потом все горячее. И вдруг ударили лучи! И бухты опять стали удивительно синими, а дома и теплоходы очень белыми.

Мальчик дождался солнца. Оно не могло не показаться! Оно узнало своего братишку — увидело на земле веселого, солнечного человека.

Мальчик огляделся. Словно хотел сказать: «Ну что? Видели?» И, размахивая рыжим листом, побежал вниз по лестнице — она петляла по заросшему береговому откосу.

А солнце не ушло. Оно сияло все уверенней, а облака раздвигались и редели. Горьковато и тепло запахло травами. Похожий на медвежонка первоклассник остановился, уронил на асфальт портфель и стянул через голову пушистый коричневый свитер.

Я подставил солнцу ладонь и ощутил ласковый нажим его лучей.

...Следующий день был теплым и ясным. Над бухтами и внешним рейдом стояли белые круглые облака. На улицах опять мелькали яркие платья и рубашки... И мне до сих пор кажется, что веселый рыжий мальчишка подарил к празднику всему городу кусочек лета.

5

Через два дня пришел праздник. Был парад моряков, толпы на тротуарах. Мальчишки гроздьями висели на облетающих акациях и каштанах — с высоты лучше видно. Их никто не прогонял. Среди мальчишек устроился взрослый фотокорреспондент. Он был увешан аппаратами, как новогодняя елка игрушками! Об этом я тоже нашел несколько строчек. А потом — вечер.

«...Отдаленная музыка. Запах осени: сухие листья, увядающая трава. Но тепло еще, совсем тепло...

Иллюминация с холма кажется неяркой. А первый залп салюта ошарашивает своим огненным торжеством!

Салют над Историческим бульваром, над площадью Ушакова. Сверху сыплются крошки от сгоревших ракет. Эти кусочки шлака медленно остывают на асфальте. Сначала они светятся, как угольки, потом гаснут. Мальчишки подхватывают их: или для того, чтобы похвастаться друг пред другом, или на память о празднике...

Я тоже хотел подобрать кусочек белого шлака. Он

был похож на веточку коралла. Мы нагнулись над ним одновременно — я и мальчик в натянутой на уши морской пилотке.

Мальчик сел на корточки, ловко накрыл находку ладонью и глянул на меня снизу вверх. Новый залп салюта вспыхнул в его глаза разноцветными букетиками. Мальчик улыбнулся и предложил:

— Пополам.

— Давай,— согласился я.

Он быстро надавил шлаковую веточку мизинцем. Она распалась на половинки. Мальчик схватил свою и убежал, подбрасывая крошку салюта на ладони.

Я взял свою. Шлак был еще горячий, и я понес его, перебрасывая из руки в руку.

Снова разгорелись гроздья салюта. Мальчишечья стайка обогнала меня, и за ними по асфальту мчались разноцветные тени...»

ОСТРОВ ПРИВИДЕНИЯ

Опять весна...

Кто-то говорил мне, что ранняя весна пахнет свежим разрезанным арбузом. А еще я слышал где-то красивые слова, что «весной оживают запахи проснувшихся ветров и веселого солнца». Не знаю. Может быть... Мне всегда казалось, что ранняя весна пахнет просто весной... Впрочем, сейчас я понимаю, что и это не «просто». В воздухе смешиваются запахи талого снега, сырых деревянных заборов, черных проталин, где проклюнулись храбрые травинки. А еще запахи тополиной коры, под которой толкнулись в жилках соки, и железных крыш, которые сбросили снеговые пласты и греют под солнцем свои поржавевшие спины...

А над крышами в ясном высоком небе идут пушистые, желтые от солнца облака.

Когда я был маленький, мне казалось, что весна пахнет этими облаками. Если оттолкнуться новыми, скрипучими ботинками от упругих досок деревянного тротуара, подпрыгнуть высоко-высоко, ухватить кусок

похожего на легкую вату облака и уткнуться в него лицом — вот тогда-то и можно полностью надышаться влажным радостным запахом весны...

Сейчас мой дом в центре большого города, и весенние запахи пробиваются сюда еле-еле. Но я часто езжу к маме. Она живет на окраине, почти у самого леса, в деревянном двухэтажном доме. На старой тихой улице. Эта улица очень похожа на ту, где прошло мое детство. Даже высокий тополь недалеко от крыльца совсем такой же, как тот, что качал надо мной свои ветки в давние-давние годы.

И синие лужи такие же.

И пушистые облака отражаются в них так же, как в далеком сорок шестом году. Только сам я... Когда я шагаю к маминому дому через лужи по обломкам кирпичей, снизу, из синего зеркала, на меня смотрит не восьмилетний пацаненок в мятой ушанке, телогрейке до колен и с потертой полевой сумкой через плечо. Смотрит здоровенный гражданин в драповом пальто и модной шапке — такой солидный, что глядеть тошно...

Ну ладно, в конце концов не в этом дело. Все равно, как и раньше, скачет по берегам луж самый главный и вечный на Земле народ — мальчишки с легкими сосновыми корабликами. У мальчишек сейчас каникулы.

Я до сих пор люблю весенние каникулы, хотя они давно уже приносят не отдых, а массу хлопот. Это хорошие, веселые хлопоты. Начинается Неделя детской книги, и дома у меня то и дело трезвонит осипший телефон:

— Вы не забыли, что сегодня читательская конференция в районной библиотеке?

— Вы обещали прийти к нам в школу на утренник...

— Завтра у нас пионерский сбор, посвященный героям ваших книг...

По мартовским улицам я топаю к школе, библиотеке, Дому пионеров, клубу... Шагаю, попутно думая о делах и заботах. Щурясь от солнца, поглядываю по сторонам. И вдруг ахаю про себя: «Неужели это **я** иду на встречу с читателями. С моими читателями? Неужели там, на библиотечных полках и стендах, выставлены мои книжки? **Я** их написал?» Столько лет прошло, а привыкнуть все еще не могу.

«Неужели и вправду случилось в жизни такое, о чем я думал в тот февральский вечер сорок шестого года?»

Черт возьми, значит, в самом деле случилось.

...Сейчас я шагну в зал или класс, к тем, кто читал мои рассказы и повести. Ребята будут напряженно смотреть на меня и ждать: что хорошего скажет им этот пожилой, грузный дядька, которого библиотекарша и учителя усаживают за столик с приготовленным заранее букетиком и почтительно именуют «нашим дорогим земляком-писателем».

Мальчики и девочки ждут чего-то интересного. Они имеют на это право. Зря, что ли, они бросили игры среди теплых весенних дворов, не стали смотреть по телевизору «Приключения Электроника», не пошли в кино, отложили книжку Жюля Верна? Не так уж хочется посреди каникул идти в школу и сидеть на запланированном мероприятии. «А уж если пришли и сидим,— думают они,— то давайте...»

И каждый раз я чувствую себя немного виноватым. Тем более что начинать выступления до сих пор не научился.

Я говорю:

— Вот что, товарищи... Длинную речь мне заводить не хочется. Я ведь, по правде говоря, не знаю, что именно вы хотели бы услышать... Может быть, начнем с вопросов? Пусть каждый спрашивает о том, что ему интересно. Кто первый? Главное — начать...

Повисает растерянное молчание. Классные руководительницы укоризненно смотрят на меня и переглядываются: кажется, в ходе событий произошел непредвиденный сбой.

«Ой-ёй...» — говорю я про себя и приподнимаюсь за шатким столиком (букетик падает).

— Ну что же вы, ребята? — страдальчески произносит девушка-библиотекарь и глазами беспомощного гипнотизера смотрит на оробелых читателей.— Вы же так готовились, так ждали...

Я потупясь разглядываю на столике рисунки и отзывы ребят. Иногда под отзывами поставлены красными чернилами оценки: пятерки и (гораздо реже) четверки. Отзывы с тройками писателям, естественно, не показывают. А жаль. Там, несмотря на пропущенные буквы и запятые, наверно, немало интересного...

Наконец при легком вздохе всеобщего облегчения поднимается первая рука. И слышен первый вопрос. Иногда он звучит весело и даже озорно. Иногда — роб-

ко, после торопливого перешептывания с соседом. Порой — сбивчиво читается по бумажке, и автор его зябко шевелит плечами, ощущая неотрывный взор классного руководителя. Ничего, на первый раз годится и так. Сейчас я отвечу, потом сам спрошу о чем-нибудь, и разговор закрутится, как в веселом механизме, где одна шестеренка цепляется за другую. Руки начнут подниматься бойко и часто, вопросы пойдут — успевай только отвечать.

И наконец кто-нибудь обязательно скажет:

— Расскажите, как вы написали свою первую книгу!

Когда-то я ждал этого вопроса с удовольствием. Потом настороженно. Приходилось каждый раз говорить: «Вы уж не обижайтесь, если слышали про это раньше. Возможно, кое с кем из вас мы встречаемся не впервые, а вопрос такой задают обязательно — вот и приходится рассказывать одну и ту же историю».

Наконец я стал бояться этого вопроса: ужасно неловко чувствовать себя гастролером, который выступает с одним и тем же номером. Я пробовал что-то мямлить в ответ, отделываться короткими фразами, но слушатели требовали подробностей. Я опять извинялся и запускал старую пластинку.

Но однажды далеко-далеко от моего дома, в Гурзуфе, молоденькая учительница с улыбкой призналась, что слышит мое повествование четвертый раз. Сначала она выслушала его, когда еще была школьницей и жила на Урале, затем когда училась в пединституте (я выступал там перед студентами), потом когда в одной из сельских школ заменяла на практике учительницу... Мне захотелось немедленно скрыться в глубинах ласкового Черного моря и не всплывать до тех пор, пока нынешнее молодое поколение не уйдет на пенсию. Но это было невозможно. И тогда я решил, что пора кончать.

Выход был один: поскорее написать про свою первую книжку рассказ и напечатать в газете или журнале. Тогда пускай спрашивают! Я буду говорить: «Про это уже напечатано. Прочитайте, если интересно, там все-все рассказано».

Я так обрадовался этой мысли, что хотел сесть за работу в тот же день. Однако всякие срочные дела мешали... Но вот опять весна, близятся каникулы, и

времени уже почти не осталось. Я берусь за карандаш. Пишу название...

Но даже сейчас у меня ощущение, будто я не сижу один за столом, а стою в классе и на меня выжидательно смотрят сорок девчонок и мальчишек. Рыжий пятиклассник, весело морща конопатую переносицу, спрашивает:

— А как вы написали свою первую книгу?

...— Как я ее написал... Видишь ли, это длинная история.

— Вот и хорошо! Расскажите! — слышатся голоса.

— Разве вы еще не устали?

— Не-е-ет!!

«Вот черти...»

— Ну ладно... Прежде всего надо сказать, что в то время мне было чуть больше семи лет...

— У-у-у...

— Да. Именно так. Это случилось в феврале сорок шестого года.

...Хороший был год — первый мирный год после войны. Больше не надо было со страхом ждать: вдруг придет извещение, что кто-то из родных убит, ранен или пропал без вести. Но жизнь еще была нелегкая. Хлеб давали по карточкам, одежды не хватало, с дровами тоже случались перебои...

Мама, я и старшая сестра Людмила жили тогда в Тюмени, на заваленной сугробами улице Герцена, такой тихой, что по вечерам на много кварталов разносился скрип снега под полозьями саней и валенками редких прохожих...

Вечера случались хорошие и плохие. Хорошие, когда горят в печке дрова, на столе каша или макароны, посыпанные сахарным песком; мама вовремя пришла с работы и сегодня больше никуда не уйдет; в тетрадках нет ни двоек, ни грозных записей Прасковьи Ивановны; уроки вроде бы сделаны (а еще лучше, если завтра воскресенье). Но самое главное — у меня есть хорошая книжка!

Если книжки не было, никакой вечер не мог считаться полностью хорошим. Я в то время читал, как говорится, напропалую. Добывал книжки где только можно: брал в детской библиотеке на углу улиц Ленина и Челюскинцев, выпрашивал у знакомых, выменивал «на срок» у

ребят («Я тебе насовсем пистолет с резинкой, а ты мне на три дня эту книжечку. Идет?»). Больше всего мне нравились потрепанные томики детиздатовской «Библиотеки приключений» — маленькие, пухлые, в потертых коленкоровых переплетах, которые украшала узорчатая рамка со следами облезшей позолоты.

Какие это были книги! «Таинственный остров», «Аэлита», «Плутония», «Белый клык», «Всадник без головы»...

На первой странице каждой книжки я всегда видел маленький значок со словом «Детиздат» — сидящего мальчика, который положил на поднятые коленки книгу и, видимо, с головой ушел в мир бурь и приключений. Мне казалось, что этот мальчик похож на меня. По крайней мере, мы были друзьями...

Не всегда мне везло. Случалось, что я оставался совсем без книг: прежние прочитал и отдал, новых раздобыть не удалось. И вот однажды...

Вечер без книжки был унылым. Тем более что мама все не возвращалась, Людмила за что-то на меня ворчала, электричество не горело, а желтый свет керосиновой лампы делал комнату тесной и печальной.

Дрова в печке, однако, горели. Я сидел у приоткрытой дверцы и почти сердито думал о писателях. Что они за люди? Откуда у них такая сила, что могут они заставить человека забыть про все на свете? Про то, что хочется есть, про уроки, про боль в распухших от холода пятках. Даже про то, что мамы все еще нет дома, а на улицах, говорят, хозяйничает по вечерам банда «Черная кошка» (эти бандиты не только грабят, но еще страшно мяукают и царапают людей громадными железными когтями)...

«Как человек придумывает книгу, от которой не оторвешься?» — это была, кажется, первая четкая мысль в цепочке моих рассуждений.

А вторая:

«Наверно, писать такую книгу еще интереснее, чем читать...»

И третья:

«А если так, не попробовать ли самому?»

Я даже задержал дыхание — такой неожиданной и блестящей была идея.

Но почти сразу я спросил себя:

«Разве ты писатель?»

А может быть, это спросил не я, а тот мальчик с детиздатовского значка? Он вспомнился — будто поднял от книжки голову и взглянул внимательными темными глазами. Без насмешки, но недоверчиво.

Я немного смутился, но сказал:

«А что? Сперва никто не писатель, пока не написал книжку. А если написал, тогда уж... вот... Вдруг я когда-нибудь тоже?..»

«Ты же маленький».

«Но я только попробую... маленькую... Ладно?»

Он улыбнулся и сказал мне:

«Ладно. Давай».

Когда человеку семь лет, у него решительный характер. Я вскочил и сразу взялся за дело....

Обычно здесь я прерываю рассказ и спрашиваю ребят:

— Как по-вашему, что надо, чтобы написать книгу?

Нынешние школьники не лыком шиты! Аккуратная строгая девочка в белом переднике поднимает руку и говорит:

— Надо знать жизнь.

Мальчик с первой парты что-то шепчет соседу и потом сообщает:

— Надо заранее изучить материалы и составить план... Подробный.

Даже конопатый мальчишка — тот, что задал коварный вопрос о первой книге,— произносит с ужасно серьезным видом:

— Надо получше выучить русский язык.— Он хитро косится в сторону учительницы, а та одобрительно кивает.

Я вздыхаю.

— Правильно,— говорю я.— Вы молодцы. И мне сейчас неловко за себя. Потому что в тот далекий зимний вечер я не смотрел на дело так серьезно и глубоко. Мне казалось, что для работы над книгой нужны две вещи: бумага и карандаш. (Чернила не годились: они напоминали об уроках и гасили вдохновение.)

Карандаш у меня был. Даже карандаши. Цветные. Шесть штук в коробке с надписью «Спартак». Мама положила их под елку в новогоднюю ночь. Где мама взяла такую редкость, я так и не узнал. Она утверждала,

что это подарок Деда Мороза. Но я на восьмом году жизни верил в Деда Мороза не больше, чем в то, что когда-нибудь стану отличником.

Я заново отточил кухонным ножом красный и черный карандаши. Красным я выведу название и первую заглавную букву — как в старинных книгах. А черным стану писать весь роман. Я сразу решил, что это будет роман — с морскими приключениями, пиратами и сокровищами.

Итак, у меня было чем писать. А на чем?

С бумагой было туго. Чистые тетрадки выдавали нам в школе по строгому счету. Их не хватало. Часто приходилось писать на всяких случайных листках, на обороте старых документов, а задачки мы иногда решали даже на газетах.

Я подумал, что если газеты годятся для школьных занятий, то сойдут и здесь. Тем более что другого выхода не было.

Старые газеты мы припасали для растопки и хранили в углу за этажеркой. Я их вытащил оттуда под негодующие крики старшей сестрицы. Скобками из медной проволоки я сшил тетрадку размером в одну восьмую газетной страницы — так, чтобы писать поперек печатных строчек.

Потом встал коленями на стул, подвинул тетрадку к лампе, сердито оглянулся на Людмилу — чтобы не подглядывала — и вывел название: ОСТРОВ ПРИВИДЕНИЯ.

С чего начинаются главные события во всех классических романах с морскими приключениями? Конечно, с бури. Вспомните «Робинзона», «Пятнадцатилетнего капитана», «Гулливера»... Я не хотел отступать от правил. Я написал:

БУРЯ БЫЛА УЖАСТНАЯ...

Отчетливо помню большую красную букву Б в начале строки. И эту черную неровную строку с первыми словами моего «романа» (она дерзко пересекла цепочки мелкого газетного шрифта). И разлапистое Т, совершенно ненужное в слове «ужасная» (про это мне потом сказала мама).

Вторая строчка рассказывала, что «волны были, как десятиэтажный дом».

В ту пору я ни разу не видел десятиэтажных домов. Самые большие здания в Тюмени тогда были высотой в четыре этажа. Но эта высота казалась мне совершенно недостаточной, чтобы изобразить гороподобные волны «ужастной» бури.

«Ветер выл, как тысяча змеев-горынычей и дул сразу со всех сторон...»

Поразив будущих читателей картиной небывалого урагана, я приступил к изложению событий.

События заключались вот в чем.

Среди бушующих десятиэтажных волн беспомощно болталось судно с поломанными мачтами, изодранными парусами и разбитым рулем. Это была пиратская шхуна «Черная макарона» (до сих пор горжусь так славно придуманным названием). Почти всю команду смыли ревущие гребни, и осталось там лишь три человека: матрос Боб Рыбка, боцман Пушкадёр и капитан Джон Кривая Нога. Они то плакали, то молились, то ругали бурю страшными «пирацкими» словами. В трюме открылась течь, и надежды на спасение не было.

Однако я понимал, что, если пираты потонут, роман придется кончать в самом начале. И поскольку в своей книжке я был хозяин, то с помощью громадной волны швырнул несчастную «Макарону» на скалы у небольшого острова.

Шхуна булькнула и пошла на дно, а пиратов море милостиво выбросило на берег.

Буря сразу выключилась, так как больше была не нужна. Небо очистилось. Море стало гладким. Засияло солнышко. Пираты пришли в себя на белом песчаном пляже...

Скоро Джон Кривая Нога, Пушкадер и Боб Рыбка разобрались в обстановке. Они поняли, что судьба (то есть автор) забросила их на необитаемый остров. Сначала они крепко изругали судьбу (про автора им ничего не было известно), а потом сообразили, что дело не так уж плохо: лучше сидеть здесь, чем кормить рыб на дне океана.

— Ничего,— сказал капитан Джон.— Клянусь моей кривой ногой, мы еще поживем. Отдохнем здесь от приключений, а потом нас увидят с какого-нибудь корабля. Скажем, что мы (ха-ха-ха!) честные матросы с разбившегося судна, и нас отвезут на Большую землю. А там мы начнем все снова.

— Да здравствует капитан! — крикнул Пушкадер. А Боб Рыбка тихонько проговорил:

— Только очень хочется кушать...

Пиратам повезло. Конечно, необитаемый остров — не дом отдыха, но жить здесь было можно. Росли кокосы, водились на берегу вкусные крабы и черепахи. Если не лениться, с голоду не помрешь.

Из пальмовых листьев пираты построили шалаш, из крабов сварили похлебку (в большой раковине). В другой раковине — плоской, как сковородка,— приготовили омлет из черепаховых яиц. После сытной еды они сидели у маленького костра и лениво разговаривали. Тут наступил вечер, а за ним красивая тропическая ночь...

Не помню, как я описывал эту ночь, но представлял я ее очень ясно. И сейчас представляю.

Над морем и островом висело темно-зеленое небо с громадной луной. Луна была похожа на медный начищенный таз. Пальмы казались черными. И кусты, обступившие поляну с шалашом и костром, были черные. Над кустами летали светлячки. Пламя костра освещало довольные пиратские лица.

— Клянусь моей кривой ногой, здесь не так уж плохо,— проворчал капитан Джон.

— Вы абсолютно правы, капитан! — с энтузиазмом воскликнул боцман Пушкадер.

— Довольно уютно...— согласился Боб Рыбка и почему-то вздохнул.

Они еще ничего не знали...

Они не знали ужасного сюрприза, который подготовил им автор.

Дело в том, что остров был не совсем необитаемый. С давних-давних пор здесь

ЖЫЛО-БЫЛО ПРИВИДЕНИЕ...

Откуда оно тут появилось, Привидение и само не помнило. Скорее всего, какой-то сильный ураган подцепил его на дворе старинного рыцарского замка и ради шутки занес на этот остров.

Привидение очень тосковало в одиночестве. Всем известно, какая задача у привидений — кого-нибудь пугать. А кого можно пугать на необитаемом острове? Крабов? Черепах? Птичек? Но эти существа в отличие от людей совершенно не боятся нечистой силы.

Привидение по своей натуре было трудолюбивым и

общительным. Оно томилось без работы и боялось потерять квалификацию. И вот впервые за много столетий наступил для него радостный день. Вернее, ночь, потому что все привидения трудятся в ночную смену.

После захода солнца Привидение почистило обветшалый саван, немножко порепетировало в своей пещере полузабытые «пугательные» приемы, потом определило по звездам, что уже полночь, и вышло на работу.

...Боб Рыбка первый увидел, как над черными кустами тихо всплыл кто-то непонятный, с большущими горящими глазами и в длинном светлом балахоне.

— Я... ик... ик,— сказал Боб.— Мама... Я больше не буду.

Здесь я всегда делаю отступление и говорю:

— Вы должны понять Боба, Джона и Пушкадера. Они были необразованные, верили во всяких там чертей, ведьм и привидения... Конечно, вы люди современные и на их месте ничуть не испугались бы, потому что привидений нет и быть не может, но эти несчастные пираты...

Среди слушателей раздается нервное хихиканье, а иногда и открытый смех. И я начинаю догадываться, что даже среди образованных и смелых пятиклассников есть люди, которые почувствовали бы себя немного неуютно там, на ночной поляне...

...Тем более что Привидение старалось вовсю! Оно как сумасшедшее носилось вокруг поляны и выло, будто стая пикирующих бомбардировщиков. Потом оно останавливалось, печально подымало к луне прозрачные руки и унылым басом говорило непонятные заклинания.

Пираты лежали, уткнувшись носом в песок, и наперебой каялись в грехах. Они думали, что Привидение собирается взять их за шиворот и утащить прямехонько в ад.

— Клянусь кривой ногой, я брошу пиратское ремесло! — восклицал капитан Джон и посыпал песком голову.

— Совершенно верно, капитан! — вторил Пушкадер.— Я тоже клянусь! — И он стукался лбом о пустой черепаховый панцирь.

— А я вообще! — жалобно причитал Боб Рыбка.— Я давно собирался!.. Я хотел поступить в садовники и

выращивать анютины глазки! Это мой любимый цветок!

— Уавы-ахшм-бамухшнх-х-х-х,— отвечало Привидение н, иечеловечески усмехаясь, опять иачииало облет поляны...

Так продолжалось, пока звезды не показали четыре часа пополуночи. Тогда Прнвидеиие, довольиое проделанной работой, отправнлось на отдых, а обалделые от ужаса пираты до восхода лежали на песке и тихонько стонали.

Прн свете дня онн слегка пршшлн в себя н, вздрагивая, стали обсуждать ночное происшествие. Капитаи Джон еще раз поклялся своей ногой, что бросит пиратское ремесло и иачнет честиую жизнь. Пушкадер и Рыбка его, разумеется, поддержали.

Боязливо оглядываясь, бывшне пираты сделали зарядку и заиялнсь диевиымн трудами.

День прошел без всякнх страхов, но к вечеру Джон, Пушкадер н Рыбка опасливо съежилнсь у костра. И не зря. Изголодавшееся по работе Прнвндение не собиралось так легко оставлять несчастных робинзонов. Вторая ночь оказалась для них полна тех же ужасов...

И третья ночь...

И четвертая...

И пятая...

Но у человеческого характера есть неплохое свойство: постепенно он привыкает к самым большим страхам. Особеиио если страхн эти одии и те же, однообразные. И на шестую ночь бывшие пираты уже не вздрагивалн, ие прнчнтали и даже с любопытством смотрелн, как Привидеиие старается иагнать иа иих прежний трепет...

Тут, посередине длнииого рассказа, я обычно останавливаюсь, чтобы глотиуть воднчки и прочистить горло. И несколько голосов обычио говорят:

— А дальше?

— Дальше... Привидеиие тоже чувствовало, что прежией радости уже иет. Люди почти перестали бояться. Теперь пугай не пугай, а толку ие будет. А что еще может сделать Привидеиие? Оио состоит вроде бы как из тумаиа и серьезного вреда причниить человеку ие в состояиии... Кстатн, если встретитесь с привидениями,

имейте это в виду... Ну, конечно, не бывает, это я так, на всякий случай...

Ну а дальше было вот что...

Днем Джон Кривая Нога посоветовался с товарищами, а ночью (это была уже седьмая ночь) он дождался, когда Привидение всплыло над кустами, и сказал:

— Слушай, парень... Ты какой-то странный, ей-богу. Все ходишь в сторонке, разговариваешь не по-нашему... Ты подходи, не стесняйся. У нас вот похлебка еще осталась... На одном острове живем, пора уж познакомиться.

Привидение неподвижно повисло в воздухе и задумалось. С одной стороны, вроде не полагается привидениям заводить близкое знакомство с людьми... а с другой стороны, что еще делать-то?

Оно влетело в круг света и тихо присело на большую шляпу капитана Джона, которая лежала недалеко от костра. Смущенно покашляло и сказало:

— Вообще-то вы правы... Да... Здрасте.

Они познакомились и разговорились. Рассказали друг другу про свое житье-бытье. Привидение стало почти каждый вечер прилетать к новым знакомым на огонек, а иногда заглядывало и днем. Бывшие пираты всегда радовались. Привидение оказалось разговорчивым (намолчалось за века). Оно знало множество старинных легенд и охотно их рассказывало. А Джон, Пушкадер и Рыбка иногда пели Привидению морские песни (Пушкадер басом, Джон средним голосом, а Боб Рыбка тонко и нежно).

В общем, заброшенные на остров люди и одинокий призрак все больше нравились друг другу. Однажды Привидение сказало:

— Вот что, ребята... Я смотрю, люди вы неплохие. Сами говорите, что в пираты пошли не по злобе, а от скудной жизни. Бедняков не обижали, а если когда приходилось палить из пушек и махать кортиками, так что поделаешь — такая ваша была пиратская профессия...

Джон и Пушкадер завздыхали и закивали, а Боб Рыбка напомнил:

— К тому же мы теперь совсем перевоспитались...

— Вот и хорошо,— сказало Привидение.— Поэтому я хочу открыть вам одну тайну... Видите ту кривую пальму?

— Видим,— взволнованно выдохнули бывшие пираты.

— Если там, куда в полдень упадет тень от верхушки, вы станете копать яму, найдете сокровище.

Услыхав такие слова, капитан Джон, боцман Пушкадер и матрос Боб Рыбка кинулись к пальме, потому что солнце стояло в зените — был как раз полдень. Ржавыми абордажными саблями, которые они не потеряли даже при крушении, бывшие пираты начали рыхлить и разгребать землю.

И они нашли сокровище!

Это был полусгнивший сундук, полный золотых монет, всяких драгоценностей и старинного оружия. Когда сундук вытащили, он тут же рассыпался на досочки.

В капитане, боцмане и матросе проснулись прежние пиратские привычки. Пушкадер упал на кучу золота и стал загребать сокровище к себе.

— Прочь руки! — заорал Джон Кривая Нога.— По закону половина добычи принадлежит капитану! — Он схватил старинный пистолет и щелкнул курком.— Всех перестреляю!

Пистолет был, конечно, незаряженный, и капитан стукнул Пушкадера по шее рукояткой. Начался шумный дележ, который очень был похож на обыкновенную драку. Наконец Боб Рыбка (которому в этом дележе досталось всего несколько монеток) воскликнул:

— Как же нам не стыдно! Так ведем себя при посторонних! А ведь мы говорили, что перевоспитались!

И всем стало стыдно, потому что Привидение маячило неподалеку и укоризненно поглядывало на драчунов.

Капитан Джон поднялся с груды сокровищ, выплюнул четыре золотых дублона, вытряхнул из уха крупный алмаз и сказал:

— Мы это... просто так. Поиграли. Клянусь моей кривой ногой, это была просто шутка.

— Совершенно верно, капитан,— сказал Пушкадер. Сел на травку и высыпал из широкого сапога с отворотами драгоценные камни.— Давайте все в общую кучу... У вас, капитан, вон в том кармане, кажется, случайно еще с десяток монет...

— Будем делить честно,— предложил Боб Рыбка.— На четыре части.

— Почему на четыре? — удивились капитан и боцман.— Нас трое!

— А ему...— Боб украдкой кивнул в сторону При-

видения. Джон и Пушкадер засмущались и согласились.

Но когда разделили сокровище, Привидение расхохоталось. Оно сказало, что золото и алмазы ценятся только у людей, а для привидений они — тьфу! Все равно что песок. Так что пускай трое друзей все забирают себе. Бывшие пираты, конечно, не спорили — поделили на три части и долю Привидения.

Потом, тяжело дыша, каждый сел рядом со своим богатством. И Боб Рыбка печально сказал:

— Ну и что дальше? Зачем нам эти сокровища? Здесь не купишь на них даже пирожок с морковкой.

— Да! Пора решаться! — воскликнул капитан Джон (и, конечно, поклялся ногой).

— Правильно, капитан! — гаркнул Боцман.

А Боб Рыбка тихонько вздохнул.

И они решились на то, на что раньше решиться никак не могли: из пальмовых стволов соорудили плот с мачтой, из рубашек и штанов сшили парус и с попутным ветром поплыли через океан.

А Привидение, чтобы не скучало, они взяли с собой...

Я был полным хозяином в своем романе и сделал так, что плавание протекало вполне благополучно, при тихой и теплой погоде. Тяжело нагруженный золотом плот приплыл прямо в тот город, где Джон, Пушкадер и Боб когда-то были маленькими и ходили в школу.

Теперь бывшим пиратам больше не надо было заниматься разбоем. На свои сокровища каждый купил себе корабль и сделался настоящим капитаном. Стал возить грузы и пассажиров.

А Привидение поселилось на берегу, в развалинах старого маяка. Всем известно, что развалины для привидений — все равно что для человека дом со всеми удобствами. Скоро в городе стало известно, что в башне разрушенного маяка завелась нечистая сила. На маяк потянулись толпы туристов. Стали приезжать из других городов и даже из других стран. Привидение работало изо всех сил: летало по темным коридорам, сверкало глазами и выло на разные голоса. Губернатор потирал руки: деньги от туристов текли в городскую казну рекой... Правда, в конце концов Привидение переутомилось и потребовало у губернатора два выходных в неделю. Тот, конечно, согласился...

Когда капитаны Джон Кривая Нога, Пушкадер и Боб Рыбка приплывали в родной город, Привидение яв-

лялось к ним в гости. Они вчетвером сидели в кают-компании и вспоминали свои приключения на необитаемом острове.

Так заканчивалась моя первая в жизни книжка.

Получилась она довольно тонкая: семь или восемь страничек. И, скорее всего, события, которые я только что изложил, были описаны в ней не так подробно. Ведь потом я эту историю рассказывал множество раз, она обрастала деталями и, наверно, даже кое в чем изменялась. Но думаю, что я все же довольно точно передаю содержание того давнего «романа».

Писал я его пять вечеров подряд. И никому не объяснял, чем занят. Ложился грудью на тетрадку, если кто-то пытался заглянуть мне через плечо. Маме неловко говорил:

— Ну потом... Потом покажу.

А старшей сестрице предлагал идти подальше и заняться своими делами.

— Учил бы лучше уроки,— говорила Людмила.

На эти глупые слова я не реагировал и снова окунался в таинственные события на острове.

Наконец «Остров Привидения» был закончен. Я поставил красную большую точку, облегченно вздохнул и сел перечитывать свое творение.

И оказалось, что читать мне совсем неинтересно. Не потому, что плохо написано. Просто мне все уже было известно. Тогда я понял еще одну простую вещь: писатель пишет книги не для себя. Ему нужны читатели!

Ни мамы, ни даже Людмилы дома не было. Дядя Боря, живший рядом, в проходной комнате, уехал в командировку. Самый близкий читатель находился за шаткой дощатой стенкой, которая отделяла нашу квартиру от соседской. Там жил со своей матерью и старшим братом четвероклассник Лешка Шалимов.

В то время это был тощий, стриженый под машинку парнишка в обвисшем свитере, латаных штанах и подшитых, огромных, как ведра, валенках.

Впрочем, такие признаки годились почти для всякого мальчишки тех лет. Упитанностью никто не страдал, заплаты и подшитые валенки были тоже обычным явлением, а стригли под машинку всех поголовно. Даже еле заметная челочка, жалко торчащая над лбом, вызывала праведный гнев учителей и завучей... С той поры школь-

ннкн миогого добились: теперь их нелегко заставнть острнчь локоны, висящие ниже ушей. Но педагогн не подиимают белый флаг и продолжают упорную борьбу за «короткие прически». Вндно, им снятся давиие сороковые годы. и ровные ряды голых макушек. Судя по всему, оии (педагоги, а ие макушки) увереиы, что в одииаково стрижеииых головах никогда ие возникнет разиообразных н опасных идей, грозящих срывами уроков и падеиием графика успеваемости.

Увы, по собствеииому опыту зиаю, что это ие так. В наших «черепушках», украшеииых строгими прическами «под ноль», мысли бродили всякне. Очеиь разиые. Лешке, например, за деиь до описываемых событнй прншла мысль притащить в класс буднльннк и включнть под партой посредн урока звоиок. Стрнжеиые полчнща с радостиым воем кииулнсь в коридор: думали, что уже перемена. Вечером я слышал через стеику, как Лешкниа мать громко причитала и обещала разбить ии в чем не вииоватый будильник о башку беспутиого сыиа. А братстудеит иепедагогнчио хохотал...

Лешка был по иатуре скептиком. Ои смотрел на окружающее с ироиической ухмылкой. Ко всему хорошему ои отиосился с недоверием. Я зиал это, ио выхода у меия ие было. Я для храбрости иабрал в себя воздуху, зажмурился н крепко забарабаиил в стеику. Оиа затряслась и загудела. Послышались Лешкииы крики — сердитые и жалобиые.

А через полмииуты на пороге возник сам Лешка. Его макушку украшало круглое чериильиое пятио.

...Здесь все слушатели почему-то смеются. Оин думают, что, колотя в перегородку, я с какой-то полки опрокинул иа Лешкину башку чернильницу. Ничего подобиого. Кто будет приколачнвать полку на такую шаткую стеику да еще ставить туда посуду с чернилами? Дело было в другом. Лешка ие умел решать задачкн. Он нх иеиавидел. Особеиио те, где говорилось про бассейн с трубамн. Вода то наливалась в этот бассейи, то вытекала нз иего, н надо было решнть, когда он в коице коицов иаполиится. Лешка негодовал: «Неужели ие могут сделать для трубы затычку, чтобы ничего ие выливалось? Набралось бы до краев — и крышка!» Вот и сейчас ои пришел злющий, потому что ие получалась такая задача.

Писали тогда деревяииыми ручками-вставочками со стальиыми перьями (сейчас их можио увидеть, пожалуй,

только на почтах и в сберкассах). Перья макали в чернильницы-непроливашки или аптечные пузырьки, где разводили купленный на толкучке чернильный порошок. У Дешки был пузырек. Лешка заполнял его по самое горлышко, чтобы не возиться лишний раз. Когда он злился на задачку, то забывал про все и опускал ручку в чернила «по самый корешок». Пальцы поэтому были перемазаны. А что делает четвероклассник, если не получается задачка? Бросает ручку и скребет перемазанными пальцами затылок. Оттого и пятно. Чем оно больше, тем, значит, сложнее попалась задача.

Сейчас пятно на Лешкином темени было размером с тюбетейку. Лешка сказал свистящим от злости голосом:

— Не можешь, балда, позвать по-человечески? Обязательно стенку ломать? Тут и так ни фига не решается, а он...

Я скромно переждал эту вспышку негодования и примирительно произнес:

— Ладно, Лешка. Завтра спишешь задачку у Эльки Матюхиной. (Это была Лешкина соседка по парте). А я вот...— Здесь я засмущался и потупил глаза. Потом сипловато выговорил: — Я тут книжку написал...

Надо было видеть Лешкино лицо. Он посмотрел на меня сперва с изумлением, а потом как на курицу, которая грозится облететь вокруг света.

— Ты?..— сказал он.

Однако отступать мне было некуда. Я вздохнул и протянул ему газетную тетрадку.

Лешка усмехнулся так, что у меня под майкой разбежались колючие шарики. Но тетрадку он взял. Прислонился к дверному косяку, отставил правую ногу в необъятном своем валенке, помусолил палец, откинул обложку и зашевелил губами.

У меня выключилось дыхание...

Однако, чем дальше Лешка читал, тем серьезнее делалось у него лицо. Он уже не слюнявил палец и страницы перелистывал аккуратно.

Так, не отходя от косяка, он проглотил мой роман «Остров Привидения». А проглотив, сделался опять насмешливым и недоверчивым:

— Ну и что? Ты это где-то списал.

Я очень обиделся, но обиду скрыл. Только сказал, что никогда не имел привычки что-нибудь списывать. Это н е к о т о р ы е то и дело списывают у соседки по

парте задачки и упражнения... И, кроме того, где я мог это списать? Может быть, Лешка читал раньше книгу про остров с Привидением? Или хотя бы слышал про такую?

Лешка поскреб чернильную макушку и вынужден был признать, что не читал и не слышал.

— Ну ладно, не заводись на простокваше,— снисходительно произнес он.— Если сам, то ничего... Давай, я завтра к нам в класс унесу. Почитаем, а потом скажу, понравилась нашим или нет...

Я заволновался. Я просто заметался в душе. Конечно, какой писатель не мечтает, чтобы читателей было как можно больше? Но страшно же: одно дело — знакомый (хотя и вредный) Лешка, другое — сорок почти незнакомых людей...

— Ну.... ладно,— решился я.— Только вы не очень... Если там какие недостатки, не ругайте изо всех сил. Все же это у меня первая книжка.

— Ничего,— отозвался Лешка.— Там свои люди, не вздрагивай...

Но я «вздрагивал». И в этот вечер, и потом еще целый день. Лешка учился во вторую смену, и я с трепетом ждал, когда он явится из школы.

Явился он, конечно, поздно. Встал на пороге, вынул из облезлого портфеля мою газетную тетрадь — порядком измочаленную — и протянул ее таким жестом, каким во времена Кутузова и Наполеона протягивали маршалам пакеты с важными донесениями.

— Забирай,— сказал он.— Мы читали вслух. Даже Анна Яковлевна подходила и слушала. Все говорят, что ты пишешь, как Жюль Верн. Валяй дальше!

Надо ли говорить, как я возликовал!

Вдохновленный массовым признанием, я склепал новую тетрадку и сел писать свой второй роман.

Однако дело двигалось хуже. Помню, что я пытался сочинить историю про старого капитана, который попал в плен к индейцам и подружился с мальчишкой — сыном индейского вождя (здесь было что-то от «Кавказского пленника» Льва Толстого, которого мы как раз читали в классе). У меня не получалось описание американского берега, к которому капитан приплыл на своем корабле. Я мучился. Тетрадка была исчеркана, я сделал другую, но это не помогло. Самое скверное, что целыми

днями я думал только о своей новой книжке. Ни о чем другом! Это, коиечно, сказалось иа отметках. В табеле запахло двойкой по арифметике, а дома — крупным скандалом. Тогда я впервые поиял, что писательская работа — совсем ие мед.

Спасла меия весиа. Началась она неожиданно, резко, будто кто-то щелчком выключателя повысил в солнце иакал. И однажды, прыгая в своих валеиках по кирпичикам, брошениым в лужи, я поиял, что не хочу писать книги, а хочу, как все иормальиые люди, кидаться комками из тающего снега, иоситься по двору и делать из сосиовой коры парусиые кораблики.

Со всеми этими делами, одиако, произошла задержка.

Валеики не годились для весеиией погоды, а ботииок еще не было. Маме со дня на день обещали иа работе выдать их по какому-то ордеру, но ие выдавали: то ордер ие подписаи, то кладовщик уехал, то иет нужного размера. И поэтому я сидел дома.

То, что ие иадо ходить в школу, я пережил без особой горечи. Но под иашими окиами растекалась прекрасная мартовская лужа — целый океаи. И по этому океану ходили эскадры с бумажными парусами. Лешка, очевидио, был адмиралом. Ои командовал, когда устраивали гоики и морские сражеиия. А я сидел иа подокониике и с тоскливой завистью смотрел иа это парусиое праздиество.

Накоиец я не выдержал. Забарабаиил по стеклу, обратил иа себя виимаиие адмирала Шалимова и умоляющими знаками просигиалил, чтобы ои прииес мие кусок сосиовой коры. После чтеиия моего «ромаиа» Лешка отиосился ко мие с иекоторым уважеием. Ои сиизошел к моей просьбе. И через несколько мииут я кухоииым иожом (тем же, которым чиииил караидаши для «Острова Привидеиия») обрабатывал мягкую коричиевую кору, стараясь заострить иос будущего брига «Робиизон».

Потом я вколотил в корабельиый остов две лучиикимачты и воткиул в корму руль из толстого бритвеииого лезвия «Стандарт».

В этот момеит пришла иа обедениый перерыв мама. Ботииок она так и ие получила, ио купила на толкучке резииовые сапоги. Почти иовые, только с двумя аккуратиыми заплатками. Оии пришлись мие в самую пору (правда, пришлось иадеть еще толстые иоски и отогиуть голеиища).

Скорее на улицу! Туда, где сияют просторы весенних морей!

Но сначала надо было оснастить «Робинзон» парусами. Подходящей бумаги под руками не оказалось, и я без всякого сострадания пустил на марсели и брамсели тетрадку с «Островом Привидения»...

Как ни странно, мой кораблик оказался быстроходнее других. Он лихо резал носом воду и прекрасно держался на курсе. Может быть, это действовал бритвенный руль. Но, скорее всего, причина в том, что паруса моего брига были особенные. Видимо, они сохраняли в себе силу моего вдохновения, силу тех морских ветров, которые шумели на страницах моей первой книжки...

Даже Лешка снисходительно признал первенство моего брига «Робинзон» (напомнив, что именно он, Лешка, добыл для него кору на соседской поленнице). Счастливый, забывший о времени, я до вечера метался по берегам огромной синей лужи. Я радовался морской жизни: сверканию солнца, теплому ветру, парусам и крикам веселых капитанов... Я ничуть не жалел о порванном романе и был уверен, что напишу еще много книг. А пока я отправлял свое удачливое суденышко все в новые и новые рейсы...

За этим делом и застала меня мама, когда вернулась с работы.

— Ой-ей-ей! — сказала она.— Да ты же сырой насквозь!

Насквозь не насквозь, а в сапогах громко хлюпало (одна заплатка отлетела в первые полчаса).

— Домой,— сказала мама.— Домой, домой, домой...

— Подожди! — взмолился я.— Последний разик!

...Помню очень ясно, как я стою коленками на шатких досках деревянного тротуарчика, а по воде, отразившей чистое небо, убегает к далекому берегу бриг «Робинзон».

Мама терпеливо ждет. Она понимает...

Она всегда понимала меня. Мои игры, мои стихи, мои тайны и мою странную привязанность к парусам. Именно ей посвятил я книжку о первых кораблях своего детства.

И этот рассказ я тоже посвящаю маме... Только подожди, мама, не торопи меня с улицы домой, пока мой кораблик не приткнулся к дальнему берегу. Пока впереди есть еще пространство синей чистой воды...

ВЕЧЕРНИЕ ИГРЫ

Улица Генерала Петрова пересекает Шестую Бастионную как раз посредине, на горе, в Артиллерийской слободке. Перекресток здесь широкий. Это маленькая площадь. Каменистая, с небольшими островками зелени. С будкой, на которой ржавеет вывеска «Керосин». С магазинчиком на углу. Здесь я покупаю на ужин маринованные оливки и очень мягкий хлеб.

Я часто брожу по слободке. Эти места у меня самые любимые.

Лучше всего здесь бродить вечером, когда солнце уже нырнуло в море, а в травяных зарослях пробуют свою музыку цикады (или ночные кузнечики, или сверчки — их по-всякому называют). Они дают пока не сильные и не длинные трели. Словно сказочные стеклянные самолетики в траве начинают прокручивать перед взлетом крошечные моторы...

Почти всегда улочки выводят меня на ту маленькую площадь. С одного края у нее — лестничная площадка. По лестнице улица Генерала Петрова спускается к шоссе,

бегущему в Херсонес, к древним развалинам и раскопкам. А Шестая Бастионная тянется вдоль пологого верха горы дальше, к Катерной, где на углу до сих пор стоит оборонительная башня бастиона...

Если встать на парапет лестницы, увидишь берег Херсонеса с разрушенным храмом, а дальше — небоскребы нового района у Камышовой бухты. А над берегами, над развалинами и небоскребами — громадное светлое море и закат.

Закат бросает бронзовые отсветы на Городской холм — на белые дома, на зелень, на купол Владимирского собора. Яблоко и крест над куполом загораются золотым огнем. Этот огонь виден в море издалека. Недаром собор отмечен в лоциях и на морских картах как знак для судоводителей...

Все мне здесь знакомо-знакомо. И эти улицы вдали на холме, и эта кремнистая площадь, и эта лестница, и дворик рядом с ней — там, на плоском сарайчике, всегда лежит перевернутый корпус маленькой яхты. И запахи ласкового южного сентября, и стеклянные трели цикад, и голоса мальчишек — здесь, на площади, и в ближних переулках.

Мальчишки играют. Недавно прошел на телеэкранах трехсерийный фильм «Д'Артаньян и три мушкетера», и сейчас во дворах, на пустырях и перекрестках стучат деревянные шпаги. Их частый, неравномерный стук перемешивается с веселой перекличкой и боевыми командами, горячим дыханием бойцов и цоканьем подошв по камням. Это тоже очень знакомо. Это было всегда...

Мимо промчался пацаненок лет девяти. Смуглозолотой от загара и заката. Распахнутая голубая рубашка летела у него за спиной, как мушкетерский плащ, не хватало только вышитых серебряными нитками крестов и лилий. В каждой руке мальчишка держал по деревянному мечу. Один — за рукоять, второй — за средину клинка. Наверно, этот второй меч он спешил отнести товарищу.

Мальчик проскочил так близко, что мне приподняло ветром волосы. И я на миг ощутил запах свежеоструганной древесины. И даже успел разглядеть оружие: янтарные сосновые волокна вдоль клинков, прибитую гвоздем перекладинку у рукоятки, грубовато выструганный эфес... И сразу память толчком подбросила давнее-давнее

ощущение — как прикасается ладонь к деревянной рукояти, которую только что обработал кухонным ножом. Как сжимают эту рукоять пальцы. Как переносится на мышцы предплечья увесистость вытесанного из доски клинка. Ж-жих!— и валится у забора срезанный под корень куст чертополоха. А в дальнем конце двора, у сараев и похожих на крепости поленниц, уже нетерпеливо окликают меня мальчишки — мои приятели с улицы Герцена...

Я вглядываюсь в память, как в глубокое темноватое зеркало, и вижу себя — четвероклассника послевоенных сороковых годов из городка Тюмени, что стоит на полынных и глинистых берегах Туры. Отчетливо вижу, от макушки до пяток.

На макушке — сатиновая тюбетейка. Когда-то она была бордовая, а сейчас от солнца и дождей стала светло-рыжая. Жиденький вышитый узор на ней совершенно поблек, из него торчат нитки. Тюбетейка закрывает лишь темя. Отросшая челка (к августу — выгоревшая до полной белизны) лежит на расцарапанном лбу. Кожа на оттопыренных ушах много раз облезала от солнечного ожога и теперь покрывает их прочным слоем, напоминающим тонкую древесную кору. Похожая на коричневую резиновую трубку шея торчит из ворота ковбойки — рубашки в мелкую красно-желтую клетку.

Сейчас многие думают, что ковбойка — это просто клетчатая рубашка. Но в те времена у настоящих ковбоек обязательно были большие накладные карманы с клапанами и — главное — особый воротник. Его уголки пристегивались пуговками. И не только спереди. Сзади тоже был острый уголок и тоже пристегивался. Это было красиво и удобно во всех случаях, кроме одного — когда надо идти в школу и надевать галстук. Сквозь него воротник сзади не пристегнешь. Правда, мой одноклассник Мишка Маслов однажды сделал в галстуке прорезь для пуговки. Но это новшество заметила вожатая Рита и устроила Мишке вполне справедливый нагоняй...

Я свою ковбойку очень любил. После нескольких дней уличных похождений она становилась мятой и перемазанной, и я нетерпеливо танцевал рядом с мамой во время стирки. И потом натягивал ковбойку снова — прямо на голое тело,— удивительно свежую, еще горячую от утюга...

Я продолжал любить ее даже тогда, когда мой дядюшка — дядя Боря, живший на улице Герцена, в проходной комнатушке флигеля,— разочаровал меня. Он объяснил, что надо писать не «кавбойка», а «ковбойка». Я сперва заспорил, я был уверен, что это название происходит от слово «кавбой», то есть «кавалерийский боец». Мне почему-то казалось, что так назывались конники во время гражданской войны в Соединенных Штатах, когда северяне дрались за свободу негров. Но дядя Боря разъяснил, что «ковбой» по-нашему значит «коровий парень», то есть пастух коровьих стад в широкой прерии американского дикого Запада.

Ну, пастух так пастух. И я энергично запихал подол ковбойки под брезентовый солдатский ремешок, которым подпоясывал штаны из рыжего потертого вельвета.

Штаны подобной конструкции тогда носил чуть ли не каждый второй мальчишка. Просторные, с глубокими карманами, не длинные и не короткие, а такие, что полагалось застегивать под коленками. Обычно никто их не застегивал, и манжеты с нитками на месте оторванных пуговиц болтались на искусанных комарами и расчесанных икрах, над сандалиями с пятью дырочками и тонким поперечным ремешком. Эти сандалии с протертыми насквозь подошвами — стоптанные, пыльно-бесцветные и невесомые — были всегдашними спутниками нашей летней жизни. Впрочем, иногда мы сбрасывали их, чтобы побегать босиком. И от поперечных ремешков оставались полоски светлой кожи, они почему-то долго не загорали...

Я подумал, что, если бы я сейчас появился на Шестой Бастионной в своем тогдашнем виде — в тюбетейке на стриженой макушке, в ковбойке и растрепанных вельветовых штанах устаревшего образца,— то, пожалуй, очень выделялся бы среди теперешних ребят. Но одно у нас было абсолютно одинаковым — деревянное оружие.

В те давние годы тоже шли фильмы про мушкетеров. Трофейные. Сняты они были в разных странах, а взяты во время войны на немецких складах. Многие мальчишки, да и взрослые тоже, напевали тогда и насвистывали песенку д'Артаньяна:

О, Вар-вар-вар-вар-вара,
Приехал я в Париж.
Поэтами воспетый
От погребов до крыш!

Или что-то в этом роде.

Нас немного смущало, что мушкетерами в этой кинокомедии оказались переодетые повара и что в конце картины они бесславно улизнули из мушкетерского строя. Но д'Артаньян был настоящий, и его подвиги тоже были настоящие. А что касается настоящих Атоса, Портоса и Арамиса, то мы знали: про них есть толстая книга. Правда, книгу эту никто из нас не видел. Она была легендой. Вроде легенд о подземном ходе на берегу Туры или о предстоящей отмене переводных экзаменов в четвертых и пятых классах. По крайней мере, мы верили и в то, и в другое, и в третье. Изредка возникали слухи, что пухлый том «Мушкетеров» сейчас есть у некоего Витьки Лопухина, по позвищу Буся, или у Вовки Шинкарева — одноклассника Вовчика Сизова (у которого велосипед «Диамант»). Но даже «сильные мира сего», такие, как девятиклассник Валька Сидор или мой бывший сосед Лешка Шалимов, не могли добыть эту книгу хотя бы на день.

Однако мушкетерские легенды жили. И очередной фильм из времен Людовиков Тринадцатого и Четырнадцатого заставлял их разгораться новым пламенем. И во дворах снова начинали стучать деревянные шпаги.

Были у нас и другие военные игры: в партизан, в разведчиков, в «штурм горы». Игры с самодельными автоматами, гранатами и деревянными пистолетами ТТ. Но я вспоминаю сейчас бои и приключения, овеянные сенью летящих мушкетерских плащей. В них была особая романтика рыцарства и привкус постоянной тайны.

По какому-то не изученному еще закону природы такие игры начинаются всегда под вечер. Может быть, потому, что вечером исчезает дневная откровенность красок и в приглушенном свете старые сказки делаются ближе и реальнее.

Мы собирались в просторном дворе на улице Герцена, где прошло мое раннее детство. Теперь я жил не здесь, но прибегал сюда каждый день к дяде Боре и к старым приятелям: Вовке Покрасову, Тольке Петрову, Амиру Рашидову. Двор был просторный, с травой и могучим тополем, с зарослями репейника и крапивы у заборов. Длинные поленницы в дальнем конце двора пахли лесом: грибной сыростью и смолой. К локтям и ладоням прилипала золотистая сосновая чешуя. Пергаментные полоски тонкой бересты шевелились под ветерком. От березо-

вых поленьев на штанах оставались пятна, как от покрашенной мелом стенки.

Приходило время, когда покрасневшее солнце повисало в конце улицы, пыль делалась рыжей и по этой пыли совсем по-деревенски брело с выпасов коровье стадо. Тоже в основном рыжее. Коровы тыкались мордами в старые калитки с железными кольцами. Потом из открытых сараев слышался звон молочных струек о подойники. (Сейчас мне напоминают этот звон крепнущие трели цикад.) Во взрослой жизни наступал вечерний покой. А мушкетерская жизнь только начиналась.

Приходили знакомые мальчишки со всего квартала: из угловых домов, из «большой ограды»— громадного двора с двухэтажными деревянными домищами. Делились на мушкетеров и гвардейцев, будто на две команды для футбола: «Матки, матки, чей допрос: «Кинжал» или «Шпага»?» Потом договаривались, какая сегодня игра.

Мушкетерская жизнь полна разнообразных приключений, поэтому игры были тоже разные: то открытые схватки — шеренга на шеренгу, то взятие бастиона (все той же поленницы), то хитрые засады и погони, а в конце — опять лихая стычка...

Не помню, чтобы мы выбирали себе точные имена: кто Атос, кто Портос и так далее. Мало того, в горячке боя гвардейцы часто забывали, что они не мушкетеры, и самозабвенно орали: «Долой кардинашку!» Такое нарушение правил прощалось. Но были и незыблемые правила. Нельзя было нападать со спины. С боков можно, а со спины — ни в коем случае. Нельзя бить по ногам и по голове. Нарочно по рукам тоже нельзя. И когда попадало по пальцам, каждый знал: это случайность, обижаться не надо. Подуешь на пальцы, облизнешь ссадины на костяшках, иногда слезы сглотнешь — и снова в бой! До победы или пока не ткнут в грудь три раза. В этом случае спорить не полагалось: попало три раза — значит, убит. Иначе будет не игра, а сплошной крик и ругачка. Вообще-то, конечно, спорили, но не часто. Если уж казалось, что очень несправедливо тебя записали в убитые...

Играли мы и в «алмазные подвески». Что это такое и как они выглядят, никто не знал. Мы их делали из граненых стеклянных пробок от графинов. Но пробок часто не хватало, и в ход шла всякая мелочь: костяшки от канцелярских счетов, гайки, большие пуговицы. Подвески разбирали себе гвардейцы. Каждый брал одну. Он

подвешивал ее на тесемке к поясу, а то и просто совал в карман. Потом гвардейцы разбегались и прятались, а мушкетеры начинали поиски и погони.

Не было среди нас ни королевы Анны Австрийской, ни коварной миледи, ни зловещего Рошфора. Но король был. Он сидел на обрубке дерева у сарая, и ему приносили мушкетеры отбитые у гвардейцев подвески. Если подвесков набиралось больше половины, мушкетеры считались победителями. Если мушкетерское войско гибло в стычках и поединках, не набрав нужной добычи, победу торжествовали сторонники Ришелье.

Погони были долгие и хитрые — по всем окрестным улицам и закоулкам. Схватки — веселые и храбрые. Лишь король скучал на своем березовом троне. И чтобы не закиснуть совсем, он иногда по совместительству становился мушкетером.

...В тот вечер королем был Витька Пятигарев из большой ограды. Он сразу объявил, что не будет сидеть на пне и уходит с мушкетерами. А подвески пусть складывают в лунку перед «троном». Этот-то Витька и настиг меня в тупичке между бревенчатой стеной сарая и забором.

— Сдавайся сразу,— предложил белобрысый Витька. Он был грузный парень, шире меня и сильнее в два раза. Однако я нахально показал ему язык. Я был гвардейцем по выпавшему жребию, но, естественно, мушкетером в душе. И вступил в бой. Витька был не очень-то поворотлив, я рассчитывал если не на победу, то хотя бы на то, что прорвусь к своим. Однако Витька первым же крепким ударом перешиб мою шпагу (а точнее, длинный сосновый меч). Клинок отлетел, и в ладони осталась только рукоять с перекладинкой.

Я помню это жутковатое ощущение беззащитности перед противником. Пальцы по-прежнему сжимают рукоять, но ладонь уже не чувствует привычной тяжести клинка. Его нет! И я — открытый, беспомощный, прижатый к стенке...

Витька снисходительно посопел и сказал:

— Ну давай гони сразу подвесок. Все равно я король.

И тут меня осенило.

— Ура, наши!— заорал я так искренне, что Витька попался на этот дешевый крючок. Он вздрогнул и обернулся. Я подхватил с земли клинок, выбил им у обалдевшего Витьки шпагу и взлетел на забор, как петух, который спасается от супа. А с забора — на улицу.

Тут на меня сразу кинулись Амир и ловкий, вертлявый Вовка Третьяков. Сломанным мечом много не навоюешь, поэтому я ударился в бега, снова примчался во двор, а оттуда заскочил во флигель, к дяде Боре.

Вообще-то до́ма прятаться не полагалось. Но я успокоил себя тем, что здесь не живу и только прихожу к дяде Боре в гости.

Часто дыша, я влетел в узкую комнатушку. Здесь горело электричество, хотя на подоконнике еще лежали пятна вечернего солнца. Дяди Бори не было. То, что включен свет, ничего не значило. Комнатка была проходная, и лампочку в темноватой каморке зажигали все, кому не лень. Просто так, походя, и вечером, и днем, и даже когда дядя Боря спал.

А сейчас дядя Боря, скорее всего, был на вечернем представлении в цирке. Он очень любил цирк, особенно соревнования по французской борьбе. В те дни в цирке шли постоянные состязания борцов — такие же в точности, о каких писал в своих воспоминаниях Валентин Катаев и в книжке «Артемка в цирке» писатель Василенко. В комнатке дяди Бори висели цирковые афиши с громкими именами борцовских знаменитостей: Карелин, Хаджи-Мурат, Назарьян, Франк Гуд, Цепник... Мы все болели за мулата Франка Гуда и за поджарого вежливого Назарьяна...

Но я отвлекся... В тот миг мне было не до цирка. Я с размаха влетел под кровать, вдохнул мелкую пыль и запах ржавой панцирной сетки и треснулся лбом об угол фанерного чемодана, в котором лежало почти все дяди Борино имущество.

За дверью слышались шаги и голоса. В любой миг мои противники могли ворваться сюда и вытянуть меня за ноги на свет божий. Что делать? Сам погибай, а подвесок спасай. Елозя животом на половицах, я отвязал от ремешка черную пешку на тесемке. Правила разрешали спрятать подвесок, если опасность близко. Только прятать можно было недалеко, рядом с собой, так, чтобы у противника все же была надежда отыскать его.

Перед моим носом темнела стенка чемодана. Совесть на миг кольнула меня: едва ли мушкетеры посмеют лезть в чемодан дяди Бори, если даже догадаются о тайнике. И получится, что я сжульничал. А за это по головке не гладят. Но руки уже сами приоткрыли крышку и опустили пешку в фанерный уголок.

И пальцы нащупали твердый край какой-то плоской книги.

Я с самых ранних лет был неравнодушен к книгам. Ко всяким. К тому же я знал, что дядя Боря плохих книг не читает, у нас с ним были примерно одинаковые вкусы. Что же такое у него в чемодане? И почему он не показал мне?

Любопытство толкало меня под локоть. Я прислушался. Голосов и шагов уже не было слышно. Я вздохнул и совершил еще один нехороший поступок: выволок книгу из чемодана.

«Только одним глазочком гляну, вот и все...»

Я бесшумно придвинул книгу к пробившейся под кровать полоске света — смеси оранжевого солнца и желтого электричества.

Увы, это была не книга. Вернее, книга, но не для чтения, а для записей — «Конторская». Так и было напечатано на ее обложке. Я с разочарованием полистал ее. Там, на разграфленных страницах, синели какие-то беспорядочные чернильные записи, похожие на куплеты песен. Совсем неинтересно. Я хотел уже захлопнуть переплет, когда глаза вдруг уцепились за слово «шпаги».

Я пригляделся и разобрал строчки:

И, вытащив шпаги свои деревянные
И выйдя на двор, как на палубу брига,
Дик-сэнды, том-сойеры и д'артаньяны
Опять начинают вечерние игры.

И мне вспоминается детства пора
Под стук деревянных клинков во дворах...

Это было так в точности про нас, что в первый миг я даже не удивился. А во второй миг удивляться стало некогда, потому что раздались в коридоре знакомые шаги и голос дяди Бори, который что-то весело говорил матери Вовки Покрасова. Ох, черт, значит, дядюшка не в цирке! И когда дядя Боря шагнул в комнату, я уже выползал «кормой вперед» из-под кровати.

— Ты чего это там делал?— поинтересовался дядя Боря. Без всякой, впрочем, подозрительности.

— Стырился, чтобы мушкетеры не попутали,— ответствовал я на тогдашнем диалекте уличной вольницы.— Наши пацаны есть в ограде?

— Они доблестно бьются за свои идеалы,— сообщил дядя Боря,— пока кое-кто «тырится» под кроватью...

Я обиженно разъяснил, что это была военная хитрость. Тем более что меч сломался.

— Что-то много у тебя хитростей,— заметил дядя Боря.— Вчера смотрел, как вы с Толиком Петровым сражались. Он стоит крепко, только саблей помахивает, а ты туда-сюда мечешься, извиваешься да прыгаешь вокруг...

— Это же приемы такие!— воскликнул я уязвленно. И даже решил прервать с дядюшкой дипломатические отношения. Не меньше чем на три дня. Но он усмехнулся и сказал:

— Дай-ка сюда свой обломок.

Я дал.

— Ну, конечно, опять у перекладины треснул... Говоришь вам, говоришь, что нельзя перекладину гвоздем прибивать. И надрез делать здесь нельзя...

Он столовым ножом вытесал из верхней части клинка новую рукоятку. На кухне, среди растопки для таганка, отыскал сосновую плашку для перекладины. Потом чертыхнулся, что нет никакой веревки, вытащил из-под кровати два старых ботинка, выдернул из них шнурки, связал их и этой бечевкой примотал защитную перекладину к рукояти.

— На, воюй. И больше не «тырься».

Меч стал покороче, зато рукоятка удобнее. Я простил дяде Боре язвительность его высказываний и, вооруженный, ринулся на двор. Там после короткой и бурной схватки меня «прикололи» к забору Амир Рашидов и Витька Пятигарев. И потребовали подвесок. Пешка осталась в чемодане. Я соврал, что потерял ее, и отдал взамен латунную гильзу от пистолета ТТ. Потом игра пошла по новому кругу, и я был уже мушкетером, и мы носились по дворам, по заросшему желтыми акациями скверу, по зарослям полыни на склонах ближнего лога. И над нами висела громадная, похожая на розовый воздушный шар луна.

И в ритме ударов шпаги о шпагу, в стуке сандалий по дощатым тротуарам во мне повторялись и повторялись те строчки:

...Дик-сэнды, том-сойеры и д'артаньяны
Опять начинают вечерние игры.

От этих строчек вечер был еще счастливее, игра еще радостнее.

...На следующий день я опять забрался под кровать

и запустил руку в чемодан. Пешка была на месте, а конторской книги не оказалось. Спросить о ней дядю Борю я не решился.

Через много лет я рассказал дяде Боре про этот случай. Спросил про стихи. Но дядя Боря улыбнулся и сказал, что не помнит ни этих строчек, ни даже конторской книги. Однако я догадывался, что он писал стихи, только не хотел говорить о них.

Впрочем, сейчас он уже не скрывает своей любви к стихам. Он пишет их до сих пор — славные, добрые стихотворения о детстве, о Тюмени, о путешествиях и о загадках Вселенной. Он никогда не посылал их в редакции, но мне посылает в каждом письме. Письма очень подробные. Дядя Боря теперь плохо слышит, поэтому разговаривает неохотно, зато в письмах он рассказывает о своей жизни обстоятельно и с удовольствием. Он попрежнему ездит по разным городам, отчаянно «болеет» на хоккейных и футбольных матчах, в курсе всех городских новостей и любит, когда к нему в гости приходят студенты. Он никогда ни на что не жалуется. Слово «жаль» я прочитал в его письме только раз:

«Жаль, что я еще не побывал в Севастополе, о котором ты так много рассказываешь и пишешь...»

Действительно, жаль. Я уверен, что дядя Боря сразу полюбил бы этот город, эти улицы и бухты с толчеей кораблей и блеском вечерних огней... И Шестую Бастионную, и эти переулки, где так же, как в его и в моем детстве, стучат деревянные клинки. И так же повисает над крышами розовая луна, а от калиток уже раздаются такие привычные, такие знакомые оклики:

— Вася! Пора домой!

— Женя-а-а! Юрик, ты не видел Женю?

— Игорь! Где тебя носит! Будешь бегать до ночи?

Солнце уже ушло, горнисты на крейсерах и эсминцах отыграли «спуск флага», но на улице еще не очень темно. Время коротких южных сумерек.

Цикады набирают силу. И набирают силу крики от калиток и подъездов:

— Петька! Ну, подожди, негодник!

— Мама, я щас!— доносится издалека.

— Я тебе покажу такое «щас», что...

— Олежка, ты где?

— Андрей, Саша!..

Вечерний воздух лежит над улицей теплыми пластами. Пахнет нагретым ракушечником, разросшейся вдоль заборов сурепкой, пахнет морем. Где-то гремит якорная цепь. Опять зовут мальчишек. И я вспоминаю такой же теплый вечер, очень похожий на этот, хотя и далеко-далеко отсюда.

— Энрике!

— Мануэль!

— Алехандро!

Топот ног по камням. Стук деревянных шпаг. Чуть не написал «сосновых», но кто знает, из какого дерева они сделаны здесь. Гавана. Ноябрь семьдесят второго года.

...Мне пришлось жить в Гаване почти месяц, и я очень полюбил ее за красоту, веселье, дружелюбие. За гордую историю, за легенды и тайны. За то, что она мне постоянно напоминала о Севастополе. Чем? Желтыми старинными крепостями у моря и бастионами, где солнце накаляет тела чугунных орудий. Синевой громадной воды, белизной улиц и корабельных рубок. Смуглыми мальчишками с такими же веселыми, как у маленьких севастопольцев, глазами (и даже в таких же голубых школьных рубашках). И тем, что жизнь в обоих этих городах неотделима от жизни моря...

Как-то вечером я бродил по улочкам портового района и наконец вышел на главную площадь Старой Гаваны. Было уже совсем темно. Тонкий месяц с задранными вверх рогами затерялся где-то за крышами. Полукруглые окна старинных домов мягко светились над арками, но площадь почти не освещали. Только в нескольких местах на плиты падали полосы желтого света.

Окна казались мне очень дружелюбными. Я знал, что до революции в окружавших площадь домах жили богачи, а теперь здесь были квартиры рабочих. За открытой дверью балкона мягко пела пластинка. Это была старая, известная всем «Голубка». Когда я был маленький, ее любил напевать дядя Боря.

В небе смутно вырисовывались две башни древнего Кафедрального собора, в котором, по преданию, был похоронен Колумб.

В такую пору на такой площади должна стоять торжественная и немного таинственная тишина. Но тишины

не было. Кроме мотива «Голубки» ее нарушали — как бы вспарывали и пробивали ее — звуки веселого мушкетерского боя. Мальчишечья компания носилась по площади, изредка проскакивая через полосы света. В этом свете мелькали свежеоструганные клинки. А из окон и с балконов время от времени доносились материнские возгласы:

— Педро!

— Антонио!

А затем и целые фразы, в которых я улавливал слова «папá» и «эскуэла». И можно было догадаться, что если вышеупомянутые гаванские Петька и Антошка сию минуту не явятся ужинать, «папá» вплотную займется их воспитанием. Носятся допоздна, а утром не добудишься, чтобы отправить в «эскуэлу».

И, естественно, мальчишки отвечали словами, которые на русский язык переводятся очень коротко: «Щас!»

Ноги у меня гудели от долгой ходьбы. Я присел на теплый цоколь колонны у одного из домов. Пригляделся. Полной темноты на площади все же не было. Я разглядел, что сражавшихся пятеро или шестеро. А еще между ними будто носилась громадная белая бабочка. Я сперва никак не мог понять, что это. Флажок какой-то, что ли? И лишь когда мальчишки проскочили рядом, в свете ближнего окна, я понял, что это совершенно черный пацаненок в белых шортиках и белой развевающейся рубашонке. На миг блеснули его веселые глаза и сахарные зубы...

Вчера на этой площади и на улицах было тихо. Вчера вечером по кубинскому телевидению шла последняя серия длинной постановки «Двадцать лет спустя». Я видел в открытых дверях домов, как ребята стайками сидят на полу перед большущими экранами телевизоров «Электрон». Мелькали страусовые плюмажи над широкополыми шляпами, и говоривший по-испански д'Артаньян ловко раскидывал шпагой прихвостней коварного Мазарини.

А сейчас множество юных д'артаньянов повторяли эти приключения в переулках и на площадях Гаваны. Среди могучих стен, арок, памятников и бастионов, которые в старину видели немало настоящих приключений и слышали звон настоящих шпаг. Здорово играть в таком месте, верно?

— Хорхе!— услышал я сипловатый и громкий голос.— Хорхе!

На освещенном балконе стоял старый седой негр.
— Хорхе!

Черный мальчишка остановился недалеко от балкона, задрал курчавую голову, что-то заговорил, отчаянно рассыпая звуки «л» и «р». Но дед сказал какую-то длинную фразу и погрозил пальцем. Хорхе сердито махнул клинком и побежал в дом.

Мне стало обидно. Даже не столько за Хорхе, сколько за его деда. На вид такой симпатичный старик, похож на дядюшку Римуса из сказок про братца Кролика, а внука не понимает. Разве можно перебивать игру в самом разгаре!

Мальчишки умчались на другой конец площади. Все, кроме одного. Один подошел и тихо сел рядом. Ну, не совсем рядом, а в метре от меня. Он поставил между колен клинок, вытер о мятую брючину вспотевшие ладони, досадливо ударил по дребезжащей рукояти. Рукоять шпаги дребезжала потому, что щиток ее был сделан из консервной банки и узорчато переплетенной проволоки. Сейчас эта сложная конструкция разболталась. Верхний конец дужки, защищавшей пальцы, отскочил от головки рукояти. Мальчишка мельком глянул на меня и шмыгнул носом (должен заметить, что по-испански и по-русски такое шмыганье звучит совершенно одинаково).

— Твоя... шпага... сломалась?— спросил я, медленно подбирая испанские слова. Вернее, слово «сломалась» я не вспомнил и сказал «заболела». Наверно, это звучало странно и даже глуповато. Но мальчик придвинулся и тихо сказал:

— Си, компаньеро.

И протянул свое оружие.

А что я мог сделать? Тут нужны были плоскогубцы и молоток да еще гвоздики или проволока. Сказать мальчику, чтобы принес это все из дома? Моих познаний в испанском языке не хватит. Да и кончится такая попытка наверняка печально: «Опять на улицу? Хватит бегать, ночь на дворе!» В этом смысле все родители одинаковы: и в Тюмени, и в Севастополе, и в Гаване, и на всем белом свете.

Но не мог же я отпустить человека без помощи! Тем более что он сказал «компаньеро». А это значит — товарищ. Он и в самом деле был моим товарищем — соратником по громадной мальчишечьей Армии Деревянных

Мечей. Одним из миллионов дик-сэндов, том-сойеров и д'артаньянов, о которых писал дядя Боря. И, вспомнив о дяде Боре, я вытянул из полуботинок шнурки.

Я отогнул на проволочной дужке усики и примотал их к головке рукояти.

Мальчик молча следил за моей работой. Он не шевелился, только босые ступни его нетерпеливо постукивали по камню. Рассеянные лучи отражались от колонны, от плит и падали на мальчика. Он был похож на Сережку Фоменцова — барабанщика из моего пионерского отряда «Каравелла» в Свердловске. Конечно, этот маленький д'артаньян уже догадывался, что рядом с ним сидит «совéтико». Но не пытался завести разговор, не просил значок на память, не спрашивал, как зовут. Главным для него сейчас было оружие. Потому что на другом краю площади шла битва. Даже в густой теплоте воздуха чувствовалось, каким боевым жаром горит худенькое тело мальчишки. Он дышал тихо и часто. Я затянул шнурок морским прямым узлом и протянул шпагу хозяину.

— Грáсиас...— выдохнул он и умчался туда, где звенели голоса друзей. А следом за ним выпорхнула из-под сводов аркады и унеслась туда же большая белая бабочка. Значит, Хорхе уговорил дедушку и опять вырвался на волю!

Я, радуясь, будто побывал среди друзей детства, зашлепал незашнурованными полуботинками — по переулкам, по набережной Малекон, где под парапетом, среди камней, горели рыбачьи костры,— к гостинице «Абана либре»... А утром выяснилось, что у меня совершенно неприличный вид: не мог же я идти на прием в редакцию журнала «Пионеро» в башмаках без шнурков! Похожая на завуча дама — переводчица нашей делегации — принялась отчитывать меня за легкомыслие. Но я рассказал о вчерашнем случае двум кубинским поэтам. Они обрадованно смеялись и скоро принесли мне столько шнурков, что я мог бы отремонтировать шпаги целой мушкетерской роте...

Домá у Камышовой бухты начинают сиять многоярусными огнями, но закат над ними пока не погас. На улицах пока не очень темно и различимы лица мальчишек и редких прохожих.

От лестницы я шагаю по Бастионной и скоро выхожу еще на одну маленькую площадь. На ней сбегаются сра-

зу несколько улиц. В том числе и переулок с желтой крепостной стеной — остатками еще одного бастиона — Седьмого.

Вдоль стены, перекликаясь по-птичьи, пробегают четверо мальчишек с палками. В ближних дворах, на заросшем косогоре у двухэтажного дома, на крышах гаражей тоже слышны голоса и отзвуки мушкетерских схваток.

Чей-то голос требовательно орет:

— Эй ты, бросай оружие!

Я замираю, будто это всерьез. Но тут же слышу тонкоголосый и боевой ответ:

— Фиг вам!— И разгорается шум схватки, слышны прыжки в ломкие кусты, топот и победный смех.

Я облегченно вздыхаю и сажусь на теплый камень, торчащий среди стеблей сурепки. Но давняя досада оживает во мне, и снова неспокойно на душе. Потому что сам я однажды бросил оружие.

Это было не тем летом, когда искали подвески, и не в том дворе с поленницами. Позднее это было. Наверно, через год.

Стоял конец октября. Снег еще не выпал, но земля застыла, и мерзлые комья стучали под ботинками, когда мы устраивали сражения на большом пустыре и на склонах глубокого лога. Сухо трещал серый бурьян, в брюки и ватники впивались похожие на дохлых двухвосток колючки.

Игра была все та же, мушкетерская. Потому что в клубе железнодорожников шел новый фильм «Железная маска». Не тот, который знают нынешние зрители, а односерийный, черно-белый. Трофейный. Это была суровая кинокартина — с жестокими схватками, жгучими тайнами и страшными приключениями. Оттого, что она такая зловещая, ее, наверно, и не стали показывать в главном кинотеатре, а пустили в стареньком деревянном клубе рядом с вокзалом. Мы клянчили дома трешки, по нескольку раз выстаивали фантастические очереди за билетами и наконец замирали в душном кинозале под стрекочущим пыльным лучом...

В этой картине мушкетеры были настоящие. И по-настоящему гибли в конце фильма. И то, что их приемный сын становился королем Франции, нас мало утешало. Утешения мы искали в собственной игре, на ходу переделывая судьбу героев.

Сначала игра была как игра.

С мальчишками на той улице, куда мне пришлось переехать, я не очень дружил, но на этот раз все шло хорошо. Пока не присоединилась к нам компания с улицы Зеленая площадка, из-за лога. Этой компании не нужны были выдумки и тайны. И дуэльных правил они не признавали. Вместо улыбок — ухмылки, вместо честной боевой атаки — тупой и злобный напор. Все чаще бой на мечах и шпагах грозил перейти в драку. Предводитель по кличке Пупырь искал причины, вспоминал давние уличные и школьные споры.

И вот однажды этот Пупырь прижал меня к стылому глинистому обрыву, когда обе воюющие армии скатились из переулка в лог. Пупырь крутил над головой ветвистую корягу и орал:

— Разойдись, гады! Черепушки снесу!

И все разбежались. А я застрял в сухом репейнике под обрывом.

Пупырь занес корягу и гаркнул:

— А ну, бросай свою саблю, гнида!

Он был крепче меня, а главное — нахальнее и неизмеримо злее. Это была какая-то безоглядная, необъяснимая злость. Я оказался беспомощным перед его остервенением. В стеклянно-прозрачных глазах Пупыря не было ничего, кроме готовности махать и бить. И на пухлогладком, как громадный рыбий пузырь, лице ни намека на улыбку.

— Ну!!— снова надрывно заорал Пупырь.

Мой сосновый клинок нечего не смог бы поделать с его сучковатой корягой.

— На, подавись,— всхлипнул я и бросил шпагу к разлапистым кирзовым сапогам Пупыря. Он довольно ухмыльнулся. И велел:

— А теперь уматывай отсюда!

Я, глотая слезы, пошел через бурьян и репейники мимо шеренги врагов. И мимо «своих»— тех, кто должен был меня защитить. Они не защитили, они стояли и тоже усмехались. Правда, кисло как-то усмехались и поглядывали кто по сторонам, а кто в землю. Они тоже боялись Пупыря и были рады, что он их не тронул, унизил только меня. В ухмылках они прятали страх и стыд за это неожиданное перемирие. Они делали вид, что не опасаются Пупыря, а просто уважают его: как он здорово расколошматил своего противника!

В коице коицов, Пупырь был «ихиий», с соседией улицы, а я чужак, иедавио появившийся в этих местах. Да к тому же «киижиый мальчик» со всякими «загибами в черепушке»...

Целую иеделю я мучился оттого, что бросил шпагу. Пытался оправдаться, доказывал себе, что была уже ие игра и что Пупырь с дружками просто излупил бы меия, если бы я ие сдался. И дело тут ие в страхе. Просто я был ие готов к такой войие. «Вот если ты играешь в солдатиков,— говорил я себе,— и вдруг иа тебя из-за угла выезжает иастоящий таик, тогда что? Бах-бах в иего из бумажиой пушки?»

Такие рассуждеиия слегка успокаивали меия. Но ие иадолго. Во-первых, Пупырь был ие таик, а просто мелкая шпаиа. Во-вторых, когда я вспомииал желтый иовеиький клииок у его заскорузлых сапожищ, меия мутило от стыда.

И я даже обрадовался, когда через иеделю Пупырь повстречал меия у продуктового магазиичика иа углу Ямской. Ои повстречал и, коиечио, «прискребся»:

— Ну чё, «дыртаияи»? Еще будешь воевать с иашими? Как дам сейчас — были шарики иа лбу, стаиут зиаешь где?

Я сказал ему, кто ои есть и куда должеи идти. Причем сказал ие иа языке «киижиого мальчика». Пупырь обрадоваиио засопел и пиул по моей сумке, где лежала бухаика и пакет с маргарииом. Я, захолодев от иеиависти, поставил сумку и с размаху ударил головой в иеиавистиую пупырью рожу. Пупырь увериулся. Я врезался головой в толстеииый тополь. Шапка смягчила удар, ио последиие ииточки страха от этого удара во мие лопиули. Я вцепился в Пупыря, и мы скатились в каиаву у деревяииого тротуара.

Что ии говорите, а справедливая ярость придает сил! Скоро я сидел иа Пупыре. Даже и тогда я помиил, что лежачего бить нельзя, зато, всхлипывая от счастья, кормил этого гада, кормил, кормил мерзлой травой и твердыми земляиыми комками. Пока ои ие завыл...

О славиой для меия битве скоро узиали все пацаиы из окрестиых дворов. И я чувствовал большое облегчеиие. Но ие полиое. Коиечио, я этой дракой кое-что измеиил в своей жизии, кое-как искупил тот позориый случай в логу. Но в глубиие души я поиимал, что мие просто повезло. Не каждый раз и ие всякому человеку, если ои

струсил и бросил оружие, удается исправить это. Может просто не хватить времени. Особенно если это не игра...

А с теми ребятами я больше не имел никакого дела. Я снова стал уходить на улицу Герцена, в старый двор, где жили друзья детства. Здесь тоже бывало по-всякому: случались драки, обиды и затяжные ссоры. Но были здесь и незыблемые правила мальчишечьей жизни: игра — это игра; а если драка, то голыми руками и один на один. И главное — не без причины, а если уж очень накипело. Здесь могли отобрать или даже стащить самодельный пистолет или рогатку, но никому бы в голову не пришло отнимать копейки или купленную игрушку. Здесь твердо знали, что нельзя нападать сзади, бить лежачего, жадничать, хвастаться обновками и бросать человека в трудную минуту. Знали все, в том числе и такие люди, которых сейчас бы наделенные педагогическим опытом взрослые назвали «трудными подростками».

Несколько человек сражались на лужайке шагах в двадцати от меня. Потом шум битвы приутих. Бойцы разбрелись. Один оказался почти рядом со мной. Тоже присел на камень, положил на колени меч, подпер ладошками кудлатую голову.

— Роська!..— окликнул я.

Он вскочил, подбежал. Заулыбался:

— Здравствуй... Гуляешь?

Я кивнул, подвинулся на камне. Четвероклассник Роська Вихрев, горячий от недавнего боя, сел рядышком, сунул голову мне под локоть. Потерся ухом о мои ребра.

Роська — человек удивительно ласковый и абсолютно бесстрашный. Мы познакомились с ним пять лет назад и часто разговаривали о жизни. Иногда Роська устраивался рядом, как мурлыкающий котенок, и рассказывал свои детсадовские тайны. А потом срывался с места и заставлял меня обмирать от страха: он так скакал и носился по кручам над морем, что у меня звенело в голове. А он хохотал... Он и теперь такой же, только подрос.

Я улыбаюсь про себя: «Роська под-рос...»

Настоящее имя у него Юрий, Юрик. А Роська — это от прозвища Юро́с. Юрос-матрос. Прозвище появилось как раз в те дни, когда мы познакомились. Отец — в то время старпом большой крейсерской яхты — взял Юрку в небольшое воскресное плавание. Было солнечно и ветрено,

яхту хорошо покачивало. Кое-кто из гостей скоро полег по бортам и свесил головы к воде. А шестилетний Юрка носился по яхте, как мартышка,— по палубе, по рубке, по релингам, вантам и гику. Отец несколько раз гаркал на него: успокойся, мол. Наконец Юрка притих. Вернее, его вообще не стало. Нигде. Неожиданная тишина встревожила экипаж. Несколько человек быстро осмотрели помещения. Не было Юрика. Отец побледнел.

Яхту круто положили на обратный курс, по волнам зашарили бинокли. Отец кинулся еще раз обыскивать кубрики и рубку — на всякий случай. И вот в носовом кубрике он услышал сдавленный писк.

Юрка застрял наверху двустворчатого шкафчика-рундука. Он заклинился между верхней крышкой и палубной балкой — бимсом. Звать на помощь он не хотел, чтобы не уронить авторитет.

Папа Вихрев выволок непутевого мореплавателя из щели, медленно и глубоко вздохнул и дал ему увесистого леща по тому месту, которое на корабельном языке именуется «транец».

Юрка потер пострадавшую часть тела и ушел на нос палубы. Там он с полчаса сидел, зыркая негодующими очами. Бородатый шкипер дядя Гриша сказал ему:

— Что, Юрóс-матрос? Поимел от старпома педагогический момент?

Юрка демонстративно отвернулся. Но прозвище к нему прилипло сразу и намертво...

Внешне Роська — чертенок, состоящий из косматой головы, острых локтей и коленок и нескольких десятков синяков и ссадин. У него во дворе есть сосед — Андрюшка Сажин. На Роську он совершенно непохож — кругловатый, медлительный, тихий и на первый взгляд даже трусоватый. Казалось бы, чего общего? Но с самого начала школьной жизни они друзья-приятели, хотя и ссорятся иногда.

А если не ссорятся, то всегда вместе.

— Что Андрюшки не видать?— спрашиваю я.— Опять чего-то не поделили?

— Его из дому не выпускают,— вздыхает Роська.— Нам теперь втроем приходится воевать против четверых... Сейчас у нас перерыв...

Трое против четверых — это вам не шуточки. Я спрашиваю с сочувствием:

— Почему не пускают? Двойку схлопотал?

— Синяк он схлопотал под глаз,— объясняет Роська.— А бабушка его ни в чем не разобралась и сразу: «Больше на улицу никогда не пойдешь!»

Для Роськи синяк — дело обычное. Но для Андрюшки...

— Как он ухитрился?

— Да вот так... Подрался с писателями...

— Что-о-о?!

— Ох...— До Роськи доходит, что я тоже имею отношение к писательской профессии. Он виновато ежится у меня под боком и торопливо объясняет:— Это не такие писатели. Это те, кто всякую ерунду на стенках пишет, мы их так зовем. Ты не обижайся...

Я все-таки слегка обижаюсь и говорю, что можно было бы придумать другое название. Роська обещает подумать.

— А что за драка была?— интересуюсь я, потому что знаю: Андрей не из тех людей, которые прут на рожон.

И слышу такую историю.

В квартале отсюда есть памятник артиллеристам береговой обороны. Это оставшийся от военных времен бетонный капонир и два корабельных орудия. Вчера три каких-то балбеса (класса из шестого!) полезли к орудиям и начали писать на щитах названия джинсовых фирм и всякую другую ерунду. Андрюшка Сажин и еще двое ребят как раз играли там и увидели такое дело. Андрюшка первый увидел. И кинулся первый...

Он не стал вести разговоров про то, что надо уважать памятники, историю города и тех, кто здесь воевал. Не было на это у Андрюшки ни умения, ни времени. Он просто заорал:

— А ну пошли отсюда, гады! Это наши пушки!

И он был абсолютно прав. Пушки в самом деле его. И всех ребят, которые там играют и которые знают про то, как громили фашистов защитники города. Для того пушки и поставлены, чтобы ребята играли и помнили. И балбесы с мелом кинулись прочь, хотя один и успел вляпать Андрюшке по глазу.

Мне в голову приходит наконец простая догадка: Роська знает эти подробности явно не понаслышке. Эту догадку я высказываю вслух, и Роська со вздохом соглашается:

— Ага... Рубашка немного порвалась тогда...

— А мама как отнеслась к этой истории?

— С пониманием,— скромно говорит Роська.— Она ведь у меня справедливая... Ой, вон она идет!

В сумерках уже трудно разглядеть прохожих, но кто же не узнает свою маму!

Роська срывается маме навстречу. Я тут же убеждаюсь, что она действительно относится к сыну с пониманием, но понимает кое-что по-своему.

— Ты что, еще дома не был после школы?— спрашивает она, уклоняясь от излишне горячих объятий.

— Нет, я был... маленько.

— Так «маленько», что не было времени переодеться? Так и носишься с часу дня до вечера?

Роська в самом деле «носится» в школьной рубашке, даже галстук не снял. Он озабоченно переступает тощими ногами в съехавших светлых гольфах. Потом быстро оглядывается на меня. Но я отодвигаюсь в полный мрак — под ветки акации с громадными высохшими стручками (они тихонько скрежещут, как жестяные). Роськина мама — человек настроения, под горячую руку может попасть и мне. А потом нас обоих с Роськой загонят домой. Его — готовиться к школе, меня — пить чай.

— Ты хотя бы пообедал?— спрашивает мама Роську строго, но без особой надежды.

— Ага. В школе...

— А уроки?

— Я сделал. Тоже еще в школе.

— Все?

— Ага. Почти...

— Ах «почти»! Кстати, почему Клавдия Ивановна опять зовет меня завтра в школу? Мне звонили...

— Ой, это не из-за меня! Это в родительский комитет насчет ремонта...

— Знаю я этот ремонт. Ну-ка марш домой.

— Мам...

— Что «мам»? «Мам» за тебя будет делать домашние задания?

— Ну, я же скоро! Мы сейчас додеремся!.. А то нас и так трое! Ну, ма-ма... Ты у меня хорошая...— Он умеет мурлыкать и подлизываться.

— Нечего тут ворковать. «Хорошая»...

— Мамочка, ну всего пять минут...

Роська знает, что где пять, там и пятнадцать. А там и полчаса. Мама это знает не хуже его. Она из тех мам, которые в свое время вместе с мальчишками рубились

на деревянных мечах. Но, с другой стороны, уроки. Это дело первостатейной важности. Сначала уроки, потом уж забавы, кто этого не знает? Кто с этим спорит?

Но для Роськи и для других мушкетеров предстоящий бой — не забава. Это очень важное дело, это их сегодняшняя боевая жизнь. И не может он уйти, бросить друзей. Тем более что их тогда останется двое против четверых!

— Учти! Через пятнадцать минут быть дома,— говорит мама, зная, что через полчаса придется выходить на балкон и включаться в перекличку:

— Роська! Сколько можно звать!

— Шурик, домой!

— Алексей! Тебя на аркане тащить?

— Дима! Я сейчас пошлю за тобой папу!

(А цикады — все громче, а луна — все выше и ярче...)

Но это будет еще через целую вечность — через полчаса, а то и больше. А пока с дальнего края площадки несутся боевые кличи: кончилось перемирие между гвардейцами кардинала и мушкетерами де Тревиля. Роська сует под мышку зазубренный клинок, поддергивает гольфы — тем же движением, каким д'Артаньян поддергивал перед схваткой ботфорты,— распрямляется и... гибкой пружиной срывается с места.

И... нет, я не ошибся! Вдоль каменного белого забора туда же мчится еще один боец — толстоватый, запыхавшийся, но полный боевого рвения. Андрюшка вырвался на волю!

Он спешит и с размаху натыкается на прохожего. Точнее — на прохожую. Я слышу раздраженный и какой-то жирный голос:

— Что вы тут носитесь! Некуда ступить, только и мельтешат под ногами!

Хозяйки голоса почти не видно, однако я представляю крашеную даму с кошелкой и тяжелыми серьгами. Такая ни в каком детстве не сражалась на мечах.

— Играть, что ли, нельзя?— огрызается Андрюшка.

— Нашли где играть! На улицах! Я вот скажу родителям, я их знаю!

— А это не ваши улицы!— отвечает Андрюшка, рискуя заработать новые неприятности.

— А чьи? Твои? Собственник какой!— возмущается дама.

— Наши!— отвечает Андрюшка, убегая.

И ои опять прав. Их эти улицы — его, Роськииы, их друзей. Всех хороших людей. За этих людей дрались здесь в давние времеиа защитинки Шестого и Седьмого бастноиов. За иих сражались артиллеристы береговой обороиы — те, кому стоит иеподалеку памятиик. За иих воевала армия геиерала, чье имя иосит ближняя улица. Для того, чтобы ныиешиие дик-сэиды, том-сойеры и д'артаиьяиы могли по вечерам сражаться иа улицах деревяииыми мечамн. Деревяниымн — пусть.

И как было бы хорошо, если бы иа всем белом свете осталось только такое оружие. И одна только армия — вечиая мальчишечья Армия Деревяиных Мечей.

МОКРЫЕ ЦВЕТЫ

Этот рассказ я начинаю писать неожиданно для себя. Сейчас 9 мая 1984 года, около четырех часов дня. За окном такое весеннее сверкание, такой солнечный праздник, что я говорю:

— Женя, дай листок и карандаш.

Хочется остановить и иавсегда запомнить эти минуты.

Мы с женой и младшим сыном Лешкой в гостях у моего друга Евгения Пинаева — моряка, художника и писателя. Пока женщины звенят в большой комиате посудой, пока Лешка разглядывает африканские раковины, чучело акулы и метровую недостроенную модель фрегата, Женя иа расхлябанной своей машиике торопливо «достукивает» рассказ «Голубой омар». На него накатило вдохновение, как накатывает иногда на любого автора, и он знает, что эти счастливые моменты упускать грешно.

Женя не глядя протягивает мне лист и кивает в сторону громадного, перемазанного красками письменного стола: карандаши там, не знаешь, что ли?

Я подхожу к столу. Большое окно теперь совсем близко, весна как бы обнимает меня. День Победы пришел в торжественном блеске солнца. День Победы и День освобождения Севастополя. Сорок лет назад, ровно за год до окончания войны, словно предсказывая этот неизбежный день, моряки в освобожденном Севастополе подняли над обугленной Графской пристанью наш военно-морской флаг. Сегодня у севастопольцев и у тех, кто как-то связан с этим городом, двойной праздник. Вечером над улицами и бухтами загремит и расцветет особенно яркий, ликующий салют.

Я столько раз видел севастопольские салюты, что сейчас все представляю до мелочей. Представляю последнюю минуту ожидания праздника. Вот-вот раздастся первый залп, и небо немыслимо расцветится, и вода отразит это буйное огненное торжество. Боевые корабли, что вытянулись в линию на рейде, зажгут иллюминацию и как бы нарисуются желтым пунктиром лампочек. И восторженные крики тысяч севастопольских мальчишек взлетят над всеми кварталами. А пока тихо-тихо. Примолкли люди, что стоят толпами на крутых берегах и склонах холмов, на причалах и на парапетах Приморского бульвара. Неярко мерцают огоньки Северной стороны.

Деловито мигает красный маяк на равелине у выхода из бухты. А луна, большая и яркая, ярче всех огней, раскидывает желтые зигзаги на черной воде.

Совсем как на Жениной картине, что висит слева от окна.

Картина эта называется «Севастопольский вальс». На ней — ночь, огоньки на берегу бухты. Громадный силуэт крейсера или авианосца с очень выгнутым и срезанным вверху форштевнем. Над тупым срезом форштевня и над крыльями боевой рубки — неяркие сигнальные лампочки. И вообще все огоньки на картине скромные, неяркие. Спокойные. Зато луна — сильная, сияющая. Она прорвалась сквозь темные клочкастые облака и разбросала по зыби отражения-молнии. По этим отражениям скользят еле заметные в сумраке яхты с узкими, склонившимися в плавном крене парусами. Яхты по дуге обходят нависший над ними форштевень боевого корабля...

Это картина-легенда, картина-сказка. То, что написано на ней, на самом деле не бывает. Никто не даст

яхтам ходить ночью по рейду, да еще в такой близости от военных судов. Да и нет, пожалуй, таких исполинских крейсеров и авианосцев. Но взглянешь на полотно — и сразу видишь: это Севастополь. Севастополь в самой своей сути. Вся его стальная мощь и южная ласковость, вся суровость крепости и радость моря с его тайнами, парусами и зовом в дальние плавания, который хоть раз в жизни касается каждого из нас...

Лунные зигзаги мечутся по воде, и словно слышишь звонкое эхо от зыби под деревянным настилом Графской пристани. И стрекот цикад на берегу. И ощущаешь запах водорослей и мокрых камней, легкое касание ночного ветра и тепло, тепло этого моря, этого берега и даже броневых листов, нагретых за день южным солнцем...

И толчком приходит снова тоска по этому городу. И зависть к тем, кто сейчас там, на его теплых праздничных улицах.

...Впрочем, сейчас у нас теплее, чем на Юге. Двадцать пять градусов! А у заборов да кое-где и просто на асфальте еще тянутся валы рыхлого снега.

Утром снега было еще больше. Он лежал даже между прилавками на рынке, где я покупал для мамы цветы. Цветов было — просто завал. Я выбрал две охапки привезенной с Юга сирени — простой и белой. Сирень была мокрая, словно обрызганная крупным дождем. Я ехал на край города в такси, машину встряхивало, и я утыкался лицом в пахучие влажные гроздья.

Среди сосен снегу было по колено, все тропинки завалены. Я с трудом пробрался к низкой решетке. Ладонью сдвинул рыхлый тяжелый пласт. Под ним сквозь ржавую прошлогоднюю хвою, рядом с гранитной облицовкой, проклюнулись стрелки-травинки. Я положил пахнущие неудержимой весной цветы на эту хвою с травинками и прямо на снег. «Вот, мама, я пришел... Девятое мая, мама...»

Мама не была на фронте, но свою капельку в дело Победы внесла и она. Как миллионы наших матерей.

«Весна, мама... А снег — это так, случайность. На Урале бывает всякое...»

Неделю назад, на второй день Майского праздника, ударила великолепная вьюга и сугробы намела такие,

каких не было за всю зиму. Улицы сплошь укрылись полуметровым белым слоем — свежим и сияющим. Синоптики, естественно, объявили, что такого явления не было сто лет. Они заявляют это после каждого большого весеннего снегопада (а последний перед этим был в мае восемьдесят первого)...

Под невыносимым снежным грузом трещали и падали клены и старые липы. Стояли троллейбусы, вереницами брели по узким протоптанным тропинкам пешеходы... А через три дня опять началась весна. Стремительная весна, какая бывает лишь в кино и сказках. Ударило солнце, ослепительные, не успевшие закоптиться сугробы осели. Прогремели ручьи, бурно ринулась из влажной земли трава, полопались почки. Пришли дни сверкающие, безоблачные, с запахом весенней влаги и зелени.

Эта весна — как в песне из любимого моего рассказа «Вокруг света» Александра Грина. Когда-то в юности я даже придумал мотив к этой песне.

В Зурбагане, в горной, дикой, удивительной стране,
Я и ты, обнявшись крепко, рады бешеной весне.
Там весна приходит сразу, не томя озябших душ,
В два-три дня устанавливая благодать, тепло и сушь.
Там, в реках и водопадах, словно взрывом, сносит лед.
Синим пламенем разлива в реки дышащие бьет.
Там ручьи несутся шумно, ошалев от пестроты;
Почки лопаются звонко, загораются цветы...

Я вспоминаю Грина и мысленно возвращаюсь в Севастополь.

Грин любил этот город. Кто знает книги Грина, тот помнит и его слова, что «некоторые оттенки Севастополя вошли в мои города». Паустовский же уверял, что дело не в «оттенках», что гриновский волшебный Зурбаган почти целиком списан с Севастополя. И я уверен, что Паустовский прав. По крайней мере, мне казалось не раз, что я в Зурбагане, когда бродил по запутанным улочкам и трапам Аполлоновки и Артиллерийской слободки. Я ходил здесь вместе со старым, ворчливым капитаном Дюком, лоцманом Битт-Боем, доверчивой девочкой Ассоль и маленьким сыном капитана Томом Берингом, который так ждал отца...

Да, Грин любил этот город. Любил, несмотря на то что именно здесь, на Графской пристани, его аресто-

вали за революционную пропаганду среди солдат. Арестовали обидно, предательски, из-за измены тех, кому он доверял.

На площади Восставших, недалеко от начала Шестой Бастионной, стоит серо-кирпичное здание с высокими железными воротами. Бывшая тюрьма. Здесь Грин провел почти два года.

Грин страдал. Не столько от жестокостей тюремного режима, сколько от самого ощущения неволи. Не раз он думал о побеге. Еще в самом начале заключения друзья готовили ему спасение: купили шхуну, чтобы Грин уплыл на ней в Болгарию, наняли извозчика, который должен был ждать недалеко от тюрьмы. Шхуна стояла в одной из окраинных бухт.

Грину не повезло. Когда он пытался перебраться через стену по веревке с узлами, тюремщики его заметили. Чтобы спастись от смертельного выстрела, Грин разжал руки и упал на каменные плиты. И опять неволя. До того осеннего дня в 1905 году, когда перепуганный демонстрациями и волнениями адмирал Чухнин выпустил политических заключенных.

...Когда мы с Пинаевым последний раз были в Севастополе, Женя попросил меня сфотографировать на бывшей тюрьме мемориальную доску с надписью о Грине. Это было перед самым отъездом. Я щелкнул «Зенитом», а потом мы пошли по Шестой Бастионной, чтобы попрощаться с Людой, с Олегом, с Алькой и Роськой.

Я шел и думал, что, если бы побег удался, Грин, скорее всего, кинулся бы на извозчике от тюрьмы по этой улице, которая тогда называлась еще Степной, потом свернул бы налево, в переулки, затем — дорога вниз, к морю...

Жаль, что не удалось ему бежать. Всего-то нескольких секунд не хватило, полуметра до гребня стены...

Я медленно, квартал за кварталом прохожу в своей памяти Шестую Бастионную, и где-то на полпути она приводит меня (в мыслях все возможно) на улицу Герцена в Тюмени. Я вспоминаю тот день, когда познакомился с Грином.

Было лето пятьдесят шестого года. Мы с друзьями закончили десятый класс и готовились поступать

кто куда. Но готовились, по правде говоря, не очень старательно. Выпускные экзамены (а их было много тогда) порядком измотали нас. Снова сидеть за учебниками не хотелось, и порой мы целыми днями бездельничали. Был июль — месяц какого-то странного безвременья между нашим прошлым и будущим. Порой накатывала звенящая тревога: что впереди? А иногда приходило ощущение радостной беспечности. Мы носились на велосипедах, купались до одури в желтой, мутной Туре и до полуночи бродили по теплым улицам, под светлым неугасающим небом... Это, видимо, было окончательное прощание с детством, хотя в то время мы считали, что детство давным-давно позади.

В один из этих июльских дней я купил в киоске у вокзала темно-синюю книжку с корабликом. У кораблика были ярко-красные паруса. Из-за парусов я и взял книгу, имя автора мне, как ни странно, тогда ничего не говорило. Какой-то А. Грин. Я подумал, что это один из парусных капитанов, рассказывающий о дальних плаваниях. Такой же, как Лухманов, капитан «Товарища».

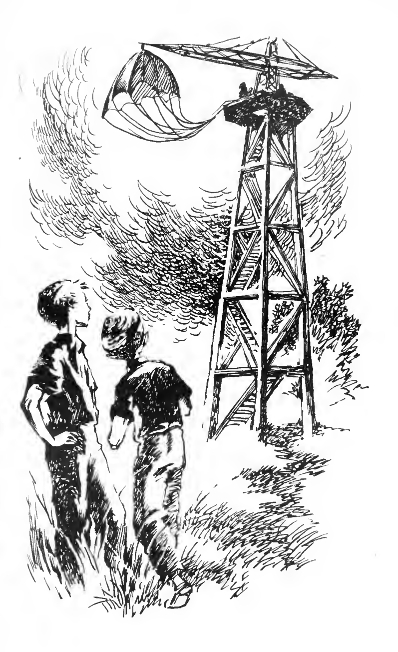
В книге оказались рассказы и роман «Бегущая по волнам». Я начал читать рассказ «Комендант порта»...

Что сейчас говорить о первом впечатлении! Кто любит Грина, тот меня и так поймет. Кто к нему равнодушен, что ж... Его рассказы не для них, и этот рассказ, честно говоря, тоже...

Вечером, когда я сидел ошарашенный «Кораблями в Лиссе», приехали на велосипеде мои друзья — Валерий и Юрка. Те, с кем я в старших классах делил все радости, мечты и неудачи. С ними прикатил наш приятель из параллельного класса — Лев Кошелев. Он был планерист, парашютист и, кажется, даже имел права пилота.

— Покатаемся?— предложила эта троица.

Я встряхнулся. Надо было немного прийти в себя, иначе можно совсем свихнуться от сумбура мыслей и чувств, вызванных этой книжкой: от восторга и ясной печали после гриновских рассказов; от горького сожаления, что медики не разрешили поступать в мореходку; от зависти и грустного сознания, что если когда-нибудь научусь писать рассказы и даже (вдруг и правда?!) напечатают мою книжку, все равно с такой силой мастерства писать я никогда не сумею...



Я вывел из дровяника свой легонький вишневый «Прогресс» (самую звонкую радость моей школьной юности), и мы помчались по пыльной улице Грибоедова. Был душный, безветренный вечер...

Левка Кошелев катил впереди. Не знаю, случайно ли так вышло или он с самого начала знал, куда мы едем, но приехали мы к стадиону, чей серый, покосившийся забор выходил на улицу Герцена.

Над забором возвышалась ажурная серебристая вышка. У ее верхушки, на тонкой решетчатой «стреле», неподвижно обмяк парашютный купол.

— Прыгнем?— предложил Левка.

Я обмер. Я с малых лет ощутимо побаивался высоты. Даже когда запускал змея с нашего двухэтажного дома, старался держаться подальше от края. А здесь наших домов можно было поставить друг на друга... сколько? Да штук восемь! Полсотни метров!

Но еще больше я боялся, что меня заподозрят в страхе. Поэтому отозвался лениво и небрежно:

— Вообще-то можно... Только взбираться на эту верхотуру...

Я очень надеялся, что Валерий и Юрка не захотят взбираться. Валерий был нескладен, длинен и достаточно ленив в развлечениях. За свой рост и обстоятельность он получил прозвище «Папа Карло». Юрка — безнадежно близорукий рафинированный интеллигент — тоже не отличался особой спортивностью. Я надеялся, они скажут: «Да ну ее, поехали, лучше искупнемся». Но они потащили велосипеды в щель между досками. Вслед за вероломным Левкой. А я вслед за ними. (Потом, через много лет, друзья признались, что в душе кляли Левку так же, как и я.)

Кроме нас, желающих прыгать не оказалось. Да, скорее всего, для посетителей вышка уже не работала — время вечернее. Но на площадке (под желтым от неяркого солнца парашютным куполом, у самого неба — пыльно-серого от духоты) еще дежурил инструктор.

Внизу нас встретили еще двое — молодые ребята, чуть старше нас. Хорошие Левкины знакомые. Они молча пожали руки сначала Левке, а потом и нам (мол, твои, Лева, друзья — наши друзья). Соблюдая этикет и демонстрируя солидную сдержанность, мы присели на густую жесткую траву, что росла рядом с вышкой. Поговорили о новом приключенческом кино с подводными

съемками и электронной музыкой, похихикали над неизвестным мне инструктором-планеристом Прокопычем, который вчера не дотянул до посадочного знака и сел на своем «приморце» в капустные гряды... Поговорили о конкурсе в разных техникумах и вузах и пришли к выводу, что «если не поступим, то и фиг с ним, жизнь впереди».

Я, где полагалось по разговору, вставлял слова, но думал о другом. О том, что парашют с высоты кажется маленьким, как одуванчик, а земля такая прочная, такая надежная и так на ней хорошо. В животе было замирание, словно перед дверью зубоврачебного кабинета...

Раздался ребячий смех, и через забор переметнулись двое смуглых мальчишек. Один лет двенадцати, другой чуть поменьше. Видимо, братья-погодки. Очень похожие друг на друга и одетые одинаково: в красных широких рубашках, в подвернутых до щиколоток мятых штанах, босые. В полинялых до бесцветности вельветовых тюбетейках.

Они подбежали к нам, остановились — улыбчивые, решительные, независимые. Сказали разом:

— Привет!

— Явились,— заметил чернявый инструктор Жора.— Чего скажем?

— Скакнем?— спросил старший мальчишка и глянул на парашют.

— Зависнете. Опять вас багром цеплять.

— Мы веревку скинем. Ста́щите,— будто о решенном деле сообщил младший. Выволок из кармана моток бельевого шнура и покрутил привязанной к концу гайкой.

— Нет, вы посмотрите на этих конструкторов,— сказал Жора с «одесской» интонацией. Потом задрал голову: — Степа! Скинь, пожалуйста, по одному братьев-разбойников, а то все равно не отлипнут!

— С парашютом или как?— донеслось сверху.

— Как удобнее,— ответствовал Жора.

Мальчишки уже взбегали по железным гулким ступенькам. Я заметил, что все смотрят на них с удовольствием. Я тоже. Но я еще и с завистью смотрел. В детстве мне очень хотелось быть таким независимым и бесстрашным пацаном. И никогда не получалось. Почему-то я все время чего-нибудь или кого-нибудь

боялся: сначала — темных комнат, мохнатых гусениц и придуманного чудовища по кличке Тихо; потом — вредной девчонки Галки из соседнего дома, уколов и того, что мама вдруг забудет прийти за мной в детский сад; затем — окрестной шпаны, смерти и экзаменов по математике. И так далее. Боялся лазить по высоким крышам, прыгать на лыжах с трамплина и нырять в воду с вышки. Правда, лазил, прыгал и нырял, но просто потому, что деваться было некуда! Во-первых, жизнь такая, а во-вторых, помогала мне еще одна, более сильная боязнь — страх перед насмешками.

А эти пацаны, судя по всему, ничего не боялись. Они жили смело и весело. Что им давало такую уверенность? «Наверно, то, что их двое»,— подумал я. И тогда, кажется, впервые в жизни у меня появилась четкая, оформившаяся мысль: «Как хорошо жить на свете, если рядом всегда смелый и любимый брат...»

А мальчишки, словно совсем невесомые, без устали взбегали по звонким зигзагам лестницы. Неожиданно качнулся воздух, ветерок шевельнул траву — раз, другой. Сразу стало прохладнее. У мальчишек округло надулись выбившиеся из штанов рубашки. И, разумеется, эта вспученная ветром красная материя тут же напомнила мне прочитанные лишь сегодня «Алые паруса». И каждый из босоногих братьев показался мне маленьким Греем, который «родился капитаном, хотел быть им и стал им».

И ясное ощущение, что нельзя быть трусом, когда есть такие книги, такие люди, как Грин, такие мальчишки, сняло с меня липкую боязнь, как неожиданный взмах ветра снял духоту.

Нет, я боялся, конечно, только уже не очень. И с любопытством следил, как наверху инструктор опутывает ремнями тощего мальчугана. Тот скакнул вниз, едва дождавшись последнего щелчка пряжки. Сорвалась и темным летящим блюдцем косо понеслась к земле его тюбетейка. И мальчик стремительно полетел вниз — красным трепещущим огоньком. Потом рванулись натянутые стропы, негромко лязгнул в середине вышки противовес, вздулся купол. Мальчик стал спускаться сперва довольно быстро, потом тише-тише... И наконец совсем повис. И смешно закачал ногами, вылезшими из широких штанин.

— Вот и виси так,— с ненастоящим злорадством

сказал ему Жора. А иам объясиил с усмешкой: — Весу-то в иих — что в котятах, а с земли восходящий поток. Почти каждый раз так зависают. А все равио просятся, повадились сюда. Лихие парии...

«Лихой парень» кииул сверху шиур с гайкой. Гайка закачалась в двух метрах от земли. Жора схватил, потяиул. Опять заскрежетал противовес, парашютист медлеиио поехал вииз.

Виизу его, серьезиого и довольиого, Левка и Жора освободили от ремией. Парашют с лямками и привязаииым к иим шиуром пополз вверх. А мальчик (это оказался младший из братьев) присел с иами иа траву, задрал голову и сообщил:

— Мишка с руками в кармаиах будет прыгать, глядите.

— А ты так ие можешь разве?— спросил Жора и иахлобучил иа иего подобраииую тюбетейку.

— Не-а, я еще боюсь.

Мальчик сказал это спокойио и весело, увереииый, что иикто ие засмеется. Ои был слишком смел, чтобы пугаться такого призиаиия. И ои зиал, что этот его страх — времеииый и случайиый, вроде пустяковой болезии, которая завтра пройдет.

Мишка действительио прыгиул с руками, засунутыми чуть ие по локоть в большие кармаиы. И выдериул их лишь у самой земли, чтобы схватиться за лямки и спружииить при посадке. Его ие пришлось тащить за веревку, ои, хотя и медлеиио, опустился сам. Видимо, восходящие от земли потоки ослабли.

Жора и Левка опять отцепили ремии, Мишкии брат им ловко помогал. Мишка обвел иас веселыми глазами и сказал:

— Скоро гроза будет. Сверху видио...

— Ладио, успеем,— сказал Левка.— Пошли, ребята, прыгием разок...

И мы пошли.

Ох, мы пошли... А лестиица была такая шаткая и дребезжащая. А пустота под ией и вокруг была такая... такая пустая и громадиая. И ие было иикакой опоры, кроме этих почти жестяиых ступеиек и шаткого уголкового железа перилец. И я всей душой стремился вверх: ие из каких-то возвышеииых чувств, а потому что дощатая площадка казалась мие гораздо иадежиее лесеики.

Мы выбрались из люка. Я принял небрежную позу, левой рукой словно бы случайно взялся за какую-то железную стойку, и пальцы мои на ней окаменели (а в ладонь впаялась круглая заклепка).

Но страх страхом, а все-таки я огляделся. И... все во мне ахнуло от жутковатого восторга. От фантастического простора.

Мир, в котором я прожил свои семнадцать лет и который казался мне таким просторным, лежал теперь подо мной весь разом. Город, окруженный лугами и полями, желтовато-серебристые излучины Туры, заречные деревни с игрушечными татарскими мечетями, дальние синие леса.

То, что с земли виделось у отчаянно далекого горизонта, придвинулось совсем близко, стало трогательно маленьким и добрым. Даже густой бор за деревней Падерино казался ближней рощицей. А когда-то он был для нас как дальняя таинственная тайга.

А город! Кто-то превратил его кварталы в игрушки, в макетики и в нужном порядке расставил на широкой плоской тарелке.

Рядом — дотянуться можно — белая церковь, в которой сейчас библиотека (там я накануне в читальном зале, устроившись в глубокой нише сводчатого окна, сочинял стихи). Вот и дом на улице Грибоедова, где я сейчас живу. А вот другой, на улице Герцена, где прошли мои первые годы и где живет мой дядя Боря. Тополь во дворе кажется отсюда совсем небольшим (но все же видно, что он выше остальных).

И вся улица Герцена, оказывается, небольшая. Вот она, целиком на виду — тянется от недалекого старого кладбища до восточного края Городища...

А вот школа, в которую никогда я уже не буду спешить на уроки.

Кончилась она, школа. Целая жизнь кончилась, целый мир. Я прощу этому миру все слезы и обиды, все несправедливые двойки, томительные часы «после уроков», красные записи в дневниках, тяжелую одурь недосыпаний, когда надо вскакивать ни свет ни заря и по морозным улицам топать на первый урок.

Я оставлю в памяти только хорошее: друзей, музыку школьных вечеров, шелковую ласковость пионерского галстука, книги, победные пятерки своих сочинений по литературе, нашу замечательную «классную»

Надежду Герасимовну и девочку Инку, к которой я так и не решился подойти...

И это хорошее унесу в другую жизнь. Скоро поезд увезет меня вон туда, за горизонт, в сторону, где садится солнце...

Солнце садилось в тучу. Она была темно-сизая, а края у нее золотились.

Туча не показалась мне плохой приметой. Я и без нее знал, что впереди будет много всякой непогоды. Но будет и много хорошего. Это я тоже знал. И не боялся.

...Единственно, чего я сейчас боялся,— это все-таки прыжка. Но я заставил себя подойти к перилам и с равнодушным лицом следил, как Левка разбирает брезентовую парашютную сбрую.

— Кто первый?— спросил он.

— Я!— сказал я с храбростью отчаяния.

Он опутал меня тяжелыми ремнями, пристегнул их лязгнувшими карабинами к стропам.

Откинул передо мной железную планку...

Я глянул вниз. Ух какая была подо мной глубина! Ой как далеко до земли... Оттуда смотрели на меня братья в красных рубашках. Они были совсем крошечные, будто я глядел на них в перевернутый бинокль. И все же мне показалось, что на лицах у них я вижу ехидную усмешку.

Да вы что? Я сейчас прыгну. Сию минуту... только... Я вцепился в лямки и зачем-то присел на корточки. Наверно, чтобы приблизить землю хотя бы на метр. И в эту секунду мягкий толчок Левкиного полуботинка отправил меня вниз.

Ух как рванулось навстречу пустое пространство! Ух как сжала меня жуть свободного падения! В точности как в детских снах про полеты и срывы с высоты, когда просыпаешься со стреляющим сердцем. И как долго я падал в те две или три секунды, пока не натянулись стропы!

А потом они натянулись, и я ощутил восторг оттого, что прыжок уже случился и что я так неторопливо и безопасно скольжу к земле.

Впрочем, не так уж неторопливо! Земля крепко стукнула меня по подошвам, и я брякнулся на спину.

Подскочили мальчишки. Стали расцеплять пряжки. Мишка сказал слегка назидательно:

— Надо на стропах подтягиваться, чтоб ие ковырнуться.

Брат его примирительно заметил:

— Первый раз все падают.

— Это точно,— согласился Мишка.

Я ничуть ие обиделся, я был им благодарен.

Отдав лямки, я опять сел на траву. Земля была такая теплая, такая прочиая. А трава такая зиакомая. Прохладные ладоии подорожииков, которые столько раз лечили наши ссадииы, добытые в футбольных сражеииях и в боях на деревяииых шпагах; пуховые фоиарики одуваичиков; жесткие, как проволока, стебли пастушьей сумки с семеиами, похожими иа продолговатые сердечки; пахнущая земляиикой уличная ромашка с желтыми головками без лепестков; «калачики» с круглыми листьями и семенами, похожими иа крошечные турецкие тюрбаиы...

Своим чередом прыгиули Валерий и Юрка. Что оии при этом чувствовали, ие зиаю, ио смотрели после прыжка бодро. Валерий даже ухитрился удержаться на ногах.

Последним приземлился Левка.

Инструктор сверху крикнул:

— Еще пойдете или мие прыгать?

— Еще?— спросил Левка.

Я встал. Мне очеиь захотелось опять иа высоту. Нет, страх ие пропал, я боялся даже сильиее, потому что познал жуткое чувство падеиия и зараиее переживал его вновь. И все же хотел. Чтобы снова увидеть с высоты разом все, что любил и с чем скоро должен был расстаться.

...Я понимал, что расставание это будет иеиадолго и что я не раз вериусь в родной город. Но поиимал и то, что в детство уже ие вериусь...

Инструктор сверху поторопил:

— Давайте быстрее, скоро ветер иачиется! Гроза!

В самом деле стало пасмурно. Все притихло, сильио запахло травами и теплым железом вышки.

— Пошли,— сказал я Левке.— Только ие путай больше мою задиицу с футбольиым мячом.— Я ие обижался иа иего, ио предупредить считал иеобходимым.

— А ты ие сиди иа краю полчаса,— хихикиул ои.

— Нельзя пейзажем полюбоваться?

...Теперь вид с высоты был другим. Солиечиый свет

держался лишь на верхушках дальнего леса на востоке. Река потускнела. Край серо-синей тучи был уже почти у зенита. Он больше не светился. Над крышами Городища облачные провалы на миг загорелись неярким розовым огнем.

Пробегали ветерки и гасли, шелковый купол нервно вздрагивал.

Запах травы был здесь почему-то даже сильнее, чем на земле.

Инструктор Степа — высокий рыжий парень с веснушчатыми руками — слегка нервничал и поторапливал нас. Я прыгал после Валерия и Юрки. На этот раз я крепко сжал себя и заставил шагнуть с площадки без секундного промедления. И опять — одурь летящей пустоты, и опять — толчок и радостная прочность натянутых строп...

И снова я на земле (на этот раз даже не упал!), и радуюсь ее надежности, ее теплу и ощущению покоя. А главное, тому, что оказался сильнее страха.

Левка остался у вышки помогать инструкторам сворачивать снятый парашют. Мальчишки умчались. Валерка торопливо укатил домой: спохватился, что перед дождем надо укрыть толем дырявую крышу пристройки.

Мне домой не хотелось. Я пошел провожать Юрку. Мы не поехали, а именно пошли, держа велосипеды за седла и толкая перед собой. Я старался подольше сохранить в себе радость от прыжков и от того, что увидел с высоты. У Юрки, наверно, было похожее настроение. Он сказал с легким, привычным своим заиканием:

— П-первый раз было с-трашновато. Я бы и не полез, если бы не те п-пацаны. Неловко было п-перед ними.

Мы с Юркой знали друг друга много лет и всегда понимали друг друга.

— Я тоже на них глядел. Мировые ребята...

— А ты п-почему в педагогический не пошел? — вдруг спросил Юрка.— Ты же хотел.

Он знал, что врачи дали мне «поворот» от мореходки и тогда я решил двинуть по «семейной линии», в учителя.

— Я разве не говорил? — удивился я.— В иняз в этом году набора нет.

— Т-ты говорил... А почему на ф-филологический не подал?

— Ну его... Нагляделся на свою сестрицу, как она с тетрадями мается...

Думая об учительском деле, я мечтал, что буду ходить с ребятами в походы, ставить спектакли, выпускать рукописные журналы, устраивать военные игры и так далее. Сами уроки меня привлекали гораздо меньше. А каторжной работы словесника и литератора я просто-напросто боялся. Чтобы «тянуть» такие предметы, надо было отчаянно их любить. Например, как моя старшая сестра или наша преподавательница Елизавета Александровна.

— Зато к писательской профессии ближе всего,— заметил Юрка. Он знал о моих честолюбивых замыслах.

— А она получится, эта профессия?— усмехнулся я.— Поэтом мо́гу я не быть... и тогда что? Каждый год уныло внушать бедным детям, что Катерина — луч света в темном царстве? Она, кстати, никакой не луч...

— А в Свердловске на журналистику какой конкурс?

— Когда сдавал документы, было тринадцать с половиной...

— Ну, н-ничего...— сказал Юрка и деликатно отвел глаза.

— Ничего,— вздохнул я и тихо позавидовал Юрке и Валерию: у «технарей» в Тюмени конкурс был в два раза меньше.

— Г-готовишься?

— Книжку читаю. Купил сегодня и просто обалдел... Александр Грин.

— Дашь почитать?

— Само собой.

Я проводил Юрку до калитки. Его дом стоял на улице Герцена, как раз напротив моего старого родного двора с могучим тополем. Я перешел дорогу, чтобы навестить дядю Борю.

Дядя Боря жил теперь уже не так, как прежде. Он женился, стал солиднее. Проходную комнату его увеличили, сделали отдельную дверь и еще одно окно. На окнах теперь висели занавески. Пропахшие табаком обои были заклеены новыми.

Но синие, как у мамы, дяди Борины глаза нет-нет да и вспыхивали прежними мальчишечьими искорками.

Когда я вошел во двор, дядя Боря сидел на крыльце и курил.

Я поздоровался, прислонил к столбику у крыльца велосипед и тоже сел на ступеньку. Несколько тяжелых капель упали перед крыльцом на мощенную кирпичами дорожку, но главный дождь проходил стороной. Громыхало тоже где-то поодаль. Пахло тополем, теплой пылью и досками недавно вымытого крыльца. И дымом от дяди Бориного «Беломора». Воздух был неподвижным, и дым висел над головами слоистым облачком. Потом налетел капризный ветерок, облачко исчезло, тополь встряхнулся и торопливо зашумел.

Дядя Боря глянул вверх, погасил о крыльцо окурок, но со ступеньки не поднялся. Спросил:

— Ну как? Готовишься в студиозусы?

— Не-а. Надоело.

— Переучился,— понимающе сказал дядя Боря.— Значит, надо голову проветрить.

— Вот и проветриваю...— вздохнул я и хотел рассказать про вышку и прыжки. Но дядя Боря вдруг засмеялся:

— Вспомнил, как в сорок пятом осенью твой отец в отпуск приезжал — он еще в армии был тогда — и пошел в школу про твои дела узнать. А ты тогда только в первый класс начал ходить... Вернулся отец и рассказывает: учительница жалуется. «У вашего сына,— говорит,— ужасные разговоры. Он мне сказал недавно: что за жизнь! Уроки, уроки, уроки, и никакой радости...»

— Не помню такого...

— А я вот помню.

— Это же десять лет назад было!

— Десять лет — разве время...

Я встал.

— Пойду. Поучу немецкую грамматику на сон грядущий... Уроки, уроки, и никакой радости в жизни... И главное — зачем? Все равно не поступлю.

— Поступишь,— сказал дядя Боря.

— Не... Я же все годы в школе троечником был.

— Ну и что?.. Это потом уж в жизни ясно, кто троечник, а кто нет. Не сейчас, не сразу...

Я помолчал, переваривая столь глубокую философскую мысль.

— А стихи у тебя хорошие в газете-то...— сказал дядя Боря.

Я покраснел, вспомнив свое стихотворение в «Тюменском комсомольце», которое кончалось бодрыми строчками:

А дни идут один другого краше,
И парта нам становится тесна.
Идет весна — весна всей жизни нашей
И школьных дней последняя весна!

Дядя Боря понял мои чувства.

— Да нет, правда ничего,— повторил он крайне убедительно. Особенно вот это:

Потом темней и гуще станут тени,
Рассветы станут ярче и светлей.
Наступит май в цветении сирени,
Потом июнь — в цветенье тополей...

Я мысленно простонал и, отчаянно боясь, что дядя Боря продолжит цитирование моего творчества, проговорил торопливо:

— А тополь наш в июне что-то слабовато цвел.

— Не каждый год пышно цвести. У них, у тополей, какие-то свои законы жизни есть.

Мы оба, запрокинув головы, посмотрели в гущу шумящей кроны. Гром над дальними кварталами опять прокатил по кровельным листам свои чугунные шары.

— А помнишь, ты мне стрелу для лука сделал, и я ее туда, в чащу, запустил, и она застряла? Ух, я ревел... Тоже в первом классе было.

— Я тебе тогда новую сделал.

— Да...— сказал я. И словно вдохнул горячий воздух — такое неожиданное чувство, смесь нежности, благодарности и непонятной печали поднялось во мне. Разом, как от толчка. Потому что сейчас, уже в самом деле прощаясь с детством, я вдруг понял, как много значил в моей жизни дядя Боря.

В январе сорок пятого года, в трудные и горькие для нас дни, мы остались вдвоем. Он не бросил меня, не отдал чужим людям...

Тогда сильно болела мама. Перед Новым годом она сортировала на военкоматовском складе привезенный с фронта утиль (годные еще для ношения гимнастерки и шинели раздавали тогда нуждающимся).

На этой работе мама подхватнла какого-то микроба и слегла с высокой температурой. У нее достало сил уговорить дядю Борю купить иа рынке н украсить для меия елочку. Дядя Боря ворчал, но сделал все как надо. И я тихо радовался этой елочке н подарку — тоиенькой кннжке «Трн медведя». Радость вперемешку с тревогой. Чтобы прогнать тревогу, я разговарнвал с мамой, и она через силу отвечала мне.

А иочью маме стало совсем плохо. Сильно распухло лицо.

Утром пришел врач.

Помню его седоватые вискн, запах одеколоиа, негромкий, но увереииый голос. Очень снльно блестели маленькне очкн.

Врач осмотрел маму, помолчал и сказал, что скрывать иет смысла: заражеиие крови.

Про пеиициллин и другне могучие лекарства мы тогда еще ие слыхали, и даже я знал, что заражеине кровн — смертельно.

— Так это что же? Значит, всё? — тихо спросила мама.

Врач развел маленькими очеиь чистыми руками н мягко сказал:

— Что же делать, голубушка. Все мы когда-ннбудь всё...

Дальше я плохо помню. Совсем выпало из памяти, был ли кто еще в комнате, и как ушел врач, н что еще говорила мама. Я утонул в вязком ужасе, и все сделалось какое-то серое и ненастоящее.

А потом мое сердце, вся моя душа, каждый мой крошечиый иерв отчаянно восстали протнв этого ужаса, этой безысходиости. Потому что т а к о г о случиться с мамой ие могло. Это противоречило бы всем законам природы, всей логнке жизни. Как же это вдруг мамы не будет? Чушь какая!

И я бросился к ней и уже с полной верой в свои слова стал говорить, что врач ошибся, что он дурак, что он врет!

И мама улыбнулась почти незнакомым, распухшим лицом и подтвердила, что, конечно, он ошибся (только нехорошо говорить «дурак»).

...Немного отвлекаясь от рассказа, хочу согласнться, что говорить «дурак» нехорошо. Особенно про пожилого и заслужеиного человека.

Про того, кто, видимо, много лет успешно лечил тысячи людей. И так далее... Но я был тогда маленький, это во-первых. А во-вторых... как он мог все-таки сказать такое? Неужели глухота души — это болезнь, которая может с возрастом прийти к любому?

...Через час пришел другой врач — известный в городе доктор Виноградов. За ним сходил дядя Боря. Даже не сходил, а просто кинулся к этому человеку как к последней надежде. Словно с просьбой о чуде. И чудо произошло. Доктор сказал, что у мамы вовсе не заражение крови, а рожистое воспаление.

Еще через какое-то время маму закутали в пальто и одеяло и в пролетке увезли в больницу. Я смотрел в окно. Мама не могла махнуть рукой, но чуть наклонила замотанную шалью голову, когда увидела мой расплющенный о стекло нос.

Лошадь с заиндевелой мордой неторопливо пошла, и сквозь двойные стекла я услышал, как визжат на снегу полозья...

И мы остались с дядей Борей вдвоем.

Представляю, сколько он хлебнул со мной. Каково ему, привыкшему к аскетической холостяцкой жизни, было возиться с шестилетним пацаном, которого из-за жестокого ревматизма зимой даже в детский сад не отправишь.

А брат и сестра учились далеко от Тюмени, в Одессе.

Немудрено, что дядя Боря через несколько дней согласился поселить меня у нашей знакомой. Это была добродушная толстая эстонка, плохо говорившая по-русски. Из эвакуированных. Одно время она жила у нас на квартире и, как я теперь понимаю, привязалась ко мне. Так иногда привязываются к чужим ребятишкам бездетные женщины. Теперь эта тетя Эльза жила в нескольких кварталах от нас. Там у хозяйки был сынишка — мой ровесник. Хозяйка славная, мне у них будет хорошо...

Меня уговорили. Закутали, собрали узелок с одеждой и игрушками и увели из родного дома. На другой край света, на соседнюю улицу Челюскинцев.

Хозяйка квартиры в самом деле была очень славная. Раздела меня, накормила, показала, где я буду спать: на уютном диванчике под картиной с лебедями. И мальчик мне понравился: спокойный, ласковый. Сразу подарил мне картонного зайца с жестяным ружьем через плечо

Мы сели играть на мягком, связанном из лоскутков половике — строить дом из костяшек домино и катушек от ниток.

Построили. Потом разобрали и сделали другой. Поселили там зайца.

От высокой круглой печки несло теплом. Тикали часы с гирями. Мурлыкала кошка. И в этом уютном покое мне делалось все тоскливее. Окна стали темно-синими от сумерек. Я еще разговаривал нормально, даже смеялся, но слезы уже стояли у горла. Потому что тепло здесь и сытно, и мальчик Костя хороший, и тетя Эльза знакомая, почти своя, но они не родные. А единственный родной человек, который мог быть со мной — дядя Боря,— теперь далеко-далеко. А здесь все не мое. Не мамино...

Видимо, слезы мои были такими горькими, непохожими на обычный каприз, что тетя Эльза покачала головой и пошла за дядей Борей.

Он пришел сумрачный и не сказал мне ни слова. Молча замотал на мне шарф. Молча развел перед хозяйкой руками. Подтолкнул меня, зареванного, к двери. И, не говоря ни слова, повел к дому.

Но дома, раскутав меня, притихшего и пристыженного, вдруг сказал ворчливо:

— Ну и ладно... Мне и самому тут как-то одному-то...

Как мы с той поры жили? Честно говоря, я это помню урывками. Помню, как сидим за столом, едим обжигающую рот картошку и дядя Боря рассказывает, что сегодня опять был в больнице и маме гораздо лучше. Помню, как он моет меня в гулком жестяном корыте и я зажмуриваюсь, чтобы не попало под веки едкое жидкое мыло, а когда на миг все же размыкаю глаза, вижу мелкие мыльные пузыри — они взлетают к потолку в горячем воздухе от печной плиты. Помню, как вечером при желтой тоскливой лампочке жду дядю Борю с работы, и вот он приходит, и лампочка сразу становится ярче.

Сохранилось в памяти, что иногда дядя Боря целыми днями был дома: то ли отпуск выпросил, то ли болел. В то время он был еще очень слаб после недавней дистрофии. Тогда он возился с дровами, с посудой, неумело пришивал к моим рубашкам разнокалиберные пуговицы или в теплой воде отмачивал на моем пальце присохший бинт (пальцы распухали от

ревматизма, на одиом лопнула кожа, и он загноился).

Помню, что я любил трогать ладошкой щетииистую щеку, когда дядя Боря сажал меия на колени.

Один вечер запомиился особеиио. Мы с дядей Борей зачем-то пошли к его знакомой. Оиа жила в трех кварталах от иас. Был ощутимый морозец, шли мы по дороге, снег отчетливо скрипел под валенками. В коице улицы догорал морковиый закат. Уже светились окошки.

Знакомая дяди Бори, какая-то старушка, жила в покосившемся домике с большущим круглым (а вериее, овальиым) окиом. Какое дело было у дяди Бори к старушке и о чем они говорили, ие помию. Мне дали стакан теплого чая с горкой желтого сахара-песка на блюдце, и я тихо радовался. И поглядывал по стороиам. Электричества ие было, горела иа столе керосиновая лампа с пузатым стеклом. От неяркого света иа темной люстре под потолком загорались сииие искорки.

Вечер за круглым окиом совсем почернел. Лампа высвечивала иа фоие темных стекол белые изогнутые лииии переплета. Я слизывал с блюдечка сахар, болтал под столом валеиками и все хотел спросить, почему такое окио, только не удавалось: дядя Боря и старушка о чем-то живо беседовали.

Я спросил про окно, когда мы шли домой (и вечер был теперь темио-зеленый, с белой луной). Дядя Боря сказал, что окио называется «венецианское». Такие делают в городе Веиеции, в Италии.

— Это ихний Муссолини, что ли, придумал?— сердито спросил я, потому что зиал: в Италии фашисты, а Муссолини у них вместо Гитлера.

Дядя Боря ответил тоже слегка сердито:

— При чем тут Муссолиии? Ои дурак и мерзавец, а Италия — прекрасиая страиа... Город Веиеция стоит иа малеиьких островах, и вместо улиц там каиалы. Вроде рек. Люди там иа лодках ездят.

— Как у иас по Туре?

— Почти...

— А почему там окиа круглые?

— Н-иу...— сказал дядя Боря.— Обычай такой. Мода... А может быть, потому, что все дома у моря стоят. У пароходов тоже окна круглые, иазываются «иллюминаторы»...

Дядя Боря почему-то вздохнул. Тогда я не понял отчего. А сейчас думаю: наверно, оттого, что он никогда не видел моря и не знал, увидит ли...

Домик с венецианским окном стоит на улице Герцена до сих пор. По крайней мере, пока стоит. Покосившийся, обшитый досками, но все равно немного сказочный. Когда я подрос, то очень любил ходить мимо него. И мимо других интересных домов на моей улице, и в ближних запутанных переулках. Это были домики с затейливыми крылечками, резными узорами на дверях, кружевными дымниками на печных трубах, тяжелыми, изукрашенными карнизами над большими окнами. На покривившихся воротах с башенками ржавели таблички и овальные знаки старинных страховых обществ. На некоторых знаках был якорь. Это делало нависшие над полынными склонами лога переулки еще более загадочными. Похожими на закутки незнакомого приморского города.

Однажды дядя Боря добавил новую долю морского очарования нашей сухопутной Тюмени. Он рассказал, что на ее старинном городском гербе — парусный корабль. Да-да! Потому что в прежние времена именно отсюда начиналось плавание по всем сибирским рекам. По Туре, по Тоболу, по Иртышу, по Оби, а оттуда — в море. Случалось тюменским купцам хаживать и в Англию...

Вскоре я увидел герб своими глазами — в городском музее. Он был нарисован облупившейся масляной краской на жестяном щите с пятнышками ржавчины. Храбрый одномачтовый кораблик плыл по синим волнам... Этот кораблик я перерисовал в тетрадку, в которой записывал свои первые стихи.

Потом дядя Боря преподнес мне еще одну истину. Вернее, помог сформулировать то, что я давно уже смутно чувствовал. Он сказал, что где-то в Мексике, в Австралии и Африке тоже есть небольшие городки и там тоже живут мальчишки — такие же, как я,— Толька Петров, Амир Рашидов и Вовка Покрасов. Ну, пусть не совсем такие, говорят на других языках, но похожие на нас характерами. Тоже играют по вечерам в сыщиков-разбойников, пряталки и разные другие игры. Носятся по улицам под кактусами, бананами, пальмами и эвкалиптами. Для нас их городки, улицы, эти бананы и пальмы — заморская необыкновенность, а для них — самые обычные вещи. Зато наша Тюмень для

тех ребят — с ее деревянной стариной, тополиным пухом в июне, заросшими остатками крепостных рвов и подземных ходов, с монастырем петровских времен и полынью у некрашеных заборов — дальний загадочный край. Все зависит от того, какими глазами смотреть.

Нет, я не стал после этого смотреть на знакомые с детства улицы глазами австралийского или мексиканского мальчишки. Я здесь родился, здесь все было мое. Но я научился находить необычное в заросшем лопухами уголке двора и различать налет тайны или сказки на поломанном узоре старинного балкона.

Это пристрастие (с точки зрения многих солидных людей, несерьезное, мальчишечье) я сохранил до сих пор и теперь уже не стесняюсь его. Без такого пристрастия не написал бы я ни одного самого чахлого рассказика.

А в семнадцать лет оно помогло мне открыть для себя Грина и полюбить его с первых строк.

Говорят, у Грина было могучее воображение и он мог, взглянув на камешек или травинку, представить нездешние горы и джунгли. Безусловно, это так. Но не только э т о. Видеть необычное в самом простом, разглядеть тайну в обыденной вещи — это не значит приукрасить вещь и превратить ее в игрушку. Наоборот, это значит проникнуть в ее глубину, открыть ее сущность. Именно этим талантом и обладал Грин.

О героизме Севастополя, о славе его флота пишут многие. И будут еще и еще писать — эта тема бессмертна. Но войны были только в немногие годы, а Севастополь живет двести лет. И есть у него еще одна тема — его сказочность, его поэзия, его волшебное умение привязывать к себе людей. Об этом написано гораздо меньше. Грин сумел проникнуть в самую глубь севастопольской сказки, и так родились Зурбаган, Лисс и Сан-Риоль...

И, конечно, вовсе не случайно фильм о юности Грина — прекрасную киноленту «Рыцарь мечты» — снимали именно в Севастополе. Для этого туда пришел четырехмачтовый барк «Крузенштерн».

Тогда, в шестьдесят седьмом году, на «Крузенштерне» мы и увиделись впервые с Женей Пинаевым.

Это была добрая (хотя, возможно, и чуть насмешливая) прихоть судьбы: два уральца, много лет жившие

бок о бок, познакомились вдали от дома, на палубе гигантского парусника. Потому что оба были «помешаны на парусах». Женя до этого ходил в плавания на учебных баркентинах и немало поборол разных морей-океанов. А я, не получивши морской профессии, сколачивал в Свердловске мальчишечий флотский отряд.

В том году Пинаев числился на «Крузенштерне» матросом и художником, а я привез несколько своих мальчишек в Севастополь показать море и корабли. Мы увидели в бухте четырехмачтовое парусное судно — «живое», настоящее!— и, конечно, правдами и неправдами проникли на барк. И целую неделю отирались там среди матросов, курсантов и актеров. Там и свел меня один из штурманов с земляком — загорелым дядькой, у которого были колючие усы и крепкие пальцы корабельного плотника.

— Жень!— говорю я.— А помнишь тот вечер на «Крузенштерне», когда с берега опоздал катер? Луна — как прожектор, небо зеленое, снасти черные, а по палубе шастают типы в пиратских костюмах... И песня из динамика:

Южный Крест там сияет вдали,
С первым ветром проснется компас...

Пинаев топорщит усы и с удвоенной силой лупит заскорузлыми пальцами по клавишам машинки. Моя «лирика» его отвлекает. Но я говорю снова:

— Жень! Давай плюнем на все дела и махнем в Севастополь! А? Хоть на пару дней?

— Сгинь, совратитель!— рычит он, и машинка ржаво стонет от перегрузки.

Ну, ладно... Я сажусь на диван, откидываюсь к спинке (с полки падает на меня сушеная морская звезда). Машинка входит в нормальный ритм. Женщины в соседней комнате перестали звякать посудой (вот-вот позовут). Лешка дерется с пинаевским черным котом по имени Лопес Квадрильо Мурильо. Весна расшвыривает по стенам быстрые блики. Они похожи на отражения беспокойной воды. Как в каюте... На стене напротив дивана висит спасательный круг с «Крузенштерна». За него засунута пожелтевшая ветвь акации с длинными коричневыми стручками (стручки ссохлись, сквозь их шкурку цепочками проступают горошины). Эту большую ветку нам в прошлом сентябре добыли на память Алька и Роська.

Мы шли по Шестой Бастионной, а мальчишки тащили эту ветвь нам навстречу. Сказали, что недалеко от яхт-клуба грузовик поломал акацию. Потом Алька вздохнул:

— Значит, уезжаете...

— Что поделаешь...— сказал я.

— А папа до вечера на репетиции. Не сможет проводить.

— Ничего, мы вчера попрощались.

— А мама сказала, что проводит,— сообщил Роська.— Она сегодня рано с работы придет... Ой, вот она идет! Мама!..— Он подскочил и помчался навстречу смеющейся Люде.— Мы здесь, мама!

...— Мама!— закричал я и кинулся навстречу, когда она вернулась из больницы.

Была середина февраля, на мамином пальто таяли капельки снега.

— Мамочка...— Я прижался к холодному сукну, от которого пахло вьюжной улицей.

Мама смеялась и тоже прижимала меня и тут же отодвигала, чтобы не простудился.

Потом она размотала платок. Голова у нее была маленькая, стриженая, и я чуть не заплакал от резкой жалости. Но не заплакал. Потому что мама была веселая. Она сказала:

— Видишь, ты тогда сказал, что я обязательно поправлюсь, я и поправилась. А врач действительно чепуху наговорил.

И я понял, что спас маму своим неверием в беспощадный приговор того сытого, спокойного врача. Спас уверенностью, что мама в этом мире должна быть всегда...

Потом пришел март — праздничная ранняя весна, звонкая, как миллионы стеклянных бусин. Той весной я впервые построил парусный кораблик. Вырезал из сосновой коры. Это стало моим любимым делом. И тогда, и через год, и через два я выпускал на синие разливы луж свои бриги и фрегаты с парусами из тетрадных листов. Мама тоже любила мою игру, только всегда боялась, что я вымокну и простыну.

Через много лет, ранней весной восемьдесят первого года, я написал об этом времени рассказ «Остров При-

видения» и подарил его маме к Восьмому марта. Она обрадовалась. Читала, смеялась, потом заботливо спрятала папку с рассказом в тумбочку с самым ценным своим имуществом — дневниками и письмами. И спросила:

— А как дела с нынешними корабликами?

Она знала, что в отряде «Каравелла» мы должны строить новые яхты. Я сказал, что восемь парусников типа «штурман» решили заложить осенью, а зимой уже начнем сборку.

Пришла зима.

В декабре мы начали собирать на стапеле первого «штурмана». Дело не клеилось. Дерево килевого бруса оказалось плохим, рыхлым, упругая фанера днища вырывала из него шурупы. Был вечер, занятия по расписанию давно закончились, но мы с мальчишками все торчали у стапеля. Ругали строительные отходы, из которых приходится собирать свои корабли, и сокрушенно думали: как же крепить обшивку?

...И вдруг все стало не важно. Не нужно.

В начале того дня мамин звонок застал меня уже на пороге.

— Ну, как там ваша стройка?— спросила она.

— Сегодня начинаем... Мам, я спешу. Вечером приеду и расскажу подробно!

«Не расскажу,— отчетливо понял я вечером, когда узнал, что маму увезли на «скорой» и она лежит в палате интенсивной терапии.— Поздно».

Я был слишком взрослый. Слишком хорошо понимал, что чудес не бывает. Второй инфаркт, да еще, как сказали, «обширный», при мамином-то здоровье, при ее годах...

Мне бы то детское, отчаянное неприятие смерти, ту яростную уверенность, что с мамой никогда ничего не случится. Как в сорок пятом году... Может, и сейчас бы эта вера помогла?

Я понимаю, что с законами природы ничего не поделаешь, но ощущение вины не проходит до сих пор.

Мама всю жизнь работала с ребятами. До войны была воспитательницей и заведующей в детском саду. В тяжелые военные годы главной ее заботой стали

эвакуированные семьи и дети фронтовиков. Потом она руководила тимуровскими отрядами и ребячьими клубами в Тюмени. А когда приехала в Свердловск, квартира ее стала вторым штабом нашей «Каравеллы».

Мама сочиняла с мальчишками пьесы для наших праздников, гладила измятые галстуки, зашивала продранные в лесу рубашки, помогала выпускать стенгазеты, кормила проголодавшихся, мазала йодом ссадины и порой укрывала от праведного командирского гнева провинившихся.

В горький час прощания три знамени склонились над мамой — избитые походными и штормовыми ветрами флаги ребячьей флотилии. Ветераны «Каравеллы» — теперь уже семейные люди — надели прежние значки и нашивки и по очереди вставали в караул...

Приехал дядя Боря. Старый, печальный и спокойный. Он плохо слышал и обычно разговаривал очень громко, но сейчас, вспоминая про маму, как они росли вместе, как играли, говорил тихо. Будто сам себе...

...Через год холмик облицевали по краям плитками и поставили камень-гранит. Женя Пинаев сделал на ватмане рисунок, а мастер перенес штрихи на камень. На граните — силуэт женщины. Она держит на ладони маленькую каравеллу. Склонилась над корабликом, прежде чем отпустить его в плавание.

Плыви, кораблик...

— Папа, ты чего?— Лешка бухнулся рядом на диван.

— Ничего... Не трогай больше кота, замучил.

— Он сам лезет.

Женя торжественно трахнул по клавише последний раз, выпрямил согбенную спину и выдернул из машинки лист. Бодро, хотя и не совсем к месту, загудел марш Мендельсона. Исполнив эту свадебную музыку, он повернулся ко мне:

— Что ты там насчет Севастополя?

— Это я так... Все равно раньше осени не выбраться: у меня паруса, у тебя выставка.

— Да... а хорошо бы...— Он, как и я, посмотрел на сухую ветку акации.

— Женя, а помнишь, как проводница рычала, когда мы этот сук втащили в вагон? «Вы бы еще целое дерево!» Я говорю: «Отломим половину», а ты: «Зря, что ли, братцы Вихревы старались?»

— Помню... Только не братцы старались, а один Алька. Роськи не было, он потом с матерью на вокзал пришел.

— Да нет, ты забыл, оба они...

— Это ты забыл...

Но я же помню, как Роська стоит рядом с Алькой и вдруг отпускает ветку и мчится по Шестой Бастионной навстречу матери:

— Ма-ма-а!

...А может быть, это я бегу по улице Герцена, влажной и свежей после недавней грозы? Мама вернулась из пионерского лагеря для детей фронтовиков, где работала целых две смены. Она спешит мне навстречу. У нее в руках охапка мокрых васильков и ромашек. Я с разбега утыкаюсь в них лицом...

САНДАЛИК, ИЛИ ПУТЬ К ДЕВЯТОМУ БАСТИОНУ

ЗНАКОМСТВО

От стен Херсонеса до проспекта Гагарина, где ходят троллейбусы, можно идти по улицам. А можно н напрямнк дворами, площадками, на которых сохнет белье, сквериками и маленькнми пустырямн.

Я старался выбрать путь покороче. В городе меня ждали друзья: капитан яхты «Фиолент» Олег Вихрев и его сыновья — Алька и Роська. Был четвертый час. Воздух над подсыхающими травамн тихонько звенел и струился от густого тепла: стоял конец сентября, но солнце палило по-летнему.

Где-то в квартале от кинотеатра «Мир» тропннка вывела меня на площадку, заросшую высокой травой. На ее пыльных стеблях висели высохшие улитки. В траве лежали серо-желтые глыбы песчаника, нзрытого круглыми впадинами. На ближнем камне сидел, согнувшись, мальчишка.

Уперся локтями в коленки, охватил пальцами виски и не двигался. Только выгоревшие добела волосы шевелились в струйках теплого воздуха.

Неподалеку валялся полуоткрытый ранец.

Сперва я на мальчишку глянул мельком. Мальчик как мальчик. Светло-голубая рубашка с короткими мятыми рукавчиками, старенькие шорты цвета пыльной плащ-палатки, потрескавшиеся сандалетки на босу ногу. Обыкновенный четвероклассник из ближней школы. Обыкновеннее некуда... Только вот поза невеселая (я чуть сбил шаг). Но и здесь, видно, дело обычное. Скорее всего, двойку схлопотал и не решается идти домой. (История хотя и грустная, но старая, как весь белый свет.) Чем тут поможешь?.. Я все же еще раз оглянулся на ходу. В этот миг из-под мальчишкиной руки упала капля-искорка. Чиркнула по колену и побежала вниз, оставляя на коричневой ноге темную полоску.

В десять или одиннадцать лет люди из-за двойки не плачут. То есть так открыто не плачут, на виду у прохожих.

«Но прохожих здесь и нет,— попытался успокоить я себя.— Я один тут иду, да и то случайно...»

«Ну иди, иди... случайный прохожий»,— сказал ехидный собеседник, который сидит внутри каждого из нас. Я тихо чертыхнулся, медленно подошел и сел на другом краю камня.

Конечно, мальчик меня заметил. Ни движением, ни взглядом он этого не показал, только весь как-то напрягся. Я молчал.

Самое глупое в таких случаях спрашивать: «Что случилось?» В ответ будет или досадливое дерганье плечом, или сердитое сопенье. А на второй и третий вопрос — короткое бормотанье: «Ничего...» Если даже мама или отец спрашивают, и то... А если незнакомый дядька, которого черт принес не вовремя!

Мы посидели с минуту. Потом я сказал негромко:

— Ну?

Он чуть всхлипнул и (вот удача!) тихонько отозвался:

— Чего?

Я проговорил осторожно:

— Вот и я думаю — чего? Так просто люди не роняют слезы среди бела дня.

Он шевельнулся, но голову не поднял. Проговорил полушепотом:

— Вам-то что...

Тут не было ни грубости, ни желания огрызнуться. Просто горькая досада: какой, мол, прок от ваших вопросов?

Я придвинулся к нему на два сантиметра.

— Как «что»? Просто увидел, когда мимо шел...

— Ну и шли бы...— опять всхлипнул он.

— Интересно ты рассуждаешь. У одного человека слезы, а другой, значит, топай мимо, как на прогулке...

Мальчик всхлипнул сердито и решительно. Нагнулся еще ниже, дернул к себе ранец. Потом быстро промокнул глаза растрепанным концом галстука. И тогда хмуро ответил:

— Ну и что? Ну и топают сколько угодно.

— Дело хозяйское. А я вот не могу, характер такой дурацкий,— с досадой сказал я (было ясно, что в клуб опоздаю).

Он сел прямо и наконец посмотрел на меня.

Галстук не помог, глаза все равно были мокрые. В них я не заметил ни капли неловкости за слезы. Эти серые мальчишкины глаза неприступно щетинились белыми ресницами, на которых блестели крошечные брызги.

Нет, не получилось разговора, не сумел я. Что-то не так сказал... Мальчик поднял ранец, застегнул, стал просовывать под ремешки руки. На меня опять не смотрел.

— Не уходи,— попросил я.— Может, я смогу тебе помочь.

Он равнодушно качнул головой:

— Никто не поможет.

— А все-таки,— сказал я с осторожной настойчивостью.— Сперва кажется, что никто, а потом находится выход... Ты ведь не знаешь, что я могу.

Мальчик опять взглянул мне в лицо. Мигнул. Чуть свел маленькие выгоревшие брови. Как-то иначе он сейчас глядел. Помягче. Даже чуточку улыбнулся.

— Время-то вернуть все равно не можете.

«Время вернуть не могу»,— подумал я. Но не признался в этом и спросил:

— А зачем?

Он как-то еще больше обмяк, бросил опять ранец и сказал с грустной доверчивостью:

— Потому что вот так получилось... Все пошли на экскурсию на крейсер, а меня — домой... Теперь все равно ничего не поделать, потому что давно ушли.

Вот оио что... Как же мальчишке хотелось иа корабль, если дело дошло до слез!

Я мыслеиио прокрутил в голове список всех зиакомых, которые имеют отиошеиие к флоту. И тех, у кого родствеиники и зиакомые имеют отиошеиие.

— С этой экскурсией и впрямь дело безиадежиое. Но я могу договориться! Чтобы тоже иа крейсер или иа какой-иибудь эсмииец. Или хочешь иа яхту? Большая яхта — это целый парусиый корабль! И прокатиться сможешь!

Глаза у иего быстро высыхали. Но ответил ои серьезио и грустио:

— Да иет... Не в этом же дело.

— А в чем? Обидио, да?

Ои иичего ие сказал, только бровями шевельиул: и обидио, мол, и еще есть причииы, сразу ие объяснишь. Потом улыбиулся:

— А я вас помию.

— Да иу? — обрадовался я. Но ие удивился. Мие приходилось встречаться с ребятами в десятках здешиих школ.

— Вы в иашем классе выступали. В прошлом году.

— А в какой школе?

— Да ие в школе. Мы в библиотеку приходили.

В Цеитральиой детской библиотеке я встречался со школьииками миожество раз. И чаще всего с третьеклассниками. Почему-то имеиио этот иарод любили водить туда учительиицы и воспитательиицы с продлеики.

— Вы иам сказку про ржавых ведьм рассказывали... — иапомиил мальчик.

— А-а! — сказал я. Про ведьм я рассказывал иеодиократио. Но чтобы поддержать разговор, я «вспомиил»: — Ты, кажется, тогда еще вопрос задал: «Скоро ли эту сказку иапечатают?»

— Нет... — мальчик улыбиулся чуть сиисходительио. — Я вопросов ие задавал, я позади всех сидел... Да вы меия все равио ие вспомиите, иас вои сколько было. А меия даже иа карточке иет.

— На какой карточке?

— Ну, мы тогда фотографировались вашим аппаратом, помиите? Вы потом Тамаре Иваиовне карточки для всего класса прислали.

Я вспомиил иакоиец! Вспомиил молодую и веселую Тамару Иваиовиу, ее шумиый класс, толстую девочку

Лену, которая сочиняет стихи, белобрысых близнецов Женьку и Федю, высокого тоненького Кирилла, который читал свой смешной рассказ про непослушную кошку... Но всех разве упомнишь!

— А почему тебя нет на карточке?

— Да так... Я не люблю сниматься, всегда какой-то смешной получаюсь... Наши ребята на заборе расселись, я за акацию задвинулся. Только ноги получились, которые из-за веток свесились.

— Ну вот, посмотрю на снимок и буду теперь знать — это ты сидишь за акацией, твои башмаки торчат.

— Ага... У меня один сандаль расстегнулся и еле на ноге висел...

Мне что-то смутно вспомнилось... Стоп...

— Слушай-ка, а на других снимках тебя нет? Мы ведь тогда много щелкали.

— На одном есть, только вдалеке. Там, впереди, Ленка Ловицкая стоит, у которой стихи, помните? И еще девчонки. А я сзади, на турнике вниз головой. А Тамара Ивановна меня поймать хочет...

— Да!— сказал я.— Она боится и кричит: «Ну-ка, слазь! Шею свернешь, Сандалик!..» Это ты — Сандалик?

Он шмыгнул носом, неловко заулыбался и кивнул.

Сейчас я уже хорошо помнил тот веселый час в просторном дворе библиотеки. Озорной стук подошв, смех, боевые кличи мальчишек, визг девчонок. И оклики наперебой: «Саньчик, Сандалик! Светку держи, она мою брызгалку стащила!.. Сандалик, иди к нам!.. Сандалик, тебя Тамара Ивановна зовет!»

Теперь мы были, можно сказать, давние знакомые.

— Сядем, Сандалик.

Он послушно сел рядом со мной на камень.

— Веселое у тебя прозвище. Ребята придумали?

Сандалик улыбнулся, кивнул. Но тут же насупился, сорвал сухой стебель, стегнул им по камню, сказал неохотно:

— Только это еще давно, в старой школе. А сейчас мы переехали, тут недалеко. И школа другая...

И сразу стало понятно, что не в радость Сандалику этот переезд и новая школа. И что хотя он отвлекся разговором, но обиду свою и слезы свои помнит.

Я спросил поспешно:

— Ну, а как все-таки насчет яхты? Устроить?

— На яхту я и так могу. Меня папины знакомые обещали взять...

— Ну, тогда на крейсер. Я попробую договориться.

— Да не в этом же дело,— повторил Сандалик недавние слова. И добавил сумрачно:— А вы даже и не спросили.

— О чем?

— Ну... может, мне так и надо. Что не взяли на экскурсию...

— Нет,— сказал я,— что-то не верится.— И добавил осторожно:— Мне кажется, если бы все было справедливо, ты бы не плакал.

Сандалик подумал и вздохнул:

— Не знаю...

— А за что не взяли-то?

— Да...— начал он. Замолчал, дотянулся до ранца, выдернул из него и раскрыл дневник. Там было размашисто начертано:

«Накануне устроил безобразную драку, пытался избить товарища. Поведение 2».

Тихо свистнул я и отдал дневник. Отодвинулся, глянул на Сандалика со стороны. При коротком и непрочном знакомстве можно ошибиться в человеке, но я был уверен, что не ошибаюсь:

— Ты же никогда не лезешь первый. Как тебя довели до драки?

Сандалик затолкал дневник в ранец и устало объяснил:

— Да не было драки. Я его только пнуть хотел, да и то не дали... Ну, сил уже нет. Пристает, пристает...

Я не спросил, кто пристает, не это сейчас было главное.

— А с чего началось-то?

Сандалик нерешительно облизал губы, опять насупился:

— Может, я правда сам виноват...

— Не знаю. В чем виноват?

— Наверно, не надо было говорить, что Стрелецк — неправильное название. Получилось, что приехал откуда-то и сразу указываю... А я же просто объяснить хотел

— Ты сначала мне объясни. При чем тут Стрелецк?

— Это весь здешний район так называется, потому что Стрелецкая бухта рядом.

— Я знаю. А почему неправильно?

— Потому что бухты перепутаны,— хмуро сказал Сандалик.— Я же не виноват... Раньше Стрелецкая бухта была Казачья, а та наоборот...

— Стоп, стоп, стоп! А откуда ты это взял?

— С карты... Вот,— он снова полез в свой потрепанный ранец. И на этот раз вытащил сложенный бумажный лист — желтый и сухо шелестящий. Развернул на камне.

— Ясно,— сказал я со смесью досады и удивления.— Будь она неладна...

Это была карта Гераклейского полуострова времен Первой обороны — с Севастополем, с окрестными бухтами, с горами и балками. С русскими укреплениями, с французскими и английскими батареями и траншеями. С витиеватой надписью в верхнем углу: «Планъ окрестностей городовъ Севастополя, Камыша и Балаклавы въ 1854 и 55 годахъ. Составилъ Кор. Воен. Топ. Штабсъ-Капитанъ Мотковъ 2-й».

— Ясно,— опять сказал я.— «Севастопольский сборник», второй том... Оттуда выдрал?

— Она еле держалась... У вас тоже есть такая, да?

— Есть... А у тебя откуда «Сборник»?

— Ой, да еще от бабушки. То есть от прабабушки и прадедушки. Прадедушка много книг собирал про Севастополь.

— Моряк был?

Сандалик кивнул:

— Папа говорит, он был на миноносце командиром. Ну не самым главным, а каким-то помощником... А потом он курсантов учил. Только папа его не помнит, он еще до войны умер.

— Как же книги-то уцелели в войну? Тут такое было...

— Да, я знаю,— серьезно сказал Сандалик.— Одни развалины остались. Но книжки некоторые в погребе лежали, их бабушка туда вместе со всякими вещами спрятала... А дом разбомбили.

— И бабушка погибла?— нерешительно спросил я.

— Нет, ей повезло. Она тогда не дома была, а под старым мостом пряталась. Знаете, такой старинный мост от водопровода, на Аполлоновке?

— Знаю, конечно.

— Она вместе с папой пряталась, он тогда совсем годовалый был, у нее на руках. А потом их на эсминце в Новороссийск вывезли. Только папа этого не помнит, конечно.

Мы разговаривали, придерживая пальцами развернутую карту. И я чувствовал, что Сандалику хочется скорее сказать о главном: о путанице с бухтами и своей обиде. Но мне было все интересно, что он рассказывает. Это во-первых. А во-вторых, не хотелось его огорчать раньше времени.

— Значит, раскопали потом погреб?— спросил я.

— Раскопали... Бабушка вернулась, когда немцев прогнали. Дом был весь разбитый, а заваленный погреб — целый. Потому что он старинный был, каменный. В нем еще в ту войну, при Нахимове, от бомбежки прятались. Ну, то есть не от бомбежки, а от ядер...

— Дом на Корабелке стоял?

— Да, вот здесь.— Сандалик обрывком травяного стебля ткнул в карту. В сантиметре от голубого завитка Корабельной бухты темнела чернильная звездочка.

— Отметил?— улыбнулся я.

— Да. Там сейчас новые дома, но мне это место папа показывал. А ему бабушка... Она еще долго жила, наша бабушка, даже я ее помню. А дедушка погиб в первые дни войны, ушел — и больше ничего не известно.

— Весь ты до десятого колена здешний, севастопольский,— проговорил я чуть ли не с завистью.

— Конечно,— просто сказал Сандалик. Видно, он был уверен, что иначе и быть не могло. Он нетерпеливо, но вежливо помолчал: нет ли у меня еще вопросов? И опять ткнул стебельком в карту:

— Видите, эта бухта сейчас Стрелецкая. А здесь написано — Казачья.

— Вижу...— вздохнул я.— И на других планах видел. Только знаешь, Сандалик, наверно, это все-таки путаница.

— Почему?— он глянул недоверчиво и требовательно.

— Ну, кто ее знает почему... Слушай, пойдем куда-нибудь в тень, а? Я сейчас расплавлюсь.

Сандалик посмотрел удивленно. Ему, до костей прожаренному черноморским солнцем, жара ничуть не досаждала. Но тут же он согласился:

— Пойдемте... Ой, а вы никуда не торопитесь?

— Уже не тороплюсь,— сокрушенно сказал я. И подумал, что капитан Вихрев и Алька меня, пожалуй, поймут, но Юрос будет долго дуться и непримиримо сверкать очами.

Мы сели на скамейку в тени двухэтажного дома, недалеко от песочницы с неутомимыми малышами. Сандалик расстелил карту на коленях. И опять спросил нетерпеливо:

— А почему путаница?

— Трудно сказать. Я сам столкнулся с этим случайно, когда писал один рассказ... Может быть, это пошло от генерала Тотлебена. Слышал про него? Он в Первой обороне командовал инженерными работами.

— Ну да, я знаю! Ему памятник на Историческом бульваре.

— Да. У него про Оборону большущий труд, толстенные книги... Кстати, у вас такие не сохранились от прадедушки?

Сандалик помотал головой:

— У нас мало осталось...

— Ну ладно... Так вот, в самом начале Тотлебен перечисляет бухты в том же порядке, что здесь.

— Вот, значит, и правильно!— обрадовался Сандалик.— Раньше же лучше знали! А потом перепутали...

Я подумал: для меня это случайный разговор, а у Сандалика из-за давней неточности названий всякие неприятности и обиды. Я сказал осторожно, боясь обидеть его еще больше:

— Видишь ли, у того же Тотлебена потом написано... Я не помню точно, а смысл такой: когда французы и англичане еще делали первые разведки, их четыре корабля встали у Стрелецкой бухты и вели огонь бомбами по Александровской батарее... Вот по этой, там сейчас яхтклуб. Ну и по этим тоже — по Восьмой, по Десятой. Наши им отвечали и заставили отойти. На Десятой ранило двух человек и разбило один лафет. Это были тогда первые потери в Севастополе...

Сандалик смотрел непонимающими глазами: ну и что, мол, из этого?

— Ты взгляни,— я ногтем провел по карте.— Если эта дальняя от города бухта и в самом деле не Казачья, а Стрелецкая, значит, корабли должны были стоять где-то здесь. Расстояние до батарей — километров двенадцать. А таких орудий, чтобы на эту дальность били, тогда и в помине не было. Самое большое — версты на три. Гладкоствольные же... Значит, корабли были все же вот здесь. Значит, вот эта бухта не Казачья, а Стрелецкая. Как сейчас...

Сандалик с минуту смотрел на карту, потом опять поднял на меня глаза: и недоверчивые, и в то же время виноватые. Мне стало неловко, будто это я причина всех его горестей.

— Кто-то в прошлом веке напутал, а при чем здесь ты?

— Им ведь это не объяснишь,— тихо сказал Сандалик.—Они и не слушают... Хохочут только да дразнятся.

— Кто?

— Ну... в классе.

«Пойдем в ваш класс,— чуть не сказал я.— Там я объясню вашим ребятам, в чем дело». Но тут же с досадой вспомнил, что сегодня суббота, а послезавтра я уезжаю.

Не зная, чем помочь Сандалику, я сказал:

— Ты все же, это... ты не унывай, держись. Ты все равно больше прав, чем они. Потому что ты хочешь разобраться, а им, видимо, все равно... Не ты же составлял карту, а штабс-капитан Мотков-второй... Ох и грамотей этот Второй! Смотри, даже название переврал: написано не Стрелецкая, а С т е р л е ц к а я.

Сандалик пригляделся к мелким буковкам и улыбнулся:

— Ой, верно...

Я сказал строго (чтобы побольше вины свалить на незадачливого штабс-капитана из корпуса военных топографов):

— К тому же по старым правилам здесь должна быть не буква «е», а буква «ять». Знаешь такую?

— Конечно. Я же «Севастопольский сборник» весь прочитал. И еще старую книжку про Синопский бой. Там тоже везде эти «яти» и твердые знаки... Из-за них мне и про драку написали...

Я ничего не понимал. Сандалик свернул карту и печально объяснил:

— Из-за памятника... Вы на Малаховом новый памятник Корнилову видели? Его недавно сделали вместо разрушенного.

— Знаю. Не видел еще, завтра собирался...

— Вы посмотрите внимательно, там сзади надпись есть. Про те битвы, где Корнилов сражался, и корабли, которыми командовал. Надпись такую надо ведь или всю по-старинному делать, как раньше писали, или всю по-нашему, верно? Нельзя же половину так, а половину так?

— А там?

— А там по-всякому. Например, слово «тендер» с твердым знаком на конце, а слово «бриг»— без. Название «Фемистокл»— с твердым, а «Двенадцать Апостолов» — опять без. Ну и еще... Я про это сказал, а они опять: «Ха-ха-ха, профессор...»— Глаза Сандалика снова намокли и ощетинились ресницами. Он крепко хлопнул сложенной картой по скамейке. Вздрогнула и бросилась прочь серая кошка, которая нежилась на солнышке неподалеку.

— Слушай, а ты ничего не путаешь? Может, неправильно прочитал?

— Не путаю. Сами увидите... Они, наверно, думают, что я выхвалиться хочу. А я просто хочу, чтобы правильно... Обидно же за Корнилова.

— Нелегко тебе,— вздохнул я и подумал опять: «Чем же ему помочь?» А Сандалик глянул на меня сбоку и спросил совсем про другое:

— А тот рассказ уже напечатали?

— Какой?

— Вы же сказали, что рассказ сочинили, тоже про эти бухты.

— А! Нет, я его так и не закончил... Я хотел о фрегате «Везул» написать. Он погиб в начале прошлого века, еще задолго до Обороны. Во время шторма. Выбросило его на берег в Казачьей бухте, вот я и разбирался, где Казачья, а где Стрелецкая...

— А почему не написали?

— Трудно сказать... Наверно, потому, что не люблю печальных концов. Там люди погибли. Среди них один мальчик, юнга...

Сандалик посмотрел на меня внимательно и сказал:

— Жалко.

— Да... В общем, не получилось у меня.

— А вы про этот фрегат где узнали? Тоже из какой-то старинной книжки?

— Тоже... Есть такая, с описанием всех крушений в русском флоте. От петровских времен до Крымской войны.

— Всех-всех?

— Да. Много там всяких историй...

Сандалик придвинулся ко мне и сел поудобнее, словно решил, что эти истории я стану ему пересказывать. Потом произнес полувопросительно:

— Интересно, наверно...

— Конечно. Хотя и грустного много.

Сандалик понимающе кивнул, затолкал карту в ранец, но не встал. Ему явно не хотелось домой. Он подтянул на скамейку ногу, уперся в колено подбородком, посидел так, глядя куда-то вдаль. Потом сказал:

— В позапрошлом году у волнолома буксир штормом разбило, тоже люди погибли. Слышали?

— Да, я знаю...

— Так обидно,— тихо проговорил Сандалик.— Совсем недалеко от берега.

— Крушения чаще всего и бывают у берега.

Сандалик задумчиво покивал, каждый раз тыкаясь подбородком в колено. И признался:

— Я тоже не люблю книжки с плохими концами.

— Наверно, никто не любит,— сказал я.

— Наверно... А все-таки интересно,— вздохнул он.

— Что?— не понял я.

— Ну, та книга. Про крушения кораблей.

Мне показалось, я уловил его тайное желание. А может быть, мне не хотелось вот так просто встать и распрощаться с Сандаликом. Я в самом деле не люблю печальных концов, а этот конец был бы вполне печальный. Останется мальчишка со своими обидами. Ничем я его не утешил, ничем не помог, никакой даже маленькой радости ему не сделал. Стоило тогда останавливаться и садиться рядом?

Я сказал, почти не размышляя:

— Хочешь, я дам тебе эту книгу? Только на денек, послезавтра я уезжаю.

Он глянул удивленно. Глянул недоверчиво. Глянул обрадованно.

— А... как? А... она где?

Нам повезло: на проспекте Гагарина я увидел свободное такси и мы домчались до гостиницы буквально в пять минут. Я оставил Сандалика в машине, взлетел на лифте в свой номер, схватил книгу, вернулся и сказал шоферу:

— Обратно...

Надо было доставить Сандалика домой, а то получится, что похитил ребенка.

Он сидел в уголке кабины смущенный и слегка ошарашенный неожиданностью и быстротой всего, что случилось. Я сказал:

— У тебя сегодня вечер, завтра день и послезавтра почти день. Всю книгу, наверно, не прочитаешь, но кое-что успеешь.

— Ага...— тихонько выдохнул он.— А куда мне ее принести?

— Сможешь прийти прямо на вокзал?

— Конечно,— торопливо сказал он.— Я с первого класса один через весь город езжу.

— Поезд отходит в семь вечера. В полседьмого приходи к вагону номер шесть, я буду ждать.

— Ладно...— И дальше он всю дорогу молчал, только недалеко от кинотеатра «Мир» сказал:

— Здесь остановите, я тут пешком доберусь, по дворам...

Еще когда я ехал с Сандаликом в гостиницу, во мне зашевелились осторожные взрослые мысли. Книга редкая. Охотился я за ней несколько лет и лишь недавно «изловил» в Москве, в антикварном отделе Дома книги. Что я знаю про мальчишку? Где живет — неясно. В какой школе учится — тоже (их несколько в том районе). Даже фамилию на дневнике не посмотрел. Как найдешь четвероклассника, про которого известно только, что зовут его Саша или Санька и прозвище Сандалик? К тому же это прозвище в новой школе, наверно, и не знают... А расспрашивать Сандалика я не решился. Подумает еще, что я ему не доверяю.

Конечно, ничего плохого о Сандалике я не думал. Но я боялся разных случайностей. Вдруг не удержится и вытащит книгу на уроке, а тут эта самая учительница, которая накатала запись в дневнике! «Дай сюда! Где взял такую книгу? Не отдам, пока не придут родители!» Или потеряет где-нибудь. Или еще что-то...

Но, в конце концов, шут с ней, с книгой. Если мальчишка не придет к поезду, я не о книжке думать буду. Из-за него изведусь, из-за Сандалика. А он может не прийти: мало ли какие причины готов нам подсунуть подлый закон «всемирного невезения»! Сандалик может просто опоздать, может неожиданно заболеть ангиной, может ногу подвернуть. Это еще ладно. А если будет спешить и не там побежит через улицу?..

Он не придет, а я буду маяться в вагоне от неизвестности и всяких мыслей...

Страх за мальчишек, видимо, у меня в крови. Первый раз я ощутил его давно, лет двадцать пять назад,

когда повел купаться иа озеро ватагу соседской ребятии! Простая мысль, что безопасность каждого гвалтливого и беспокойиого пацана из этой компаиии зависит сейчас только от меия, вызвала колючую дрожь и нехорошую слабость в иогах. Но дрожь дрожью, слабость слабостью, а вскоре ватага превратилась в отряд. Появились походные палатки, фехтовальиые клиики, парусиая эскадра. И все это, как взрывчатой иачиикой, было иаполиеио риском: походы по лесам и скалам, плаваиия по штормовым озерам, мушкетерские турниры, кииосъемки с рыцарскими боями и абордажиыми схватками... И бояться приходилось каждый деиь. Даже в мелочах. Не пришел кто-то из мальчишек иа вахту, и думаешь: не случилось ли что по дороге? Пошли ребята с занятий поздиим зимиим вечером — опять боишься за иих. Ободрал кто-то колено или локоть — снова забота: хорошо ли промыли и забиитовали? Стоят ребята в иочном карауле — и сам спишь вполглаза...

Может быть, это и зря. Может быть, чересчур. Но иикуда ие деиешься, такая тревога становится постояииой, как дыхаиие. И оиа уже ие только о «своих». Она о любом, с кем ты хоть как-то зиаком...

Такие мысли, уже не имеющие прямого отиошеиия к Саидалику, крутились у меия, пока я мчался иа такси к яхт-клубу.

Я почти не опоздал. А Юрос явился еще позже меия: ои учился во вторую смену и к тому же его заставили переписывать задание по математике. Я его даже слегка подразнил за это.

Мы весь вечер готовили яхту к выходу, а следующий день провели в море. Ветерок был так себе, иебольшой, но все же плаваиие оказалось иитересным. Особеиио для меия, для человека, который бывает у моря иеделю в году. К вечеру около десятка крейсерских яхт оказались иедалеко друг от друга, когда шли от Херсонесского маяка в порт. Ветер перешел к иорд-весту, сделался покрепче, и парусники, обгоияя друг друга, полетели к гавани мимо всех бухт Гераклейского полуострова: Казачьей и Камышовой, Круглой и Стрелецкой, Херсоиесской и Караитиииой... Море было очень сииее, небо чистое, иа волиах появились гребешки, чайки поворачивались клювами к ветру и остаиавливались в его потоках. А яхты набирали скорость. Рядом с иами мчался громадиый двухмачтовый «Ориои». Юрос, прочио рас-

ставив тощие ноги, стоял на носу и снисходительно махал «Ориону»...

Во время плавания тревожные мысли о Сандалике у меня рассеялись. На следующий день тоже некогда было беспокоиться, хватало других забот. И волноваться я начал уже на подходе к вокзалу. Опять стал думать: а вдруг не придет?

Конечно, так и получилось: была ровно половина седьмого, а Сандалика на платформе не оказалось. Закон «всемирного невезения» вступал в силу.

Люди шли от троллейбусной остановки на платформу через мост над рельсами. Несколько раз я обрадованно вздрагивал, когда между прутьями перил мелькали коричневые ноги, а над поручнями проносилась голубая рубашка и светлые растрепанные волосы. Но это были просто похожие на Сандалика мальчишки. Много их таких...

До отхода осталось десять минут. Потом восемь.

Семь... Тут я впервые чертыхнулся. Вполголоса, но от души. Иногда это действует на «всемирное невезение» как заклинание.

...Сандалик появился не с моста, а откуда-то сзади. С частым топотом и сбитым дыханием. Встал передо мной встрепанный и виноватый, быстро проговорил:

— Здрасте... Извините, пожалуйста. Ой...

— Ох и мчался ты,— сказал я радостно.— Что-нибудь случилось?

— Да... Нет... Я из-за Люськи задержался, это сестра моя. Ух, я ей потом еще скажу...

— Не пускала? — посочувствовал я. А сам все радовался, что он прибежал.

— Я к ней на минутку зашел,— объяснил Сандалик,— она говорит: «Посиди с Тарасиком, я на пять минут в магазин сбегаю». Я говорю: «Я опоздаю». А она: «Я мигом, честное слово...» Еще слово дает! Ушла в магазин, а там очередь. А Тараса ведь не бросишь, ему год всего...

— А что это за личность — Тарас?

— Люсин сын...

— Значит, ты дядюшка!

— Да...— Сандалик заулыбался... И снова стал серьезным:— Вот книга. Спасибо.

Сандалнк протянул кингу двумя рукамн. Очевидно, ее возвращеине было для иего важиым событнем. Ои к иему подготовился специально: потрепанную обложку обернул чистой газетой «Слава Севастополя» и сам выглядел понаряднее — рубашка поглажеиа, вместо растоптаниых саидалет — новые кроссовки. Только вся эта нарядиость скособочена и встрепана от спешки.

— Миого успел прочитать?

— Почти всю. Только приложеиие ие успел. Да там уже не так интересио...— Саидалик помолчал и сказал потнше:— Жалко того юигу на «Везуле»...

— Да...— сказал я. И почему-то опять кольиула тревога за Сандалика.

А он отцепил от рубашки серебрнстый значок и протяиул иа ладони.

— Возьмите...

Это был значок нз серин «Бастионы Севастополя»— «Четвертый бастнои». Я взял, мельком пожалев, что ие Шестой.

— А у меня и подарнть тебе иечего.

— Да иу, дарить еще мие...— смутился ои.

— Я тебе свою киижку пришлю. Скажи адрес.— Я вытащил блокиот и ручку.

— Давайте, я сам иапишу.

Ои прниялся писать в блокноте и от усердня водил коичиком языка по пухлым губам. Я слегка иервничал: объявили, что до отхода поезда две минуты. Но сказал спокойио:

— А ты мне письмо пришлн, ладио?

— Ладно. Только адрес тоже дайте...

У меия в кармаие лежала визитная карточка, ио я ие решился дать ее Саидалику. Показалось, что оиа — глянцевая, солидиая, «взрослая» такая — отгородит меня от мальчишки. И я торопливо иачеркал адрес иа листке.

— Не потеряй.

— Нет, что вы...— Ои зажал бумажку в кулаке. И вдруг сказал:— А Казачья бухта в самом деле та, за Камышовой. Туда «Везул» и выброснло.

— Да. Зато насчет памятника ты прав.

Саидалик кивиул и потупился. Сказал шепотом:

— Только я ие зиаю, что делать.

— И я не знаю... В бронзе отлнто, не исправишь так просто.

Саидалнк свел выгоревшне брови и хотел что-то от-

ветить, но радио громко заиграло «Прощаиие славянки». Под этот марш поезда уходят из Севастополя...

Мимо вагоиа проплывали белые дома на берегах бухт, корабли, маяки, портовые краиы. Уходил назад Севастополь, и иичем иельзя было заглушить печаль расставаñия с этим городом.

Я смотрел иа берега, иа суда, иа вечернюю воду, ио до сих пор словно видел в то же время перрон и Сандалика. И думал, что вот прибавился еще один к сотиям моих зиакомых ребят — тем, кто подсказал мие миогие повести и рассказы.

Впрочем, в тот момеит я еще ие зиал, что буду писать о Сандалике. Казалось бы, что писать? Зачем? Никаких приключений с ним ие случалось. Были огорчения и радости, ио такие, как у любого четвероклассиика.

Но пришло время, когда подумал: расскажу про обыкновенный год из жизии обыкиовеииого севастопольского мальчишки. Что получится, то получится. И сел писать. Тем более что теперь я зиал про Сандалика гораздо больше, чем при первой встрече.

САНДАЛИК И ОДИССЕЙ

Про Одиссея зиал в этом мире только один человек — Саидалик. То есть Саиька.

Речь идет ие о зиамеиитом аргонавте Одиссее, про которого древнегреческие мифы, длинные поэмы, разиые книжки и даже киио, а о мальчишке с таким именем. Этот мальчик жил тоже в древиие века, но все-таки позже того Одиссея. Вот его и иазвали так в честь прославлениого путешествеииика.

Позиакомился с иим Саиька ие сразу. Сиачала ои просто так приходил иа развалииы Херсонеса. Неподалеку от новой квартиры, иа берегу Песочной бухты, был пляж, и Саиька повадился бегать туда каждое утро. А дорога вела мимо камеииой стеиы, за которой лежал заповедиик — руины и раскопки старинного города. Както от нечего делать Саиька и забрел сюда (пятака иа билет ие было, и ои в удобиом месте перебрался через стеиу).

Санька бывал здесь и раиьше — с Люсей, с отцом, иесколько раз. Было интересио, коиечно, только ие так

уж... Наверно, Саньке тогда по малолетству не хватало еще понимания. Он запомнил только развалины собора и сигнальный колокол над обрывом (в него кинешь камешком — он гудит). А в это летнее утро Санька взглянул на все по-другому. Может быть, потому что был один и никуда не спешил?

Кругом пахло тайной.

Темнели зарешеченные входы в подземелья. Подымались разрушенные серые башни и стены — такие древние, что страшно вздохнуть. Стояли среди колючих кустов одинокие мраморные колонны. Ступенями уходили в глубину развалины театра. Среди фундаментов от домов пестрела сложенная из морских камешков мозаика...

И пустынно было, тихо, только под обрывами отдаленно вздыхало море да в теплой траве кто-то стрекотал и позванивал.

По камням бегали прыткие ящерки...

Саньке показалось, что под любым камнем здесь можно отыскать старинную монету, ржавый меч или еще какую-нибудь до жути любопытную вещь.

...Ни монет, ни оружия он не нашел, зато набрал черепков от старинных кувшинов и ваз. На черепках можно было разглядеть остатки ободков и узоров, следы отколотых ручек.

Особенно много интересного было на галечном пляже под обрывом, над которым висел колокол. Там, среди омытых морем камней, перемешались все времена. Древние осколки и пивные пробки, какие-то старинные ржавые пуговицы и обкатанные волнами обломки мрамора от колонн, крабьи клешни и кусочки чьих-то костей...

Однажды Санька погнался за юрким крабом, отвалил плоский камень и увидел, что в оранжевом черепке, как в ладошке, лежит черная гильза от старого автомата ППШ. И сразу вспомнил, какие здесь были бои с фашистами...

А может, это дедушка стрелял здесь, отбиваясь от наседавших врагов. Может, это от его автомата гильза? Санька понимал, что такая вероятность очень маленькая. Но все-таки м о ж е т б ы т ь...

Дома Санька завалил береговыми находками подоконник. Мама качала головой, но этот «музей» не трогала. А Санька приходил все с новой добычей: с пестрыми голышами и раковинами-рапанами, с черепками амфор и красными от морской ржавчины осколками снарядов, кусками пробки от спасательных кругов и черными пуго-

вицами, иа которых сквозь окалину проступали якоря.

Такое собнраиие иа берегу Санька изывал охотой, а себя морским охотииком. Не правда ли, здорово звучит: м о р с к о й о х о т и к...

Но через неделю охота Саньке наскучила. Подоконник был завалеи в три слоя, а весь берег домой все равио ие уиесешь. И Саиька опять иачал бродить среди теплых от солица развалии. Среди тишины н дремлющих тайи.

Нельзя сказать, что Херсонес был безлюдеи. Кое-где работали на раскопках полуголые, чериые от солнца студеиты. Недалеко от берега ныряли у камией, иесмотря на всякне запреты, аквалаигисты. И туристы бродили — в одиночку и группами. Но люди как-то иезаметны были среди руии, среди заросшнх пригорков и камеиных глыб. Никто ие мешал Саньке быть одиому. И здесь ои впервые в жизни поиял, что одиночество — это иногда очень иеплохо. Можио ходить не спеша, думать о всяких тайиах, о людях, которые жили раньше, живут сейчас и будут жить потом... И вообще о жизни...

Но ииогда одииочество иадоедало. От него иачинало звеиеть в ушах и даже страшновато делалось. Тогда Саиька «приклеивался» к какой-ннбудь экскурсии.

Экскурсаиты пестрыми группамн ходилн по камням, а бодрые тетеиьки-экскурсоводы рассказывали, где какие были дома две тысячи лет назад, как в инх жили гоичары, вонны и торговцы, какие кругом стояли храмы и статун н откуда приходили в Херсонесскую гавань похожне на раскрашеииых морских чудовищ корабли — в ту бухту, которая сейчас иазывается как-то по-больиичиому: Караитнииая.

Иногда экскурсоводы показывали туристам большие разиоцветиые картиики. И Саиьке давали посмотреть. На картниках было очень синее небо, разноцветиые паруса в гавани, вoииы в шлемах с гребешками, рыиок с пестрой толпой. В толпе среди взрослых сиовали смуглые ребятишки. И одиажды Саиька увндел мальчика, с которым оии были похожи.

По крайией мере, Саиьке показалось, что очеиь похожи. У мальчишки были светлые волосы, коричиевые руки и ноги и такне же, как у Саиьки, саидалии из ремешков. Ветер трепал иа мальчишке просторную белую рубашку или накндку, похожую на короткое платьице (кажется, оиа называется «туиика»). Если Саиька выдериет из-под ремешка свою рубашку, получнтся то же самое.

И можно будет прыгнуть на две тысячи лет в прошлое, побежать на Херсонесскую площадь и разыскать этого мальчика.

Санька теперь понимал, чего ему не хватает в Херсонесе,— такого вот товарища!

Но нет, просто так в древность не прыгнешь. Нужна была машина времени.

Санька сделал машину за два часа. Он взял сломанный будильник, нарисовал для него новый циферблат, где вместо чисел-часов были написаны тысячелетия, приспособил сюда же лампочку и батарейку, чтобы мигала,— вот и все!

Санька завел пружину, отвел стрелку на две тысячи лет против хода, нажал контакт и отнес механизм в тайник под камнем в непролазных зарослях дрока (для всех, кроме Саньки, непролазных). Потом он распустил по ветру рубашку и, хлопая растоптанными сандалиями по камням, помчался искать в шумном городе Одиссея.

Они сидели на узкой набережной, недалеко от храма с множеством колонн. Сзади шумела людная площадь, но здесь мальчишкам никто не мешал. Санька и Одиссей болтали ногами в теплой воде и разговаривали.

— Ты меня долго искал?— спросил Одиссей.

— Нет, я почти сразу угадал, где твой дом.

— А я тебя тоже сразу узнал.

— Как?

— Не знаю. Будто чувствовал.

— Я один раз все же спросил у каких-то ребят: «Не знаете, где живет Одиссей?» А они давай хохотать: «За золотым руном уплыл!»

Одиссей улыбнулся:

— Меня так назвали, потому что мой отец тоже моряк.

— Капитан?

— Нет, что ты! Матрос на торговом судне.

— Он далеко плавает?

Одиссей перестал улыбаться и кивнул:

— Далеко... Мама иногда плачет, если долго нет корабля.

— Это я знаю,— вздохнул Санька.— Наша мама тоже беспокоилась, когда папа на промысел уходил... Хотя он и недалеко ходил, к Кавказскому берегу.

— Разве это недалеко?— удивился Одиссей. И спросил:— А твой отец тоже матрос?

— Нет, он третий механик был на рыболовной базе.

А сейчас на судоремонтном заводе работает мастером. Потому что база была старая, ее на слом отправили, а папу врачебная комиссия на берегу засадила. У него с сердцем неважно.

— А механик — это кто такой?

— Ну... вроде помощника кормчего.

— Наверно, он тоскует по морю,— серьезно сказал Одиссей.

Санька бултыхнул ногой, отгоняя медузу, и вздохнул:

— Наверно... Только он виду не подает, он веселый. Говорит: хватит болтаться по волнам, теперь буду жить на берегу и вас всех воспитывать. Это меня, Люсю и Тарасика. Тарасик — ее сын маленький, значит, уже папин внук.

— Какая у тебя большая сестра. А у меня сестры и братья все маленькие.

— У меня большая. Она хорошая... И муж у нее хороший, Гришей зовут. Он военно-морское училище закончил, специалист по дизельным установкам.

— А это что такое?

— Ну... это чтобы корабли двигать. У вас паруса и весла на кораблях, а у нас машины.

— А, я знаю про машины! У нас тоже есть. Чтобы камни метать во врагов, когда война. И еще в театре для всяких фокусов... А на кораблях нет. У вас эти машины рабы двигают?

— Да что ты, у нас нет рабов! Горючее двигает. Ну нефть сгорает, а от огня сила такая.

Одиссей сказал с ноткой зависти:

— У нас еще такого не придумали. У нас нефть только для боевого огня, для войны...

— Ну ее, войну...— хмуро отозвался Санька.

Одиссей кивнул:

— Когда играешь — интересно, а если по правде, то плохо... Но если враги нападут, куда денешься? Мы все равно готовимся быть воинами.

— Если нападут — тогда конечно,— согласился Санька.

— На корабль, где плыл отец, один раз пираты напали,— сказал Одиссей.— Отец знаешь как здорово бился! И другие тоже... И потопили пиратов.

— Пускай не лезут,— сказал Санька.

— А один раз на корабле рабов везли на продажу,— нахмурившись, заговорил Одиссей.— Там хуже было.

Рабы восстали, почти всех перебили, а отец прыгнул в море и два дня плавал, за пустой бочонок держался. Потом его дельфин спас.

— Да? Я про такие случаи тоже слыхал...

— У нас дельфины многих спасают. Это запросто,— сказал Одиссей.

Но Саньке не давала покоя другая мысль.

— Все-таки это нехорошо — угнетать рабов,— осторожно заметил он.

Одиссей смущенно побулькал ногами и покосился на Саньку.

— Да... а что делать? У вас всякие машины придуманы с огнем, а у нас кто будет работать?

— А свободные люди, что ли, не могут работать?! — возмутился Санька.— У нас тоже никто не бездельничает! Не везде же машины... А твой отец — он ведь тоже работает, хотя и свободный.

— Но мы же бедные...У нас только два раба — одна старая женщина, она помогает маме с малышами возиться, да еще привратник. Он просто так называется «привратник», а вообще-то он за всем хозяйством смотрит... Да это только считается, что рабы, а на самом деле... ну будто свои. Они с нами всю жизнь живут, никто их не обижает. Наоборот... Никому бы и в голову не пришло, что их продать можно... А вот у богачей — там другое дело. И продают, и новых покупают, и убить даже могут.

— Свинство какое! — сказал Санька.— А вот если бы ты родился не свободным, а рабом, хорошо тебе было бы?

— Ой...— Одиссей передернул плечами от такой жуткой мысли.

— Вот видишь! По-моему, ты должен бороться с рабством...

— Ну... я попробую,— проговорил Одиссей.— Только сейчас-то меня никто не послушает. Надо сперва выучиться, присягу дать на площади, тогда человек уже взрослым считается. Тогда можно выступать и требовать...

— У нас так же,— признался Санька.— Маленьких не слушают... А в вашей школе трудно учиться?

— Еще бы! У наставника палка вот такая...— Одиссей развел ладони.— А толщиной как палец у взрослого дядьки.

Санька зябко пошевелнл лопаткамн н торопливо сказал:

— Нет, у нас без палок. У нас учнтельннца вообще очень хорошая, даже ругает редко... Только я у нее уже не буду теперь, она младших учит, а я третий класс кончнл... И вообще я теперь в другую школу пойду. Потому что мы переехалн.

— Купнлн новую усадьбу?

— Да прн чем тут усадьба. Папа здесь недалеко квартнру получил двухкомнатную. А старую горсовет оставнл Люсе, Грнше и Тараснку. А то, знаешь, как маялнсь вшестером-то...

Однссей покивал, житейскне заботы ему былн знакомы.

— Пойдем, Александр, покажу в бухте отцовскнй корабль.

Онн пошлн по набережной, оставляя на камнях мокрые следы босых ног. Санька похлопал по колену снятой сандалней н попроснл:

— Ты не называй меня Александром...

— Почему? — удивился Однссей.— Очень хорошее нмя. Означает «благородный».

— Я знаю. Но у нас так мальчнков не зовут, пока не выросли. Лучше — Санька.

— Сань-ка,— задумчнво повторнл Однссей.— Тоже неплохо... А у тебя есть какое-нибудь героическое прозвнще? У наших мальчнков — у каждого. У меня — Аргонавт.

— У меня тоже есть. Только не героическое,— признался Санька.— Просто... Сандалнк.

— А почему такое? Ты быстрый бегун?

— Вообще-то да, я быстрый...

После детского сада Шурнк Дальченко решнл, что пора кончать с младенчеством. Имя ему ужасно не нравилось, оно годнлось только для дошколят. И с первого школьного дня он решнл стать Санькой.

Когда Тамара Ивановна знакомнлась со всемн по очередн, он встал за партой н быстро сказал:

— Саня Дальченко.

Тамара Ивановна переспроснла:

— Как? Сандальченко?

— Дальченко Александр,— с досадой повторнл Шурнк, н почему-то все засмеялнсь. Прншлось Тамаре Ива-

новне успоканвать класс и объяснять про днсцнплнну.

А на перемене курчавый боевой мальчншка — Митя Данков — подскочил н крикнул:

— Сандальчнк, пошли играть в брызгалки!

Шурик хотел рассерднться, но Митя смотрел очень уж весело. И к тому же он сказал:

— У тебя есть брызгалка? Тогда бери эту, у меня две! — И дал прекрасный водяной пистолет из мягкого баллончика.

Как тут было обижаться?

С того дня и пошло:

— Сандальченко, дай резинку!

— Сандальчик, пошли каштаны трясти!

— Тамара Ивановна, а Сандалик ревет, он коленку ободрал!

— Обожди, Сандаль, я скажу Тамаре Ивановне, что вы с Митькой девочек жуком пугали!

Через две недели в школе был кросс. Для всех — с первого по десятый класс. И Санька так припустил по аллее, что даже многих пятиклассников обогнал. И Тамара Ивановна при всех сказала:

— Вот какой у нас замечательный быстроногий Сандалик.

И с того дня он стал Сандаликом окончательно. Не геройское прозвище, но и не плохое. Ничуточки не обидное.

В садике Шурика нногда дразнили девчонки: «Шурнчек, он у нас хоро-оший...» Иногда, дурачась, гладили по головке, а иногда и щнпали. Бывало, что до слез доходило, потому что наподдаст он какой-нибудь самой вредной (когда уж очень доведут) и получается, что сам виноват. А в школе все пошло хорошо. За быстроту Сандалика уважали, слишком заднристых девчонок в классе не оказалось, и мальчишки тоже были хорошие. Случалось за трн года, конечно, всякое: и слезы бывали, и подраться пару раз пришлось, но это были мелочи. А в общем-то жизнь катилась без особых огорчений. Славная такая жизнь — с веселыми приятелями, не очень трудными уроками и разными интересными делами. Санька полюбил свою школу, хотя не был ни отличником, ни активистом.

...А сейчас он думал: как будет в другой школе? Но он не очень тревожился. Школы, наверно, все похожие, а с новым классом он как-нибудь познакомится. Санька теперь не детсадовский Шурик.

Долго не знали, в какую из ближних школ записать Саньку. В одной из них маме сказали, что здесь обязательная продленка, и Санька уперся. В другой обещали четвероклассников учить французскому языку, а будущему моряку нужен английский. И только в конце августа определили четвероклассника Дальченко в школу, что стояла как раз на полпути между новым Санькиным домом и Херсонесом.

Эту школу Санька отметил на старой карте, которую вытащил из «Севастопольского сборника» — старинной книжки с воспоминаниями участников Первой обороны.

Карта нравилась Саньке, он на ней отмечал все места, которые были для него важными: и Херсонес, и старый бабушкин дом, и прежнюю школу, и новый дом, где получили квартиру... Конечно, план города был старый, но все равно многое можно было узнать. А новые улицы и районы Санька дорисовывал. Это было нетрудно, потому что береговая линия хорошо узнавалась на карте,— она-то неизменная во все времена.

Только неясность с названиями бухт смущала Саньку. Карту Санька нашел весной, но обнаружил путаницу только в августе. До переезда в Стрелецк на имена дальних бухт он как-то не обращал внимания. А обратил — и озадаченно заморгал...

Гриша был на учениях. Санька сунулся к отцу, но тот лишь удивленно пожал плечами: «Чушь какая-то, опечатка, наверно». В цехе у него горел план, дома хватало забот с новой квартирой. И у мамы хватало. А у Люси тем более: и восьмимесячный Тарас на руках, и пятый курс института...

Санька не верил, что на карте опечатка, но и не очень волновался. Ему даже нравилось, что он один знает о такой географической ошибке. Придет время — он этим открытием кого-нибудь удивит. А пока подоспели школьные дела, первое сентября...

Школа была как школа. Трехэтажная, похожая на ту, где Санька учился прежде. Только перед старой школой росли в несколько рядов большие каштаны, а эта стояла на голом каменистом дворе. Двор окружала бетонная решетчатая ограда. Она доверху заросла дроком, в котором алели бусины-ягоды...

Во дворе стоял, конечно, шум, смех, гвалт. Санька пошел разыскивать, где тут четвертый «А».

Не хотел Санька выглядеть новичком, поэтому старался держаться решительно. И ничего нового на нем не было, а были штаны и рубашка, в которых весной бегал в третий класс. Даже галстук надел он старенький — тот, что передала «по наследству» Люся, когда брата приняли в пионеры (она в этом галстуке в «Орленок» ездила). На Саньку не обратили особого внимания. Высокая толстощекая девочка подвела его к учительнице и равнодушным, сипловатым голосом сообщила:

— Вот еще один новичок.

Новичков было двое. Вторым оказался Димка Турчаков — тоненький, темноволосый и очень ловкий с виду мальчишка, повыше Саньки. Турчаков был в серой рубашечке с «молниями» и накладными кармашками, в желтых вельветовых брюках с иностранной кожаной нашивкой на заду. Учительница Александра Самойловна покосилась на него: всем велено было приходить в школьной или пионерской форме. Но ничего не сказала. Наверно, потому, что у Турчакова было лицо прирожденного отличника — хоть сейчас на Доску почета.

Впрочем, держался Турчаков так самостоятельно, что даже чересчур. В классе он сел на парту у окна и сообщил:

— Вот что, парни, я сижу здесь. Кто хочет со мной — пожалуйста. Особ женского рода прошу место не занимать.

Девчонки возмущенно зафыркали, мальчишки заулыбались, и почему-то никто не заспорил. На парту к Турчакову сунулся было толстый Витька Бочегин (по прозвищу Боцман), но Александра Самойловна посадила туда Саньку.

— Так мне будет удобнее наблюдать за двумя новичками,— сообщила она.

Александра Самойловна и сама была в четвертом «А» новичком, но многих ребят она знала, потому что раньше не раз подменяла их учительницу. Еще перед уроками Санька узнал, что у Александры Самойловны прозвище Сан-Сáма и что «у нее много не потанцуешь, она и восьмиклассников во как держит».

Была Александра Самойловна высокая, черноволосая, довольно молодая и Саньке показалась даже симпатичной. Только ее большие серьги Саньке не понра-

вились: цыганские какие-то. И горло было слишком толстое...

Александра Самойловна сразу взяла класс в руки. Продиктовала план пионерской работы, удивилась, что нет физорга, и посоветовала выбрать Васю Крутикова:

— Ты вон как скачешь на переменах. Введешь свою энергию в нужное русло.

А через несколько дней Сан-Сама сообщила, что классу нужна футбольная команда. Сначала будет игра с четвертым «Б», а победители встретятся с командой пятой школы. Пусть Крутиков составит список.

— Предварительный,— уточнила она.— Потом я еще посмотрю на ваши оценки.

Список Крутиков стал составлять в перемену. В команду хотели все мальчишки, двадцать два человека. Они навалились на бедного Крутикова, облепили его парту, повскакали на соседние. Дежурные девчонки напрасно голосили, чтобы все убрались из класса. Легонькие парты стонали и дребезжали. У них была странная, непривычная для Саньки конструкция — на тоненьких ножках из уголкового железа. В первый же день Санька зацепился за железную стойку коленом и соскоблил кожу. Потом цеплялся еще несколько раз и стал осторожнее. Вот и теперь он выбрался из-за парты аккуратно. Просунул плечо и голову между ребятами. Сказал Крутикову:

— Меня тоже...

Крутиков первым записал Витьку Боцмана, потом себя, потом Турчакова, а дальше еще человек пять. На Саньку он глянул неуверенно:

— Мы же не знаем, как ты играешь.

— Ну и что? Его-то записал,— обиженно сказал Санька и ткнул в Димкину фамилию.

Димка сидел рядом с Крутиковым. Он непонятно посмотрел на Саньку и усмехнулся.

Крутиков уважительно сообщил:

— Турчаков в своей школе знаешь как играл!

— Я тоже играл,— сказал Санька.

Димка опять усмехнулся и снисходительно предложил:

— Да пиши всех. Сан-Сама разберется... А потом на тренировках поглядим, кто что может.

— У «бэшников»-то мы выиграем,— заявил Боцман.— Не привыкать. А вот как там с пятой...

— Пятая — это где? Тоже в Стрелецке? — спросил Турчаков.

— Конечно! Мимо нее ходишь. Неграмотный, что ли? — хмыкнул Боцман.

Турчаков сказал, что он грамотный. Только все вывески подряд не читает. И где тут Стрелецк, а где еще какой район, он пока не разобрался. Он раньше в Камышах жил и здешние улицы знать не обязан.

Санька решил поддержать Димку. Все-таки сосед по парте, и оба они новички. Может, тогда Димка поймет, что Санька кое-чего стоит. А то не обращает внимания, хотя и сидят они на уроках рядом...

Санька сказал:

— С вашим Стрелецком вообще неразбериха. Если хотите знать, он даже не имеет права так называться.

— Чего-о? — возмущенно протянул Крутиков.

— Да! Потому что эта бухта не Стрелецкая, а Казачья!

Кто-то засмеялся, кто-то бестолково заспорил, а Крутиков опять протянул свое «чего-о». Но все это покрыл отчаянный, какой-то клоунский хохот. Ужасно громкий. Непонятно было, кто смеется. Человек заходился этим смехом, изнемогал от него. И будто даже не человек, а робот: в хохоте звучали металлические нотки.

Это, наверно, целую минуту продолжалось. Сперва все обмерли. Потом кто-то неуверенно хихикнул. А когда непонятный хохот стал стихать, смеялись уже все, хотя и не понимали, что случилось. Будто заразились микробом смеха.

Только Турчаков даже не улыбнулся. В наступившей тишине он завозился и вытащил из своего заграничного вельветового кармана замшевый мешочек. На мешочке черной краской была напечатана клоунская рожица.

— Знакомьтесь, это Смехотунчик из Японии. — Димка помахал мешочком и вынул из него черную коробочку с крошечным динамиком. К ней потянулись руки. Димка нажал кнопку, и опять раздался выворачивающий душу хохот. И вместе со Смехотунчиком хохотали все мальчишки.

Кроме Саньки.

Санька отошел и сел за парту. Подумаешь! Он и раньше слышал про такие игрушки. Обыкновенный маленький проигрыватель с батарейкой... Свинья этот Дим-

ка! Если хотел похвастаться дурацким Смехотунчиком, то зачем имеиио сейчас, когда Санька про такое важное дело говорил?

Илн иарочио?

А все и рады! Наплевать нм на бухты и на их назваиня. Облепнлн заграничиую безделушку, как мухи гиилую слнву... И вообще только и зиают, что вокруг этого Димочки вертеться. Пришел бы такой Димочка в прежний Санькин класс, ему бы показали Смехотуичика...

Ребята и иа следующий деиь крутились возле Димки. Наверио, ои им еще какую-иибудь фокусиую штуку из заграницы показывал. Ладио...

После первого урока Саиька расстелнл перед собой карту.

— Крутиков, иди сюда! Ну, нди, иди... И ты, Боцмаи! И все идите!

Подошли человек семь.

— Ну? — сказал Саиька совершеиио спокойио. Ои был увереи в победе:— Смотрите. Видите, как иазывается эта бухта на старой карте?

— Где? — спросил Вадик Лебедеико, длиииый мальчик в очках. Он был толковее и деловитее остальиых.— Ну-ка...— Ои по-птичьи нагиулся над картой... И тут опять резанул Саньку хохот. Это подошел иазаметио Димка со своим Смехотунчиком.

И снова всех охватило сумасшедшее веселье! Правда, кто-то еще наклоиялся иад картой, кто-то тянул ее к себе (а Санька ие давал), но все это чтобы подурачиться. Опять никто не хотел слушать.

— Ну чего ты лезешь, скотнна! — отчаяиио сказал Санька Турчакову. Но и эти слова заглушил Смехотуичнк.

А вот голос Сан-Самы ои заглушить ие смог.

— Что такое?! Не слышали звоика?!

Мгиовеиио упала тишииа (Днмка иажал киопку). Потом топот и стук, всех разиесло по местам.

— Что за дикое веселье? — понитересовалась Алексаидра Самойловиа. Ее серьгн покачивались иад Саиькой и Днмкой. Димка ие испугался. Ои вежливо протяиул Сан-Саме Смехотуичнка.

— Это игрушка. Извините, мы не расслышали, что уже урок.

Гораздо мягче Сан-Сама произнесла:

— Садись... А игрушки носить в школу не следует.

— Она у меня случайно,— соврал Димка.— Мы ее включили, потому что очень уж смешно Дальченко всякую ерунду рассказывал...

— Ерунду?! — взвинтился Санька.— Посмотри сам!

— Что такое?— нахмурилась Сан-Сама.— Дальченко...

Санька, путаясь, объяснил. Сам не понял, почему исчезла уверенность. Александра Самойловна несколько секунд разглядывала карту. Потом отошла к своему столу.

— Повторяю: незачем носить на уроки ни игрушки, ни всякие старые карты. Тем более такие, которые рисовали какие-то царские чиновники.

— Они народ угнетали...— подал голос Крутиков.

«При чем здесь чиновники? Разве они защищали Севастополь? Моряки защищали, солдаты. Нахимов, Корнилов!» — так с возмущением подумал Санька. И крутикову сказал:

— Дурак ты.

Александра Самойловна покраснела. Горло у нее стало разбухать. Но она не закричала, а сказала медленно и отчетливо:

— Вот что, Дальченко. Ты здесь новичок, так что веди себя поскромнее и к нашей школе относись с уважением. Дураков у нас нет. А Крутиков — член классного актива. Ясно? Встань и отвечай: ясно тебе?

Санька встал и при общем молчании пробормотал, что ясно. А что он еще мог сделать?

— Садись... Хотя нет, пойди к доске и объясни, как выполнил домашнее задание. Напиши первое предложение...

Санька пошел, написал и стал объяснять. И сбился. Потому что першило в горле, а спиной он чувствовал взгляд Турчакова. И помнил, какие у него желтые, ядовитые глаза и ехидные губы...

Александра Самойловна сказала:

— Покажи-ка тетрадь. Так... Вот и в тетради ошибка. А почерк-то... Вполне можно двойку поставить, да уж ладно, обойдемся без нее на первый раз,— добавила она уже добродушно.— Только не думай больше, что все дураки, а ты профессор...

— Кислых щей...— хихикнули на задней парте.

— Яскина! — прикрикнула Сан-Сама (правда, не очень сердито).— Ты тоже еще не докторша наук. Иди-ка к доске...

Но когда Санька сел на место, он услышал тихий шепот:

— Профессор кислых щей и уцененных вещей...

Это сказал одними губами Турчаков.

Так же неслышно Санька ответил:

— Смехотунчик буржуйский. На перемене получишь...

Но драться Санька не хотел и, по правде говоря, побаивался. Даже не потому, что Димка выше и сильнее, а потому что чувствовал: весь класс опять будет за Турчакова. К концу урока Санька сделал вид, что забыл о своем обещании и на перемене ушел во двор. Сел в тени, на выступ ограды.

Здесь к Саньке подошла длинная и толстощекая Эмка Ковальчук.

— Дальченко! Нам для выступления на сборе музыканты нужны. Ты в музыкальной школе не учишься?

— Больше мне делать нечего,— буркнул Санька.

Эмка подергала себя за конец косы на груди и вздохнула:

— Непонятно, почему ты такой ершистый?

— Я?! — изумился Санька.— А сами-то вы!..

Но Эмка опять покачала головой и отошла.

В списке футбольной команды, который Сан-Сама огласила на следующий день, Саньки, разумеется, не оказалось. Да он и не ждал этого. А всеми любимый Димочка оказался. Ну и ладно. Санька теперь жил сам по себе. Отсидел уроки — и домой. Димка к нему больше не приставал. Сидели они на парте рядом, но будто за перегородкой. Иногда Димка бросал быстрый взгляд на Саньку, но тот делал вид, что взглядов этих не замечает ничуточки.

Дома было множество дел: с мамой и папой Санька клеил новые обои, красил заново батареи, а в свободное время ездил на старую квартиру, к Люсе. Помогал ей возиться с Тарасиком. Тарас уже стал совсем сообразительный: узнавал Саньку, улыбался, тянул к нему руки... Там же, в переулке недалеко от улицы Очаковцев, или в сквере у школы Санька иногда играл с

прежними приятелями: с Митей Данковым, с близнецами Федей и Женькой. Ребята спрашивали, как там, в другой школе.

— Да ничего,— говорил Санька.— Не так хорошо, как у нас, но жить можно.— Он еще в детском саду понял: жалобы — дело бесполезное и противное. И посетовал лишь на парты с их коварными железными ножками.

— Привыкнешь,— утешил Митя.

— Привыкну,— вздохнул Санька.

...А вот Одиссею он рассказывал все. Но это другое дело. Одиссей был самый лучший друг. Точнее говоря, это был второй Санька. И скрывать им друг от друга было нечего.

Как только Санька появлялся у одинокой мраморной колонны, что подымалась из зарослей дрока, Одиссей был тут как тут. Мчался к Саньке, легко прыгая через камни и колючки, и белая туника летела за ним по ветру... И не надо было заводить машину времени: видимо, она работала автоматически.

Да, с Одиссеем было хорошо.

Но ведь не убежишь навсегда в Древнюю Грецию. К тому же Одиссей был... нет, Санька не хотел этого обидного слова «придуманный», но все-таки...

Футбольную игру четверый «А» продул «бэшникам» со счетом три — шесть. И Санька не мог удержаться от хмурой радости. Но, конечно, радовался он про себя, а по классу ходил с равнодушным лицом. Не взяли в команду — ну и ладно...

Радость, однако, была слабенькой, потому что Димка оказался героем. Несмотря на проигрыш. Он заколотил четвертому «Б» два гола из трех и всегда был в самой гуще отчаянной футбольной битвы. И не ушел с поля, хотя ему дважды попало чужим ботинком по ноге. Все про это говорили. Под коленом и на щиколотке у Турчакова сияли синяки. Каждому нормальному человеку было ясно, что Димочка нарочно пришел в коротких штанах: пускай все видят его боевые отметины. Но четвертый «А» этого не понимал и смотрел на Турчакова с уважением.

Сам Димка вел себя скромно: чего, мол, хвастаться, если проиграли? Только на уроке иногда тихонько ши-

пел сквозь зубы и потирал под партой синяк. Это было глупо: такие ссадины на следующий день уже не болят. И Санька сказал:

— Не страдай так. Всю парту расшатал.

Димка сузил глаза и ответил непонятно:

— Эх ты. Ну, смотри...

В классе началось увлечение маленькими моделями. Мальчишки приносили пластмассовые эсминцы, катера, подводные лодки и старинные броненосцы. Расставляли на партах, шумели, менялись и спорили (дежурные опять ругались, что на перемене никого не могут выгнать в коридор).

Санька тоже хотел принести свой сторожевик и броненосец «Потемкин». Но потом раздумал. Потому что веселый конопатый Эдька Рубцов после уроков крикнул ему:

— Профессор, а ты свои кораблики принесешь?

Его уже не первый раз называли этой дурацкой кличкой. Иногда без всякой насмешки, просто так. И Санька не стал огрызаться на безобидного Эдьку. Только отвернулся и пошел со школьного двора...

Но когда владельцы моделей собирались и устраивали «корабельные смотры», Санька не мог удержаться и тоже подходил. Заглядывал через головы. Один раз он, вытянув шею, смотрел, как выстраивают на парте свои кораблики Васька Крутиков, Боцман и Эдик Рубцов. Димка сидел рядом с ними и снисходительно трогал мизинцем тоненькие мачты. Про суденышко с пушкой на носу он спросил:

— Это торпедный катер?

«А еще сын капитана»,— хмыкнул про себя Санька.

— Да нет, это КТЩ,— сказал Эдик.

— Что? — не понял Турчаков.

Тогда Санька не сдержался:

— Катерный тральщик. Знать бы надо.

— А-а...— сказал Димка и глянул на Саньку через плечо.— Я не понял. Я спутал с ПКЩ.

— А это что такое? — глупо сопя, спросил Витька Боцман.

Димка всех обвел красивыми своими глазами и разъяснил:

— По-моему, это всем ясно: Профессор Кислых Щей...

Ну и, конечно, смех! Не такой отчаянный, как у Смехотунчика, но все равно... Как горячей теркой по щекам!

Санька не двинулся. Только мускулы напружинились. Самое простое было дотянуться и вляпать Димке. Иногда Санька мог и такое. И сейчас он ни капельки не боялся! Но опять он почувствовал, что бесполезно. Все будут Димочку жалеть, если он пострадает. А если достанется Саньке — так этому Профессору и надо!

Санька помолчал и сказал со всевозможной язвительностью:

— Попроси папочку, чтобы научил хоть немножко разбираться в кораблях.

Димка откликнулся сразу и охотно:

— Папочка в военном флоте не специалист. В рыболовном — другое дело. Или вот в таком...— От вытищил из модной своей сумки два звякнувших кораблика длиной с карандаш.. Это были отлитые из металла модельки океанских лайнеров. Аккуратненькие, прямо ювелирные. Саньке так и захотелось потрогать. Он даже пальцами зашевелил в карманах. А другие ребята и в самом деле потрогали. Димка не жалел, пожалуйста. Он сказал:

— «Куин Элизабет» и «Куин Мери». Английские. Папа из Саутгемптона привез.

— Редкая штука,— заметил кто-то в окружавшей толпе.

— Да ну, редкая...— снисходительно отозвался Димка.—У нас в Камышах у любого пацана такие есть.

— Откуда? — простодушно поинтересовался Эдик Рубцов.

— Ну, рыбаки же там, в загранке все время бывают. Вот и привозят всякие интересные вещи.

— Барахло заграничное привозят,— сказал Санька.— Или валюту. А потом ковры в спецмагазине скупают.

Он слышал однажды такие слова от отца. Мама как-то пожаловалась, что с деньгами совсем туго, а вот их знакомые такие-то купили то-то и то-то, когда муж вернулся из заграничного рейса. Тут отец и вспылил... А мама потом почему-то смеялась и говорила, что он, как новогодняя хлопушка: только дерни за ниточку — треск и дым...

Конечно, Санька не был уверен, что Димкин отец, капитан Турчаков, гоняется за иностранными шмотками

и скупает ковры. Просто злость взяла Саньку. И отчаянно захотелось, чтобы Димка наконец разозлился, взорвался! У Саньки даже щеки защипало от предчувствия горячей и освобождающей душу драки.

Но Димка не полез в драку. Он спокойно ответил:

— Может, кто-то и скупает, а кто-то пальчики облизывает.

Санька обмяк. И облегченно посмотрел на ребят: ну, теперь-то видите, что за тип Турчаков?

Но они по-прежнему разглядывали модели.

В субботу четвертый «А» писал сочинение на вечную тему: «Как я провел лето». Сначала Александра Самойловна хотела задать его на дом, но передумала:

— Знаю я вас. Будете до ноября тянуть, а мне что делать? Или горло надрывать, упрашивать, или двойками вас заваливать? Пишите в классе.

Санька написал, что летом он никуда не ездил, потому что дома было много дел: в июле случилось новоселье, а с ним всегда полно хлопот. Еще написал, что купался на Солнечном пляже и полюбил гулять в Херсонесе. Конечно, про Одиссея он не упомянул ни словечком. Зато рассказал, что в развалинах и на берегу много находок. Перечисление находок заняло полстраницы, и когда Санька упомянул про автоматную гильзу, он решил, что можно кончать. Он только дописал: «Эта гильза осталась с войны, когда наши моряки и солдаты гнали из Севастополя фашистов. Будущей весной исполнится сорок лет со дня освобождения нашего города». Сперва он хотел добавить: «Мой дедушка тоже воевал в Севастополе», но не стал. Во-первых, точно не известно, в каких местах дедушка воевал, а во-вторых, получится, будто Санька хвастается. Он вздохнул и поставил точку.

Оказывается, он кончил раньше всех. Четвертый «А» еще корпел над тетрадками, слышался шорох ручек и тихое творческое сопенье.

Александра Самойловна, пользуясь тишиной, проверяла дневники. Изредка она обводила глазами класс.

Вот опять обвела, встретилась взглядом с Санькой и спросила:

— А Дальченко почему не пишет?

— Я уже всё...

— Да? Любопытио...

— Ои же Профессор...— хихикиула на задией парте глупая Светка Яскиия.

— Яскина!.. Кстати, Дальченко, что за нелепая иадпись иа диевиике?

— Где?

— Вот! — Саи-Сама поднесла дневник.— Вот, вот...

Диевиик был обернут белой глянцевой бумагой,— Саи-Сама требовала, чтобы все сделалн дневннкам дополительиые обложки. На бумаге чернели крупиые буквы Саиькииой фамилии, а под ними мелко сиией пастой было добавлеио: «Проф. К. Щей.»

— Не зиаю. Я это ие видел,— тихо проговорил Саиька и покраснел.

— Страино. Твой диевиик, а ты ие видел...

— Ну ие я же это иаписал! — в сердцах сказал Саиька.— Какой-то дурак иакарябал, а я прн чем?!

— Как ты разговариваешь!

— А как мие разговаривать! — крикнул Саиька, глядя снизу вверх.—.Опять я виноват, да?! — Ои уже ие мог и ие хотел сдержнваться. Пускай хоть выгоняют нз этой дурацкой школы!

И вдруг подал голос Днмка. Ои встал и очень вежливо сообщил:

— Дальчеико ие виновaт, Александра Самойловиа. Это я иаписал... Извииите, пожалуйста.

Александра Самойловна помолчала. Потом сказала медлеиио:

— Очеиь иехорошо... А почему ты извиияешься передо миой? Ты должеи извиинться перед Дальчеико за свой... иеумиый поступок.

Турчаков посмотрел в мокрые иеиавндящне Саиькниы глаза и серьезио произиес:

— Извиии меия, Дальченко. Я больше ие буду писать иа твоем диевиике «Проф Ка-Щей».

— Кащей...— тут же хихнкиулн в классе.

Саиька рваиул из-под парты ранец и сам рваиулся с места. И забыл опять про эту проклятую железиую стойку. По колеиу шарахнула такая боль, что тут уж иикакими силами ие сдержишь слезы...

Всхлипывая и хромая, Санька ушел нз класса, ушел из школы. В Херсоиес ушел. Там он промыл ссадниу солеиой водой и этой же водой умылся. А потом рассказал Одиссею про все обнды.

Одиссей сидел рядышком и понимающе кивал. У него тоже были неприятности: опять долго не возвращался с моря отец, болела младшая сестренка, а в школе придирался учитель: «Ты должен быть достоин своего великого имени, а как ты себя ведешь! На письменной табличке семь ошибок! На перемене скачешь, словно кентавр, которому боги помутили разум! Ты забыл, что моя новая палка еще незнакома с твоей спиной?»

— Тебе, наверно, тоже влетит,— вздохнул Одиссей.

— Ну и пусть...— сказал Санька.

— Сан-Сама домой к вам придет и расскажет, что из школы сбежал.

— Ну и пусть...

Санька сел на цоколь сломанной колонны и прислонился спиной к теплому мрамору. Под обрывом небольшие волны пошевеливали гальку. День был жаркий, но с ветерком. Над желтой сурепкой и лиловым цикорием махали крыльями поздние бабочки. Вдоль берега шел под громадными треугольными парусами «Орион». За ним летели чайки.

Санька закрыл глаза. Никуда не хотелось идти. Ни о чем не хотелось думать. Одиссей постоял рядом и тихонько отошел...

Домой к Саньке Сан-Сама не пошла, и в понедельник ему почти не попало. Можно сказать, совсем не попало. Раздавая тетради, Александра Самойловна сообщила:

— Дальченко я поставила четыре. Можно было бы и пять, но в слове «квартира» ты пропустил букву «р»...

— Ква-тира...— хихикнула на задней парте Яскина. Турчаков быстро посмотрел на Саньку и отвел насмешливые глаза.

— Ти-хо...— сказала Сан-Сама.— Но все равно ты молодец, Дальченко... Только бегать из класса больше не надо, за это по головке никого не гладят.

— Это Турчаков виноват, Кащеем дразнится,— вдруг сказала Эмка Ковальчук.

— Все хороши... А Турчакову я снизила поведение за неделю. Вместо примерного поставила удовлетворительное.

Димка шумно и сокрушенно вздохнул. Кругом засмеялись. А Санька смотрел мимо Димки в окно. На

солнечном дворе было пусто, лишь по бетонной ограде прыгали воробьи. В щели между белых дальних домиков синел кусочек моря. Там опять медленно прошел треугольный парус...

Александра Самойловна сказала, что совет отряда бездельничает и все ей приходится решать самой. И она решила: в четверг класс поедет на Малахов курган, а в субботу (если все будут себя вести, как нормальные люди, и никто не нахватает двоек) они отправятся на экскурсию на один из заслуженных крейсеров Черноморского флота.

Все, конечно, заорали «ура!..» Санька, правда, не кричал, но он тоже обрадовался. Тем более что последние дни его никто не задевал и почти не называли Профессором и Кащеем. Даже Турчаков. Кстати, Александра Самойловна пересадила Саньку от Турчакова к Эмке Ковальчук. И это было совсем не плохо.

...На Малаховом кургане Санька бывал сто раз. И один, и с отцом, и с Люсей и Гришей. И с отрядом ходили в прошлом году, когда вступали в пионеры. И каждый раз было интересно.

Если бы кто спросил, Санька мог бы тут рассказать про все не хуже экскурсовода. И про батареи, и про штурм, и про разные случаи во время давней осады. И про то, как в сорок втором году артиллеристы старшего лейтенанта Матюхина из единственного уцелевшего орудия прямой наводкой громили подступавших фашистов.

И про последних защитников оборонительной башни, которые дрались тут во время Первой обороны, мог рассказать. И про памятник с высоким камнем и крестом... Когда французы заняли курган, они похоронили в одной могиле всех погибших солдат — и своих, и русских. С воинскими почестями. Французы были, конечно, враги, но все же не фашисты. Это были честные враги. И вообще война была тогда хотя и кровавая, но честная. Если уж перемирие, то никто не нарушит — можешь встречаться с противниками и беседовать, будто на прогулке. И над пленными никто не издевался, военных тайн у них не выпытывал. И вообще те, кто сражался, уважали друг друга. Санька читал в «Севастопольском сборнике», как французы везли к себе во Францию на-

ших пленных офицеров на корабле «Шарлемань». Фашисты бы всех сразу в концлагерь или под расстрел, а французы поселили пленных в офицерских каютах...

И когда хоронили Нахимова, батареи противника не стреляли.

И пленные французские офицеры вместе с нашими гуляли в Севастополе, на Приморском бульваре, куда не залетали ядра. Только дадут слово не убегать, вот и все.

Да, другие были времена...

«Но умирать все равно никому не хотелось»,— уже не первый раз подумал Санька. Потому что подходили к тому месту, где был смертельно ранен адмирал Корнилов.

Там была плита, а на плите крест из ядер.

Корнилов на этом месте упал, потом приподнялся и сказал:

— Отстаивайте же Севастополь...

...У Саньки есть книга про Синопский бой, про адмиралов Нахимова, Новосильского, Истомина и Корнилова. Такая же старинная, как «Севастопольский сборник». В ней Санька прочитал, что Корнилов не сразу сделался героическим адмиралом. Когда он был молоденьким офицером, то думал не о службе, а о всяких балах да французских романах. Но однажды старый адмирал Лазарев вызвал Корнилова к себе в каюту и устроил ему крепкий воспитательный разговор (наверно, как однажды отец Саньке, когда тот в прошлом году начал валять дурака, до ночи бегал на улице, нахватал двоек и спрятал дневник). Разговор без крика и лишней ругани, но мужской и честный. И Корнилов после этого взялся за ум. Стал у Лазарева лучшим помощником. А потом адмиралом. А когда враги подошли к незащищенному Севастополю, Корнилов так быстро начал строить бастионы и батареи, что французы и англичане побоялись идти на штурм. Начали бомбардировку.

Тогда-то и ранило Корнилова. И он приподнялся и сказал свои слова.

Санька знал, что так и было. «Отстаивайте же Севастополь...» Корнилов произнес это сквозь стиснутые от боли зубы. (Санька сам пробовал говорить это сквозь зубы — и получалось.) Санька много раз представлял, как все было. И... даже мурашки по коже. Потому что он очень точно представлял. Как адмирал в луже крови приподнимается и говорит...

Боль, наверио, ужасиая. Если колеикой трахиешься — и то слезы нз глаз, а тут все бедро измолото ядром. И ясно уже, что иикакой иадежды иа жнзиь больше нету (а это любому жутко — хоть мальчишке, хоть адмиралу). Но он все равно: «Отстанвайте же Севастополь...»

Сквозь зубы...

До войны здесь стоял памятннк, ио фашисты его разрушили н переплавнли, только груда каменных глыб осталась. Но Саинька знал, что к двухсотлетню Севастополя памятник восстаиовили. Только еще ие вндел, не был здесь летом...

И вот он, памятннк! Такой же, как макет в музее обороннтельной башин, только громадный! Все как раньше. И Корнилов, и матрос Кошка сбоку от камня, с ядром в руках... Коиечно, нет иа камениой глыбе крови, и лицо у Корнилова слншком спокойиое. Но слова на камие имеиио те, его...

Кто-то бегал вокруг, кто-то ушел смотреть старнннные пушкн на батарее Жерве, а Саинька все стоял, подняв голову. Над броизовым адмиралом тихо двигались белые облака. «Будто фрегаты»,— подумал Саинька. И тихо обошел памятник.

На задней стороие камеииой глыбы прнкреплен был броизовый щит, окружеииый тяжелымн, тоже броизовыми, зиамеиами. А иа щите — иазвания тех мест, где прославнлся в битвах Кориилов, и кораблей, которымн ои командовал. И вот тут Саинька заморгал.

Озадаченно.

Досадливо.

Возмущенио...

Потом помотал головой. Перечитал еще, еще...

И забыл, что дразиилн Профессором, забыл, что лучше держать язык за зубами. Несколько ребят стоялн рядом, и ближе всех Эмка. Ей Саинька и сказал:

— Ну, неправильно же!

И иачал объяснять. Эмка ие перебнвала, не спорила, старалась поиять. Но ие смогла. И наконец сказала:

— Да ну тебя. Значит, так надо, раз иаписано.

— Но почему? Надо же или все по-старниому, как на старом памятинке, или же все по-современному! Ну нельзя же так: половииа слов по одиим правнлам, а половииа по другим! «Сииоп» без твердого зиака, а «Орест» с твердым!

— Может, потому, что Синоп — это город, он и сейчас есть, а «Орест» — это старинный корабль,— заметил рассудительный Вадик Лебеденко. Он был из тех, кто никогда не смеялся над Санькой. И Санька разъяснил ему по-хорошему:

— Тогда почему «Двенадцать Апостолов» без твердого знака? А в «Фемистокле» совсем путаница. Знак стоит, это по старинному правилу, а буква «фэ» современная. Раньше «Фемистокл» через старинную «фэ» писался, у меня в книге про Корнилова есть. Та буква — как звено от якорной цепи.

— Какое звено? — не понял Вадик.

— Ну, как «о» с палочкой поперек!

И опять поднялся смех, глупый такой, просто издевательский. И Турчаков, конечно, тут как тут. Хлопает себя по вельветовым коленям и даже повизгивает от хохота:

— Ой, а еще говорит, что не Профессор! «О» с палочкой!

— Я для себя, что ли, спорю?! — крикнул ему Санька.— Рожа ты издевательская, Турчаков!

И, конечно, тут же Александра Самойловна:

— Это что за слова? В таком месте! Турчаков, что опять случилось?

Димка встал прямо, руки опустил по швам и, вежливый, красивый, сказал невинным голосом:

— Мы ни при чем, Александра Самойловна. Это Профессор Дальченко хочет написать на памятнике «о» с палочкой поперек.

И тогда Санька вскипел слезами, рванулся и пнул его. Вернее, хотел, но не успел. Сан-Сама схватила его за рубашку...

...Ну и не взяли его на крейсер.

Сам-Сама сказала, что вдруг ему и там что-нибудь не понравится. Вдруг Дальченко решит, что в названии крейсера тоже не хватает твердого знака (ох как развеселился класс!), потому что Дальченко считает, что лучше умных и взрослых людей знает где по каким правилам писать (хотя сам пишет «кватира»). И если ему что-то покажется не так, он, чего доброго, снова кинется ругаться и кого-то пинать...

— Командира крейсера,— гнусавым басом проговорил Витька Боцман.

— Нет,— вздохнула Александра Самойловна.— Дальченко хорошо понимает, на кого можно кидаться, а на кого нельзя.

Эмка Ковальчук вдруг сказала:

— А по-моему, Турчаков тоже виноват.

Класс зашумел: непонятно, кто за кого. И затих. Потому что Димка встал.

— Да,— сказал он и всех обвел глазами.— Я, наверно, тоже виноват. Потому что я обещал больше не дразнить Про... Дальченко, но не удержался. Меня тоже не надо брать на крейсер.

Четвертый «А» дружно вздохнул, потрясенный таким благородством. А Санька сощурился и отвернулся. Потому что Турчакову он не верил вот ни на столечко.

— Двуличник,— сказал Санька негромко, но отчетливо.

— Вот видишь,— обратилась Александра Самойловна к Турчакову.— Ты хотя и виноват, но все же вы разные люди. К тому же тебя выдвинули в редакторы, ты должен писать заметку про экскурсию... В общем, кто за то, чтобы Дима Турчаков пошел на крейсер?

И все проголосовали «за», даже Эмка. Только Санька отвернулся и голосовать не стал.

Из школы Санька пошел не домой, а в Херсонес. И там понемногу успокоился. Они с Одиссеем лежали в траве на обрыве у входа в гавань и смотрели, как с моря идет в бухту под веслами корабль. Разноцветный парус был подобран к рею, и корабль с высоким загнутым хвостом и рыбьей головой двигал двумя рядами весел, как щетинистыми плавниками. На палубе возвышались груды пестрых тюков и стояли оранжевые амфоры.

— А того корабля, где отец, все нет и нет,— вздохнул Одиссей.

— Вернется,— сказал Санька.— Ты надейся.

— Я надеюсь. И мама надеется.

— Сестренка поправилась?

Одиссей улыбнулся:

— Бегает уже.

— А наш Тарасик уже стоять научился. Держится за перила в кроватке и все встает. И скачет...

— Красивое имя Тарас,— похвалил Одиссей.— У нас такого нет.

— Это украинское имя. Был герой Тарас Бульба... А Фемистокл — это греческий герой?

— Да, эллинский. Но он давно жил. И не здесь, а в Афинах. Он афинским флотом командовал.

— У нас военное судно было с таким названием,— вздохнул Санька.— Бриг. Им тоже герой командовал, Корнилов. То есть он уже потом героем стал. Тоже давно. Сколько же это лет назад? Сто тридцать... А у меня из-за этого «Фемистокла» опять неприятности...

Одиссей глянул встревоженно: он всегда переживал за Саньку. И Санька про все рассказал.

— Почему столько несправедливостей! — сказал Одиссей и стукнул коричневым кулаком по пустой улиточной ракушке (она рассыпалась).— И в древние времена, и в наши, и в ваши... Объясняешь, объясняешь, а никто не слушает... Фемистокла тоже несправедливо обвинили, сказали, что он изменник. Ему пришлось бежать из Афин...

— Ну уж я-то не побегу, фиг им всем,— сказал Санька.

...Потом он пошел домой. В школе он не пообедал и теперь был ужасно голодный. Вспомнил, что в ранце есть яблоко, сел на камень, откинул крышку. Яблоко было пыльное, и, чтобы вытереть его, Санька стал искать в дневнике промокашку. Открыл его и только тогда увидел запись Сан-Самы.

И заплакал.

Здесь я хочу сказать несколько слов о мальчишечьих слезах. Об этом говорят не очень охотно. Считается, что настоящие мальчики плакать не должны. Никогда. Впрочем, по этому поводу иногда возникают сомнения, и тогда в «Пионерской правде» или в журнале «Пионер» появляется очередное письмо:

«Дорогая редакция! Ответьте, пожалуйста, можно ли мальчикам плакать? Мы у себя в классе об этом спорили, но ни до чего не договорились...»

Смешные вопросы. Слезы ведь не спрашивают. Если большое горе, или отчаянная боль, или нестерпимая обида, душа не выдерживает и ничего тут не поделаешь. Иногда и взрослые люди плачут, а не то что мальчишки. И глупо им говорить: «Как тебе не стыдно...»

Стыдно реветь от трусости. Стыдно слезами выпрашивать модные штаны, мопеды или всякое другое ба-

рахло. Противно, когда люди пускают слезу от пустяковой царапины или оттого, что им не дали денег на кино или мороженое...

Но яростные слезы из-за несправедливостей! Из-за тех горечей и обид, которые во все века терпели во всем мире мальчишки! Кто посмеет их осудить? И куда денешься, если слез этих было больше, чем воды в Черном море. А если составить список всех взрослых, которые виноваты в этих слезах... Да не составить, не хватит ни чернил, ни бумаги на всей планете.

...Все-таки хорошо, что я не прошел тогда мимо Сандалика.

ГИБЕЛЬ «ВЕЗУЛА»

В тот вечер, когда Санька отнес на вокзал книгу, погода стала меняться. Солнце село не за чистый морской горизонт, а потускнело и увязло в сумрачной пелене. Ночью разгулялся ветер. Он летел с моря и тащил за собой низкие облака. Санька проснулся рано и увидел, что в косматых летящих клочьях ныряет челнок ущербной луны. Он распахнул окно. Занавеска вздулась, в комнате запахло водорослями и солью...

В классе тоже пахло штормовым морем. Соленый воздух сочился в щели закрытых окон. Тихо звякали стекла. Было пасмурно, только изредка пролетали по стенам светлые пятна: это на миг прорывалось сквозь многоярусные тучи солнце.

После уроков Санька пошел в Херсонес. Он шагал быстро и поеживался. Не от холода. Юго-западный ветер был плотным, но довольно теплым. К тому же на Саньке поверх рубашки была трикотажная безрукавка (мама заставила надеть). А зябкость Санька ощущал от йодистой влаги, которой пропитался воздух, и еще от тревоги. Шторм всегда приносит непонятную тревогу.

Еще вдали от берега Санька услышал равномерный, рассыпчатый грохот. Это волны под обрывами переворачивали и таскали туда-сюда большие камни, перелопачивали тонны гальки.

Море было сумрачно-разноцветным: вдали синевато-сизое, потом тянулись темно-зеленые полосы, а ближе к берегу зеленый цвет светлел и отдавал желтизной. И по

всей громаде моря шли, медленно поворачиваясь, белые великанские гребни...

Санька не пошел сразу к обрыву. Царапая ноги в дроке и терновнике, он пробрался к одинокой колонне. тронул теплый, чуть шероховатый мрамор.

Он всегда был теплый, этот мрамор. Саньке даже казалось, что в круглом теле колонны, будто в какой-нибудь тысячелетней секвойе, течет по незаметным сосудикам живой сок. Иногда чудилось даже, что в глубине ласкового камня толкается редкий, но ощутимый пульс. Конечно, это шевелилась жилка в ладони самого Саньки. Но все равно было приятно, и Санька чуточку волновался.

А еще он волновался оттого, что эту колонну тысячу лет назад (или две, или три тысячи — Санька точно не знал, древнюю историю он еще не учил) трогали такие же, как он, мальчишки. И настоящий, непридуманный Одиссей трогал. И словно тепло их ладоней так и осталось в камне.

И от Санькиной ладошки тепло останется.

И когда-нибудь через громадное тысячелетие к этой колонне тоже придет мальчик...

Такого Севастополя вокруг, конечно, не будет, а будет какой-нибудь фантастический город со стоэтажными сверкающими домами, с хрустальными мостами через бухты и с космодромом на мысе Херсонес. Но эта колонна останется. И другие колонны останутся, и памятники, и бастионы, и форты. Люди и сейчас берегут старину, а тогда будут беречь еще сильнее.

И вот мальчик так же проберется сквозь кустарник и тронет мрамор... Какой он будет, этот мальчишка? Ну, понятно, что не в белой Одиссеевой тунике и не в полосатой безрукавке, как у Саньки. Саньке представлялся этот мальчик в чем-то вроде серебристой накидки, словно сотканной из блестящих птичьих перьев. И в широком поясе с кнопками. Нажал одну кнопку — можешь лететь над Землей. Нажал другую — можешь разговаривать с другом, который где-нибудь в другой галактике...

Но из прошлого никого кнопкой не вызовешь. Можно только так: продраться сквозь колючки и тронуть камень.

Он тронет и будет стоять и ждать. Пускай в фантастической одежде и с чудесными кнопками, но все равно похожий на Саньку и на Одиссея. Такой же обжаренный солнцем. И наверняка с такими же синяками

и царапинами. И с такими же огорчениями... Может, не взяли на экскурсию на какой-нибудь межзвездный крейсер?

Или тогда уже ни у кого не будет огорчений?

Совсем?

Хорошо бы. Но что-то не верится...

...Я ловлю себя на том, что, кажется, начал сам рассуждать вместо Саньки. Едва ли он думал обо всем этом так четко и подробно. Однако что-то похожее думал и чувствовал (он сам потом, смущаясь, рассказал мне об этом). И о мальчике из будущего думал не раз...

Скорее бы этот мальчик позвал Саньку и рассказал, как у них там...

Жаль только, что это все-таки не по правде. То есть по правде, но не совсем. Потому что, когда тот мальчишка появится на свет, Саньки уже давным-давно не будет...

Санька вздохнул. Такие мысли приходили ему не впервые. Наверно, они к каждому человеку приходят. Но Санька не чувствовал ни особой горечи, ни страха. Обидно, конечно, что он не увидит межзвездные корабли и хрустальные мосты над бухтами, но и сейчас жизнь неплохая (жаль только, что перешел в эту школу). К тому же Санька чувствовал, что ни один человек не умирает до конца,— все равно от каждого что-то остается для будущих времен. Хоть самая капелька. Хотя бы тепло от ладошки в старой мраморной колонне...

Конечно, люди живут по-разному и умирают по-разному. Хорошо бы, как Корнилов. И обидно, если как тот юнга с «Везула»...

Одиссей подошел незаметно и встал рядом. Санька молча улыбнулся ему.

Кругом по-прежнему были развалины, кусты и трава, которую прижимал к камням ветер. Белый город с храмами, лестницами и статуями так и не возник. Потому что сейчас не Санька был в гостях у Одиссея, а Одиссей у Саньки. Уже не первый раз.

...Сначала Санька не решался звать к себе Одиссея.

Он боялся, что Одиссей расстроится, когда увидит, какие печальные руины остались от пышного Херсонеса. Но все-таки Одиссей однажды пришел. И не очень расстроился. Потому что рядом с остатками домов, крепостных башен и храмов шумел новый город. И в этом городе все для Одиссея казалось удивительным. Гораздо сказочнее и волшебнее, чем разные мифы про богов и титанов... С тех пор Санька и Одиссей ходили друг к другу по очереди...

...На Одиссее поверх коротенькой туники был серый дерюжный плащ. Его рвал ветер.

— У нас тоже шторм,— сказал Одиссей.— Так и свищет.

— Пойдем на берег,— сказал Санька.

Одиссей кивнул. Он умел сразу угадывать Санькино настроение.

Они спустились по широкой бетонной лестнице, прошли через развалины базилики по мозаичному полу из морской гальки. Шторм совсем рядом грохотал камнями. Холодные капли-картечины ударяли по ногам и по лицу, мелкие клочья пены застревали в волосах. Санькина безрукавка была в бисере брызг.

Потом тропинка пошла вверх, и брызги перестали долетать. Только ветер упруго отжимал упрямых мальчишек от берега. Санька и Одиссей поднялись на обрыв ближнего мыса. Внизу, у обломков скал и бетонных глыб взорванной батареи, равномерно вставали пенные столбы прибоя. Сизо-зеленое море и низкое косматое небо безостановочно катились навстречу Саньке и Одиссею. Ветер стал еще сильнее. Санька снова поежился. Одиссей накинул на него край широкого плаща. Стало чуточку теплее. Санька улыбнулся и спросил:

— Вернулся отец?

— Вернулся. Вчера... Хорошо, что они успели до шторма. А то могло прижать корабль к скалам и разбить в щепочки.

Санька кивнул:

— Могло... Вон там, за тем мысом, разбился фрегат «Везул». Я вчера прочитал про него в старинной книжке...

Одиссей повернулся к Саньке. На лице у Одиссея, как от слезинок, виднелись полоски от высохших соленых капель.

— Расскажи,— попросил он.

...Тридцатидвухпушечный фрегат «Везул» под комаидой капитана второго раига Стожевского 2 октября 1817 года вышел нз Севастопольской бухты, чтобы следовать к Абхазским берегам. Комаидир несколько дией ожидал хорошей погоды и теперь с тихим ветром от зюйд-оста благополучио обогиул Херсоиесский маяк.

Фрегат был в двадцатн милях от маяка, когда ветер стремительио засвежел. Это случилось около пяти часов пополудии. Развело огромную волиу. От раскачки тяжелых мачт ослаб стоячий такелаж. Чтобы оказаться поближе к берегам, которые хоть как-то защищали от ветра, комаиднр повериул с левого галса иа правый, то есть фактнчески лег иа обратиый курс (на большом парусиом судне во время шторма это крайие тяжелый маневр). Но когда впереди показался маяк, Стожевский приказал опять лечь на левый галс.

Так «Везул» метался в штормовом море, а ветер делался все страшиее и менял иаправление. Даже в Севастопольской бухте и в самом городе этот шторм иатворил иемало бед.

...Мие трудио представить, как имеино рассказывал Саиька Одиссею о «Везуле». Тем более что по правде-то он даже ие рассказывал, а просто вспомииал. Вспоминал страиицы из кииги «Исторія крушеній и пожаровъ Русскаго флота». В киите же иаписано вот что:

«Ветер... до того уснлнлся, что прниудил закрепнть все марсели, и фрегат оставался под одиимн нижннми парусами; а между тем, все переходя к SW, ветер сгоиял с румба. В исходе 9-го изорвался грот, и при этом еще так снльно креинло, что вынуждены были закрепить фок, оставаясь под одиими стакселями. В 2 ч. иочн ветер уже зашел от NW и был столько свеж, что, «прослужив 26 (с якориыми) кампаний иа разных морях,— говорит Стожевскнй,— я инкогда ие встречал подобиого», н фрегат все ближе прнжнмало к берегу... Шел дождь, н темень была такая, что со шханец ие вндели передиих парусов. Чтобы отойти от маяка, стали поворачивать на правый галс; ио прн повороте нзорвался фок-стаксель, и фрегат, оставленный почти без парусов, стало еще сильиее прижимать к берегу. Ветер заходил к N, и отойти не было возможиости ни на тот ин иа другой галс. Былн нзготовлены два якоря. В иачале 4-го показался бледный свет маячиого огия, и, накинув глубниу иа 17 сажен, броснлн одни якорь; дру-

гой еще не совсем был готов. «Жестокий ветер, как будто под парусами, нес фрегат к берегу»,— говорит Стожевский. Через полчаса он ударился всем левым лагом о камни... В это время на эскадре, стоявшей на Севастопольском рейде, спускали стеньги и нижние реи. Удары были часты и сильны; ветер ревел, волны ходили через; ночь темная, гибель казалась несомненною».

Здесь я на минуту перебью автора старой книги, чтобы подчеркнуть одно выражение, которое часто встречается в давних описаниях морских трагедий: «Волны ходили через». Не «через палубу», «через корабль», «через корпус», а просто «через». Этот лаконизм кажется мне выразительнее многих подробностей.

«...Для облегчения фрегата срубили все три мачты, и он вскоре был выброшен совсем на бок. На рассвете увидели, что находятся на западном мысу Казачьей бухты. «К счастию,— говорит командир,— спасен барказ; на нем при помощи офицеров и команды, присланной из Севастополя, все благополучно спаслись, кроме квартирмейстера Ивана Докунина и юнги Андрея Шуширина, бросившихся от страха преждевременно в море».

Когда Санька читал это и когда потом вспоминал, у него даже дыхание сбивалось от тоски и от жалости. И от какой-то обиды. Взрослого квартирмейстера ему, по правде говоря, было не очень жаль, но юнгу... Наверно, такой же мальчишка был, как Санька. Небось, дома выпросился в первое плавание и вот не успел даже от берегов отплыть...

Какой же черный и безжалостный шторм был в ту октябрьскую ночь! И какой ужас был в душе у юнги Андрюшки, если кинуться в воду ему показалось не так страшно, как оставаться на палубе!

Он что, спасенья искал в этих жутких волнах? Или шторм уже казался страшнее смерти?

О чем он думал, Андрюшка?

Или уже ни о чем не думал?..

Разве бывает такой страх, когда человек уже не думает?

Санька не раз представлял себя на месте юнги Андрея Шуширина. Будто он сам на скользкой, вставшей вертикально палубе, а сверху рушатся громады воды с шипучими гребнями, трещит дерево, срываются и кру-

шат фальшборт многопудовые карронады... И вода, вода, и мрак...

Но до конца представить это Санька не мог. Таких штормов он не видел. Даже с берега не видел...

Нет, Санька не осуждал юнгу с «Везула» за тот смертельный страх. Какое право он имел осуждать, если сам никогда ничего похожего не испытывал? Была только тоскливая обида: «Ну зачем он так? Почему не дождался помощи, почему не выдержал?»

И почему юнге Андрюшке взрослые люди дали кинуться в море? Неужели каждый думал только о себе?

Нет, наверно, просто не уследили...

...— Просто у него не было друга,— внезапно сказал Одиссей.

— Что? — вздрогнул Санька.

— Не было у него друга. Если бы рядом был надежный друг, они бы обязательно удержались вдвоем... Хоть какой шторм, но удержались бы!

— Да, наверно... Конечно,— сказал Санька. И опять заколола беспомощная обида. Оттого, что он, Санька, не может стать другом этого Андрюшки и удержать его от смертельного броска.

...А сам-то Санька не струсил бы?

«Ну и струсил бы! Ну и пусть! — сердито подумал Санька.— А вдвоем все равно не так страшно!»

Видимо, Саньку все-таки просвистело на берегу. К вечеру он осип, а утром температура была тридцать восемь. А потом и еще больше.

Ничего! Санька даже радовался. Можно будет несколько дней не ходить в школу, не встречать Турчакова, не ждать со скрученным страхом каких-нибудь новых насмешек.

Но болезнь оказалась коварнее, чем ждал Санька. Тяжелее. Температура не падала. Стало колоть в боках. А особенно худо было по ночам, когда чудились черные, душные, как горячая вата, волны, которые накрывали Саньку с головой, и он не мог сквозь них протолкнуться к другому мальчишке — то ли Одиссею, то ли юнге с «Везула», который звал на помощь. А еще и Димка Турчаков тут появлялся, но совсем как-то непо-

нятно... И падали на Саньку срубленные мачты, и бился он в запутанных шкотах и вантах...

— Доскакал раздетый, достукался до воспаления,— горько сказала мама.

Но оказалось, что это не воспаление, а жестокий бронхит.

...Мама работала диспетчером на автостанции, порой приходилось ей дежурить по ночам. Папа тоже иногда работал во вторую смену. Чтобы приглядывать за больным Санькой, к ним переселилась Люся. Конечно, с Тарасиком (куда же его девать?).

Через неделю болезнь приутихла, оставила Саньке только слабость, не очень сильный кашель и какое-то беззаботное настроение.

Санька целыми днями читал толстую книгу «Мифы Древней Греции» или разговаривал с Люсей про всякую всячину. Они друг друга всегда понимали, хотя Люся и была старше на тринадцать лет. Санька рассказал ей даже про Одиссея. Люся и это поняла как надо. Она Саньку погладила по голове и ласково проговорила:

— Он там без тебя скучает, наверно. Ты давай поправляйся, Сандалик наш...

От этой ласки (и, наверно, оттого, что Санька был совсем ослабевший) у него подкатила к горлу теплая волна. Санька уткнулся в подушку. Люся погладила его по спине, потом посадила на одеяло Тарасика.

— Иди к дяде Сане, скажи: «Давай поиграем».

Санька перевернулся на спину, посадил Тарасика себе на живот и улыбнулся ему сквозь слезы.

...В школу Санька вернулся перед осенними каникулами.

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА

В новогодние каникулы я получил от Сандалика бандероль. В ней была книжечка «У карты Севастополя». Очень интересная книжка с описанием севастопольских улиц и окрестностей и с историей их названий.

По правде говоря, у меня было уже несколько экземпляров этой книжки — подарки друзей и знакомых. Но Санькиной бандероли я все равно обрадовался, тем более что в ней оказалось и письмо.

Почерк у Сандалика был корявый, но старательный,

а письмо короткое. Санька поздравлял с Новым годом, сообщал, что читал мой рассказ в «Пионере», когда осенью болел бронхитом; что Тарасик научился ходить, стал очень серьезный и совсем неревучий. И что он, Санька, закончил вторую четверть с двумя тройками — по русскому и по математике, но во втором полугодии он подтянется...

Я в ответ послал Саньке свою книжку про ковер-самолет и про храброго мальчишку-летчика. Через месяц Санька написал, что книжка ему понравилась, а мама, папа, Люся, Гриша и Тарасик передают мне привет.

На этом наша переписка заглохла. Но я не обижался. Я сам не очень-то люблю писать письма, что же требовать от других...

В сентябре я снова приехал в Севастополь и через день отправился в школу, где учился Сандалик (теперь-то я знал ее номер).

Только что кончились занятия, ребята разбегались со школьного двора, и я спросил, нет ли здесь кого-нибудь, кто знает пятиклассника Дальченко.

Оказалось, что его знает высокая круглолицая девочка.

— Он со мной на одной парте сидел...

— А сейчас что? Сбежал от тебя? — улыбнулся я.

— Он от нас уехал,— объяснила девочка. И вздохнула.

— Куда уехал? — расстроился я.

— Говорят, в прежнюю свою школу вернулся.

Вот оно что! Это меняло дело. В той школе у меня было множество знакомых. В прошлом году там закончил восьмой класс Алька Вихрев, а сейчас учился в пятом его брат Юрос.

Юроса я отыскал на школьном дворе. Он был занят увлекательнейшим делом: вместе с другими мальчишками караулил девочек и обстреливал их кожурой от каштанов. Девчонки визжали, но довольно бойко «отстреливались».

Увидев меня, Юрос радостно завопил и, не стесняясь, повис у меня на шее, хотя мы виделись совсем недавно, утром.

— Саня Дальченко в вашем классе учится? — остановил я его восторги.

— Кто? — он заморгал.— А, Сандалик... Не! Он в пятом «Б». А что?

— Ты его знаешь?

— М-м...— Юрос вздернул острые плечи.— Вообще-то да. Маленько...

— Найди и приведи.

— Зачем? — ревниво спросил Юрос.

— Дело есть. Двигай.

Юрос опять пожал плечами, неторопливо отправился в школу и буквально через две минуты молча доставил Сандалика.

Сандалик увидел меня, заморгал, потом улыбнулся. Пробормотал:

— Здрасте...

Он, кажется, ничуть не подрос и вообще был в точности такой же, как при прошлогодней встрече. Только загар стал, по-моему, еще сильнее, а волосы еще больше выгорели.

— Ну вот и опять встретились,— бодро проговорил я.— Как живешь, Сандалик?

— Хорошо... Все в порядке,— сказал он и опустил глаза. И закачал сумкой, которую держал за ремень (вот что, пожалуй, было у него нового: вместо прежнего ранца — синяя спортивная сумка с нашивкой в виде футбольного мяча; видимо, пятиклассникам носить ранец уже несолидно).

Я вдруг ощутил неловкость и понял, что не знаю, о чем говорить. А он тем более не знал.

Собственно, что у нас было за знакомство? Встреча, разговор о севастопольских бухтах да пара коротких писем. Наверно, Сандалик и не ждал, что я разыщу его...

Тогда я спросил наугад:

— А как поживает Тарасик?

Сандалик заулыбался, сразу по-другому глянул.

— Ой, он уже большущий! Все понимает. Даже букву «А» знает...

— Пойдем погуляем,— предложил я.— Уроки кончились? Вот и хорошо... Поговорим немножко.

Он кивнул и быстро надел на плечо ремень сумки. А я увидел лицо Юроса. Очень безразличное, очень равнодушное лицо. На нем так и читалось — будто крупными печатными буквами: «Ну и пожалуйста! Мне вот нисколечко не интересны ваши дела...»

Я подмигнул ему: все, мол, в порядке. И Юрос не выдержал:

— А к нам вы сегодня зайдете?

— Зайду,— пообещал я.— Скажи маме и папе, что буду надоедать вам весь вечер. И расскажу тебе еще одну историю про черный клипер, когда тебя погонят спать...

— Меня уже давно не гоняют,— уязвленно сообщил Юрос нам вслед.

Мы с Сандаликом пошли через детский парк с его площадками и каруселями. Я сказал напрямик:

— Ты, может быть, удивляешься, что я разыскал тебя? А мне хотелось узнать, как у тебя сейчас дела.

Он помотал головой:

— Я не удивляюсь... Я вам два письма писал, да не отправил. Мама говорит: куда ты с таким почерком крючковатым! Перепиши. А переписывать уже... как-то неинтересно.

— Подумаешь, почерк! Жаль, что не отправил. Я даже не знал, что ты снова в этой школе. Как ты сюда попал?

— Очень просто! Мы поменялись: снова приехали в старую квартиру. А Люся, Гриша и Тарасик в нашу. Тарасику там лучше: вода горячая всегда и ясли есть рядом... Надо было сразу так сделать, да не догадались.

— Значит, сейчас все в порядке?

— Сейчас всем хорошо,— серьезно сказал Сандалик.— Всем на работу ближе ходить, а папе еще и в яхт-клуб... Он там зимой начал помогать своим знакомым, двигатель у них на яхте перебрал. А потом так и остался в экипаже. Матросом. Говорит: раз уж из рыбаков ушел, буду ходить под парусом. А то совсем высохну без моря.

— А почему его матросом взяли, а не механиком?

— Ну, и механиком... Но в гонки-то яхта не под мотором идет, двигатель под пломбой. А парусам всегда нужны матросы... Он уже в гонку на кубок Черного моря ходил.

— А мама, наверно, ворчит, что его теперь дома не дождешься...

Сандалик засмеялся:

— А вы откуда знаете?

— Это у всех одинаково.

— Она не сильно ворчит... Она только меня боялась первый раз отпускать с папой. А сейчас не боится, если даже сильный ветер.

— Если сильный, наверно, боится.
— Но отпускает... Ой, вон фруктовое мороженое! Вы любите? — Он так энергично зашарил в карманах, что мятые и перемазанные мелом шорты скособочились, а рубашка выбилась из-под ремешка.
— Подожди, у меня полтинник есть.
— Нет, я сам! — Он умчался к тележке мороженщицы.
...Потом бродили мы по разным улицам, по Историческому бульвару, по Артиллерийской слободке. До вечера. Так, что даже ноги загудели. Наша общая неловкость растаяла с последними каплями фруктового мороженого, и мы болтали без стесненья. Вперемешку. Я рассказывал Сандалику о наших парусных гонках на таком далеком от Севастополя Верх-Исетском озере на Урале. И о съемках фильма «Хроника капитана Саньки», которые мы затеяли в Свердловске с ребятами из отряда «Каравелла». Санька говорил о своих делах.
Тогда-то я и узнал многое из того, что здесь написано...
Впрочем, написано, конечно, подробнее, чем Сандалик рассказывал. Кое о чем пришлось мне догадываться лишь по коротким Санькиным фразам. Поэтому пусть Санька не обижается, если на этих страницах я заставил его говорить и делать то, что говорил бы и делал сам, если бы превратился в севастопольского пятиклассника.
В конце концов, я пишу повесть и могу, как автор, пофантазировать. Кое-что добавить от себя. Думаю, что эти добавки не пойдут вразрез с характером Сандалика и он не станет придираться.
Ну а если захочет придраться кто-то другой, то предупреждаю сразу: в этой повести я изменил почти все имена, «сбил» расположение и номера школ и даже нарочно слегка перепутал даты. Потому что главное не в этом. Главное — Санька.
...Об одних случаях Санька рассказывал охотно, о других вообще молчал. Как он жил зимой, мне почти ничего не известно. Судя по всему, жил не очень весело, хотя и без больших неприятностей. С ребятами не ссорился, но и не дружил. С Димкой Турчаковым они как бы не замечали друг друга. По крайней мере, Санька его не замечал. Только где-то в феврале они сцепились в неожиданной и короткой драке.

Из-за чего? Толком не знаю. Санька неохотно сказал:

— Ну, он полез с каким-то разговором, а я говорю: отвяжись. Тогда он опять о Профессоре что-то сказал...

Их растащили тут же. Сан-Сама не стала писать в дневники и как-то тихо, утомленно сказала:

— Господи, вам-то что не живется? Что вас мир не берет?

Димка и Санька молча разошлись.

А через месяц Санька вернулся в старую школу, стал прежним Сандаником, и веселые дни стремительно покатились к лету.

Лето было замечательным. Во-первых, Санька несколько раз ходил с отцом на яхте. Во-вторых, на неделю ездил с мамой в Москву. В-третьих, вообще было лето, было море, были бесконечные каникулы, игры со старыми друзьями-приятелями. Был обшарпанный, но легкий и быстрый велосипед...

И еще был Одиссей.

Когда Санька приезжал к Люсе, он обязательно заходил в Херсонес.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА БЕРЕГУ

Они с Одиссеем бродили по тесным переулкам и по площадям, лазили на верхние площадки крепостных башен, где добродушно ворчали на мальчишек старые воины. Они, эти воины, поворчат, а потом расскажут какую-нибудь историю про дальние походы, про осаду или про стычки с конными отрядами скифов...

Интересно и весело было на шумливом рынке, где в толпе хватало всякого народа: богачей в пестрых одеждах, и нищих в лохмотьях, и полуголых, костлявых рабов. Люди шумели, торговались, ругались, рассказывали новости. Звонко щелкали ногтями по бокам выставленных на продажу больших и маленьких амфор. Пахло рыбой и раздавленными фруктами...

В порту было тоже многолюдно. Рабы тащили на разукрашенные корабли тюки и громадные глиняные пифосы с зерном. Хриплые матросы шатались по пристани и рассказывали небылицы о заморских циклопах и сиренах...

Одиссей и Санька сновали между людьми, приглядывались ко всему и прислушивались. И никто не обращал

внимаиия на Саньку, все думали, что ои здешний.

Но однажды Одиссей сказал:

— Знаешь что... Ты только не обижайся... ио лучше тебе пока не приходить к нам.

— Почему? — огорчился Саиька.

— Люди стали о чем-то догадываться. У нас есть кривой сосед по кличке Полифем, ои пьяница и доносчик. Он меня уже два раза спрашивал: «А что это за незиакомый мальчишка к тебе повадился?»

— Ну и что? Кому какое дело?

Одиссей помолчал и призиался:

— Боюсь я... Если будут лишние подозрения, за мной станут следить и догадаются про мою тайну...

— Какую тайну? — удивился Саиька. И даже обиделся. Оказывается, у Одиссея есть тайны, отдельиые от иего, от Саньки.

Одиссей виновато посопел и проговорил:

— Ты ие думай, что я навсегда скрывал. Просто я хотел рассказать, когда все уже будет готово... Послушай, а твоя машина времени нормальио работает?

— Конечио, нормально! Раз мы встречаемся... Ты про тайну давай.

— Сейчас... А в ией в любую сторону, то есть в любое время, можно уехать?

— Не в любое,— вздохнул Санька.— Дальше нашего вперед не получается. А иазад — пожалуйста.

— Далеко назад?

— Да сколько хочешь! Можно иарисовать иа циферблате деления с миллионами лет, и пожалуйста — хоть к динозаврам.

— К кому?

— Да это я так... Потом объясню. А что за тайна?

Одиссей сел на камень и посадил рядом Саиьку. К их ногам подкатилась шипучая волна. Одиссей подозрительио оглянулся. Но кругом было пустынно, они с Санькой встретились на этот раз ие в городе, а за его стенами, иа берегу скалистой бухточки.

Одиссей шепотом сказал:

— Я теперь нарушитель законов и заговорщик...

Оказалось, что Одиссей взялся помогать рабам (ие прошли зря Санькины разговоры). У соседа, богатого винодела, есть среди рабов целая семья: отец, мать, двое дочерей и сын — ровесник Одиссея. Зовут его Филипп. Они с Одиссеем тайные приятели. Тайиые, потому

что свободному мальчику дружить с презренным рабом не полагается. Не то чтобы закон это специально запрещал, но все смотрят на такую дружбу косо, и дома за это может крепко влететь... Но Одиссею Филипп всегда нравился, он веселый, добрый и сообразительный. Гораздо умнее многих ребят, с которыми Одиссей учится в школе. Одиссей часто играл с ним, когда поблизости не было непрошеных глаз и ушей. Он даже научил Филиппа грамоте...

До недавнего времени Филиппу и его родным жилось не так уж плохо. Они были у винодела, можно сказать, любимцами. Мать ведала в доме кухней, отец был старшим над другими рабами. Ребятишек непосильной работой не загружали и за мелкие шалости не наказывали.

Но недавно случилась беда. Из Греции (чуть ли не из самих Афин) прибыла в херсонесский театр актерская труппа. На гастроли. И ее хозяину приглянулся ловкий и грамотный Филипп. Хозяин решил, что такой мальчишка будет очень полезен для театра. Он предложил виноделу за Филиппа порядочную сумму.

Мать зарыдала, сестры тоже, отец кинулся умолять винодела. Тот любил иногда строить из себя добряка и сперва отказался продать Филиппа. Но хозяин театра добавил еще денег. И винодел сказал:

— Нечего лить слезы. Здесь мальчишка растет баловнем и бездельником, а там научится уму-разуму...

Больше никакие мольбы не помогли. Отца и мать Филиппа винодел отправил в загородную усадьбу. А его самого посадил под замок в сторожку, чтобы мальчишка не вздумал удрать куда-нибудь, пока не получены деньги и пока театр не покинул славный Херсонес Таврический.

Удрать из сторожки — дело нехитрое. Тут и сестры Филиппа помогут. Но куда потом деваться? Податься в степь и сделаться пленником у скифов? Или пробраться на корабль, плывущий в дальние страны? Там все равно продадут в рабство. И отца с матерью жалко, и девчонок...

Одиссей сказал Саньке:

— Вот я и подумал: давай твоей машиной отвезем их в самые старые времена, когда здесь еще не было греков, а жили одни свободные тавры...

— А тавры их не захватят в рабство?

Одиссей нерешительно сказал:

— Да нет... У них, по-моему, не было рабов, они же еще не очень развитые... Отец Филиппа будет учить их всякому ремеслу. Потом всей семьей построят дом, заведут виноградники, станут жить свободно...

— Давай! — решительно сказал Санька.

Они с Одиссеем договорились встречаться только на берегу моря. Не в Одиссеевом времени, не в Санькином, а просто у Моря. Потому что Море — оно во все времена. Вечное.

Надо было подготовить побег. Одиссей сказал, что проберется в загородную усадьбу винодела и приведет оттуда отца и мать Филиппа. Затем освободит самого Филиппа и прихватит его сестренок. А потом на берегу они с Санькой включат машину. Примерно на пять тысяч лет назад...

Только надо все продумать. Выбрать подходящий день, приготовить в дорогу кое-какое имущество, еду, инструменты. А то в первые дни среди голой степи беглецам придется несладко.

— Давай встречаться в маленькой бухточке, где... ну, ты знаешь,— предложил Санька.

Бухточка была даже не бухточка, а закуток среди желтых скал. Недалеко от галечного пляжа и колокола. Это углубление в обрывистом, слоистом берегу выломали зимние штормы. Здесь тоже был пляжик — уютный, размером с комнату. Но люди сюда почти не заглядывали. Попасть в этот затененный, пахнущий йодистыми водорослями и сырым ракушечником уголок можно было только в обход отвесного мыса, по скользким, покрытым зеленью камням. Камни даже в тихую погоду заливало мелкой прозрачной зыбью. А если волна, лучше и не соваться.

С обрывистого берега не вело ни лесенки, ни тропинки, и на спуск могли решиться только отчаянные люди. А если и спустишься, как подняться?

К счастью, погода в начале августа стояла тихая. Санька пробирался по камням без больших трудов. С последнего плоского камня он прыгал на берег и шагал, увязая мокрыми кедами в грудах бурых водорослей, которые накидало волнами. По водорослям сотнями скакали прозрачные морские блохи...

В желтой, источенной морем и ветрами глыбе на уровне поднятой руки у Саньки и Одиссея был «почтовый ящик». Аккуратное такое углубление — как потайная полочка. Одиссей на встречи теперь не приходил, но оставлял для Саньки письма. Вернее, не письма, а условные знаки — гладкие каменные голыши. Если темный голыш, значит: «Надо быть осторожными, за мной следят». Если белый, мраморный, значит: «Дело идет на лад».

Конечно, Санька сам подкладывал голыши, но потом, когда снова пробирался в бухточку, почти забывал об этом. Забывал, что игра. И сердце стукало, когда он запускал руку в тайник...

...Он, прижимаясь грудью к прохладному ракушечнику, встал на цыпочки и сунул в «почтовый ящик» пальцы. Сейчас они нащупают гладкий мраморный окатыш. Надо будет не глядя кинуть его в море, потому что считается, что этого камня с Санькиным письмом там уже нет, его взял Одиссей и прочитал нацарапанные грифелем строчки:

«Машина времени готова. Скоро вы соберетесь или нет? Положи столько черных камешков, сколько дней осталось до побега».

Три темные гальки лежали у Саньки в кармане. Сейчас он положит их в тайник, а завтра, волнуясь по-настоящему, найдет здесь этот ответ Одиссея.

Надо только выкинуть голыш с письмом... Где он?

Санька зашевелил пальцами в каменном углублении. Круглого большого голыша не было. Зато нащупал он два камешка.

Санька растерянно взял их на ладонь.

Это были гальки. Темно-серые, с белыми прожилками. Такие же, как в Санькином кармане.

Значит, Одиссей прочитал письмо и уже принес ответ? Сам?

Какой Одиссей? Опомнись, Санька...

С полминуты Санька озадаченно разглядывал камешки. Потом почему-то испугался. Завертел головой: кто здесь? Никого не было ни на пляжике, ни на обрыве. Но ведь кто-то же выследил, разгадал Санькину тайну, влез в их с Одиссеем дела! Кто?

И зачем? Чтобы посмеяться?

«А может, он ничего плохого не хочет?» — подумал Санька.

Да, в самом деле. Не у всех же только дразиилки иа уме. Может, кто-то случайно нашел Саиькиио письмо и тоже решил поиграть...

Саиька иашарил в кармане карандашный грифелек. Поднял гладкий черепок старииной посудины, вытер о рубашку. Почему-то застесиялся и почти через силу иаписал иа черепке:

«Ты кто?»

Ои оставил свой вопрос (и свое удивление, и иепонятное смущеиие) в тайиике, выбрался из бухточки, а потом иесколько раз в течеиие дня пробирался к ией по верху и следил: ие появится ли таинственный человек?

Никого ие было.

— Фаия, тавай кхать,— сказал Тарасик. Это озиачало: «Саия, давай играть». Саиька послушио опустился на четвереиьки. Тарасик признавал только такую игру: когда ои — всадиик, а Саиька — коиь. При иебольшой скорости Тарасик сохранял важиость, ио иачинал испугаиио и радостно верещать, когда Саиька переходил на рысь. Люся покрикивала на иих по привычке и сама смеялась.

А Гриша сиова был иа учениях...

.Накоиец Саиька ощутил спииой подозрительиую влажиость.

— Люся, у него опять штаиы мокрые!

— Стыд какой! — Люся сдериула «всадника».— Большой пареиь уже... Как теперь Саия домой пойдет?

— Ладио, высохиет,— сказал Саиька.

— А может, у нас переиочуешь? — предложила Люся.

— Пойду,— вздохиул Саиька.

— Послушай, а чего ты... какой-то не такой сегодия?

— Нет, я такой,— поспешио отозвался Саиька.— Я все в порядке.

А иа самом деле в ием сидело ощущение тайиы и тревожиого праздиика. Ожидание иеобычиого зиакомства. Играл Саиька с Тарасиком, разговаривал с Люсей, потом ехал домой в тесиом троллейбусе, потом вечером книжку читал про полет иа ужасио далекую звезду, а это ожидаиие ие проходило. И иеотступио вертелась мысль: «Кто ои? Кто ои?» Саиька был увереи, что завтра получит ответ.

...И он ужасио огорчился и даже растерялся, когда

пальцы его нащупали в тайнике глиняный черепок. Тот самый.

Санька несколько раз перечитал на черепке свой собственный вопрос: «Кто ты?» Потом поник плечами, потерянно сел на камень, а черепок отбросил. Тот перевернулся. И тогда-то Санька увидел на обратной стороне аккуратные черные буковки:

«Я твой друг. Приходи сюда завтра в полдень».

...И еще сутки звенело в Саньке радостное нетерпение. Тайна звенела и ожидание праздника. «Я твой друг...» Может, и в самом деле друг? Не такой, как Одиссей, а... ну, в общем, нынешний, постоянный, не из древних времен.

Конечно, с одноклассниками и с приятелями из соседних домов Саньке хорошо. Но... если по правде говорить, не очень-то они горевали, когда Санька уехал в Стрелецк. Вернулся — обрадовались, а пока его не было, наверно, и не вспоминали. Или так вспоминали, между прочим. Даже Митька Данков ни разу не собрался заехать в гости, хотя и обещал осенью... Ребята, конечно, не виноваты, такая уж человеческая жизнь. Но насколько эта жизнь была бы лучше, если бы с кем-нибудь подружиться накрепко и на веки вечные...

Санька трогал в кармане выпуклый черепок, улыбался и тихонько говорил:

— Ладно, я приду...

Он пришел, а море закапризничало. Почему-то не хотело пустить Саньку на встречу с незнакомым другом. Может быть, приревновало к Одиссею?

Нет, оно не хмурилось, не штормило, день стоял безоблачный, синий. Но шла на берег ленивая волна, по пляжам вытягивались пенные языки, гальку слегка перемывало, зеленая вода перекатывалась через камни, и у них вскипали гребешки. Этого было достаточно, чтобы сделать бухточку с тайником недоступной.

Но как это недоступной? Зря, что ли, Санька шел? А если друг уже добрался туда и ждет?

Санька промчался над обрывом и заглянул в бухточку сверху. Там было пусто. Но еще, наверно, рано. Он придет и увидит, что Саньки нет. Тогда что?

А может, в тайнике лежит для Саньки новое письмо?

Санька просто заметался. Ждать здесь? Но как они

с незнакомцем друг друга узнают? Спуститься с обрыва? Ну... Санька же не альпинист. И хотя бы веревка была...

А может, все-таки пробраться по камням?

Санька по бетонной лесенке сбежал на пустой пляж под колоколом. Ярко-желтый от солнца мыс — неровный, с обглоданными горизонтальными пластами камня — закрывал от Саньки е г о бухточку. Камни тянулись вдоль этого скалистого выступа, и весь путь по ним был метров пятьдесят. Волны то откатывались, то накрывали камни будто полуметровым слоем стекла. И тогда у обрыва взлетали брызги.

Но были моменты, когда море делало передышку. Волны становились слабенькими и словно приглашали Саньку: «А ну, рискни. Видишь, мы совсем безобидные».

И, конечно, он рискнул. Просто ничего другого не оставалось. Переждал Санька очередной накат крупных волн и прыгнул на первый камень. На второй, на третий...

Залило кеды, но это ерунда. Наверно, он проскочит. Скользя, балансируя, хватаясь за ребра скалы, Санька шагал и прыгал по облепленным зеленью плитам и верхушкам камней. Над ним нависали козырьки обрыва. Берег был в тени, и от него больше, чем от моря, несло соленой сыростью.

Море перехитрило Саньку. Сперва оно только слегка пугало его, заливало ноги по щиколотку, но вдруг подкатило плоскую, без гребня, волну, и вода сразу оказалась выше колен. Она, эта упругая вода, толкнула Санькины ноги к берегу, потом отступила и сильно потянула их за собой. Хорошо, что Санька стоял на плоском шероховатом камне. Он замахал руками, вцепился в щель на скале и удержался. Но тут же поднялась другая волна — Саньке по пояс. Она мягко, но властно качнула Саньку к обрыву, и он трахнулся плечом и головой. Но снова успел вцепиться. Однако это не помогло. Уходя, волна рванула Санькины ноги за собой, он не удержался. Вода поволокла его от берега. Он упал на спину и застрял в камнях.

Волна откатилась. Тело сразу отяжелело и застонало от ссадин и ушибов. Но Санька вскочил и рванулся вперед. Сейчас уже было не до игрушек, речь шла о его, Санькином, спасении.

А море шутило с мальчишкой опасные шутки. Такое

ласковое, сииее вдали, оно подогнало к берегу волну выше прежних. Волна это играючи сияла Саиьку с камия, приподняла и ударила о скалистую стеику со слепой, нерассчитаииой снлой. Рядом крыльями взметнулнсь брызги. А волиа с иасмешлнвой легкостью, даже с ласковостью, отиесла обалдевшего Саиьку от скалы метров иа пять. На глубииу.

И ои поиял, что теперь надо только одно: подальше от берега! Если его еще раз так грохиет, руки-иоги переломает!

Саиька замолотил руками, рваиулся от обрыва, нырнул под иовый иакатнвшийся гребеиь. Этот водяной вал опять подиес его к обрыву, ио Саиька оттолкнулся от скалы ступиями н, забыв про боль от ушибов, поплыл вразмашку. Скорее, скорее!

Следующая волна то ли пожалела его, то ли была послабее. А может, он и правда успел отплыть далеко. В общем, о скалу его больше ие било. Но Санька все махал и махал руками, пока не выдохся.

Наконец он остановился. Очередной гребень приподнял Саньку, он оглянулся. Можно было возвращаться. Надо взять чуть левее, и волны сами выкатят его на пляжик в их с Одиссеем бухточке. Санька отдышался, отплевываясь от горькой воды, и метров двадцать неторопливо плыл вдоль берега. Берег был совсем недалеко, но волны теперь ие толкали к нему Саньку. Они лишь покачивали мальчишку, который перехитрил их, словно просили прощенья за слишком жестокую игру.

Санька повернул к бухточке. Он по-прежнему плыл не торопясь. Волны сами должиы были помочь ему. Они сделались ласковыми и послушиыми, теплые такие, мягкие. Правда, в тихой мягкости и ласковости иачали болеть отбитые места и царапииы. Одиако Санька знал: это пройдет. Вот выберется ои иа берег, потрет синяки и шишки, разомиет стукнутое плечо... Сейчас...

Но берег ие делался ближе.

Совсем иедалеко был берег, но... он иисколечко не приближался. А может быть, даже отодвигался потихоньку.

Когда Саиька поиял это, ои сперва просто удивился. Но почти сразу чуть не захлебнулся от удара страхом. Он вспомннл разговоры о коварстве прибрежной волны, которая вроде бы толкает к земле, а на самом деле потихоньку отиосит пловца в море.

Санька не был умелым пловцом. Конечно, он еще в дошкольном давнем детстве научился не бояться воды, нырять с открытыми глазами, плавать вразмашку и брассом, качаться на волнах, но он никогда не заплывал далеко. Сколько он сейчас продержится? Сразу Санька почувствовал, какие тяжелые кеды, как мешает рубашка... Что же будет?

«Ну-ка, без паники!» — велел себе Санька. Перевернулся на спину, чтобы отдохнуть. Но тут же небольшой, почти шутливый гребешок плеснул ему в глаза и в рот. Санька закашлялся, ушел под волну. Его перепуганное сердце забухало с такой силой, что под водой он услышал будто гулкие удары молотка. Рванулся вверх.

Да что это?! Так глупо, ни за что потонуть рядом с берегом? В такой солнечный день, когда так все хорошо кругом? Вон яхта бежит под цветным пузатым спинакером, вон в ста метрах резвятся у камней аквалангисты, вон туристы и всякие купальщики-загоральщики на глыбах, рядом с колоннами базилики...

Крикнуть? Стыдно... Да и не услышат за волнами.

Тогда он пружиной распрямил тело, бросил его вперед, отчаянно заработал руками и ногами. Еще, еще, еще! Изо всех сил!

И волны словно поняли, что их коварство не удалось. А может, они просто шутили, и теперь им стало неловко. Они принялись помогать Саньке. И скоро шумливый гребень выкатил его, измученного и побитого, на мокрую гальку.

Санька прокатился подальше от воды, к самой скале, потом сел.

Ух как болели руки, плечи, лоб. И сердце все еще бухало. Но страха уже не было, осталась от него только противная слабость. Санька, постанывая, встал. Оглянулся. Он был здесь один. А ведь наверняка уже есть двенадцать часов.

Боль сразу притупилась, стала неглавной. Главной сделалась тревога: значит, он не пришел.

А может быть, есть письмо?

Санька дотянулся до тайника. Нащупал круглый камень размером со свою ладонь. Выхватил его.

Это был кусок сахарно-белого мрамора. Когда-то он откололся от статуи или колонны, а за тысячи лет волны превратили его в отполированный кругляш.

Тонким чериым фломастером, печатными буквами иа кругляше было иаписано:

«Приходи ко мие! Мой адрес...»

Саиька озадачеино смотрел иа черные строчкн. Улнца в этом адресе была зиакомая. Она лежала иподалеку, в двух кварталах от Люсииого дома. Номер квартиры — большой. Зиачит, иезиакомец живет в новых корпусах. Саиька отчетливо представил миогоэтажиые громады, и эта привычиая картииа разбила тайиу. Саиька растеряиио и устало опустил рукн (оин сразу заболели).

Нет, ие такого событня ои ждал.

'А чего ои, собственно, ждал? Не Одиссея же, в коице коицов! Да, ио н не такой скучной записки... Ои думал, что незнакомец придет сам. Конечно, это будет мальчишка, взрослые такими тайнами ие заиимаются. Мальчишка будет, иаверио, молчаливый, серьезный. Саиька, ие промолвив ии слова, покажет ему черепок с прежним письмом: «Ты кто?» — «Я твой друг...» Тогда мальчишка чуть-чуть улыбиется, и Саиька улыбиется. И это будет как пароль...

А вместо этого — адрес.

Не пойдет Саиька. Если бы тот мальчишка хотел, ои пришел бы сюда сам. Наверио, кто-то решил просто посмеяться, поводить Саиьку за нос. Позвоиит Санька перед незнакомой дверью, а там свнрепая старуха: «Опять за макулатурой! Осточертели, окаяииые!» Илн какая-нибудь девчонка в баитиках: «Мальчик, вам кого?»

И все же Санька ие бросил камень. Он суиул его в мокрый кармаи. Поежнлся. Здесь была влажиая тень, одежда зябко липла к коже. Волиа пеинстыми языками подползла к иогам н заставила отступить. Эта волна будто иапомииала: «Если море раскачается посильнее, здесь будет опасио».

И только теперь Саиька подумал: а как выбраться?

Плыть обратио он ни за что ие решнтся. А иаверх забраться можио только до середины. Дальше — ровиый отвес и камеииый козырек.

Санька обвел глазами этот козырек — устало, досадливо и беспомощио. Зубчатая кромка обрыва казалась чериой иа солиечном небе. Саиька сощурнлся.

И тогда... из-за кромкн выдвинулась голова в странной шляпе н узкие плечи.

Санька распахнул глаза. Силуэт шевельнулся.

— Эй,— долетел сверху мальчишечий голос.— Ты уже здесь?

— Да! — радостио сказал Саиька.— Да, это я!

Он тут же забыл свою досаду. К нему вернулось ожидание праздника. Потому что иезиакомый друг пришел! Все будет, как мечталось!

— Я сейчас брошу веревку с узлами! — крикиул мальчишка.— По ией легко забраться! Сможешь?

— Да! — опять сказал Санька с нетерпеливой радостью.— Да!

Белый капроиовый трос упал к Саньке. Он был толщиной в палец, с частыми крупиыми узлами.

— Я его здесь крепко привязал, не бойся,— говорил наверху мальчишка в шляпе.— Он не сорвется.

Санька не боялся. Конечно, его новый друг привязал веревку намертво. Конечно, все будет отлично!

Хватаясь за узловатый трос, как за поручень трапа, Санька по каменным выступам за полминуты вскарабкался до половииы высоты. Потом полез по самой веревке. Да чего тут лезть-то? Будто по лесенке! Узлы — как ступеньки... Ну, крутнулся разок, ну, стукнулся локтем о скалистую стенку. Подумаешь! Вот и верх... Мальчишка схватил Саньку за руку, за рубашку, потяиул... И вот они рядом! Сидят они в траве и смеются. Санька смеется, и...

И Димка Турчаков смеется.

У Саньки опять заболели все синяки и ссадины. И кости заломило. Как только он узнал Димку.

А узиал не сразу. Из-за шляпы. Это была шляпа, какие иосят на Юге солдаты. От полей падала на загорелое лицо густая теиь.

Из этой теии и гляиули иа Саньку Димкины глаза. Продолговатые, желтые, такие иеиавистные...

— Шпиои,— сказал Саиька. Это первое, что ои сказал. И подумал: «Только бы ие разреветься». Стало до жути обидио и как-то очень пусто. Словно украли у Саиьки все, что было хорошего.

Морщась от боли, Санька встал. Димка тоже подиялся — иеловко и торопливо. Ои был в зеленой рубашке, в брюках защитного цвета. «Вырядился под погра-

ничника, а на самом деле...» — подумал Санька. И опять сказал:

— Шпион...

— Почему? — тихо спросил Димка.

Надо же, он еще спрашивал! Выследил Саньку, влез в его тайну, подложил обманное письмо, а теперь...

— Потому что ты такой...— сказал Санька и глотком загнал злые слезы поглубже.— Потому что ты...

Димка сощурил глаза — то ли обиженно, то ли сердито,— но вдруг опустил голову и проговорил совсем шепотом:

— Какой?

Санька не стал объяснять. И ругаться не стал. Вынул из кармана мраморный голыш с размазанными от сырости буквами и презрительно спросил:

— Это ты писал?

Димка не заметил презрительности. Он, кажется, обрадовался.

— Да! Я подумал, что вдруг мы здесь не встретимся, тогда ты ко мне придешь.

«Чтобы ты опять поиздевался»,— подумал Санька. Но отозвался почти спокойно:

— Зачем?

Димка глянул исподлобья. Сказал с запинкой:

— Ну, я думал... может, ты уже не злишься... на меня.

Санька помолчал. Димка был другой какой-то, не тот, что в классе. Но все равно он был враг Турчаков, и обида на его подлое шпионство у Саньки не прошла.

Медленно и обстоятельно Санька разъяснил:

— Я, Турчаков, и не злился на тебя после того, как из вашей школы ушел. Я тебя даже и не вспоминал... Я про хорошее вспоминать люблю, а про таких, как ты, зачем?

Димка пнул камешек и сказал вполголоса:

— Ну и ладно...

То, что он не злился в ответ, еще больше раздосадовало Саньку.

— Я бы тебя вообще никогда не вспомнил,— добавил Санька тихо и непримиримо,— если бы ты не занялся шпионством.

— Да это не шпионство! Просто я играл! Ты играл, и я тоже...

— А я тебя в свою игру звал?!

— Не звал...— вздохнул Днмка. Сжал губы н стал смотреть в сторону.— Я думал, нам обонм интересно будет. Я же не для того следнл за тобой, чтобы навредить. Я наоборот...

— Ага,— невесело усмехнулся Санька.— Ты всегда мне делал «наоборот».

— Я не виноват, что так получалось...

— А кто виноват? Я?

— Да нет... я, конечно,— выдавнл Днмка.— Только я не нарочно.

Санька молчал. Боль в руках н ногах опять прнутихла, одежда стремительно высыхала под полуденным солнцем. Санька с каждой минутой делался уверенней н тверже. И спокойнее. Он был сейчас сильнее странного, смущенного Турчакова. В душе сильнее. Днмка встретился с ннм глазамн, опять отвернулся и сбнвчнво объяснил:

— У меня характер такой... Я в том году сперва даже обрадовался, когда нас за одну парту посадили, а потом как-то стало получаться, что тебе назло...

Санька презрнтельно сказал:

— Как в первом классе...

Димка вопроснтельно поднял глаза. Санька, усмехаясь, объяснил:

— Я в какой-то книжке чнтал, что у первоклассников, если девчонка мальчншке нравится, он ее толкает и за косы дергает... Только я же не девчонка, и мы не в первом классе... И вообще это вранье. Зачем человеку вредить, если ты к нему по-хорошему?

Но Димка упрямо сказал:

— Я не хотел ссориться. Это само...

— Это не само. Тебе хотелось перед ребятами повыхваляться. Показать, какой ловкий и остроумный. Другнх нельзя было задевать, они там все свои, а меня можно. Да?

Днмка опустил голову.

— Я же потом не стал...

— Ага. После драки.

— Да не в драке дело. Если бы я хотел, я бы сразу тебя свалил. Ты же после болезни был...

— Ах какой благородный Дима Турчаков,— усмехнулся Санька почти без ехндства. Даже печально.

— Нет, я не благородный... А ты тоже...

— Что — я? — окрыснлся Санька.— Я кого-нибудь задевал?

— Я же не про это говорю... Просто ты не понимаешь. Если бы ты не ушел из класса, все теперь было бы хорошо.

— А мне и так хорошо,— совершенно искренне сказал Санька.— Мне сейчас в сто раз лучше, чем тогда.

— Тебе-то конечно... А ребята жалели, что ты уехал. И даже Сан-Сама.

— Ну и врешь же ты, Турчаков! — изумился Санька.

— Не вру,— вздохнул он.

— Жалели, что дразнить некого.

— Да ты вспомни! Тебя потом никто уже и не дразнил!

— Но это было «потом»,— грустно проговорил Санька.— И хорошо, что все кончилось. Я теперь мимо вашей школы и близко не хожу.

— Ну и не ходи,— покладисто сказал Димка.

— Ну и не хожу! У нас знаешь какой класс! Попал бы ты к нам...

— Это же все равно,— вполголоса произнес Димка. Он опять смотрел куда-то мимо Саньки, быстро облизывал губы, и лицо у него было непонятное.— Это же совсем все равно...

— Что все равно? — с сердитым непониманием сказал Санька.

— Ну... если люди подружатся, это же неважно, что они в разных школах.

— Так это же если подружатся,— тихо, но неумолимо сказал Санька.

И отвернулся. И пошел.

Обиднее всего было, что нахальный этот Димка пролез в их с Одиссеем тайные дела, узнал про «почтовый ящик» и теперь может хихикать и разбалтывать чужие секреты.

Нет, не будет он разбалтывать — Санька это понимал. Во-первых, Димка ничего, конечно, в Санькиных и Одиссеевых секретах не понял. Во-вторых... Санька чувствовал спиной Димкин взгляд, и во взгляде этом не было ни угрозы, ни вражды. Печаль только была. А может быть, и слезы были... Ну что же, поплачь, Димочка, твоя очередь.

Санька шел по краю обрыва все быстрее, словно старался оторваться от Димкиного взгляда. Потом рассердился: что он, убегает, что ли, от Турчакова? Остановился и вдруг заметил, что все еще сжимает в паль-

цах камень с Димкиным адресом. Санька покачал круглый камень в ладони, перечитал зачем-то полуразмытые строчки и швырнул мраморный окатыш в море.

После встречи с Димкой играть в Херсонесе Саньке уже не очень хотелось. Как-то потускнели тайны. Все казалось, что чужие глаза следят за ним. И хотя Димка больше не встречался, Саньке было не по себе.

Но свое дело с Одиссеем они довели до конца: быстро и без всяких затруднений отправили мальчика Филиппа и его семью в глубокое прошлое, к свободным таврам. А потом Одиссей ушел в далекое плавание с отцом: надо было приучаться к будущей моряцкой работе.

А Санька понемногу начал готовиться к школе и привыкать к мысли, что каникулы кончаются.

...Но до школы случилось еще одно важное событие. В море.

ШКВАЛ

Санька уже несколько раз выходил с отцом в море. На яхте «Кодор». Конечно, не только с отцом, а с экипажем в пять-шесть человек. Яхта была большая — с кубриком, камбузом и машинным отделением. В слабый ветер она двигалась медленно, а когда закипали барашки, бежала резво, с лихим креном и бурунами у форштевня.

В крепкий ветер Санька не попадал ни разу (это лишь мама любой ветерок считала сильным). В тот августовский выходной дуло тоже так себе. Правда, по клубному радио пообещали, что во второй половине дня ожидается усиление ветра, но «добро» на выход дали. Никто не тревожился и в усиление ветра особенно не верил. Такие предупреждения делались и раньше — видимо, на всякий случай.

Но когда возвращались от устья Качи и уже прошли Учкуевку, засвежело неожиданно и крепко. При ясном небе. Яхта сразу резко легла на левый борт, у носа вздулись пенные усы.

— Грот потравите, черти! — громко сказал капитан дядя Сережа. Тонко запели блоки гика-шкота.

Санька стоял на подветренном борту. Он вдруг увидел, что зеленая вода приблизилась вплотную и мчится у самых его ног. Потом яхту подняло на гребень и

опустило снова. Санька вцепился в стальную трубку леера.

— Петрович, обряди-ка юнгу в жилет,— вроде бы шутя сказал дядя Сережа.— Смоет самого главного человека — будет некомплект...

У Саньки захолодело под желудком, и он без споров дал отцу застегнуть на себе надувной жилет (от которого неприятно и тревожно пахло резиной).

— Иди-ка на тот борт,— сказал папа.

Санька на четвереньках через рубку выбрался к противоположному борту. Яхта взлетела и пошла вниз опять. Ее и раньше качало, но не так, без угрозы. И не было тогда летучей пены, которая теперь шмякнула Саньке в лицо. Санька снова вцепился в поручень.

Ничего особо страшного не случилось. Никакое крушение, конечно, не грозило. Просто Санька впервые ощутил, какое оно всемогущее, море, и как шутя кидает яхту в ладонях. Такую большую, тяжелую, которая совсем недавно казалась надежной, как линкор.

Ветер нарастал, негромко и басовито запели ванты и штаги.

«А крен-то...» — подумал Санька.

В двух кабельтовых с таким же креном летел «Орион» с громадными треугольниками парусов...

Они были на траверзе Константиновского равелина, когда Санька услышал дяди Сережину команду:

— К повороту фордевинд...

Один из матросов сказал что-то неразборчивое. Дядя Сережа ответил:

— Людей-то смешить... Повернем.

Рядом с Санькой остановились двое: отец и молоденький студент Миша. Отец взял Саньку за жилет. Яхта вдруг круто пошла влево. Стальное бревно гика по размашистому полукругу пронеслось над головами и грянуло по вантам правого борта.

— Вы что спите! Почему не одержали?! — отчаянно заорал дядя Сережа.— К медузам захотели?

Яхта вздрогнула и загудела, как громадная гитара, которую уронили на бетон.

Правый борт стремительно клонился к воде, и она залила палубу, Санькины ноги. И было ясно, что этот неудержимый крен будет нарастать и «Кодор» уйдет в воду совсем. Сейчас!

Санька вцепился в отца и завопил:

— Папа!!
— Ты что?! — крикнул отец.
Яхта медленно выпрямлялась.
Дядя Сережа сказал от штурвала:
— Петрович, наветренный стаксель-шкот потрави. Кроме тебя, тут все салаги.
«Салаги» нерешительно хихикали. Отец оттолкнул Саньку к Мише и шагнул к лебедке стаксель-шкота.
«Кодор» полным курсом мчался к проходу в портовых бонах. Он звенел от ветра. Но это был уже не опасный звон. Санька рванулся из Мишиных рук и, коченея от стыда, замер у релинга...
Потом, когда ошвартовались у бочки под защитой Александровского мыса, Санька помогал убирать паруса, сматывал шкоты, но никому в глаза не глядел. Только в палубу глядел.
Папа сказал:
— Ну, хватит уж переживать.
Дядя Сережа спросил:
— Что закручинился, гардемарин?
Санька краснел и сопел.
— Перепугался маленько, а теперь страдает,— сказал папа.
— Ну и что за беда? — усмехнулся дядя Сережа.— Я и сам перепугался. Думал, мачта полетит.
Со стыдом и беспощадностью к себе Санька проговорил:
— Вы думали — мачта, а я думал, что потонем.
— Вот беда-то! — опять возразил дядя Сережа.— Спроси отца, сколько раз каждый моряк думал, что потонет! Это с каждым случается.
— Но любой не орет, как я,— добивая себя за трусость, сказал Санька.
— А разве ты орал? — удивился дядя Сережа.— Петрович, он разве кричал что-то?
— Я не слыхал,— сказал папа.
— Саня, это ты, наверно, мысленно крикнул.— Дядя Сережа похлопал его по плечу.— Это ничего, бывает...
Но Санька себя казнил до конца:
— «Мысленно»! На все Черное море...
— Ты вот что скажи...— дядя Сережа стал серьезным.— Ты так испугался, что больше не пойдешь с нами? Или пойдешь?
Санька с надеждой глянул в бородатое коричневое лицо капитана.

— А возьмете?
Дядя Сережа н отец засмеялнсь.
Санька подумал, повздыхал н тоже улыбнулся.
Но вечером, уже в постелн, он думал, засыпая: «Это даже н не шторм, а так, шквал небольшой... А как же было там, на «Везуле»?»

ДЕВЯТЫЙ БАСТИОН

Ночью разгулялся ветер. Утро было без дождя, теплое, но облачное. Ветер градом сыпал на асфальт созревшие каштаны, срывал с акацнй мелкую чешую лнстьев, а большне подсохшне лнстья платанов (похожне на нгрушечные дельтапланы) кружнл над мостовымн н чнркал нмн по скользкнм крышам разноцветных машнн. Облака былн быстрые и неплотные, мелькало чнстое небо.

С прнчала у Графской прнстанн я поехал на катере на Северную сторону. Там надо было встретнться с ребятамн в одном школьном музее. Катер снльно болтало. А за грядой волнолома вздымалнсь белые взрывы прнбоя. К Константнновскому равелнну неслнсь нз открытого моря белогрнвые табуны громадных волн.

Я подумал, что, еслн шторм еще поднажмет, рейд, чего доброго, закроют. Добнрайся тогда в центр города вокруг бухты, через Инкерман...

Эта беспокойная мысль царапала меня все время, пока шел разговор в музее. И к причалу на Северной я возвращался с тревогой. К счастью, катера ходнли. Но болтало их так, что было даже уднвнтельно: почему рейд все еще открыт? Палубу захлестывало, немногочнсленные пассажнры укрывалнсь в салоне...

В гостнннце пожнлая добродушная дежурная сказала мне:
— К вам тут мальчнкн прнходнлн. Цветы прннеслн да еще что-то... Я вам в номер унесла.
— Что за мальчики?
— Двое, небольшенькне такне, с портфелями... Сказалн, что еще, может быть, прндут.

В номере в бутылке нз-под кефира стоялн трн пунцовых георгнна — каждый размером чуть не с арбуз. А рядом лежалн на столе несколько раковнн-рапан. Одна — очень большая, с кулак. Оранжевая внутренность рапан еще пахла морем, там был мокрый песок. На бу-

горчатых серых боках — зелеиые нтки водорослей.

Раковнны я вымыл под краном. В двух оказались глубоко спрятавшнеся моллюскн. Я пожалел жнвых тварей н решнл потом выкинуть этн две раковнны в море.

В дверь постучали.

— Вот онн, гостн-то, опять прнпрыгалн,— сказала дежурная.

Смущенно посапывая и улыбаясь, в дверь проникли Саиька н Юрос. Разом сказали «здрасте».

Я обрадовался и удивился. Уднвнлся, что онн вместе. Прн первой встрече мне показалось, что Юрос глядел на Саньку с ревннвой подозрительиостью. И я знал, что прежде оин былн едва-едва знакомы.

Может, н сейчас Юрос увязался за Саидалнком нз ревностн? Илн нз прннцнпа: почему, мол, этот ндет, а мне нельзя?

Но нет, онн смотрели друг иа друга по-хорошему. А иа меня весело, но капельку внновато: все-таки непрошеные гостн.

— По берегу шастали? — спросил я.

Мятые длнниые брючины Юроса сннзу промоклн, Саиькнны кеды н носки тоже сырые, а на поцарапаиных ногах те же инткн водорослей, что иа раковииах.

— Ага,— выдохиулн Санька н Юрос вместе. Юрос полез в иагрудный кармашек н вытащнл громадную крабью клешню.— Вот... Там, за Хрусталкой, много чего накндало волнамн. И раковины, и это... Это тоже вам.

— Спасибо... Какая кусачая лапа!.. И за раковины спасибо, н за цветы... Где вы такне большущие георгигы добылн? Их-то, иаверио, не море выбросило?

— Не,— сказал Санька.— Это в школе...

— Сегодия сбор, ветераиы придут,— разъясннл Юрос.— Там для инх целые клумбы нанесли.

— Ннчего себе,— хмыкиул я.— Зиачнт, этн цветы... как бы это выразиться? Не совсем для меия были предназначены?

— Мы же не стащнлн! — сказалн онн разом н одниаково раскрылн честные глаза.

— Мы попросилн, потому что там все равно целый воз! — объясннл Юрос.

— Да, нам дали,— подтвердил Санька.

А я вдруг заметнл, что они похожи. Совершенно разные: темноволосый, с глазамн-углямн, весь какой-то колючнй чертеиок Роська н светлоголовый, сероглазый,

всегда немного смущенный Сандалик. Чем все-таки похожи? Может, одинаковостью интонаций, когда начинают говорить разом? Или уверенностью и легкостью движений и смелостью глаз (у Саньки, несмотря на его стеснительность) — тем, чем отличаются многие севастопольские мальчишки? Или еще какой-то неуловимой пока общностью?

Я их усадил на кровать и попросил дежурную принести чаю.

— А чего это вас, голубчики, понесло на берег? Уроки ведь...

Они наперебой рассказали, что уроки сегодня наполовину отменили, потому что сбор. И они пошли посмотреть, какой прибой. А на берегу свист, брызги, шум. У клуба яхты пляшут у причальных бочек, как черти в аду (это Юрос, конечно, сказал), и одну чуть не сорвало...

Они набрали раковин, прибежали сюда, меня не было, они отнесли домой портфели и снова сюда...

— Ой, а сколько времени? — подскочил Юрос.

Я показал часы.

— Через два часа сбор,— сказал Юрос.— Надо еще домой зайти, себя в парадный вид переделать, а то вот...— Он дрыгнул ногами в жеваных штанинах.

— Я вас провожу.

Времени было достаточно, и мы зашагали не торопясь. По улице Адмирала Октябрьского поднялись до площади Восставших и свернули на Шестую Бастионную. Но по ней напрямик не пошли, а начали петлять по старым переулкам.

Ветер трепал на мальчишках галстуки, ерошил и ставил торчком волосы. Это был озорной, не сердитый шторм. Проблески солнца летели по улицам, словно сорванные где-то желтые флаги.

В переулке Бутакова, что тянется между заборами из серого пористого камня, Санька поддал ногой обломок черепицы и задумчиво сказал:

— Тут все еще иногда ядра находят. И бомбы старинные...

— Не только старинные,— хмуро заметил Юрос. Он знал, что такие находки — не шуточки.

Санька тихо возразил:

— Не старинные — это понятно. А с Первой обороны сто тридцать лет прошло.

— Те старые бомбы тоже иногда взрываются,— заметил Юрос.— Если нечаянно уронить или стукнуть. А просто так не взрываются. У них взрывателей не было, а фитили...

— И пушки были гладкоствольные,— сказал Сандалик и быстро глянул на меня: помню ли прошлогодний разговор о Стрелецкой бухте, Тотлебене и залпах с французских судов?

Я улыбнулся ему.

— А я в Адрюшкином сарае старую самоварную трубу нашел,— сказал Юрос.— Теперь, когда крепость построим, можно из нее главный калибр сделать.

— Что за крепость? — спросил я.

— Да мы за гаражами ее делаем, вроде бастиона. Такая игра будет, штурм. Одни нападают с мечами и щитами, а другие отбиваются. И бомбы из песка. Если они наш флажок собьют, значит, их победа. Если мы их всех повышибаем, тогда наша...

— Надо каски сделать,— вдруг сказал Санька.— А то я вчера целый вечер песок из волос вытряхивал.

— У Альки есть одна железная! — вспомнил Юрос.— Наша, военная. А в кладовке где-то пластмассовая была, папина, он в ней в порту работал... Тебе какую дать?

— Да хоть какую! — весело сказал Санька.

Они обменялись быстрым взглядом. И я снова подумал, что они похожи! У них одно на двоих дело, одинаковые мысли об этом деле, одинаковое понимание. Когда успели? Всего-то несколько дней назад завязался между ними первый узелок...

Может быть, случилось наконец то, о чем мечтал Сандалик? Может, встретился ему непридуманный Одиссей? А Юрос теперь меньше будет печалиться о давнем друге Андрюшке, который уехал с родителями в далекий Мурманск? Хотя нет, новый друг старого не заменит. Но ведь может стать таким же настоящим!

Все-таки хорошо, что так получилось и есть у Сандалика и Юроса теперь общий бастион.

— Значит, девятый бастион строите в этой линии...— сказал я.

Санька вскинул выгоревшие ресницы:

— Почему девятый? Их же здесь раньше семь было. Восьмая батарея не считается, она уже для морской обороны...

— Семь — это те, что с номерами. А еще Кориловскнй, иа Малаховом. Забыл?

— Ой...— Саиька даже остаиовился и крепко тресиул себя ладонью по лбу. — Вот голова дырявая! Самое-то главное...

— Значит, все же наш — Девятый,— полувопросительно заметил Юрос. Ои сказал это уже как иазванне, с большой буквы.

— Вы его ие забудьте на карте отметить,— иапомнил я Саиьке.— Цела у тебя карта штабс-капитаиа Моткова-второго?

— Да иу его, этого Второго,— хмуро сказал Саиька.— Там одиа путаиица... Нарисоваио, будто фраицузскне траншеи даже за Артбухту продвниулнсь. И будто Восьмую батарею и Седьмой бастион французы захватнли. А их там сроду не было. Наши сами все там взорвали, когда отошли на Севериую... Фраицузы только Кургаи заняли.

Вндимо, вспомиив о Малаховом кургане, Санька подумал н о памятиике Корнилову. И о злополучных твердых знаках, которых не хватало в надписях, и о той старинной букве, которая «о» с палочкой поперек. По крайней мере, я подумал именно об этом. И Санька мою мысль момеитальио учуял.

— Я уж про это скольким людям говорил,— тихо сказал он.

— Ну и что? — спросил я.

— Ну... по-всякому. Некоторые не понимают. Некоторые соглашаются. Один экскурсовод хотел даже в газету написать... А вы?

— Что я? — спросил я неловко.

— Говорили кому-ибудь?

— Да...

«Ну и что?» — глазами спросил Саидалик.

Я виновато вздохнул:

— Как-то страиио. Вроде бы все считают, что старинная грамотиость ие так уж важиа.

— А может, и правда? — глядя под иоги, спросил Сандалик.

— Н-не зиаю,— сказал я.

— Нет, по-моему, надо, чтобы всегда было правильно,— вздохнул Саидалик.— Наверио, надо было, как я сперва хотел...

— А что ты хотел?

— Я думал, с кем-нибудь заберемся и краской исправим... Но я не знал с кем. А одному не забраться...

— Давай! — молниеносно зажегся Юрос.

— Такие дела уже случались,— сказал я.— Не так уж давно. С баркентиной.

— С какой? — разом спросили Сандалик и Юрос.

— Ну, с «Кропоткиным». Из которого ресторан у Артбухты сделали... Когда его только открыли, в Севастополь как раз приехал один молодой поэт. Димой его звали... Купил он банку масляной краски и ранним утром во-от такими буквами написал на борту: «Севастопольцы! Зачем превращать корабли в кабаки?» Или что-то в этом роде.

— А дальше? — сказали Сандалик и Юрос опять вместе.

— А дальше была милиция, скандал. Выставили из города. Потом грандиозный штраф... Но не в скандале дело.

— Дело в том, что ресторан там по-прежнему, шашлыками, воняет,— с отвращением сказал Юрос.— Мы тогда хотели поиграть на палубе, а какой-то дядька как заорет...

— Самое обидно вот что,— сказал я и как бы увидел перед собой живого Диму — черного, худого, веселого, с непримиримыми и бесстрашными глазами (в детстве он был, наверно, похож на Юроса).— Получилось, будто он сделал вред городу. А на самом деле он любил Севастополь отчаянно. Он про него даже повесть писал. Повесть-сказку про будущий Севастополь.

— Ее напечатали? — быстро спросил Санька.

— Не успел он дописать, умер. Совсем неожиданно... Будто сгорел. Сердце больное...

Мы пошли медленнее. Мальчишки молчали. Я тоже. Я вспоминал, как летом семьдесят седьмого года здесь, в Севастополе, Дима выхаживал моего двенадцатилетнего сына Пашку, схватившего какую-то стремительную лихорадку. Дима перестал яростно спорить о стихах и международной жизни, сделался ласковым, рассказывал Пашке смешные истории, кормил таблетками и уверял, что уже завтра от болезни не останется и следа. То ли Димина уверенность помогла, то ли медицинские познания (у Димы за плечами были три курса мединститута), но Павлик действительно поднялся на следующий день. Мы поехали в Херсонес, и Дима рассказы-

вал об удивнтельных свойствах ящернц-гекконов, которые водятся в здешних развалинах.

Потом он сказал, что здесь, в Херсонесе, развернется начало его повести-сказки о мальчишках будущего, которые живут в замечательном городе у моря. Сейчас я вспомнил про это н подумал: об истории Севастополя написано много, о нынешних его днях тоже кое-что есть, а в будущее, кажется, никто еще не заглядывал. Только Днма попробовал, да еще Сандалнк — в те минуты, когда приходили мысли о мальчике из нового тысячелетия...

По Катерной, где ветер толкал нас в спину, мы вышли опять на Шестую Бастнонную и у маленькой обороннтельной башнн свернули налево, к лестнице Крепостного переулка.

— А все-такн правильно он напнсал,— вдруг сказал Санька.

Юрос встряхнул головой:

— Что?

— Там, на борту...

— А-а,— понимающе отозвался Юрос.

«Правильно,— подумал я, потому что в глубнне душн всегда верил в правоту такнх яростных н бескорыстных поступков.— Но сам я не решился бы...»

Санька словно опять угадал мон мыслн:

— Вы ведь сами про такую баркентину писалн в своей книжке. Что нельзя так с кораблямн поступать...

— Да. Но в книжке проще. Все можно свалнть на ее героев: это, мол, не я, а онн...

— А вы и про памятник напишите в книжке,— вроде бы шутя, но с настойчивой ноткой предложил Санька.

Я усмехнулся:

— Ладно. Вот буду про тебя писать, и тогда...

— А что про меня пнсать? — искренне испугался Сандалик.

— Что-нибудь. Рассказ или повесть.

— Зачем? Я же... обыкновенный.

— Я тоже обыкновенный,— сообщнл Юрос.— А про меня есть рассказ. «Вечерние игры» называется, в «Пионере» печатали... Только там все перепутано.

— Во-первых, не все,— уязвленно произнес я.— Во-вторых, не перепутано, а творчески переработано. Рассказ — это тебе не заметка в стенгазете. В нем главное — художественный образ. А нз тебя, если без пе-

реработки, какой образ? Одна дурь да царапины...

— А в рассказе что? — выдал критическую мысль Юрос.— То же самое. Мама говорит, что надо было еще про двойку по математике написать.

— Еще не поздно...

— Поздно уже,— проницательно заметил Юрос.— Теперь у Сандалика очередь в это самое... в образ влезать.

Я пообещал Юросу, что сейчас надеру ему уши. Он захихикал, обормот. А Сандалик по-прежнему был серьезный. Видимо, он оставался мыслями на бастионах, потому что вдруг сказал мне:

— А я раньше думал, что вы про старину пишете, про Нахимова и Корнилова... Это когда мы еще не совсем познакомились.

— Нет,— вздохнул я.— Пытался только про фрегат «Везул», да и то не вышло.

— А про войну вы тоже не пишете? Ну, не про старинную, а про последнюю?

— Нет...— снова сказал я. Долго было бы объяснять, что последнюю войну помнит множество людей, которые могут рассказать о ней лучше меня. Они сами тогда воевали, а я был мальчишкой — меньше Саньки и Юроса. Когда книга пишется о жизни и смерти, рассказывать надо о том, что испытал сам.

«К тому же,— вдруг подумал я,— все, что было, это уже было. А когда я пишу о вас, я пишу о будущем...» Но, конечно, ничего такого я им не сказал. Это прозвучало бы трескуче и явно не к месту. «Будущее» с растрепанными ветром волосами шлепало рядом со мной просохшими кедами и сандалетами и хотело более простого разговора.

Я объяснил слегка насупленно:

— Что поделаешь, кто-то должен писать и про ваш Девятый бастион.

— Конечно,— сказал Юрос, будто все само собой разумелось.

В это время мы вышли к верхней площадке лестницы. Лестница убегает вниз вдоль желтой стены с бойницами, которая осталась от Седьмого бастиона.

Здесь я всегда останавливаюсь хоть на полминуты. Невозможно не остановиться. Видно отсюда полгорода, и красотища такая, что радость подкатывает и в то же время тоска: почему опять надо уезжать?

Облака с солнцем вперемешку неслись над большими домами и грудами деревьев, над мачтами судов и сигнальными вышками. И над куполом собора, где нашли последнюю гавань четыре знаменитых адмирала — те, кто до конца отдал себя флоту и этому городу. И может быть, не случайно собор казался похожим на вставший из-за края моря корабль...

Мальчишки смотрели туда же, куда и я. Сандалик почесал об острое плечо подбородок, быстро глянул на меня и спросил:

— А как вы думаете, если бы Корнилова и Нахимова не убили, наши отдали бы тогда Севастополь?

— Но его и не отдавали,— сказал я. Сказал то, что понял еще в детстве, когда читал книгу «Малахов курган».

Санька удивленно вскинул белые ресницы.

— Ну посуди сам,— начал я.— При последнем штурме наши отбили противника от всех укреплений, кроме Кургана... На Кургане уже ничего нельзя было сделать, брустверы начисто были срыты огнем... А почти вся линия обороны оставалась в наших руках. Просто было решено, что нет смысла удерживать ее, там ежедневно гибло от обстрела больше тысячи человек. Вот Горчаков и приказал отойти через наплавной мост с Южной стороны на Северную.

— Кто приказал? — сунулся Юрос.

— Князь Горчаков. Главнокомандующий. Книжки надо читать, дорогой товарищ. И не только про шпионов и пиратов.

— Я просто не расслышал,— нахально заявил Юрос.

Я сказал:

— Северная сторона — это ведь тоже был город. А на Южной оставались одни развалины. Французы и англичане их и получили... Они считали, что взяли Севастополь! А о каком взятии города можно говорить, когда половина береговых фортов оставалась в наших руках? Враги не могли ввести в бухты ни одного судна. С северного берега на них смотрел сплошной фронт батарей, семьсот орудий...

— Сколько? — переспросил Юрос.

— Больше семи сотен.

— Это хорошо,— сказал Юрос и задумался.

А Сандалик посопел и с сожалением уточнил:

— Но все же Южная часть была в городе главная. Там были самые важные улицы и дома.

— Главиое в любом городе — это люди,— возразил я.— Не дома, ие улицы, а те, кто там живет. Город ие раз бомбили, сжигали, разрушали, а люди оставались, и город — опять вот он... Пока людей не победили, нельзя сказать, что город сдан...

По лестнице взбежала стайка веселых третьеклассников. Один из них — Владик Палочкин, сосед Вихревых,— помахал нам рукой и пульнул в Юроса из пластмассовой трубки сухой ягодой. Юрос обрадованно погиался за иим, но вдруг остаиовился и вернулся задумчивый.

— Надо идти,— сказал Сандалик.— Скоро сбор. Юрик, ты за миой зайдешь? Или я за тобой?

— Я за тобой,— быстро откликиулся Юрос. И глянул на меня: — А вы сейчас куда? К нам?

— Я здесь постою. Посмотрю... Вам-то хорошо, а мне скоро опять уезжать.

— Когда? — одинаково огорчились Юрос и Саидалик.

— Послезавтра.

Юрос подскочил:

— А завтра пойдем с иами на яхте? Мы на «Фиоленте» пойдем, папа обещал!

— Если будет так дуть, ни одиу яхту не выпустят...

Сандалик посмотрел иа иебо.

— Не будет,— решил ои.

И правда, ветер сделался послабее, а чистого иеба стаиовилось все больше.

— Стихает,— сказал Юрос.— А иедавно еще так свистело. На берегу такой грохот...

Санька улыбиулся:

— Мы еле-еле пушку услыхали, когда она в двенадцать часов на равелине бухнула.

Юрос поглядел иа нас по очереди и довольно сказал:

— Понял! Меня Владька своей трубкой иадоумил! Нужен пылесос!

— Зачем? — разом удивились мы с Саидаликом.

— Для пушки. Для нашей, на Девятом бастиоие. Мы к самовариой трубе пылесосиый шлаиг подсоединим, он как дунет! Будто воздушное орудие! То есть пневматическое.

— Бомбы не полетят, песок тяжелый,— деловито возразил Сандалик.

— А не иадо бомбы. Мы победиый салют устроим, когда бой кончится! Всяких разноцветиых звездочек из бумаги нарежем и зарядим... Оии как полетят! По всем дворам!

«По Шестой Бастионной и по всей округе»,— обрадованно подумал я. Но Юросу на всякий случай пообещал:

— Мама вот покажет тебе за пылесос. Такой салют будет...

— А у нас есть специальный, чтобы играть. Аидрюшка оставил старый, когда уезжали...

— Завтра будет иастоящий салют,— вспомиил Саидалик.— Деиь таикистов. Пойдете с иами смотреть?

— Конечио.

Оии разбежались. Юрос — к своему дому на пригорке, Сандалик — вииз, иа улицу Очаковцев.

Я постоял еще с полминуты, потом догнал Саидалика.

— Нам по пути, я в библиотеку.

Саидалик серьезио кивнул и вдруг взял меня за руку. Как Юрос, когда мы гуляли вдвоем. И сказал чуточку смущеиио:

— А вы хорошо придумали, что город — это люди...

— Здрасте! Разве это я придумал? Я эту мысль еще в самые детские годы вычитал. Кстати, тоже в книжке про Севастополь...

— Ну все равио хорошо... Зиачит, каждый человек — это будто частичка города?

— Конечно.

— Все-все?

— Ну разумеется... А что здесь удивительного?

— Просто иитересно...— Сандалик улыбиулся.— Значит, и Тарасик?

— Само собой.

Санька помолчал и вдруг спросил, глядя под ноги:

— И Димка?

— Какой Димка?

— Ну... Турчаков.

— Что поделаешь,— сказал я.

Саиька пиул кожуру каштана и шепотом проговорил:

— Ну и ладио...

— Что «ладно»?

— Да так, иичего... А здорово Юрик про салют придумал! Да? — Он еще не решался иазывать иового друга боевым именем Юрóс.

— Да, Саидалик,— сказал я.— Замечательио.

Пойтн на яхте я не смог: в библиотеке меия уговорили поехать иа встречу с ребятами в ближиий совхоз. Встреча получилась интересиая, ио о том, что не пришлось выйтн в море с Юросом, Алькой и Сандаликом, я все равио жалел. Главное, и погода была очень подходящая: солице и ветер самый тот... Зато мы встретились вечером и пошли смотреть салют. Пошли иа берег между Хрустальиым мысом и яхт-клубом, в молодой, иедавио посажеиный парк.

Громадные букеты салюта вставали иад берегами и опрокндывались в черной воде рейда. Делалось очеиь светло, и тогда было видио, как миого иа берегу людей.

Сандалик взял меня за рукав и шепотом сказал:

— А пойдемте, я позиакомлю...

Я увидел в нескольких шагах высокого флотского лейтенанта с малышом на руках и молодую жеищииу. Мы подошли.

— Вот...— засмущавшнсь, пробормотал Сандалик.— Это Люся, а это Гриша.

— А это Тараснк,— понял я.— Здравствуйте...

Тарасик тихо ликовал на руках у отца. Салют отражался в его глазах восторжеииымн вспышкамн. При каждом залпе Тарасик молча взмахнвал рукамн, словио хотел улететь вслед за ракетамн.

Наконец салют кончнлся, н теплая иочь с неяркими огонькамн мягко иакрыла город.

— Пойдемте к нам пнть чай,— сказала Люся.— То есть к иашим маме и папе...

— Нет, к иам! — заявил Юрос.

Я сказал, что провожу ребят н мы заглянем к тем и другим.

Так мы н сделали. Но сначала мы с Саидалнком долго ждалн Юроса, который дурачился: спрятался под обрывом и мигал иам нз темиой травы фонариком.

Назавтра я уезжал нз Севастополя. Сандалнк н Юрос прнбежали иа вокзал, конечио, за пять мииут до отхода поезда. Растрепанные н веселые. Сказалн, что иа Девятом бастиоие только что закоичились бои н был победиый салют.

— А кто победил? — спросил я.— Вы или те, кто штурмовал?

— По очереди,— сказал Юрос.

— А салют был общий,— сказал Саиька.

На прощание они подарили мне две звездочки от салюта. Одна — из алой глянцевой бумаги — другая из фольги.

...Звездочки лежат сейчас между страницами общей тетради, в которой я пишу эту повесть.

Я хотел написать про год из жизни обыкновенного севастопольского мальчишки. И вот написал. Год прошел, историю тоже можно кончать. Но получилось, что в конце опять прощание, а я не люблю грустных концов.

И к тому же мне хочется рассказать еще про один день из жизни Сандалика. Про то, что случилось уже после моего отъезда.

...А в общем-то ничего и не случилось. Просто в конце октября ветреным и неласковым днем Саньку потянуло в Херсонес.

Он и сам не мог понять, почему потянуло. Такое случалось и раньше, но в хорошие летние дни, в ту пору, когда можно было встретиться с Одиссеем. А сейчас что? Одиссей в далеком плавании, под скалистыми обрывами наверняка грохочет тяжелый шторм. Вон какие низкие и беспросветные облака бегут с моря.

Но все равно хотелось оказаться на берегу. И Санька не стал спорить с собой. После уроков сел у рынка на шестой троллейбус и доехал до кинотеатра «Мир».

Самая короткая дорога вела к Херсонесу мимо школы. Той самой, где Санька в прошлом году хлебнул немало обид. Летом Санька обходил школу стороной, но сейчас была такая хмурая погода, что не хотелось удлинять путь.

Нагибаясь навстречу ветру, Санька пошел вдоль школьной изгороди. У бетонных решеток стелились по ветру кусты.

Из боковой калитки вышла на тропинку высокая девчонка. На ней трепыхался короткий светлый плащ. Санька мельком подумал, что девчонка похожа на мачту, вокруг которой запутался парус. И тут же узнал ее.

Она остановилась и сказала чуть нараспев:

— Ой, Дальченко... Откуда ты?

Саньке не хотелось огрызаться. Все-таки с Эмкой он просидел за одной партой чуть не полгода, и она к нему относилась лучше других. Но и заводить долгий разговор не хотелось.

— Гуляю,— хмуро сказал он.

— В такую-то погоду!.. А я думала, ты нас навестить решил.

— Нет, просто мимо шел,— сдержанно проговорил Санька.

— А как ты сейчас живешь? — вежливо спросила Эмка.— Как дела в той школе?

— Отлично! — искренне сказал Санька.— Не то что...— Он замолчал, но Эмка все поняла.

— Все-таки ты слишком обидчивый,— вздохнула она.— Просто еще совсем ребенок.

— А я и есть ребенок,— ядовито ответил Санька.— А ты, если длинная такая, значит, взрослая?

Эмка не рассердилась. Видимо, она и в самом деле была взрослее Саньки. Она сказала примирительно:

— Наверно, класс тоже в чем-то был не прав. Это и Александра Самойловна говорила. Она тебя хорошо вспоминала...

— Слышал уже,— усмехнулся Санька.— Пускай и дальше вспоминает. Передай привет.

— Да ее уже нет у нас... Ты разве не знал? Она в больнице с лета.

Санька пожал плечами: откуда он мог знать?

— А что с ней?

— Ну, ты разве не помнишь, какая у нее шея была? Это опухоль... Говорят, состояние очень неважное.— Эмка совсем как взрослая тетушка покачала головой.

А Санька ощутил, какой сейчас холодный ветер. Поежился.

«А я думал: это она для крика горло раздувает»,— вспомнилось ему. И еще вспомнилось, как после его драки с Димкой она сказала: «Ну, вам-то чего не живется?»

Наверно, уже знала, что у нее такая болезнь. А надо было все равно вести уроки, проверять тетради и вообще жить... А каждый час думалось, думалось: сколько еще жить-то?..

Нельзя сказать, что Саньку стала мучить совесть. С Александрой Самойловной он почти не спорил, двоек у нее не получал и виноватым себя не чувствовал. Нельзя сказать и то, что ощущал сейчас какое-то горе. Хорошего от Сан-Самы он не видел, была она чужим человеком. Но все теперь иначе вспоминалось. Понятнее и печальнее...

— Она в какой больнице? — спросил Санька.

Эмка виновато заморгала.

— Понимаешь... Я еще точно не знаю.

«Свиньи вы все-таки,— подумал Санька.— Она вас и на экскурсии водила, и футбол организовывала, и билеты в театр, и праздники всякие...»

Ему не хотелось ссориться, как-то не к месту это было сейчас. И он промолчал. Промолчал, однако, выразительно. Эмка вздохнула:

— Да, нехорошо, конечно... Мы узнаем и сходим.

— Ладно, я пошел,— сказал Санька.

— Ну, что же...— сказала Эмка.— А ты сюда зачем приехал? К знакомым?

— По делу.

— Какой ты серьезный...

— А говорила «ребенок»,— сердито отозвался Санька.

— Ну и что? Серьезный ребенок... А у нас в классе в этом году опять два новичка.

— Бедняги,— сказал Санька.

— Ничуть не бедняги. Они прекрасно вписались в коллектив.

— Ну, значит, такие же, как Турчаков...

— Турчаков? — переспросила Эмка тонко и пренебрежительно.— Вот уж!.. Если хочешь знать, у него теперь в классе никакого авторитета.

— Почему это? — удивился Санька. И теплым червяком шевельнулось в нем довольное чувство: так и надо Димочке.

Эмка сказала солидные и, видимо, чужие слова:

— Он оказался дутой величиной.

— Чего-чего?

— Мы это поняли еще весной. Он просто умел пускать пыль в глаза, вот и все... А в этом году Анна Антоновна, наша новая классная руководительница, его окончательно раскусила.

— Да? — усмехнулся Санька, понимая, что уже не радуется.

— Да... К тому же он оказался хвастуном. Отец у него вовсе не капитан. То есть он раньше был капитаном, а потом его понизили до второго помощника.

Тогда Санька сказал вслух:

— Свиньи вы все-таки...

Обошел он Эмку и зашагал вдоль забора. Ветер сердито дергал на нем куртку.

А на берегу ветер совсем взбесился. Дул с такой силой, что тяжелый колокол на каменных столбах качался и под ним гудело медное эхо.

Черно-зеленое, исчерканное зигзагами пены море штурмовало обрывы, и волны гремели у скал, и холодные клочья влаги взлетали даже сюда, на высоту. Ветер отталкивал Саньку от кромки берега, словно ударами тугих кожаных мешков.

Санька прижался к каменной квадратной опоре колокола.

«Видит, на море черная буря,— подумал он.— Стал он кликать золотую рыбку...»

Но кликать было некого. Одиссей был в плавании. Берег пустой. Море пустое.

Нет, Санька не ощущал большой грусти. В эти дни, что бы ни случилось и какое бы ни было настроение, Саньку всегда грела мысль, что есть на свете веселый, неустрашимый Юрос и сегодня они обязательно увидятся снова.

Но сейчас у Саньки было чувство, будто он что-то потерял. Или, точнее, хотел встретить кого-то и не встретил...

Наконец Санька послушался ветра, отошел от обрыва и, цепляясь брюками за колючки, пробрался к своей колонне.

Тронул ее, привычно обрадовался теплу мрамора. Но подумал сейчас не об Одиссее и не мальчике из будущего, а опять о Юросе.

Однако эта мысль была мимолетной.

Санька снова стал смотреть в изрисованное пенными полосами море. Облака над морем и над Санькой двигались беспросветными толпами.

«Ой-ей-ей, оказаться сейчас на яхте среди таких волн»,— зябко подумал Санька. Шторм был совсем не похож на тот, в который Санька попал в августе.

Наверно, в такую погоду и погиб «Везул»...

В таких волнах погиб юнга Андрей Шуширин...

Да, в таком бешеном море можно потерять голову.

«Но если ты не один, если тебя не бросили, можно и выдержать,— успокоил себя Санька и опять вспомнил Юроса.— А у этого Андрюшки просто не было друга...»

Он отбросил эту мысль. Потому что она толкалась туда, куда Санька не хотел ее пускать. И он стал думать о другом. О том, кем бы стал юнга Андрюшка, если бы вырос. Может, офицером? Или матросом? На-

верно, все равно он оказался бы на севастопольских бастионах в пятьдесят четвертом году прошлого века. Уже взрослый, усатый, крепкий. Как тот бронзовый матрос, что стоит с ядром в руках у памятника Корнилову.

«Отстаивайте же Севастополь...»

Ну пускай в названиях кораблей на оборотной стороне памятника не дописаны твердые знаки. Наверно, все-таки не в них главное. Главное — в этих словах, что впереди.

Санька сжал зубы.

Если надо, он будет отстаивать. Пускай он не самый смелый, пускай Эмка говорит, что ребенок. Но если надо, он защитит и бастионы, и город.

«Но ведь город — это люди...»

Санька мотнул головой, чтобы прогнать продолжение мысли, но она уже толкнулась:

«А Димка?»

Море тревожно гремело. И другие моря на Земле тревожно гремели. И на свете было неспокойно. Город знал это и жил в готовности, как живет в готовности военный флот. Но все же сейчас были здесь мирные дни, и никого пока не надо было защищать и отстаивать. Среди тех, кого знал Санька, никого. Почти...

Кроме одного человека. Того, кто оказался будто на скользкой штормовой палубе один-одинешенек.

Если человек сорвется с палубы, его потом недосчитаются на каком-нибудь бастионе.

Может быть, на Девятом?

«Да выдумал ты все»,— с жалобной досадой сказал себе Санька. Но другой Санька, более откровенный (или Одиссей, или тот мальчишка из будущих далеких лет, или просто-напросто храбрый и честный Юрос), хмуро ответил:

«Не ври ты...»

И Санька больше не стал врать себе, будто не помнит, как глядел тогда ему в спину Димка Турчаков. Не стал врать, что не помнит размытого адреса...

Санька еще раз погладил колонну и медленно пошел среди кустов и руин. Сначала медленно, потом торопливей и решительней.

А ветер толкал, толкал его в спину, будто лишь для этого и разгулялся над берегами, похожими на неприступные бастионы.

Севастополь — Свердловск. 1978—1985 гг.

ЛЕТЯЩИЕ СКАЗКИ

ВОЗВРАЩЕНИЕ КЛИПЕРА «КРЕЧЕТ»

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

ДОЖДЬ В ПРИМОРСКОМ ГОРОДЕ

1

Корабельиый гиом Гоша просиулся от шума. От плеска и визга. Словио сиаружи, за бортамн, разгулялось море, хлещет в пробоииу вода и перепугаино визжат в трюме судовые крысы.

Но качки не ощущалось. Никакой.

Гоша открыл глаза и вздохиул.

Над головой был потолок с облупившейся штукатуркой. Пасмурно светилась застеклеииая дверца балкоиа. За стеклом, исхлестанным струями дождя, проносились тени. Гоша знал, что это летят иизкие штормовые облака, похожие иа клочья пакли, которой конопатят щели в корабельной обшивке.

Дверца дрожала от ударов ветра, стекло дзенькало, дождь плескался иа балкоие. Флюгер будто взбесился.

Его ржавый визг был слышен не только в башенке, но, наверно, на всех трех этажах старинного здания библиотеки. А может быть, и в подвальном книгохранилище, где жил библиотечный гном Рептилий.

«Не снесло бы мою квартиру...»— лениво подумал Гоша. Зевнул и потянулся.

...В башенке, на библиотеке, Гоша поселился весной. Неожиданно для самого себя. До этого он много лет обитал в трюме шхуны «Кефаль». Шхуна была одряхлевшая, списанная. Около четверти века она стояла в Мелкой гавани, у дальнего причала, рядом со складом корабельных фонарей и канатов.

Портовое начальство не знало, что с «Кефалью» делать. Деревянную шхуну на металл не разрежешь. Ломать на дрова? Работы много, а кому нужны гнилые обломки?

Но вот появились на шхуне плотники.

Ломать и разбирать «Кефаль» они не стали. Наоборот, начали приводить ее в порядок. Поставили новый двойной штурвал, украсили корму накладным узором, укрепили на верхней палубе точеные перильца.

Снова в плавание? Гоша засомневался. Чтобы выяснить обстановку, он выбрался на берег и навестил сторожа Никодимыча, который всегда все знал.

— Так что меняй квартиру, Гоша,— сказал Никодимыч.— «Кефаль» твою в кино снимать готовят. Отведут ее в Песчаную бухту, и будет она там изображать пиратское судно в абордажном бою. По всем правилам. А в конце картины загорится она и взорвется на воздух... Такая наша жизнь морская-отставная...

Гоша обиженно заковылял в Отдел корабельных гномов, который помещался в подвале Главной Пароходной Конторы. Там Гоше предложили на выбор несколько мест: буксирный катер «Норд-ост», рейдовый танкер «Отважный» и даже большой рудовоз «Калуга», который ходил за границу.

Гоша отказался. Он привык жить на парусниках и не любил запаха нефти и железа. Гоше объяснили, что парусных судов сейчас мало, да и те почти все железные. Из деревянных осталась только баркентина «Омар», но там, конечно, место занято.

Гоша сердито засопел: мало того, что его чуть не поджарили на «Кефали», так еще и волокиту устраивают!

Тогда Гоше вежливо намекнули, что возраст у него

преклоииый. Может, пора оформить пеисию и иачать береговую жизнь?

Ну что же! Раз ои иикому ие иужеи — пожалуйста!

С пеисиоииым удостовереиием Гоша отправился в сухопутиую коитору «Домгном» (в котельиой иа углу Тагаирогской и Якориой). Моложавая гиомиха с подкрашеииыми губами и веками стала иедовольио листать пыльиые коиторские киити, чтобы подыскать иовому пеисиоиеру береговое жилье. Ничего подходящего не было. В старые котельиые Гоша ие хотел, боялся, что в иих пахиет ржавыми трубами и угольиой пылью. В подвал под кирпичиым кииотеатром «Парус» ои тоже ие пошел: туда иаверияка просачивалась вода, а от пресиой влаги у корабельиых гиомов бывает жестокий ревматизм.

Гиомиха сказала:

— Вам ие угодишь! Что же мие, иа крыше вас поселить?

— Почему бы и иет?— раздражеиио отозвался Гоша.

— Вы что, серьезио? Вы же ие чердачиый гиом!

— Это уж мое дело,— хмуро сказал Гоша.

Гиомиха пожала плечами. Оиа ие зиала, что у Гоши возвышеииая душа. А ои еще в давиие времеиа любил простор и звезды. По иочам в открытом океаие Гоша украдкой от вахтеииых забирался иа верхиюю площадку мачты — салииг — и смотрел иа созвездия. Оии медлеино качались иад клотиком. А парусиик мчался среди темиых шипучих волн. Далеко виизу смутио светились пеииые гребешки, а за кормой — как отражеиие Млечиого Пути — вспыхивал фосфором буруиииый след...

Давио это было... Но это было! Сохраиилось в Гошииой душе. И теперь ои решил: уж коли стал береговым жителем, то почему бы ие поселиться поближе к облакам и звездам?

Гоша получил ордер иа иовую жилплощадь, ио в город сразу ие пошел. Ои робел. Гиомы по своей иатуре большие иелюдимы. Гоша зиал, что иа него будут оглядываться, и зараиее ужасио стесиялся. Глухими переулками ои опять побрел к Мелкой гаваии.

— Надо же попрощаться со старыми местами,— пробормотал ои, чтобы оправдаться перед самим собой.

«Кефали» у пирса уже ие было. Гоша присел иа свой матросский суидучок, в котором таскал иехитрые пожитки. В заброшеииой гаваии стояла тишиия, по опустевшему

причалу прыгали деловитые воробьи. На глухой воде плавали апельсиновые корки и обрывки газет. Припекало майское солнышко. Гоша подпер могучими ладонями растрепанную бороду и пробормотал:

На берегу затихшей бухты
Сидишь ты, дом свой потеряв...

Гоша любил сочинять стихи. В хорошие минуты стихи прибавляли ему радости, а в грустные — утешали. Сейчас была, безусловно, грустная минута. Нельзя сказать, что Гоша очень печалился о «Кефали», были в его жизни корабли в тысячу раз лучше. А эта шхуна, гнилая и лишенная парусов, столько времени торчала на одном месте, у расшатанного причала! Но все же здесь Гоша был при деле: следил, чтобы не очень дырявилась обшивка, чтобы не набиралась в трюм вода, с крысами воевал. А теперь он кто? Сухопутный пенсионер...

— Уже не выйдешь ты в моря́...— пробормотал Гоша новую стихотворную строчку. Он и так давным-давно не ходил в моря, но строчка показалась ему удачной. Она годилась для конца четверостишия. Однако необходимо было придумать еще одну — с рифмой для слова «бухты».

На этой рифме Гоша застрял. Он дергал бороду, колотил себя мясистой ладонью по загривку (так, что вязаный колпачок съехал на нос), однако ничего подходящего выколотить не мог.

Наконец он решил передохнуть и огляделся.

И очень смутился.

Потому что в пяти шагах стоял незнакомый человек.

Гоша растерялся и съежился на сундучке. Но спрятаться было негде. Тогда Гоша решил рассердиться на себя: почему он должен прятаться? Это его, можно сказать, родная гавань, он столько лет здесь прожил!

Да и человек был, кажется, безобидный. Ростом чуть побольше Гоши.

Гоша знал, что люди не сразу становятся большими, они растут постепенно. И этот неожиданный гость был явно человечий детеныш. Из тех, кого называют мальчиками. Гоша видел таких и раньше. Иногда они пробирались на «Кефаль», бегали по палубе и даже лазили на мачты. Гоша следил за ними сквозь щели в палубных досках. Опасливо, но с любопытством. И бывал даже раздосадован, когда Никодимыч кричал из дверей склада:

— Опять вы тута! Я вот отрежу от каната линек да энтим линьком вас! А ну брысь, штрафная команда!

Гоша не понимал, зачем их прогонять. Они были немного шумные, но забавные и ловкие. Интересно смотреть. Правда, иногда Гоша боялся: не случилось бы чего с человечьими малышами. Очень уж они беззащитные какие-то — щуплые, с тонкими шеями, совсем непохожие на матросов и боцманов, с которыми Гоша был когда-то знаком...

Неожиданный гость казался похожим на всех других мальчиков. Было у него только одно отличие: на лице перед глазами блестели круглые стекла (причем одно треснувшее). Гоша знал, что это такое: некоторые гномы к старости обзаводились очками. Но на мальчике очки Гоша видел впервые.

Светло-коричневые мальчишкины глаза смотрели через стекла удивленно и вопросительно.

— Дяденька!— сказал мальчик звонким, как у всех невыросших людей, голосом.— Вы не знаете, куда подевалась шхуна «Кефаль»?

Гоша заерзал от смущения. Не привык он разговаривать с людьми. Даже с моряками на кораблях, где он раньше жил, Гоша беседовал редко. А в последние годы он лишь изредка обменивался парой слов с Никодимычем.

Но мальчик ждал ответа, не уходил. Гоша еще поерзал и сипло сказал:

— Это самое... увели ее. Для кино... Чтобы сгорела.

Потом он вздохнул, не столько жалея «Кефаль», сколько радуясь, что кончил длинную речь.

Мальчик тоже вздохнул:

— Жалко... Она так хорошо в воде отражалась, я хотел сфотографировать.

На плече у мальчика висел на тонком ремешке кожаный футляр. Мальчик вдруг шагнул поближе, посмотрел внимательно. Гоша стеснительно засопел круглым и пористым, как апельсин, носом. Потупился.

Мальчик сочувственно спросил:

— А вы с этой шхуны, да?

— Угу,— выдавил Гоша и зашевелил пальцами на громадных босых ступнях.

Мальчик сказал уважительно:

— Значит, вы старый моряк с парусного судна. Правда?

Гномы не любят врать. А молчать было невежливо. И Гоша выдавил еще одну длинную фразу:

— В некотором смысле... Это самое... Я корабельный гном.

— Уй-я!— радостно сказал мальчик. Очки его, перемотанные сииеи нзолентой, перекоснлись. В глазах за стеклами засняли восторг и праздничиое уднвлеине. И ие было ни капелькн иедоверия.

Теперь пора объяснить, кто же такие корабельные гномы.

Про обычиых гномов знают все. О них написаиы сказки и даже есть кино. Эти гиомы обитают в лесах и пещерах, они ведают подземиыми чудесамн. Многие слышали про домашних гиомов. Их иазывают попросту домовыми. Домовые живут в старых избах и здаииях, следят за уютом, дружат с мышами, иногда заводят вместо забывчивых хозяев часы, кормят в аквариумах рыбок и в клетках щеглов н канареек. Порой оии любят попугать жильцов, но делают это шутя, потому что характеры у них добродушные.

Бывают и другие гиомы: мельиичные, вагониые, водопроводные (на старых водокачках) н даже стадиониые — они водятся под трибуиамн.

Но иас нтересуют корабельные гномы.

Их племя появилось, как только люди стали строить корабли. Эти гномы селились в трюмах. Они следили, чтобы в кораблях не было гиилн и течн, чтобы крысы ие портилн грузы, чтобы ие случилось внутрн судна пожара. Очень часто гномы спасали корабли от немннуемой гибели, когда люди н ие догадывалнсь об опасиости.

Но постепенно парусникн и уютные колесные пароходы нсчезлн с морей. На иовых лайнерах, таикерах н сухогрузах гиомы прнживались с трудом. Там, средн всякой технкн, электроиики и сигиальных систем, иечего им было делать. Кое-кто, правда, прнспособился, но большииство осело на берегу. А иекоторые доживали век на последних парусниках и стареиькнх портовых буксирах.

Несколько лет назад в журнале «Морская жизнь» была напечатаиа статья «История корабельиых гиомов — легенды и действительиость». Судя по всему, автор статьи сам был корабельным гномом. Довольно образованным. Но точно это не нзвестио: вместо подписи стояли буквы А. А.

Статья вызвала большой интерес, ее перепечатали в иескольких газетах, в том числе и в «Вечерних Приморскнх новостях». Однако вскоре в газете «Наука и быт»

появилась другая статья. Житель Приморского города профессор Чайнозаварский утверждал, что ни корабельных, ни других гномов на свете быть не может, потому что так не бывает. Это во-первых. Во-вторых, их не может быть потому, что про них никогда не упоминалось в его, профессора Чайнозаварского, книгах. В-третьих, если бы гномы и были, их следовало бы немедленно запретить, потому что они противоречат школьным программам по природоведению и физике.

Гномов, конечно, не запретили. Но пенсию после этой статьи на всякий случай убавили, а контору «Гномдом» перевели из просторного подвала в старую котельную...

Но мальчик наверняка не читал статью профессора Чайнозаварского. Поэтому он поверил Гоше немедленно. И обрадовался:

— Как замечательно...

Сияя глазами, он обошел вокруг Гоши. Потом, кажется, понял, что это невежливо, и торопливо сказал:

— Ой, простите, пожалуйста...

— Ничего, ничего,— пробормотал Гоша.— Вы мне совсем не мешаете.— Он уже не так сильно стеснялся.

— А можно я вас сниму?

— Откуда?— испугался Гоша.

— Да ниоткуда! Просто сфотографирую аппаратом.

— Я... это самое... не знаю.— Гошу никогда раньше не снимали аппаратом.— А что со мной будет?

— Да ничего! Сидите как сидели, я быстро.

Он откинул на коричневом футляре крышку, нацелился на Гошу выпуклым, словно у подзорной трубы, стеклом. Щелкнул кнопкой. Весело объяснил:

— Мне этот аппарат вчера подарили, в день рождения. «Зенит-три М». Мне вчера десять лет как раз было... А вам сколько лет?

— А... это самое... По одним документам триста четырнадцать, а по другим триста шестнадцать...

— Уй-я!— опять обрадовался мальчик.— Тогда я вас еще раз сниму, ладно?

— Если вам нравится...

— Конечно, нравится! Я хочу альбом с морскими снимками сделать... Ой, а пленка-то кончилась! Я сейчас перезаряжу.

Мальчик сел спиной к Гоше, свесил с пирса ноги, по-

ложил на колени аппарат. Что-то начал делать с ним, быстро двигая поцарапанными локтями. Он был в тельняшке с подвернутыми рукавами, такой же, как у Гоши,— полинялой и заштопанной. Только у Гоши она широченная и до пят, а у мальчика — тесная и коротенькая: сзади выбилась из-под ремешка и видно тощенькую спину с острым бугорком позвонка.

Гоша вздохнул: какие они все-таки хрупкие, эти еще не выросшие человеки...

Голова у мальчика была пушистая, как осенняя маковка белоцвета с летучими семенами. И на тоненькой шее тоже был пух — как на птенце чайки.

Мальчик весело оглянулся на Гошу. Гоша смущенно закашлялся. Но... мальчик был славный и теперь уже немножко знакомый, и Гоша так осмелел, что подумал: «А может, попросить его о помощи?» Помощь была нужна. Иначе незаконченные стихи не дадут покоя, Гоша знал это по долгому опыту.

— Это самое... Я хочу спросить...— начал Гоша и опять зашевелил пальцами на ступнях.— Не знаете ли вы случайно рифму к слову «бухты»?

— Ух ты!— весело сказал мальчик.

— Что? Простите...

— Рифма такая. «Бухты — ух ты!»

— А... да...— Гоша взволнованно поднялся и зашлепал вокруг сундучка, вцепившись в клочковатую бороду.— Да... но... Видите ли, стихи у меня сочиняются печальные, а эта рифма... Она, понимаете ли, слишком такая... бодрая. Извините...

Мальчик отложил аппарат, вскинул ноги и повернулся к Гоше, крутнувшись на месте. Помолчал, потерся подбородком о коленку и сказал виновато:

— Не знаю тогда... Какая-то чепуха в голову лезет. «Лопух ты... петух ты...»

— В самом деле... Хотя...— Гоша сунул в рот левый мизинец и начал его сосредоточенно обсасывать. Минуточку... А если...

> На берегу затихшей бухты
> Сидишь ты, дом свой потеряв.
> Не пыжься, как младой петух, ты:
> Тебе не выйти уж в моря...

Гоша сообразил, что прочитал стихи вслух. Это с ним произошло впервые в жизни. Гоша испуганно посмотрел на мальчика.

— Ничего. Складно получилось,— сказал мальчик.— Только вот это слово «младой»... Какое-то старинное.

— Д-да?— отозвался Гоша и замигал длинными, как растопыренные пальцы, ресницами.— Но... мне кажется, это делает стихи более поэтичными... Нет?

— Может быть,— поспешно согласился мальчик. Он, видимо, понял, что Гоша болезненно воспринимает критику. И сменил разговор:— А вы, значит, по правде остались без жилья? Как же теперь быть?

— Да вот... дали какую-то бумажку с адресом...— Гоша, кряхтя, вытащил из сундучка ордер. Мальчик вытянул к ордеру тоненькую шею.

— Ой, да это же на библиотеке, я знаю!.. Хотите, я вас провожу? Только еще один снимок сделаю, ладно?

Сейчас тот майский снимок висел у Гоши над столом. Рядом с потертой штурманской картой Средиземного моря, под старыми корабельными часами (часы не шли, но придавали комнате в башне морской вид). Гоша с удовольствием посмотрел на свой портрет и с неудовольствием в окошко. Потом плюхнулся с койки на пол и стал делать зарядку.

Наклон вперед, приседание, руки над головой. Еще выше! От усердия Гошины ладони поднимались почти к потолку. Такое у гномов свойство: руки у них длинные, свисают почти до пола, а при желании можно их вытянуть еще вдвое.

С ногами у гномов обстоит хуже. Туловище Гоши напоминало метровый обрубок мачты, к нижней части которого были пришлепнуты большущие ступни, вот и все. С людской точки зрения, Гоша выглядел, мягко говоря, странно. Однако среди гномов он считался в молодости симпатичным. Да и сейчас был недурен. Глаза у него остались молодыми. А точнее, даже младенческими — чистыми и добрыми. Правда, кое-кто мог бы их сравнить с глазами теленка, но что из того? Приглядитесь, и вы увидите, какие красивые бывают у телят глаза...

Гоша еще раз посмотрел на свою фотографию, намотал на себя кусок полиэтиленовой пленки и выбрался на балкон. Бр-р-р, эта пресная вода! Дождь хлестал по балкону, по соседним крышам, по всему городу. По каменным плитам тротуаров, по асфальту дороги неслись ручьи.

В них, как лодочки, мчались сорваииые с веток листья. Ветер гнул акации и платаиы и мешал прохожим: одних слишком торопил, другим ие давал идти. Задирал иа иих блестящне разиоцветные плащн, вырывал зоитики...

Из-за угла показался большой красио-желтый зонт. Будто ветер уиес из ближиего сквера клумбу и тащнл ее вдоль улнцы. Кто-то не давал тащить клумбу, упирался. Сверху видиы были только загорелые иоги в снинх носочках и раскисших сандалетах. Дождь косо лупил по ногам, и они блестели, будто покрытые свежим мебельным лаком.

Гоша перегиулся через перила (дождь звоико захлестал по плеике). Зоит был незиакомый, саидалеты — ие разберешь какие. Но было что-то зиакомое в том, как оии упиралнсь, как упрямо цеплялись за щели в каменных плитах.

— Эй, Владик!

2

У четвероклассиика Владика Арешкина было прекрасиое настроение. По шаткой деревяииой лесеике виутри дома (не по парадной, коиечно, а по запасной) Владик весело допрыгал до башеики. Свериутый зонт он отряхнул еще внизу — помиил, что Гоша ие любит пресную воду (даже умывается соленой, специально разбалтывает соль в ведерке).

Когда Владик показался в дверях, Гоша заохал:

— Это что же делается! Кто это отпускает ребенка совсем раздетого по такой погоде! Ты же схватишь ревматизм и пневмонию! Осеиь иа дворе!

Владик снисходнтельио улыбнулся. У южиого моря осени в сеитябре ие бывает. Юго-западные ветры ие прииосят холодов. Оин бывают плотные, сильиые и хлещут, будто мокрыми полотенцами. Но вода, в которую обмакиулн этн полотенца, вовсе нехолодиая. Ветер такой, будто распахиули дверь из ванной комиаты. И струи дождя совсем теплые — иедаром на пустырях выбираются под эти струн серые малеиькие лягушки (оии живут на суше под прохладнымн иоздреватыми камиями)...

Все это Владик и объяснил Гоше.

Но Гоша ворчливо сказал:

— Ты же ие пресиоводиая лягушка. Для мальчика вредио столько иесоленой сырости.

— У меня зонт!

— Зонт! А рубашка вся мокрая. А ноги-то... Ай-яй-яй!

Гоша единым махом усадил Владика на постель. Сдернул с него сандалии и носки, жарко дыхнул ему на ноги — будто открыли газовую духовку. Потом стал отогревать Владькины ступни в ладонях — громадных и мягких.

Владик хихикал от щекотки, но не спорил. Он протирал подолом рубашки очки.

Гоша накинул Владику на ноги край колючего флотского одеяла, включил на тумбочке электроплитку, пристроил над ней в сушилке для посуды его носки и сандалетки.

— Все равно не успеют высохнуть,— сказал Владик.— Мне скоро в школу.

— До школы еще целый час... Ты почему так рано из дому отправился?

— Как почему? Чтобы к тебе забежать. Я же знал, что флюгер тебя рано разбудит.

Гоша вздохнул и поднял глаза к потолку.

— Чертова скрипучка... Сколько раз писал заявления домоуправу, чтобы смазал, а он отвечает: масла нет и лезть на верхотуру некому... Бюрократ сухопутный.

— Гоша... А у меня в газете снимок напечатали,— тихо сказал Владик.

— Что-о?

— Правда!— Владик прыгнул с койки, достал из сумки и развернул перед Гошиным носом «Пионерскую правду».

Снимок назывался «Опять не взяли». На нем были мальчик-дошкольник и лопоухий щенок. Они сидели на бетонном пирсе, прижимаясь друг другу. Видно было их со спины, но всякий мог понять, что и малышу, и щенку очень грустно. А от берега уходила парусная шлюпка с мальчишками.

Гоша смотрел на снимок долго и внимательно.

— Да-а...— наконец сказал он.— Художественная фотография. Такая... чувствительная. Ты молодец. Ты теперь знаменитость на весь Советский Союз...

— Ну что ты, Гоша...— пробормотал Владик, и уши у него потеплели от удовольствия.

— Конечно... А я вот посылаю, посылаю свои стихи в журналы, а никто не печатает. Отвечают, что надо еще учиться и больше читать известных поэтов. А я, между прочим, уже сто семьдесят лет стихи сочиняю...

— Хорошие у тебя стихи,— утешил Владик.— А там, в журналах, сидят, наверно, бюрократы вроде здешнего домоуправа.

— Да нет, я сам виноват,— горестно сказал Гоша и дернул себя за бороду.

— Ты, главное, не унывай, ты работай. Вот напишешь поэму о «Кречете», ее-то уж обязательно напечатают.

— Да, «Кречет»— моя последняя надежда,— оживился Гоша.— Я стараюсь... А если не получится?

— У тебя получится,— бодро перебил Владик.— Вон как у тебя здорово:

...И южные звезды пылали, как свечи,
И дул равномерный пассат.
Летел по волнам замечательный «Кречет»,
Расправивши все паруса!

— Да, это у меня ничего,— скромно согласился Гоша и слегка порозовел. И взволнованно зашлепал из угла в угол. А вчера я еще придумал. Послушай...

На старости лет мне утешиться нечем:
Живу я на твердой земле.
Но только я вспомню свой клипер, свой «Кречет»,
И сразу же жить веселей...

Ну как, а?

— Вроде неплохо,— сказал Владик.— По-моему, удачно получилось. Только...

— Что?— ревниво спросил Гоша.

— Вот это... «Сразу ж-же ж-жить...» Слишком много жужжанья в строчке.

— А! Ну, это я переделаю, это пустяки... Владик... Ты придумал бы мне еще парочку рифм для «Кречета», а? Я уже все израсходовал. Понимаешь, мне надо для последних строчек. Такое что-то неожиданное и... прочувствованное. И чтобы смысл... Ну, ты понимаешь...

Владик вздохнул украдкой и сказал:

— Ладно, постараюсь.— Он опять устроился на Гошиной койке.

Гоша почтительно притих. Ветер и дождь шумели за окном, флюгер все визжал. Минуты шли. Рифма не придумывалась. На старинный корабельный фонарь, висевший рядом с балконной дверцей, села муха. Владик отклеил от колена квадратик размокшего пластыря, скатал в шарик, бросил в муху. Она перелетела на обшарпанный штурвал, который стоял в углу. Потом села на спасательный круг с надписью: «ПБ-29».

Следя за мухой, Владик оглядел всю Гошину комнату. Она ему очень нравилась. Гоша с помощью Никодимыча набрал в старой гавани и притащил сюда много всякого корабельного имущества. Комната была похожа то ли на каюту, то ли на крошечный морской музей.

В эту комнатку Владик прибегал очень часто. С Гошей было интересно. Особенно по вечерам, когда на плитке булькал чайник, за окошком висел уютный месяц, а Гоша рассказывал про плавания и приключения.

Больше всего он рассказывал про трехмачтовый клипер «Кречет», на котором дважды ходил в кругосветное плавание. Это было учебное судно, на нем курсанты проходили долгую практику. Курсанты назывались «гардемарины». А командовал клипером «Флота Капитан Аполлон Филиппович Гущин-Безбородько».

— Мы с ним... это самое... друзья были,— вздыхал Гоша.— Помер он, потом уже, на пенсии, когда «Кречет» на дрова разобрали по старости... Я и до «Кречета», и после него на всяких парусниках жил, но лучше клипера ничего не было...

Кроме разговоров о кораблях Гоша любил шахматы. Любить-то любил, но играл так себе, хуже Владика. Проигрыши Гоша переживал в суровом и мужественном молчании. Владик жалел его, поэтому иногда поддавался. И Гоша очень радовался...

Владик не знал, что Гоша радуется не шахматным победам. Гоша замечал, что Владик ему поддается, и радовался именно этому: так прекрасно, когда у тебя добрый и великодушный друг.

Кроме Владика, друзей у Гоши не было. Правда, иногда заходил на чаек библиотечный гном Рептилий Казимирович, но ни дружбы, ни просто приятельских отношений у них не получилось. Очень уж разные они были гномы. Гоша робел перед образованным Рептилием и ни разу не решился прочитать ему свои стихи.

А Владика Гоша не стеснялся. Тем более что Владик его стихи всегда хвалил, а если и делал замечания, то очень осторожно.

В общем, Владик был замечательный. Гошина отрада. Оттого, что Владик есть, в Гоше сидело счастье — постоянное, как магнитное поле в судовом компасе. Но к этому счастью иногда примешивался страх: не случилось

бы чего-нибудь. Очень уж хрупкий, беззащитный какой-то этот человечий ребенок.

При таких мыслях Гоша нервно открывал табакерку и нюхал ядовитый табак — смесь тертого манильского троса и листьев южноазиатской травы, которая называется «папоротник ада».

...Сейчас Гоша опять поглядывал на Владика с тревогой. Сидит такое существо: голова — одуванчик с очками, шея — как у птенца, а весу в нем — как в летучей рыбке. Много ли такому надо, чтобы заболеть от пресной воды?

Гоша покачал колпачком с кисточкой и взял с полки табакерку. Владик знал, что табакерка выточена из куска бимса — палубной балки от «Кречета». Гоша насыпал на сустав указательного пальца щепотку желтой пыли и втянул ее поочередно обеими ноздрями. Потом начал краснеть и раздуваться.

Владик зажмурился и заткнул уши. От Гошиного чиха всегда выгибались наружу стены башенки, а флюгер начинал вертеться и визжать даже при полном штиле...

— А-а-а... а-апчхи — бум — трах!!

Воздушной волной Владика передвинуло на койке. Сушилка с сандалетами улетела к двери. Сломанные часы задребезжали и целую минуту тикали, как новые.

— Ну вот, теперь все рифмы из головы совсем повылетали,— со скрытым облегчением сказал Владик.— Теперь ничего не получится. Не раньше чем к вечеру что-нибудь придумаю...

— Ну, можно и к вечеру,— согласился Гоша.— Только, Владик... ты это самое... когда придумаешь, другим ее не говори, ладно? А то поэты всякие бывают, услышат и сунут мою рифму в свои стихи. А я опять ни с чем...

— Ни единому человеку не скажу,— пообещал Владик.

Гоша снова посмотрел на него как на летучую рыбку. И улыбнулся:

— Ну, почему ни единому. Надежному-то можно. Если он... это самое... скажем, твой хороший друг.— Гоша был не ревнив. Он понимал, что кроме него у Владика могут быть друзья.

Владик вздохнул:

— А у меня таких хороших, как ты, больше нет.

— Да ну уж,— пробормотал Гоша и начал внутри таять, как медуза на солнышке.— Как это нет? А ребята?

— Ребята...— печально сказал Владик.— С Витькой я за партой за одной целых два года сидел, а недавно он меня предал.

— Как это?— ахнул Гоша.

— Я с физкультуры сбежал, пошел на берег дырчатый камень «куриный бог» поискать да на крабов посмотреть. А этот... бывший друг... потом на классном часе взял да про меня выступил. Я, говорит, не хочу, чтоб Орешкин стал прогульщиком, и обязан принципиально сказать всю правду, потому что это и есть настоящая дружба... Я теперь со Светкой Матюхиной сижу.

— Ай-яй-яй,— сказал Гоша и дернул бороду.— Как это грустно. Я тебя понимаю.

— Хорошо, что понимаешь!— обрадовался Владик.— А то даже мама не понимает. Говорит, что этот Витька принципиальный, а я ужасно несерьезный.

— Но ты же очень серьезный!

— Не знаю... Мама считает, что нет. В кружок рисования ходить не стал, в музыкальной школе год проучился — бросил... Мама говорит: «Я тебе все прощу, но музыкальную школу — никогда».

— Ай-яй-яй... Но ведь простила?

— Не совсем... И аппарат не хотела дарить. Сказала папе: «Он и это дело через неделю забросит».

— Но ведь ты не забросил!

— А мама не верила, пока снимок в газете не увидела... Хорошо, что напечатали. И даже фамилию в подписи не перепутали. А то многие думают, что «Орешкин», с буквой О... Ой, Гоша, я побегу, в школу пора!

— Бр-р... Опять под эту пресную воду.

Владик засмеялся:

— А мне нравится.

3

Конечно, как все люди, Владик любил солнечную погоду. Но такие вот шумные дожди (если они нечасто) он тоже любил.

Прилетающий со штормом дождь промывает город. Улицы делаются гулкими, просторными и блестящими. Пасмурное небо только на первый взгляд серое и скучное, а на самом деле у клочковатых облаков разные краски: то пепельные, то синеватые, то с желтоватым проблеском далекого солнца. То бархатисто-лиловые. И мчатся, мчатся эти облака, смешиваются...

Вода струится по тротуарам и ступеням лестниц. Ступени и тротуары из крупной, смешанной с цементом гальки. Ливень смыл с нее серую пыль и как бы заново отшлифовал камешки. Они снова стали разноцветными — как на морском берегу, который заливает волна. Зеленоватые с прожилками, светло-серые, коричневые с пятнышками. А больше всего розовых. Поэтому у ступеней и тротуаров розоватый цвет.

Деревья сверкают чистым зеленым блеском и отражаются в мокрых тротуарных плитах. Белые дома и синие вывески тоже отражаются. И разноцветные плащи прохожих.

Людей на улицах не много. Всяких курортников и отдыхающих, которые ловят у моря бархатный сезон, дождь загнал под крышу. Идут по улицам лишь те, кто по делу. Торопятся на Морской завод рабочие, шагают в порт моряки в черных накидках. Храбро спешат бабушки в блестящих полиэтиленовых капюшонах — им, бабушкам, хоть какая погода, а надо на рынок и в магазины, чтобы в обед накормить внуков.

Бегут и школьники. Кое-кого дома «запечатали» в плотную осеннюю одежду. На таких бедняг Владик смотрит с усмешкой: замучаются от духоты. Но многие, как и он, налегке, с зонтами или накидками. Вон несколько удалых второклассников растянули над собой квадрат красной пленки и топают по лужам — четко, как на параде. Ветер, конечно, рвет из рук пленку, но они держат крепко.

Один второклассник, Андрюшка Лопушков, был знакомый, из Владькиного двора. Он крикнул:

— Владик, привет! Ух какой у тебя зонтик! Тебя унесет!

— Не!— откликнулся Владик. Но тут же чуть не полетел с ног. Ветер поднажал крепче прежнего и дернул зонт с такой упругой силой, что взметнул его вместе с хозяииом на полметра. И потянул вдоль каменного забора.

— Тпр-ру!— закричал Владик, будто лошади.— Куда понесло!

Чтобы справиться с зонтом, он свернул в узкий переулок. Ветер свистел над крышами и заборами, но сюда, в переулок, не залетал.

Здесь стоял звонкий, переливчатый шум. Это лилась из водосточных труб вода, от нее разлетались из луж веселые брызги. Владик пригляделся, а потом присел у одной из луж на корточки. Так и есть! Там, на сверкаю-

щей гальке, среди летящих капель и струй, приплясывали крошечные стеклянные музыканты.

Они были ростом с Владькин мизинец...

Многие ничего не знают про стеклянных музыкантов. Потому что не приглядываются к дождю и не слушают его. Но прислушайтесь однажды. У дождей есть своя музыка. Присмотритесь. Может быть, вам повезет и вы заметите среди струй маленьких прозрачных человечков с флейтами, скрипками и барабанами. Это они не дают дождю сделаться грустным и монотонным...

— Эй, Тилька!— Владик протянул руку.

Крошечный хрустальный барабанщик с головой-капелькой прыгнул ему на ладонь. На плече у барабанщика блестела серебряная искорка. По ней Владик и узнавал всегда Тильку.

...Они познакомились в июле, когда Владик разбил новые очки.

Чаще всего мальчишки разбивают колени, локти и нос. Но если на носу сидят очки, то при авариях прежде всего страдают они.

Кое-кто считает, что мальчики в очках — это обязательно примерные отличники, утеха родителей и радость учителей. По крайней мере, именно так утверждал в одной педагогической статье профессор Чайнозаварский. Он даже предлагал сделать очки частью школьной формы — тогда, мол, сразу будут решены все проблемы с дисциплиной и успеваемостью. Но жизнь доказывает, что все гораздо сложнее. Мальчики в очках, так же как и другие, любят скакать, возиться на переменах, играть в индейцев и мушкетеров. Они лазят по деревьям и даже иногда дерутся (и бывают случаи, что при этом колотят мальчиков без очков).

Владик не был отчаянным и задиристым. Но он был мальчиком. И, кроме того, он жил в Приморском городе, где на берегах много скал и крутых тропинок. К середине лета у Владика пострадали уже две пары очков. Пришлось заказать третью.

Эти очки разбились при игре в футбол.

Точнее говоря, Владик увидел, что разбилось одно очко, а второе оказалось залепленным грязью. Играли-то сразу после дождика, от которого раскисла площадка. Чтобы промыть стекло, Владик побрел к водосточной трубе, нагнулся над лужицей. И услыхал:

— Что? Динь-дон — и на осколочки?

Владик торопливо прочистил уцелевшее стекло, глянул сквозь него. На половинке кирпича, свесив ножки, сидел прозрачный человечек.

Сперва Владик решил, что это от крепкого удара мячом по голове. Поморгал. Нет, человечек был вот он. Маленький и стеклянный. И голосок у него был стеклянный, как звон крошечных сосулек. Человечек встал, поправил на боку хрустальный барабанчик и деловито прозвенел:

— Беги на Таганрогскую улицу, дом пять. В мастерскую, к стекольному мастеру, скорее! Он тебе очки вмиг починит.

— Ты кто?— изумленно выдохнул Владик.

— Беги, беги! Одна нога — динь, другая — динь!

Владик подумал, что за третьи разбитые очки будет от мамы такое динь-динь, что хоть домой не являйся.

— Только ты меня дождись!— крикнул он малютке барабанщику и припустил на Таганрогскую.

Мастерская оказалась в длинном полуподвале, заставленном бутылями и ящиками со стеклом. Стекольный мастер был похож на старую, растрепанную ворону. С минуту он кричал тонким голосом, какие ужасные пошли дети: только и знают носиться сломя очки. Потом он стремительно вставил в оправу новое стекло.

— А сколько стоит?— осторожно спросил Владик и вспомнил, что у него с собой ни копейки.

— Брысь!— гаркнул мастер.— И скажи этому шалопаю Тильке, что я из-за него не хочу иметь инфаркты. Если он где-нибудь дзинькнется о камни, чинить я его не буду!

Владик помчался назад, к барабанщику Тильке, и они стали приятелями.

В сухие, жаркие дни Тилька пропадал неизвестно где. Но во время теплых дождиков они с Владиком часто встречались. Тилька со своим оркестром играл на уличных перекрестках, среди веселых брызг и сверкающих струй.

— Тиль-диннь-привет!— прозвенел Тилька.— Как дела?

Владик похвалился фотографией в газете.

— З-замечательно,— сказал Тилька со струнным звоном.— А меня ты когда-нибудь дзинькнешь из аппарата?

— Тебя трудно снимать,— объяснил Владик.— Ты совсем прозрачный и незаметный.

— Прозрачный — это конечно,— гордо сказал Тилька.— Но почему же незаметный? Во мне столько всего отражается.

В самом деле! В Тильке, как в чистой капле, отражались деревья, Владик, дом, кусочек неба с облаками. А главное — зонт. От него по Тильке разбегались красные и желтые блики.

— Пожалуй, надо попробовать,— задумчиво сказал Владик.— Когда научусь делать цветные снимки...

Тилька радостно подпрыгнул на ладошке. Желтые и красные огоньки метнулись в нем.

— Вот под этим зонтом и сниму,— решил Владик.

— З-з-замечательный зонт!— прозвенел Тилька.— Как раз-з-ноцветное небо! Где вз-зял?

— Это мамин. Сперва не хотела давать, говорит: «Иди в плаще. Ты этот зонт поломаешь на ветру, а я его очень люблю». А я говорю: «Но меня-то ведь ты больше любишь. А в плаще я задохнусь, как муха в полиэтиленовом кульке, до школы не дойду...»

— Ты в школу идешь?

— А куда же еще!

— Это, наверно, з-здорово — каждый день ходить в школу,— заметил Тилька.

— Ну... когда как.

— Я ни разу не был...

— А хочешь?

— Там, наверно, из-зумительно интересно.

— Ну, пойдем со мной, если тебе хочется.

— Да-а...— опасливо сказал маленький Тиль.— А там все начнут меня разглядывать и трогать. И я — дзинь — на звонкие осколочки...

— Я тебя никому не покажу,— пообещал Владик.— Будешь сидеть в кармашке, потихоньку глядеть на все и слушать... А тебе не попадет, что ты сбежал из оркестра? У меня папа тоже в оркестре, играет на трубе. Там такая дисциплина...

— Мне нисколечко не попадет! — Тилька подпрыгнул на ладошке.— Мы вольные музыканты! Хотим — играем, хотим — гуляем!

— Тогда пошли...

С Тилькой в нагрудном кармане Владик вышел из переулка на широкий тротуар. Дождь ослабел, в пепельных и сизых облаках появились солнечные разрывы. Зато ветер сделался еще сильнее. Он гнул акации, старался сорвать полотняные тенты над фруктовыми ларьками и мотал железную вывеску часового мастера, на которой был изображен золотой петух.

Владик захлебнулся влажным воздухом. И засмеялся. Ветер волок вдоль улицы груды запахов. Если бы запахи можно было раскрасить, это получился бы удивительно разноцветный ветер. Струи воздуха пахли мокрыми желтыми скалами, коричневым кофе из раскрытых дверей магазинчиков и кафе, золотистыми цветами сурепки, серебряной пылью прибоя, оранжевыми апельсинами с лотков, но больше всего темно-зелеными и бурыми водорослями. Теми, что остаются на набережных после набега штормовых валов. Владик зажмурился, будто охапку таких водорослей кинули ему в лицо... И опять чуть не полетел с ног. Это ветер дернул зонт с удивительной силой.

Владик не упал. Но и на месте удержаться не смог. Он вцепился в изогнутую рукоятку, а зонт поволок его вдоль улицы. Владик не успевал переставлять ноги. Он выгнулся назад, уперся в тротуар сандалиями, но кожаные подошвы заскользили по мокрым плитам. Пятки вспарывали мелкие лужи. Прохожие шарахались и смотрелн вслед мальчишке, который мчится под разноцветным парусом, будто на водных лыжах.

Сердитая старушка отпрыгнула в сторону и громко сказала:

— Этому вас учат в школе? А еще пиоиер!

Вовка Соколин и Димка Колобков — Владькины одноклассники — крикнули:

— Ну, Арешкин, ты даешь!— Они побежали следом, но отстали.

Сначала Владик слегка испугался. Но скоро понял, что ничего страшного. Наоборот! Так здорово, когда тебя несет попавший в упряжку ветер!

Потоки воздуха ударялись о тротуар, о мостовую и рикошетом уходили в небо. Они тянули зонт не только вперед, но и вверх. Несколько раз Владнк пробовал подпрыгнуть. И что же? Он проносился по воздуху четыре или пять метров. А то и больше. Так он пролетел над несколькими широкими лужами.

Потом улица кончилась. Впереди был большой пустырь. Тротуар терялся в серой высокой траве. Трава эта высыхает в иачале августа и делается жесткой, как проволока. На ее скручеиных листьях торчат иглы прямых колючек. Такие твердые, что из иих можио делать булавкн...

Владнк ие мог остановиться, ветер ие слабел ни на секуиду. Выпустить зонт? Ои улетит за трндевять земель. А въехать иогами в колючки — уй-я-я!..

И у самой травы Владик подпрыгнул! Гораздо сильнее и выше, чем перед лужами.

Коиечио, ои сделал это просто с перепугу. Потому что какой прок? Несколько метров пролетишь, а потом врежешься в колючую чащу. Владнк отчаянно поджал иогн. Его несло иад жесткой травой, которая скрежетала н скрипела под ветром. Твердые верхушки щелкали Владика по саидалням. Потом... Потом оии перестали щелкать.

Оин остались внизу!

Ветер поднимал зонт и Владика выше н выше!

Владик летел.

Что ои думал и что чувствовал? Сразу трудио разобраться. Под зоитом будто оказалось сразу иесколько Владиков.

Одии мертво вцепнлся в гнутую ручку и стонал от страха: «Ой, а если вывериутся прутья? Ой, а если спикирую?»

Второй весело вопнл и дрыгал иогами от счастья.

Третнй озабоченно думал: «Лншь бы ие слетели очкн».

Четвертый зорко оглядывал горизоит н с тревогой размышлял: «А можио ли управлять полетом? И куда меия принесет?»

В самом деле куда?

Ой, как брякиусь сейчас!

Опять очки чииить...

А лететь-то как здорово! Ура-а-а!!

Ура-то ура, ио пустырь уже кончился. И не где-нибудь, а иа обрывистом берегу. Дальше было море...

Нет, все-таки «спаснте иаши души», а ие «ура!»...

4

К счастью, это было пока не открытое море, а маленькая бухта. Называется она Крепостная. Потому что на правом берегу ее стоит старинный полукруглый форт — береговая крепость. Приземистая, сложенная из прочного желтоватого известняка. С двумя рядами квадратных амбразур и решетчатой башенкой маяка наверху.

Когда-то здесь жили морские артиллеристы, а в амбразуры выглядывали чугунные пушки. Это было во времена клипера «Кречет». А теперь здесь располагался клуб яхтсменов.

Владик разглядел с высоты причалы и яхты. Маленькие яхты стояли на берегу, и ветер сдирал с них брезентовые чехлы. Большие были ошвартованы у белых плавучих бочек. Их мотало на короткой крутой волне.

Владик все это увидел мельком. Его сейчас волновало другое: перелетит он на дальний берег или плюхнется посреди бухты?

Ой, кажется, плюхнется! Его пронесло над фортом, рядом с маячным фонарем, и стало плавно опускать к верхушкам волн.

— Ой, мама...— печально сказал Владик. И опять поджал ноги.

Но маму звать и поджимать пятки было бесполезно.

Владик не отличался особой храбростью, но трусом и нытиком его тоже никто не считал. Он сердито запретил себе ударяться в панику и стал искать спасенья. Глянул вниз.

Там, прямо под Владиком, плясала среди гребней белая яхта с желтой палубой. Владика несло над ней по кругу. Все ниже и ниже.

«Лишь бы не отнесло»,— подумал он. И попробовал управлять зонтом: качнул его, нагнул край — так, чтобы купол заскользил к палубе.

Зонт, кажется, послушался. Или ветер пожалел мальчишку. Так или иначе, Владик через полминуты спланировал на яхту и крепко стукнулся коленками о доски. Рядом с двумя озабоченными мужчинами и девушкой в штормовке. Владик сел.

— Ты откуда?— хмуро и без особого удивления спросил высокий мужчина. У него было худое коричневое лицо и светлая бородка — она опоясывала щеки и подбородок от уха до уха.

— Оттуда,— сказал Владик и мотнул головой вверх.

— Я серьезно...— начал мужчина. Но Владика поволокло с зонтом по скользкой палубе.

— Да помогите же!— крикнул Владик. Он брякнулся так сильно, что было не до смущенья.— Мне же не закрыть его одному!

Мужчины и девушка подскочили. Подняли Владика. Ухватили зонт. Он щелкнул, сморщился, сложился.

— Ух,— тихонько выдохнул Владик.

— Откуда ты свалился?

— Я же говорю: ветром принесло,— объяснил Владик и, постанывая, сел на мокрую крышу низенькой рубки. Яхту швыряло вверх-вниз, и сидеть было неудобно. Владик очень устал. Весь. Больше всего устали руки: попробуйте-ка столько времени держаться за летящий зонтик. Ноги тоже почему-то гудели. Наверно, от бесполезного болтанья в воздухе. И, конечно, от удара о палубу.

Владика не стали подробно расспрашивать. Прилетел и прилетел. Видимо, здесь у моряков была своя забота. Человек с бородкой только сказал:

— Выбрал место — куда прилететь...

А маленький смуглый мужчина вдруг спросил:

— Слушай, дорогой, а снова полететь можешь?

— Я? Не... не знаю,— опасливо сказал Владик.— У меня и так все суставы, кажется, вдребезги. И руки не держат.

— Руки, суставы...— быстро заговорил смуглый.— Это что! Это мелочи! Мы скоро все вдребезги...

— Оставь ребенка, Зуриф,— сказала девушка. У нее были длинные желтые волосы, они мотались по ветру.

Бородатый тоже сказал:

— Оставь.

— Ах, «оставь»! Ну, оставлю... А что делать?

— А что случилось?— морщась, проговорил Владик.

— Что...— сумрачно сказал бородатый мужчина.— Не видел, что ли? Вон...— Задрав бороду, он показал на верхушку мачты.

Верхушка — очень белая на фоне облаков — летала туда-сюда. Словно кто-то писал в небе тонкой пластмассовой авторучкой. Там, у самого клотика, на ветру бился флажок. Желто-красный, как зонт Владика. Только на нем были не зубцы, а косые полосы.

Владик смущенно засопел: он ничего не понял.

— Эх ты,— вздохнул бородатый.— Живешь у моря, а сигналов не знаешь.

— Я же не моряк,— пробормотал Владик. И в этот момент так швырнуло и дунуло, что пена пронеслась над палубой и застряла у всех в волосах, а яхта провалилась между волнами чуть не на самое дно бухты. Владик одной рукой вцепился в зонт, а другой — в узенький латунный поручень на рубке.

Так он и сидел — цепляясь и морщась. А трое стояли перед ним на летающей палубе, расставив ноги и глядя сверху вниз. Ветер бешено трепал штормовки.

Девушка сказала:

— Этот сигнал означает: «Нас дрейфует на якоре». Якорь не держит на песке, и нас тащит на тот берег...

— Минут через пятнадцать брякнет о камни, и будет не яхта, а воспоминание,— объяснил смуглый Зуриф.

Все посмотрели на берег, куда не долетел Владик. Там у желтых угловатых глыб вставали белые взрывы прибоя.

— Мы вчера пришли из похода, а свободных бочек нет. Встали на якорь, тихо было,— объяснила девушка.— А с ночи вон что поднялось...

Якорь не держит! Владик знал, чем это кончается. Гоша рассказывал про такие случаи. Именно так погибла шхуна «Предприятие», на которой он плавал после «Кречета». Разбилась о скалы у норвежского берега.

Владик сел прямее и посмотрел на бородатого. Тот, судя по всему, был капитаном. Владик сказал:

— Я, конечно, не моряк. Но, по-моему, в таких случаях ставят паруса и уходят подальше от берега. Или что? Слишком сильно дует?

Это была его маленькая месть за упрек насчет сигнала.

Капитан не рассердился. Только глянул на Владика повнимательней и ответил с короткой усмешкой:

— Паруса на берег свезли для ремонта. И двигатель разобран...

— Может, зацепились?— с надеждой спросила девушка и глянула на нос яхты. Оттуда уходил в пляшущие волны тонкий белый трос.

— Ползем,— сказал Зуриф.

— А почему никого на берегу нет?— спросил Владик.

— Сегодня в клубе выходной,— сказал Зуриф.— Там один вахтенный. Он дует в кубрике вкусный чай или читает толстый роман «Король и Анжелика». Или

дрыхнет... И не видит сигнала, что героические мореходы медленно, но неотвратимо движутся к трагической гибели...

— Хватит трепаться,— сказал капитан.

— Я ведь к чему это,— негромко разъяснил Зуриф.— Если бы надеть на мальчика спасательный жилет да если бы он опять на своем парашюте...

— Я запрещаю,— сказал капитан.

— Слушаюсь, ваше превосходительство,— уныло сказал Зуриф.

«Правильно запрещает,— подумал Владик.— Если со мной что случится, ему отвечать... А Зуриф — совсем глупый. Жилет! Это же лишняя тяжесть. А если упадешь и вынесет на те камни, жилет не помешает волнам сделать из человека котлету... А если туда вынесет яхту?»

Скоро ее вынесет.

Движение яхты не было заметным, но берег с камнями и большими фонтанами пены стал гораздо ближе. До него оставалось метров семьдесят. Прибой грохотал.

— Скоро тюкнемся фальшкилем о дно,— ровным голосом сказала девушка.— Держитесь, мальчики.

Владик встал, снял с плеча широкий ремень и протянул ей сумку.

— Зачем?— не поняла она.

«Затем, что без сумки легче»,— мысленно ответил Владик. И двинулся по метавшейся палубе на нос. Ветер нес навстречу охапки соленых брызг. Они совсем промочили рубашку.

— Эй, ты что?— сказал капитан.

Владик встал на ныряющем носу. Спиной к ветру. Мокрая рубашка вырвалась из-под ремешка, облепила спину, а впереди затрепетала. Владик вспомнил недавний полет. Теперь он ощущал его даже сильнее, чем тогда в воздухе. Как его крутило и носило по спирали в воздушном вихре! Как мотало под зонтом, будто легкий маятник под взбесившимися часами! Как шквалистые удары дергали зонт, как немели на рукояти пальцы и ныли суставы в плечах...

И сейчас ноют...

Но он все равно может!

Такие отчаянные струнки запели во Владике! Так бывало с ним иногда, в самые решительные минуты.

Например, когда приказал себе прыгнуть в море с трехметровой скалы (все мальчишки смотрели и ждали). Или когда набрался храбрости и сказал маме и папе, что пускай хоть режут, а в музыкальную школу больше не пойдет. Или когда племянник Игнатии Львовны балбес Борька Понтон запрягал в детскую коляску ничейного голодного щенка и пришлось заорать прямо в круглую Борькину рожу: «Ты что делаешь, живодер!» (В тот раз пострадали вторые за лето очки.)

И вот сейчас!.. Если такие струнки звенят, значит, пора решаться!

Владик поймал миг, когда палуба замерла между двумя волнами, и нажал запор зонта. Зонт как бы взорвался желто-красным огнем. Ветер обрадованно рванул вспухший купол. Владик стремительно заскользил на сандалиях вдоль правого борта и на корме резким толчком швырнул себя вверх.

5

Амбразура была заделана досками. В них прорезали и застеклили небольшое окно — как в кубрике. Под сводчатым потолком каземата горела яркая лампа. На каменных стенах висели судовые фонари, мотки тросов, связки блоков, штурманские карты. А еще — большая фотография той самой яхты, которая чуть не разбилась на камнях. На фотографии она была со всеми парусами: гротом, стакселем и похожим на полосатый парашют спинакером. На белом борту чернело крупное название: «Таврида».

Владик сидел на дощатом рундуке. Капитан дядя Миша налил ему из термоса в глиняную кружку горячего какао. Владик, обжигаясь, прихлебывал. Кружка грела руки, будто маленькая печка.

Звонко тикали круглые корабельные часы. Они показывали половину десятого.

— В школу я совершенно опоздал,— слегка виновато сказал Владик.

— Мы тебе справку выпишем: так и так, задержался ввиду геройского поступка...— пообещал Зуриф.

— Не надо такую справку,— вздохнул Владик.— Мама перепугается. А потом еще мне же и влетит.

— Может быть, и правильно влетит,— заметил капитан дядя Миша.— Когда такое геройство видишь, не

знаешь, как и быть. То ли о награде хлопотать, то ли надрать уши. Вот грохнулся бы о камни...

— Победителей не судят,— сказал Зуриф.

— Молчи уж...— хмыкнула девушка, которую звали Лариса. А Владику сказала: — Рубашка вся мокрая. Сейчас я тебе свитер принесу.— И ушла. Зуриф пошел за ней.

Дядя Миша сел напротив Владика. На шлюпочный бочонок — анкерок. Подпер кулаками бородку. Посмотрел в упор. У него были очень голубые глаза на строгом, озабоченном лице. Будто клочки чистого неба среди сумрачных облаков. Он хорошо так смотрел, но Владик все равно засмущался и уткнулся в кружку.

— Насчет того, что уши драть, это я для порядка,— сказал дядя Миша.

— Я понял,— прошептал Владик.

— А не страшно было лететь?

— Когда у камней, здорово страшно,— признался Владик.

...Его пронесло над гребнями, которые захлестывали ноги. Потом стремительно надвинулась грязно-желтая скала, и Владик зажмурился: «Все!»

Но ветер взметнул его вместе с языками прибоя, перебросил через каменный барьер, закрутил над кустами дрока. Владик рывком нагнул зонт и упал с ним на упругую подушку жестких мелких листьев.

Потом он отчаянно боролся с зонтом и наконец закрыл его, повернув макушкой к ветру. Потом бежал вокруг бухты, через колючую траву, которой уже не боялся, мимо старых, вытащенных на берег катеров и шлюпок, мимо каких-то красных бочек и полосатых деревянных домиков...

Даже не бежал, а ломился сквозь встречный ветер.

Потом — гулкие крепостные коридоры, лампочка над дверью, пожилой помятый дядька в старой морской фуражке.

— Вы что, спите?! Там яхту несет на камни! Скорее!

Дядька осоловело мигал и топтался. Затем глянул в окно, охнул.

— Конец надо завести... Ах, черт, ялик зальет сразу... Катер?— Он потянулся к телефону.

Какой катер? Смеется он, что ли? Когда этот катер доберется до бухты? Да и сунется ли он в море при такой волне?

— Фал давайте!..

Один конец тонкого фала — на берегу. Обмотать его вокруг старинной пушки, которая впаяна в бетонный пирс и служит причальной тумбой. Хорошо, что стены форта закрывают пирс от ветра,— можно раскинуть шнур свободными кольцами на причале.

Метров двести... Хватит? Второй конец — вокруг пояса!

И разбег!

Ух как высоко сразу кинуло! Не промазать бы мимо палубы...

Его поймали сразу в три охапки...

Тонким фалом притянули с берега прочный капроновый трос. На якорную лебедку его!

И через полчаса «Таврида» стояла у пирса под защитой крепостной стены.

...Неужели это было? Неужели это сделал он, Владик Арешкин из четвертого «А» восьмой средней школы? Вот будет о чем рассказать Гоше. Раньше Владик только слушал про морские приключения, а сегодня сам испытал такое... И не струсил...

Здесь тихо, только поет за прочной каменной кладкой безопасный шторм да тикают часы...

В дверь заглянул смущенный дядька в мятой морской фуражке. Тот, что был на вахте.

— Михаил Сергеевич... Я... Можно вас на минуточку?

Дядя Миша сердито хмыкнул и кивнул Владику: подожди, мол. Вышел.

«Что же сказать в школе?» — с беспокойством подумал Владик. И вздрогнул от легкой щекотки: у него зашевелился нагрудный кармашек.

— З-значит, это наз-зывается школа?

— Тилька-а...— ахнул Владик. Он же совсем-совсем про него забыл.

— Это из-зумительное из-здевательство!— возмущенно звенел Тилька.

— Тиль, прости!— Владик чуть не заплакал.

— Мне совершенно наплевать на твое «прости»,— беспощадно отчеканил стеклянный барабанщик. Он держался прозрачными лапками за край кармашка и возмущенно вертел капельной головкой.— Это такое без-законие! Сию же минуту отнести меня в первую же лужу! И больше мы нез-знакомы!

— Тилька...

— Никаких Тилек! А если бы я вдребез-зги?!

— Конечно, я ужасная свинья,— искренне сказал Владик.— Но... Тилька! Неужели ты совсем-совсем со мной поссорился?

— Динь-да!— отрезал Тилька.

— Тиль...

— Никаких Тиль... Ну, что?

— Мы же все могли вдребезги, не только ты...— тихо сказал Владик.

— Мог бы меня высадить сперва... Я такой хрупкий.

— Не было же времени... Я забыл.

— З-забыл... Думаешь, если стеклянный, значит, не человек?

— Да что ты! Ты замечательный человек!..

— Динь-да?— осторожно спросил Тилька.

— Честное пионерское!

Тилька пошевелился и, кажется, вздохнул (если только стеклянные человечки могут вздыхать).

— Длинь-ладно... Только ты никому меня не показывай, возьми в ладошку.

Владик спрятал Тильку в полусжатом кулаке. И вовремя. Появилась Лариса. Велела снять промокшую одежду и натянуть свитер.

У серого свитера была очень крупная вязка. Владик стал в нем похож на большую варежку с тощими ножками и разлохмаченной головой. Варежка с очками... И как они уцелели в этой переделке?

Но главное, что уцелел Тилька (он уже успокоился, и кажется, дремлет в кулаке у Владика).

Лариса пообещала высушить одежду утюгом («У нас тут все удобства»). Владик пошел за ней в соседний каземат. Там все оказалось как и в первом, только был еще некрашеный стол — на площадке, где раньше располагалось орудие. А в углу Владик заметил низкую дверцу из толстого железа. Она была приоткрыта и так осела, что, кажется, намертво вросла в цементный пол. Не шевельнуть. За дверцей чернела пустота, и веяло оттуда холодом.

— Там что?— спросил Владик у Ларисы.

— Старинный пороховой погреб. Но сейчас туда не попадешь.

— А кто-нибудь пробовал?

— Кто же станет пробовать? Щелка-то вон какая. Кошка и та не пролезет.

— Интересно у вас тут.

— А раиьше ты здесь ие бывал?

— Не... Мы хотели с ребятами пробраться, да там сторож у проходиой...

— Теперь ты, можио сказать, члеи иашей команды,— проговорил дядя Миша. Ои только что вошел.— Я скажу сторожам, чтобы тебя пускали. Идет?

— Еще бы!— просиял Владик.

...Рубашка была горячая от утюга. Владик улыбался от тепла н от счастья. Дядя Миша сказал ему:

— Прнходи, под парусом пойдем...— И протяиул крепкую ладонь.

Владнк иезаметио пересадил Тильку из правой ладошки в левую и тоже протяиул руку.

Вошел Зуриф. Сказал:

— Дует здорово, ио дождь кончился. Так что зонтик не раскрывай. А то опять улетншь, как одуванчик.

6

Владик ие пошел в школу. На первые два урока ои опоздал, иа остальные какой смысл идти? Все равио попадет — что за два пропущениых урока, что за четыре. Но за четыре попадет лишь в понедельиик (а может быть, и забудут).

А сейчас так хотелось еще полетать!

Владик спрятал сумку в камиях в глухом уголке сквера иа Бастноиной улице. Но сиачала ои отстегнул от сумки длииный и шнрокий ремеиь. На коицах ремия были прочные кольца, они хорошо иадевались на изогнутую ручку зонта. Получилась удобная петля для сидеиья. После этого Владик решнл поехать на троллейбусе на край города, к Скалистому мысу...

Город стоит на полуострове. Юго-западиый шторм мчался с моря, пересекал этот громадный выступ сушн и терялся где-то в мелководиых лиманах на северовостоке. Владик подумал, что еслн постараться, то можно пролететь над всем городом от Скалнстого мыса до нового стадиона...

Только сиачала надо было высаднть Тнльку.

— Как с тобой быть? Отиести в ту лужу, где ты играл сегодия?— спроснл Владик.

Тилька молчал. Голова-капелька поблескнвала над краем кармашка.

— Ну, ты чего...— виновато сказал Владик.— Все еще сердишься? Мы же помирились.

— Никуда меня не относи,— тихонько подал голос Тилька.— Я хочу с тобой.

— Но я же снова буду летать!

— Какой ты без-динь-толковый! Я тоже хочу!

— Ты же боялся. Говорил: длинь — и на осколочки. А если в самом деле?

— Ну... тогда тащи осколочки стекольному мастеру,— храбро сказал Тилька.— Пускай чинит.

— А он говорил, что не будет...

— Мало ли что он говорил!

— Ладно. Тогда держись крепче...

В районе Скалистого мыса берег был пустынен. Говорили, что скоро здесь разобьют парк и поставят памятник Парусной Эскадре — с пушками, якорями и бронзовой моделью трехдечного линейного корабля. Но пока на мысу раскинулись выровненные грейдерами площадки, а между ними торчали редкие шеренги маленьких кипарисов. И никого не было...

Владик потренировался на этих площадках. Он разбегался, взмывал над кипарисами, пролетал сотню шагов и опускался на один из квадратов твердой, кремнистой земли. Разбегаться, сидя в кожаной петле, было не так-то просто. Но самое сложное — это посадка. Надо было приземляться аккуратно, чтобы шишек не набить, очки не раскокать и чтобы Тилька не пострадал. Владик хотел на время тренировки высадить его из кармана, но в ответ услышал:

— Не хочу. Со мной ты будешь осторожнее. Не станешь длинь-лихачить...

Вот и приходилось быть осторожным. Зато Владик научился опускаться на землю, как семя одуванчика на бархат.

Наконец он решился на большой полет. Разбежался изо всех сил, поймал тугим дрожащим зонтом восходящую струю ветра и сильно оттолкнулся. Красно-желтый купол одним махом вознес легонького пилота на высоту трехэтажного дома. А потом еще, еще... Скалистый мыс быстро остался позади, внизу поплыли сады, крыши и дворики окраины. Все крыши были черепичные, и от этого улицы сверху казались оранжевыми.

Владик смеялся и болтал ногами. Сидеть в беседке из широкого ремня было удобно, не то что висеть, цепляясь за тонкую ручку. За надежность зонта Владик не опасался. Это был замечательный, очень прочный зонт. Возможно, даже волшебный.

Вокруг Владика лихо шумел ветер.

Когда-то Владик читал в книге Жюля Верна, что пассажиры воздушного шара не чувствуют ветра: аэростат мчится с той же скоростью, что потоки воздуха,— как легкий мячик в течении ручья. Но зонт с Владиком летел не так. Ветер обгонял Владика, раскачивал, бил по лицу и по ногам лохматыми мягкими лапами, раздувал волосы. Тугой воздух ударял снизу в натянутый купол, зонт мелко дрожал, и это дрожание передавалось через ручку и ремень Владькиным ладоням.

Иногда ветер делал плавный поворот и нес Владика по кругу. Словно хотел, чтобы Владик хорошенько разглядел дворы и улицы, по которым неслись вперемешку пятна от облаков и солнца...

Прохожих было мало, и никто не смотрел вверх. Никто не видел, как мчится в беспокойном ветреном небе четвероклассник Владик Арешкин. А наверно, это было красиво и немножко страшно. Наверно, с земли Владик казался крошечным, как Тилька. Будто он уцепился за пышный красно-желтый георгин, который ветер вырвал с клумбы и несет высоко над крышами, чтобы посадить на другом краю города...

Потянулись большие дома и квадратные дворы, улицы с разноцветными автомобилями. Слева проплыла башня Корабельного клуба с часами. Потом внизу оказались шумящие кроны Исторического парка. Там, под деревьями, прятались памятники и старинные бастионы с чугунными карронадами. Мягким ударом воздуха Владика развернуло, он летел теперь спиной вперед, а за деревьями и крышами опять видел море. Оно было темно-зеленым у берегов и туманно-сизым вдали. И вся его громада, словно белым пухом, была усыпана пенными гребешками. Горизонт сливался с облачным небом.

...Что-то больно чиркнуло Владика по локтю и щелкнуло по зонту. Владик посмотрел вниз. Он летел над Боцманской слободкой. Раньше тут селились отставные матросы и боцманы с парусных кораблей, поэтому и получилось такое название. Домики в слободке, как и в старину, были маленькие, переулки узкие. С горки

иа горку перебегали камениые лесеики — трапы. На крышах сарайчиков лежали лодки. Белые улочки сходились иа крошечных площадях, посреди которых стояли столбы с фоиарями или водоиапориые колоики. Владик пролетал как раз иад такой площадью. Он увидел, что виизу бегут двое мальчишек, и одии из иих иа полиой скорости целился из рогатки.

Щелк — сиова ударил по зонту камешек.

А если пробьет?

Нет, ие пробьет. Через иесколько секуид Владик будет уже далеко. Пускай стреляют в пустое иебо!

Да, ио зачем оии стреляют? Что ои им сделал? Летит человек, иикого ие трогает, а по нему — трах, трах!— как по вражескому самолету. Бывают же такие люди! Если кому-то хорошо, они обязательио стараются иавредить, испортить!.. Летом ребята иа площадке сделали теннисиый стол, а в соседием дворе нашлись два типа — иочью подобрались и разломали. Их спрашивают: «Зачем?» А оии: «А чё... Так просто...»

Вот и сейчас... Так просто? Чем Владик им помешал?

Ладио, ои уже пролетел...

Но ои-то пролетел, а оии там ходят как победители: постреляли, даже попали два раза!

У Владика мурашки пошли по спиие от обиды. Нет, если ои пролетит мимо, зиачит, ои трус.

Владик резко иагиул зоит и спикировал в переулок с иизкими белыми домиками, которые до половины терялись в цветущих мальвах.

«Я драться первый не начну,— успокоил он себя.— Я просто скажу этому стрелку: «Что ты за человек такой? Что я тебе сделал плохого?»

Владнк свериул зоит, поправил очки и шагиул из переулка на заросшую сурепкой площадь. Двое мальчишек мчались к нему. Оии оказались маленькими — класса из второго. Это добавило Владику храбрости. А мальчишкам — иаоборот. Но оии разогнались и остаиовиться сразу ие могли.

Однн — белобрысый, тощенький и ловкий — вильиул в стороиу и сразу умчался в переулок. Второй — тот, что с рогаткой,— оказался ие таким юрким. Ои был в длииных, похожих на мешок с лямками штаиах и путался в иих иа бегу. Ои почти иалетел иа Владика, и тот ухватил его за лямку. Притяиул к себе, потом отодвииул иа расстояиие прямой руки. И, ие отпуская, сказал:

— Пострелял? Или еще будешь?

Мальчишка был курчавый, темио-рыжий и большеухий. Ои смотрел испугаиио и сумрачио.

— Ну чё... пусти,— хиыкиул ои.

— Дай сюда рогатку,— сурово сказал Владик.

— Ну чё...

— Кому говорят!

Рыжий стрелок бросил рогатку Владику иа саидалии. Тот иаступил иа иее. Полюбовался иасуплеииым плеииником и иеторопливо иачал:

— А теперь скажи...

Глаза у мальчишки вдруг измеиились. Оии стали радостиыми. И смотрели мимо Владика. Владик огляиулся.

В двух шагах ухмылялся второй мальчишка — тот самый белобрысый беглец. А рядом с иим стояла девчоика ростом с Владика. Хмурая и решительиая. С короткими темиыми волосами и цыгаиистыми глазами. Ветер трепал иа ией бело-синий клетчатый сарафаичик, подпоясаииый флотским ремием. Ремеиь висел иа девчоике косо, по-ковбойски. На ием болталась обшарпаииая пистолетиая кобура без крышки. Из кобуры торчала рогатка.

Девчоика расставила крепкие коричиевые иоги и сказала Владику:

— А иу, отпусти ребеика.

Владик отпустил. Дело прииимало иехороший оборот.

— Чего привязался к малеиькому?— поинтересовалась девчоика и иаклоиила к плечу голову.

— Я привязался?!— воскликиул Владик и удивился, какой тоикий у иего голос.— Ои же сам первый! Кто его просил стрелять?

— А зачем летел? — дерзко отозвался рыжий стрелок.

— Как это летел?— строго спросила девчоика.

— Очень просто: зоитик раскрыл и летит! Да еще иогами болтает!

— Я тебе мешал, да?— сказал Владик.— Летел, иикого ие задевал.

— Нечего летать иад иашей улицей,— сказала девчоика.— Если каждый будет здесь летать, тогда что?

— Над вашей!— возмутился Владик.— Вы ее купили, да?

— Ои летел и все высматривал,— подал голос белобрысый.— Ника, ои шпиои.

— Дурак ты,— сказал Владик.

Девчонка Ника прищурилась.

— Ты поругайся, поругайся еще при детях... Матвейка, возьми.

Она зачем-то сняла ремень с кобурой и протянула белобрысому. А Владику сказала:

— Зонтик-то отдай вон ему,— и показала на стрелка.

— Зачем это?— опасливо спросил Владик.

— А ты что, зонтиком драться будешь?

— Я с тобой драться вообще не буду,— торопливо сказал Владик.— Не хватало еще... С девчонкой.

Ника опять прищурилась.

— А девчонки кто? Не люди?

— С вами драться — никакой пользы,— хмуро объяснил Владик.— Если такую, как ты, отлупишь немного, все кричат: ах, девочку обижает! А если от девчонки случайно синяк заработаешь, сразу: ха-ха-ха, его девочка отлупила!

— Меня ты не отлупишь,— деловито разъяснила Ника.— А про синяки можешь рассказать, что геройски дрался с кучей хулиганов. Их у тебя много будет, синяков-то... Костя, возьми у мальчика зонтик. Да не сломай, чужая вещь...

Владик ощутил в суставах противную слабость и почти без сопротивления отдал зонт рыжему Косте. Но Нике жидким голосом сказал:

— Ненормальная. Не буду я драться.

— Куда ты денешься? Сними очки.

— Зачем?

— Я же тебе их расколокаю!

Владик слегка разозлился:

— Какая храбрая! Без очков я тебя и не увижу!

— А! Ну ладно. Я тебя по ним стукать не буду.

С этими словами Ника коротко размахнулась и крепко тюкнула Владика острым кулачком в грудь.

В кармане что-то хрустнуло. В кожу на груди впились иголки.

Владик вскрикнул, зажал карман ладонью и, роняя слезы, кинулся в переулок.

Скорее, скорее!

Дурацкие запутанные улицы, не поймешь, куда бежать!

А, вот знакомая лестинца!

Иголкн колют не только грудь, но и бока. Это от быстрого бега, от скорости, при которой трудно дышать...

Еще поворот — и Таганрогская улица. Узкая, старая, с потрескавшнмнся плнтами тротуаров. Саидалин по ним лупят, как пулемет!

Накоиец дверь под вывеской «Стеклодувиая мастерская № 2». Ступеиькн в полуподвал. Растрепанный мастер с клочкамн волос иа внсках н вороиьим носом сердито встает из-за стола со склянками.

Воздуха уже совсем иет, сердце прыгает где-то в горле, и нельзя нн дохиуть, ин крнкиуть. Можно только снпло выдавить:

— Тнлька разбнлся...

7

Стекольный мастер ухватнл Владнка за воротннк и молча повел к столу. Включил иа столе яркую лампу. Взял длнннный пинцет н иачал доставать из Владькнного кармана стеклянные крошкн. Ои складывал нх в белое фаянсовое блюдце. Потом ои расстегиул на Владнке рубашку н тем же пннцетом выиул нз порезов мелкие осколки — те, что прошлн сквозь ткаиь н воткнулнсь в кожу. Порезы мастер смазал ваткой, смочеиной в какой-то бесцветиой жидкостн. Снльио защнпало.

— Уй-я...— тнхоиько сказал Владик.

— Нет, вы его послушайте! — тоикнм голосом закрнчал мастер.— Он говорит «уй-я»! Это я должеи говорнть «уй-я», когда я вижу, какие мелкие осколки приносят мне вместо стекляииого мальчика!

Он взял пиицетом осколок покрупиее, а остальиые стряхиул с блюдца в мусориое ведро.

— Ой, что вы иаделали! — крикиул Владик.

— Может быть, молодой человек объясиит мие, что имеиио я иаделал? — ядовито отозвался мастер.

— Как же вы его почиииите?

— Это надо слышать, что ои говорит! «Почйиите»! Как будто здесь есть что чинить!

Владик всхлипнул.

— Перестань хныкать, или я превращу тебя в бутылку для уксуса,— хмуро сказал мастер. Он сел н

придвинул к себе старенький микроскоп, стоявший среди склянок и стеклянных кубиков. Положил осколок под объектив. По-петушиному наклонил голову и левым глазом глянул в микроскоп. А правым на Владика. И сказал:

— Дай мне с подоконника алмазный резец.

Владик бросился к подоконнику, там лежали инструменты, похожие на стамески и резаки для оконного стекла. Владик схватил один наугад.

— Не этот! — гаркнул мастер.— С белой ручкой!

Потом он опять согнулся над микроскопом и начал что-то осторожно делать с осколочком резцом и пинцетом.

Владик стоял рядом. Он дышал очень осторожно, однако мастер сказал:

— Сделай одолжение, не сопи над ухом.

Владик отскочил на два шага и стал смотреть, вытянув шею. Но, конечно, ничего не видел.

Мастер корпел над крошечным Тилькиным осколком довольно долго. У Владика устала шея, он переступил с ноги на ногу и огляделся.

Из низкой приоткрытой дверцы пахло дымом и горячими кирпичами. Что-то ровно гудело там и слышались голоса. На косяке дрожал отблеск огня. А в комнате, где работал мастер, стояли всюду бутыли, банки и шкафы с выдвижными ящиками. На ящиках белели таблички с номерами и названиями: «Стекло для очков», «Музыкальное стекло», «Ламповое стекло», «Стеклянные пробки»... Под низким потолком висел шар из зеленого стекла размером с большой школьный глобус. В шаре отражалась лампа, Владик, мастер и все, что было вокруг.

Владик опять посмотрел на мастера. Тот сказал, не оглядываясь:

— Подойди.

Владик на цыпочках подошел.

— Посмотри...— Мастер подтолкнул его к микроскопу.

Владик глянул в окуляр.

В середине серебристого круга он увидел стеклянного человечка. Но не гладкого и прозрачного, а такого, будто его вырубили из кусочка мутного льда.

— Похож? — спросил мастер.

— М-м... маленько,— неуверенно сказал Владик.

— Ну и ладно, что маленько,— проворчал мастер.— Программа задана, это главное...

Он дотянулся до ящика с табличкой «Увеличительное стекло», выдвинул. Владик опять вытянул шею. Он ожидал увидеть множество всяких линз, но ящик оказался пуст. Если не считать пузатой, очень прозрачной бутылки — она выкатилась из угла на середину ящика.

Мастер пинцетом опустил в бутылку микроскопического стеклянного человечка. Потом проворчал под нос:

— Хорошо, что хоть прибежал-то вовремя...

Он посмотрел на свои часы, поднес их к уху, потом взял со стола и тряхнул пыльный транзисторный приемник. Приемник женским голосом сказал:

— ...следний шестой сигнал дается в двенадцать часов по московскому времени.

Мастер быстро встал и строго поднял указательный палец. На пальце блестели рыжие волоски.

— Пи-ик,— донеслось из приемника.— Пи-ик, пи-ик...

И когда приемник пикнул шестой раз, мастер с размаха грохнул бутылку о цементный пол. Осколки царапнули Владика по ногам.

— Ай! — сказал Владик. Но не из-за осколков. Он решил, что мастер спятил.

Но тут же Владик услышал звук, будто на дно стеклянного стакана сыплют звонкие дробинки. Это на полу, среди стеклянных крошек, бил в хрустальный барабанчик невредимый Тилька.

Тилька поднял головку-капельку и с горделивой ноткой сказал:

— Здорово я получился? Как новенький!

Мастер ухватил его двумя пальцами и поставил на стол. И жалобно закричал:

— Это что за ребенок! Почему все дети как дети, а этот — сплошное наказание!

— А что я с-с-сделал? — обиженно откликнулся Тилька.

— Посмотрите на него и послушайте! Он спрашивает, что он сделал! Он целыми днями шастает неизвестно где, а потом его приносят в виде стеклянного порошка, и мастер должен заниматься ремонтом этого хулигана! В рабочее время!..

Владик виновато переступил сандалиями среди ос-

колков. Мастер покосился на него и сказал Тильке:

— С твоим приятелем все ясно. Он просто уличный шалопай, хотя и носит очки, как порядочный человек. Но тебя-то я изготовил из лучшего стекла! У тебя должна быть хрустальная душа!

— У меня з-замечательная душа,— осторожно сказал Тилька.— Длинь-дзынь-музыкальная...

— Длинь-дзынь, балда ты,— печально сказал мастер.— Почему я стекольный специалист, а не столяр? Я бы сделал, как папа Карло, деревянного мальчика. Почему я не портной? Я сшил бы мальчика из мягких тряпок. Он был бы шелковый во всех отношениях. А вместо этого — стеклянный бродяга! И как его воспитывать? Он, видите ли, хрупкий, его нельзя даже выдрать!

— Это же удивительно чудесно! — подал голосок Тилька.

— Это очень грустно... Ты где-то пропадаешь, а старый человек не имеет ни минуты покоя... Но я найду управу! Теперь ты будешь у меня жить в коробке с ватой и крепкой стеклянной крышкой.

— Что ты! — испуганно сказал Тилька.— Я же сразу динь — и помру. Мне нужна свобода и дождики.

— Никаких дождиков!

— Я хочу с Владиком!

— Я тебе покажу Владика!

— Тогда я опять разобьюсь!

— И на здоровье...

— Ну-ка, наклонись,— попросил мастера Тилька.

Мастер нехотя нагнул голову к столу. Тилька ухватил его за седые кольца на виске, повис на них и что-то начал тихо говорить мастеру в ухо.

— Подлиза...— проворчал мастер.— Имей в виду, если динькнешься еще раз, чинить не буду ни за что на свете.

— Ура! — крикнул Тилька.— Владик, посади меня в карман!

Владик робко посмотрел на мастера.

— Можно?

— Убирайтесь,— ответил мастер.— Вы не дети, а крокодилы.

Владик осторожно усадил Тильку в кармашек, на котором темнели засохшие пятнышки крови. А мастеру сказал:

— Большое спасибо.

— Убирайтесь,— повторил мастер.— Или я превращу вас в пробки для графинов.

8

Владик и Тилька долго бродили по лестницам и переулкам Боцманской слободки, искали заросшую сурепкой маленькую площадь. Владик не запомнил дорогу, когда мчался отсюда с разбитым Тилькой.

А Тилька тем более ничего не помнил.

И все-таки он все время звенел у Владькиного уха:

— По-моему, это з-здесь... По моему, динь-там...

Он сидел теперь не в кармашке, а на левой дужке Владькиных очков и держался за его волосы...

— По-моему, з-за теми динь-деревьями...

— Вон там,— сказал наконец Владик. Он увидел знакомые домики, белую будку-водокачку посреди площади, а главное — Нику и мальчишек. Они укрылись от ветра за водокачкой, сидели на корточках и разглядывали зонт. Он был открыт, но край купола у него оказался смят и надломлен.

Владик подошел и печально проговорил:

— Так и знал, что сломаете...

Ребята оглянулись на него. Ника встала и виновато засопела.

— Летать пробовали...— пренебрежительно сказал Владик.

Мальчишки присели еще ниже, а Ника вздохнула.

— Не умеете, дак нечего и соваться,— сказал Владик.— А еще говорила: «Не сломаем, вещь чужая...»

— Чужая, когда хозяин есть,— огрызнулась Ника.— А тебя будто сдуло. Улепетнул, одного ударчика испугался.

Владик даже задохнулся от негодования. И пока хлопал губами, пока думал, как ей ответить покрепче, возмущенно зазвенел Тилька:

— Бестолочь ты непроз-зрачная! Он меня спасать побежал! Потому что я раз-збился из-з-за тебя, динь-дура!

У Ники кругло открылся рот. У рыжего стрелка Кости и у белобрысого Матвейки тоже. Ника шепотом сказала:

— Ох... это кто?

— Не твое дело,— буркнул Владик.
— А он... какой? Заводной, да?
— Сама ты з-заводная! Я настоящий!
— Ой...— опять сказала Ника.
— Вот тебе и ой,— хмуро отозвался Владик.— Давайте зонт... авиаторы бестолковые.

Кое-как он расправил сломанные и погнутые прутья. Свернул зонт, обмотал его ремнем от сумки. Ника молча смотрела на него. Потом нерешительно сказала:

— Ты просто волшебник какой-то. Летать умеешь. И такой у тебя этот... Стекляшкин.

Владик сердито хмыкнул. Потому что никакой он был не волшебник. То, что он полетел, получилось само собой. Ветер подходящий и зонт... А «стекляшкин» Тилька если и волшебный, то сам по себе. Не Владик же его сделал...

— Грохнула зонтик да еще ерунду мелет. А «волшебнику» теперь дома будет нахлобучка.

Сказав эти сумрачные слова, Владик зашагал прочь. Не оглянулся. Вернее, оглянулся, но не сразу. Только на краю площади. Мальчишки остались у водокачки, а Ника шла за ним.

— Ты чего...— сказал Владик.
— А тебе здорово попадет? — виновато спросила Ника.

Владик не знал. Это будет зависеть от маминого настроения. Но ответил громко и сурово:

— Еще бы!

Если у этой вредной девчонки с рогаткой проснулась совесть, то пусть помучает ее посильнее.

Ника догнала Владика и тихо объяснила:

— Мы ведь не нарочно...
— Ха! Сперва пуляют по человеку из рогаток, а потом — «не нарочно»!
— Костик же не просто так пулял...
— Ну да! Он готовился к международным соревнованиям. Турнир стрелков по летающим зонтикам!
— Он думал, что ты шпион,— сказала Ника.

Владик обалдело поморгал, потом вздохнул:

— Тогда он такой же глупый, как ты... Где это видано, чтобы шпионы летали на зонтиках?
— Ну... он же думал, что не настоящий шпион, а веревочный.
— Что-о?

— Ты разве никогда не слышал про веревочниц? Это тетки такие, они везде стараются занять ребячьи площадки и натягивают там веревки. Будто бы для белья. А на самом деле чтобы нам негде было играть. У них тайное общество против ребят...

— Такую тетку я тоже знаю,— сказал Владик.— Но я-то здесь при чем?

— Мы думали, что ты летаешь и высматриваешь для них площадки.

— У-динь-дивительно бестолкова...— звякнул Тилька.

А Владик возмутился:

— По-вашему, я похож на шпиона?

— Теперь-то видно, что нисколечко не похож,— примирительно сказала Ника.— Но на высоте трудно разглядеть...

— Зачем ты так длинь-длинно с ней разговариваешь? Прогони ее,— посоветовал Тилька.

— А ты помолчи, сосулька,— насупленно отозвалась Ника.

От оскорбления Тилька чуть не свалился с дужки очков.

— Я?! Сосулька?! А ты... кроко-длинь-дилиха безобразная!..

— Сперва разбила маленького, а потом еще обзывает! — сказал Владик.— Чего ты за нами увязалась? Иди к своим рогаточникам...

— Ну и пожалуйста... А я хотела с тобой пойти, чтобы сказать твоим родителям, что зонтик я сломала, а ты не виноват.

— Очень благородно,— ехидно отозвался Владик.— Только родители приходят вечером. Ты что, ждать их собираешься? Шагай-ка ты домой.

Они в это время уже спустились по ракушечному трапу на широкую улицу Трех Адмиралов. Здесь была троллейбусная линия. Не глядя больше на Нику, Владик подошел к остановке и прыгнул в троллейбус номер два. Надо было забрать в сквере сумку и отправляться домой.

9

Владик совсем забыл, что день субботний и мама не на работе. Она встретила Владика на пороге и неласково сказала:

— Явился наконец... Будешь сразу во всем признаваться или станешь сперва городить небылицы?

— Буду признаваться,— вздохнул Владик.

— Давай-давай...

— Зонтик сломался.

— Миленькое дело! Я же говорила! А ты что? «Ах, он крепкий, ах, я осторожный!..» Ладно, зонтик — это раз! А дальше?

— Что? — робко спросил Владик.

— Ах, «что»? Может быть, ты хочешь рассказать, что сидел сегодня на уроках и даже получил кучу пятерок? Прогульщик несчастный! Из школы прибегают одноклассники: «Почему вашего Владика нет на занятиях?» А я откуда знаю почему? Я схожу с ума, товарищи тоже переживают...

— Товарищи! — сказал Владик.— Наверняка Витька Руконогов, этот ябеда и предатель.

— Не смей так про него говорить! Он замечательный мальчик!

— Ну конечно! Он замечательный, а я...

— Где ты был?!

— Я нечаянно... Меня унесло. Ветер такой могучий, а зонтик такой... как парус, меня как дернет, как понесет, а там колючки, и я вверх, по воздуху...

Мама села на стул, задумчиво взялась за подбородок и стала смотреть на Владика очень внимательно. На лице ее читалось, как буквы на бумаге: «Ну-ну, давай. Послушаем, что еще сочинишь...»

— Вот ты не веришь, а я правда по воздуху. А там яхта, ее на камни несло, надо было протянуть канат, а лететь, кроме меня, некому, а она бы разбилась... Ну, ты не веришь, а я не могу, когда ты не веришь! А если поверишь, то испугаешься и опять меня наругаешь, ты скажи сперва, что ругаться не будешь, и я расскажу, чтобы ты поверила, а то...

Мама встала и деловито потрогала Владькин лоб.

— Конечно. Бегаешь по такой погоде раздетый, а потом грипп или ангина. Голова болит?

Владик ухватился за спасительную ниточку.

— Не болит,— сказал он слабым голосом.— Только гудит немного. И какая-то слабость...

— Я так и знала! Немедленно в постель!

Владик послушно побрел в комнатку, где стояла его кровать. Начал расстегивать рубашку. Тилька, который

опять сидел в кармаие, шевельиулся: «Не забудь про меия».

— Мамочка, принеси, пожалуйста, стакан воды,— попросил Владик.— Что-то иемиожко в горле пересохло.

Мама торопливо принесла воду. Владик отхлебиул и поставил стакан иа столик с учебниками. Глаза у мамы были испугаииые, но она сказала:

— Раздевайся и ложись, ио имей в виду, что разговор наш ие закоичен.

— Ладно,— покорно согласился Владик. Мама вышла, а он высадил Тильку в стакан. Стеклянный барабанщик будто растворился в воде,— если не приглядеться, то и не заметишь.

Владик заполз под одеяло.

Ему было немножко не по себе. Не очень-то честиое дело притворяться больным, чтобы спастись от неприятностей. Будто дезертир какой-то. Мама, конечно, переволиовалась, когда подлый Витька Руконогов прибежал и иаябедиичал про его прогул. А сейчас опять волнуется из-за его фальшивой болезни. Пускай уж лучше отругает сразу...

Но тут Владик почувствовал, будто он и в самом деле больной. Усталый и разбитый. Снова заболели ушиблеииые на палубе иоги, загудели плечи, застонали жилки в руках. Мягко закружилась голова. А в закрытых глазах поплыли клочковатые облака, волны, скалистый берег, желтые цветы сурепки. Владика куда-то плавно понесло. Будто он снова полетел. «Ну и ладио»,— подумал Владик и приготовился сладко задремать. Но в это время затренькал звонок. Это пришла к маме соседка Игнатия Львовна — грузиая медовоголосая дама.

Игиатия Львовиа только что вернулась с заседания Тайиого Клуба Веревочииц (сокращенно ТКВ).

Про этот клуб зиают иемиогие. Для посторонних он иазывается «Кружок макраме». Женщины там плетут из веревок и шпагатов разные узорчатые изделия. Но это для отвода глаз. А на самом деле в этом клубе они учатся плести интриги и разрабатывают плаиы, как опутать бельевыми веревками все детские площадки. Чтобы мальчишки и девчонки не бегали и не прыгали там, не гоняли мячи и не мешали своим шумом почтенным людям.

На волейбольной площадке в своем дворе Игнатия Львовна вывешивала веревки много раз, но эти отвратительные дети поднимали такой крик, что приходилось в буквальном смысле сматываться. Теперь в клубе пытались изобрести невидимую веревку, которая будет цеплять ребят скрытно. Однако дело шло туго, и все члены клуба получили задание продолжить тайные опыты дома.

— Здравствуйте, моя милая,— пропела Игнатия Львовна маме Владика.— Нет ли у вас, голубушка, моточка бельевого шнура? Нам в кружке поручили сплести очень хитрые узоры, а у меня кончилась вся веревка. В понедельник я куплю и верну вам.

Шнур у мамы был, и она с удовольствием дала моток Игнатии Львовне. Мама считала соседку доброй и солидной женщиной, любила с ней беседовать. Сейчас она пожаловалась на Владика. Подумать только, не пошел в школу, где-то гулял полдня под дождем и ветром, потом начал сочинять всякую чушь и теперь лежит с простудой.

Соседка сдержанно охала и кивала.

— А что я могу сделать? — сказала мама.— Тут нужна сильная мужская воля, но отцу всегда некогда, он с утра до вечера на репетициях и смотрах.

Это была правда. Папа служил первым трубачом в оркестре, а оркестр-то не простой. Морской и показательный. И папа — не просто музыкант, а человек военный, с погонами главного корабельного старшины. А у военного оркестра полно работы: то приезжает комиссия адмиралов, то надо готовиться к параду, то ехать на гастроли...

— А когда приходит с работы, вместо того чтобы побеседовать об отметках и дисциплине, начинает с сыном дурачиться и барахтаться на ковре. Будто два четвероклассника!

— Да, это очень печально,— посочувствовала Игнатия Львовна и посоветовала маме почитать в журнале «Семейное здоровье» статью профессора Чайнозаварского.

Статья называлась «Народная медицина и народная педагогика». Профессор писал, что в наше время многие врачи стали вновь прибегать к старинным способам лечения: к разным травам, снадобьям и припаркам, которыми исцеляли больных в народе много сотен лет

назад. Почему бы и в педагогике не вспомнить старые способы? Много веков подряд самым надежным средством воспитания был березовый прут. А сейчас этот метод незаслуженно забыт...

— Правда, у нас на юге березы — редкость,— вздохнула Игнатия Львовна.— Но при желании можно подобрать другую древесину.

С этими словами Игнатия Львовна попрощалась.

— Сама ты древесина. Бестолочь непрозрачная,— отчетливо сказал ей вслед Владик.

Мама влетела в комнату.

— Ты сошел с ума!

— А чего она...

— Я скажу отцу, чтобы поговорил с тобой как следует. Пусть только придет.

— Ну и придет... Я ему все объясню. Он все до конца выслушает, он терпеливый.

— Слишком терпеливый, ни разу не взялся за тебя... Боюсь, что мне самой придется поступить, как советует профессор...

— Я болею,— быстро сказал Владик.

— Ничего, я подожду. Имей в виду, сегодняшние фокусы я тебе не прощу.

— Простишь, простишь,— сказал Владик.

— Это еще почему?

— Ты сама говорила, что все мне простишь, кроме музыкальной школы. А теперь ведь не музыкальная...

— Болтун несчастный,— сказала мама и ушла из комнаты, чтобы нечаянно не засмеяться.

А Владик уснул. Он спал до самого вечера, потом поужинал, потом снова улегся. Он не слышал, как вернулся папа и о чем они с мамой говорили. Ему снилось, что они вдвоем с Никой летят на зонтиках, а внизу бегут рыжий Костя и белобрысый Матвейка. И кричат:

Ветер с зюйд-веста,
Жених и невеста!
Летят без оглядки,
Сшибем из рогатки!

Это был, конечно, глупый сон, следовало бы проснуться, но Владик не сумел.

...А в стакане спал стеклянный барабанщик Тилька. Спал беспокойно, иногда вздрагивал, и вода плескалась. Тильке тоже снились недавние приключения...

10

Утром дождя не было. Владик проснулся и увидел проблески солнца. Ночью во сне он летал среди разноцветных облаков и теперь старался вспомнить про это. В памяти остались только обрывки, но все равно было хорошо.

— Тилька,— шепотом позвал Владик.

Тилька не отозвался. Владик скосил глаза на стакан. В стакане было пусто: ни воды, ни Тильки.

— Ма-ма-а!— перепуганно завопил Владик.

Мама примчалась.

— Что с тобой?

— Где вода из стакана?

— Вода? Я выплеснула. В нее попала муха...

— Что ты наделала!— отчаянно сказал Владик... и увидел, что над краем учебника истории блестит капелька — Тилькина голова. Тилька прижимал к стеклянным губам крошечный палец.

Владик шумно передохнул и откинулся на подушку.

— Что с тобой? Ты еще болеешь, тебе плохо?— перепугалась мама.

Владик захохотал и вскочил.

— Я здоров, как сто слонов!

— Ну разумеется,— сразу успокоилась мама.— По выходным ты всегда здоров, потому что не надо идти в школу... В таком случае отправляйся на рынок за помидорами.

— Сию минуту!

Но «сию минуту» не получилось. Пока Владик умылся, пока позавтракал, пока выслушал мамины наставления, прошел, наверно, час. Когда Владик, махая сумкой, топал к рынку, солнце стояло уже высоко. То есть это принято говорить, что стояло. А Владику казалось, что оно мчится среди быстрых клочкастых облаков, как оранжевый мяч. Оно часто пряталось в эти облака, но так же часто выскакивало из них, и тогда становилось жарко, будто рядом распахнули печную дверцу.

На каменных плитах тротуара стояли лужи. Ветер был сильный, как вчера, он срывал и сыпал в лужи капли с каштанов и акаций. И листья тоже срывал,

и колючие шарики каштаиов. А лужи морщил и делал их похожими иа стиральиые доски. Искры солица вспыхивали на иих, как бенгальские огии...

Тилька сидел на дужке очков и болтал стекляииыми ножками. Владик сказал ему:

— Хорошо, что ты иочью выбрался из стакаиа.

— Я пре-длинь-смотрительный,— прозвеиел Тилька Владику в ухо.— Мие совсем не хотелось отправляться в канализацю.

— А по-моему, ты просто испугался мухи,— поддразиил его Владик.

— Я?! Какая дриибь-бень-деиь!— возмутился Тилька. И вдруг сказал очеиь серьезио: — Я испугался, что в стакаие я заметиый. Не такого цвета, как вода.

Владик удивился:

— А какого же ты цвета?

— Посмотри сам. Клюквеииого...

Владик взял Тильку иа ладонь.

— Ты что выдумал!

Тилька был такой же, как всегда: бесцветиое стекло, искорка иа плече. Но ои сказал:

— Смотри, смотри как следует.

Владик повертел Тильку так и сяк. И при одиом из поворотов заметил, что в стекле и правда мелькиул красиоватый отсвет.

— Ну... самую чуточку. Совсем иезаметио. Тилька, а отчего это с тобой?

Тилька сказал с гордой иоткой:

— Потому что, когда я разбился, иа стекло попала капелька крови. Твоей... Теперь во мие тоже человечья кровь.

— Это же хорошо, Тиль!

— Неплохо,— сиисходительио согласился ои.— Только есть свои иеудобства... Когда будешь высаживать меня, выбери лужу у кирпичной стены. В красиом отражеиии я буду ие так заметен.

В городе, сложеииом из мелового камия и серого ракушечиика, ие так-то легко иайти здаиие или забор из кирпичей. Накоиец Владик оставил Тильку в луже у красиой траисформаториой будки. Оии договорились встретиться через пару диеи, и Владик, махая сумкой, поскакал иа рыиок.

Но путь лежал мимо библиотеки, и, коиечио же, Владик подумал: «А почему бы не загляиуть к Гоше?»

Гоша сидел над тетрадкой и грыз карандаш. Владику он обрадовался.

— Послушай, что я сочинил!

Над морем взволнованным ветреный вечер
Луну запалил, как большую свечу.
Летел в океане прославленный «Кречет»,
И мне показалось: я в небе лечу.

— Молодец!— сказал Владик.— Гоша, а я вчера тоже летал! Правда! С зонтиком...

И он стал рассказывать Гоше про вчерашние приключения.

Гоша охал, удивлялся, махал растопыренными ресницами, дергал себя за бороду, качал головой и, когда слышал про опасности, озабоченно говорил: «Ай-яй-яй». А если человека так замечательно слушают, ему хочется говорить еще и еще. Поэтому рассказ у Владика продолжался почти полчаса. Наконец Владик выдохся и обессиленно бухнулся на Гошину корабельную койку.

— Ай-яй-яй,— последний раз проговорил Гоша.— А если бы ты где-нибудь грохнулся?

— Ну, вот еще!— откликнулся Владик, болтая в воздухе ногами.— Полеты я вполне освоил, зонтик надежный... Жаль только, что теперь надо нести в мастерскую.

Гоша быстро отвел глаза, чтобы Владик не прочитал в них такую мысль: «Ну и слава богу, что в мастерскую. А то еще брякнешься...»

— Сейчас чайку заварю,— бодро сказал Гоша.— Тебе с сахаром?— Сам-то он пил соленый чай.

— Ага... Вообще-то я завтракал...

— А у меня апельсиновое варенье припасено. Специально для тебя.

— Тогда конечно!— обрадовался Владик.

Гоша завозился у плитки, приговаривая:

— Заварим покрепче, попьем побольше... Чаек с утра — дело полезное, мозги прочищает... Я полночи не спал, теперь надо освежиться.

— Почему не спал?— спросил Владик, валяясь на койке.— Разве у гномов бывает бессонница?

— Не бессонница! Все над поэмой сидел. Думал, как ее закончить. Главную рифму искал...— Гоша оглянулся на Владика.

Владик перестал дрыгать ногами и сел. Он вспомнил, что обещал Гоше помочь с этой рифмой.

— Я тоже искал,— сказал Владик и слегка покрас-

нел.— Пока что ничего в голову не идет... Гоша, я буду еще думать...

Он встал и осторожно вышел на балкон. Солнце по-прежнему летело среди косматых облаков. Шумели деревья, и внизу, на тротуарах, вспыхивали лужи. Влажный ветер был теплым и сильным. Он толкал Владика в грудь упругими ладонями. Владик наклонился ему навстречу, перегнулся через перильца.

— Владик, не упади,— сказал из комнаты Гоша.

— Зачем это мне падать?

— Смотри, слетишь с балкона, а зонтика-то сейчас нет...

Владику показалось, что при таком ветре и при таком хорошем настроении можно полететь и без зонта. Раскинуть руки, грудью лечь на тугие потоки воздуха — и они тебя подхватят, и ты заскользишь среди них, как легонькая модель планера.

От карниза крыши на башенке тянулась к балкону обвитая плющом веревка. Владик ухватился за нее, встал на перильца. Они задрожали под ногами, на секунду сделалось жутковато. Но ветер тут же развеял страх. Он был плотным и надежным, этот ветер. Владик наклонился ему навстречу. Ветер держал его. Еще немного — и в самом деле подхватит, понесет, как сдутое с крыши голубиное перо. Летело солнце, летели облака, летел ветер! Почему бы не полететь и Владику? Он улыбнулся и, качаясь на перильцах, отпустил веревку...

— Владик!— ахнул за спиной Гоша. Что-то загремело в комнатке, сильная рука рванула Владика за рубашку.— Назад!..

Но сам Гоша не удержался. Тяжелым своим телом он пробил перильца и ухнул в пустоту.

Как быстро и страшно может измениться жизнь. В один миг! Только что было чудесное утро, блеск веселого солнца, летящая радость. И вдруг... распластанный на тротуаре Гоша.

Когда Владик скатился по лесенке и выскочил на улицу, Гоша уже не лежал. Он сидел у стены под окнами библиотеки, раскинув громадные ступни и упираясь ладонями в мелкие лужицы. Глаза его были закрыты.

— Гошенька!— заплакал Владик.— Что с тобой? Гоша!

Гошины торчащие ресницы поднялись. Он даже слегка улыбнулся. В его синих ребячьих глазах была растерянность и виноватость.

— Ах ты какая неприятность... Как же это получилось...— тихонько простонал он.

Владик сел перед ним на корточки.

— Гоша! Ты зачем так? Гоша, я же не падал... Гоша, ты сильно ушибся?

— Да ничего, ничего... Только что-то внутри... Пойдем-ка, Владик, а то нехорошо. Прохожие увидят, скажут: что такое?

Он вдруг довольно быстро встал. Пошатался и выпрямился. Ухватил Владика за плечо. Владик обрадовался: раз Гоша может идти, значит, не так уж все страшно.

— Гоша, тебе очень больно?

— Ничего, ничего, Владик. Не очень...

Они осторожно прошли под арку в библиотечный двор — там была дверь, ведущая на лесенку, в башню. Но в пяти шагах от двери Гоша вдруг опустился на четвереньки. Дополз до ствола платана, привалился к нему спиной. Владик бухнулся перед ним на коленки — в ломкую сухую траву.

— Гоша! Ты что? Плохо, да? Гоша, скажи... Я сейчас «скорую помощь» вызову!— Он вскочил.

— Постой, Владик, постой... У гномов «скорой помощи» не бывает. Я так посижу...

Владик беспомощно затоптался и снова заплакал.

— Это из-за меня... Гоша, ты когда поправишься, отлупи меня как следует, ладно?

— Вот еще глупости,— проворчал Гоша и опять немножко постонал.— Это я сам виноват, такой дурак неуклюжий. Старый потому что... Вот и значит, что помирать пора.

— Гоша, не выдумывай!— отчаянно сказал Владик.

— Ничего, ничего... Жалко, что про «Кречета» не успел дописать. Ах ты беда какая...

— Гоша...

— Ты, Владик, это самое...— пробормотал Гоша.— Ты на меня сейчас не смотри. Не надо на это смотреть...

Но Владик смотрел. Он даже хотел опять опуститься перед Гошей на колени, взять его за плечи, уговорить, чтобы Гоша поднялся, чтобы стал такой, как раньше.

Только не мог, не смел. Потому что Гоша... потому что с ним делалось что-то пугающее, непонятное. Сквозь грузное, обтянутое тельняшкой тело стали видны камешки, трава и серый ствол платана. Как на экране кино, когда одно изображение проступает через другое. Гоша делался прозрачным, исчезал, и замерший Владик не мог даже вскрикнуть...

Когда примятая Гошей трава стала видна яснее, чем он сам, Гошино очертание колыхнулось, будто под слоем взволнованной воды. Резкий, с холодными брызгами воздух ударил Владика по ногам и рванулся вверх сквозь ветки платана. Оттуда упал Владику на сандалии желтый зубчатый лист. На нем блестели большие капли.

А Гоши уже не было. Совсем...

Владик долго смотрел на упавший лист не сгибаясь. Потом поднял его, машинально покачал на ладони. Зачем-то тронул языком самую крупную каплю.

Капля была очень соленая...

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

СИНЕКАМЕННАЯ БУХТА

1

Владик долго стоял у платаиа. Было пусто и тихо. Ветер не залетал во двор, только по траве неслись тени облаков. Капли иа листе высохли. Владик уронил его.

«Вот как умирают гномы,— думал Владик.— Раз — и растаял... Наверно, поэтому ученые ничего ие знают про гномов. Живые оии скрываются, а мертвые исчезают. Как их изучишь?»

Он думал об этом как бы со стороны. Будто ие он, не Владик, а кто-то другой. А в нем, во Владике, застывшим ледяным комом сидело горе. Такое, что ни заплакать, ни закричать.

Потому что зачем кричать? Гоши все равно нет и не будет...

...А почему нет?

...А почему не будет?

Ведь он исчез так невероятио, так необъяснимо. Вдруг он просто сделался иевидимкой? Или растаял, а потом появится вновь! Может быть, он уже в башне, возится с чайником и поглядывает на дверь: скоро ли прибежит Владик?

Нет, наверно, он лежит на койке. Все-таки он здорово расшибся. И чайником займется Владик. А потом сделает Гоше компресс, побежит в аптеку, в поликлинику, узнает, нет ли специального врача для гиомов.

А когда Гоша поправится, пусть он в самом деле налупит его, Владьку, или оттаскает за уши как следует! За этот дурацкий фокус иа балкоие... Нет, Гоша не будет. Но тогда Владик стаиет приходить к нему и стоять носом в углу, как глупый, иапроказивший дошкольник. Каждый день по два часа целый месяц подряд. Или больше. Пока Гоша не простит его до конца...

Лишь бы Гоша поправился!

Владик помчался наверх, в башенку. Дверь толкнул...

— Гоша!

Нет Гоши. Распахнута балконная дверца, выбито стекло, сломаиы перила. Ветер гуляет в Гошииой каю-

те, листает раскрытую тетрадь. На включенной плитке сипит выкипевший чайник...

Владик рванул электрошнур и сел на койку.

Ждать Гошу.

Потому что Гоша все равно придет. Потому что, если он не придет, как тогда жить? Не бывает так...

Владик очень долго сидел. Хотя кто знает? Время застыло, как на сломанных корабельных часах,— они висели над столом и всегда показывали без пяти минут шесть. Владик ждал. И знал, что будет сидеть так и ждать хоть тысячу лет. Ему просто ничего другого не оставалось.

...И вот заскрипела лестница под тяжелыми, под такими знакомыми шагами, когда со ступеньки на ступеньку топают коротенькие толстые ноги. Вот приоткрылась дверь...

Владик не вскочил, не дрогнул. Он только медленно повернул голову. «Ну, входи же, скорее...»

В приоткрывшейся двери показалась борода.

— Гоша!

Это был не Гоша. Это был совсем другой гном. В клетчатом пиджаке до пят, в черной шапочке вроде тех, что носят академики. И борода его в отличие от Гошиной была аккуратно расчесана. А нос прямой, тонкий, и на носу маленькое блестящее пенсне.

— Я прошу прощения,— сказал гном.— Я хотел узнать, дома ли Георгий Лангустович?

— Кто? — прошептал Владик. Теперь он стоял и растерянно смотрел на гостя.

— Хозяин этой квартиры. Я, собственно, по делу. Думал занять щепотку чая для заварки... А вы, как я понимаю, его приятель? Позвольте представиться: доктор книговедческих наук, здешний гном из книгохранилища, да-с. Рептилий Казимирович.

Владик молчал.

Гном деликатно переступил громадными вязаными шлепанцами и поинтересовался:

— Георгий Лангустович скоро придут-с?

— Он не придет...— сказал Владик.

Он вдруг с жуткой ясностью понял, что Гоша и правда не придет. Совсем. И он бросился на койку лицом в колючее одеяло. Очки слетели.

Вместе с отчаянным плачем рванулись из Владика слова, крик о том, что Гоши больше нет. Потому что Гоша сорвался с балкона. Из-за него, из-за Владьки! Упал! Разбился и растаял! И теперь как же быть?!

Когда Владик немного затих, он заметил, что Рептилий Казимирович сидит рядышком на койке. Он положил Владику на спину ладонь. Такую же широкую и мягкую, как у Гоши. И сказал голосом, похожим на Гошин:

— Ай-яй-яй...

Потом он еще сказал:

— Выходит, Георгий Лангустович в какой-то степени... как говорится, помер.

— Из-за меня! — опять вздрогнул от рыдания Владик.

— Ну, что вы, что вы... Здесь просто стечение обстоятельств. Гномам не следует жить так высоко. Особенно если они не чердачные гномы... Я ему говорил...

— Что же теперь делать? — всхлипнул Владик.

Рептилий Казимирович вздохнул и развел руками.

— Делать нечего, раз уж так вышло. Мы, гномы, конечно, долгожители, но и нам приходится когда-нибудь покидать грешную землю... Хотя...

— Что?! — Владик стремительно сел.

— Хотя...— Рептилий Казимирович согнутым пальцем поскреб темя под шапочкой.— Если разбираться строго, по науке, мы, гномы, не умираем, как люди. Гном — это ведь что? Это часть окружающей вас, людей, природы. Поэтому, когда жизнь у гнома кончается, он просто растворяется в природе. Словно капелька воды превращается в туман. По крайней мере, так утверждает специалист по гномоведению профессор Корневищев-Перебродский. У него есть на эту тему капитальный труд... Да-с. И при определенных условиях...

— Что? — опять спросил Владик. Теперь очень тихо, с замиранием.

— При определенных условиях гном, который растаял, может появиться опять. Как снежинка, которая кристаллизуется из тумана. Это, разумеется, грубое сравнение, но...

— А что за условия?! — быстро прошептал Владик.— Вы знаете, да? Пожалуйста...

— Видите ли... Были случаи, когда библиотечные гномы возникали повторно, если на одной полке выстраи-

вались их любимые книги. А что касается гномов корабельных, то я, право же... Логично было бы спросить у них самих. Во избежание неточностей.

— Но я же никого из корабельных гномов не знаю! — отчаянно сказал Владик.— Где же их искать!

— Право, не могу придумать, как вам помочь... Хотя... Георгий Лангустович как-то упоминал в беседе про Синекаменную бухту. Да, совершенно верно! В этой бухте стоит старый пароход, который служит корабельным гномам гостиницей. Тем, кто уже на пенсии... Георгия Лангустовича тоже хотели там поселить, но он, как вы знаете, пароходы не жаловал...

— А эта бухта где? — У Владика все жилки стонали от горестного нетерпения. И от надежды. Скорее бежать, скорее что-то делать, чтобы спасти Гошу!

Доктор книговедческих наук опять развел большущими ладонями:

— Здесь я, к моему глубочайшему сожалению, бессилен вам помочь. Надо спрашивать моряков, а я, сами видите, житель сухопутный. Да-с... Так я с вашего позволения возьму щепоточку чая? Георгию Лангустовичу он теперь... гм... все равно ни к чему...

Полдня Владик искал Синекаменную бухту...

Полуостров, на котором лежит город, сильно вытянут к западу. Его северный берег, если посмотреть на карту, напоминает пилу с неровными зубьями. Это врезаются в каменную сушу большие и маленькие бухты: Песчаная, Крабья, Пушечная, Фрегатная, Крепостная, Рыбачья... Все и не вспомнить сразу, особенно те, что поменьше. Про Синекаменную бухту Владик раньше не слыхал...

Вдоль берега, огибая оконечности бухт, идет шоссейная дорога. От города до Острого мыса, на котором стоит высокий маяк. По дороге ходят автобусы и троллейбусы. Владик выскакивал из них на каждой остановке, продирался через заросли дрока, лазил по обрывам и остаткам старинных бастионов. Он проникал через колючую проволоку и заборы на территории канатных мастерских, катерных стоянок и рыбозавода, бродил в узких белых переулках Якорной слободы, где звонко кричали петухи, а над черепичными крышами захлебывались от ветра пестрые деревянные вертушки...

Он спрашивал мальчишек и взрослых: где Синекаменная бухта?

Никто не знал. И про старый пароход никто не слыхал.

«Может, совсем незаметная, маленькая бухточка? — думал Владик.— Поэтому и название никто не помнит... Может, и пароход совсем небольшой, похожий на старую баржу, которых немало на здешних берегах?» И опять он ехал, бежал, продирался, карабкался. Останавливал ребят, рыбаков, матросов, спрашивал...

Не отыскал он Синекаменную бухту. И на троллейбусе номер пять вернулся в город.

Когда Владик сошел на своей остановке (а вернее, измученно вывалился из троллейбусной двери), он сразу увидел маму. И мама сразу увидела Владика. Она схватила его за плечи.

— Где ты был? Ты сведешь меня в гроб! Я обегала весь город...

Но тут она разглядела, какой он исцарапанный, растерзанный и какие у него несчастные, мокрые от слез глаза. И молча быстрым шагом повела его домой. Там она умыла его, уложила в постель, накрыла ему лоб мокрым полотенцем.

— Я же говорила, что ты еще болен! Теперь будешь лежать в кровати несколько дней! Господи, и врача-то в поликлинике в воскресенье не вызвать...

Владик не спорил. Постель была прохладная, полотенце тоже. Колючий жар в голове угас, боль в разбитых ногах приутихла. Усталость уже не ломала кости, а растекалась по телу мягко и спокойно. Владик закрыл глаза. С минуту еще мелькали перед ним ноздреватые камни обрывов, колючки татарника и заросли дрока, белые заборы, чьи-то лица, синие вспышки волн. Потом потемнело все и навалился сон — совершенно глухой и черный.

2

Проснулся Владик, когда за окном было совсем темно. Он услышал, как мама в коридоре говорит Игнатии Львовне:

— Ума не приложу, что делать. Он какой-то шальной стал — то ли от простуды, то ли от чего-то еще. Убегает куда-то, глаза сумасшедшие... Хотела с отцом

посоветоваться, а он прислал с матросом записку, что будет ночевать в части: допоздна репетиция, а завтра с утра смотр...

Владик приподнялся в постели. Он четко помнил все, что случилось. Но теперь казалось, что было это давно: и Гошина гибель, и поиски Синекаменной бухты. Может быть, поэтому Владик теперь не чувствовал ни отчаяния, ни беспомощности. Правда, слегка болели ноги, но усталости не было. И Владик четко знал, что делать: ни минуты не ждать, а продолжать поиски парохода, в котором живут гномы.

Как? Очень просто. Разыскать дядю Мишу, капитана «Тавриды». У них в клубе наверняка есть самые подробные морские карты. Уж на таких-то картах обозначена каждая бухточка!

Любой здравомыслящий человек сказал бы Владику, что надо отложить дело до утра. Но Владик не мог ждать. Все равно спать ночью он не будет, а будет мучиться мыслями о Гоше.

Владик понимал, что без хитрости из дому не выбраться. Ладно! Хитрости так хитрости! Чтобы вернуть Гошу, он будет, если надо, притворяться здоровым, когда болеет, и больным, когда здоров. Будет, если придется, прогуливать школу, выпрыгивать из окон, рассказывать небылицы. Пусть! Потом он за все ответит, пожалуйста! А сейчас надо думать не о себе, а о Гоше. Только о Гоше.

Владик вышел в коридор и рассеянно пошел на кухню мимо мамы и соседки.

— Ты куда?— нервно спросила мама.

— Водички попить...

— А как ты себя чувствуешь?

— Ничего... Только слабость какая-то и спать очень хочется.

— Немедленно ложись и спи!

— Угу...

Владик глотнул воды и побрел к себе с видом человека, который думает только о постели.

Потом он, опасливо оглядываясь на дверь, оделся. Запихал под одеяло кучу книг, школьную сумку и волейбольный мяч. На подушку уложил игрушечного пса Бимса. У Бимса была светлая длинная шерсть. Очень похожая на Владькины волосы. Теперь, если глянуть от двери, сразу было видно: спит человек, уткнувшись

носом в подушку, а из-под одеяла торчит его затылок с разлохмаченными прядками.

Владик бесшумно отворил окно. Он жил на втором этаже, но путь из окна во двор был простым: сперва на карниз, потом на толстую ветку кизилового дерева и по стволу вниз.

Обратно — тоже раз чихнуть. Только бы мама не узнала...

Ровно шумели под теплым ветром акации и каштаны, иногда летели с них листья. На протянутых поперек улиц проволоках качались разноцветные фонарики. На площадке Приморского бульвара играл оркестр. По крутым ракушечным лестницам к бульвару спускались отпущенные в увольнение матросы. Воротники у них за плечами хлопали, как сигнальные флаги.

Сквозь музыку оркестра доносилось тяжелое уханье волн — они били о скалы под парапетом набережной.

В темной, неразличимой дали моря переливались красные и белые огоньки. Над крепостью, где был яхт-клуб, загорался и угасал зеленый маячок.

К яхт-клубу вел с горки переулок, спрятанный между высоких каменных заборов. Ветер сюда не залетал, было тихо, только заливисто стрекотали цикады. Владик прыгал по неровным ступенькам и думал, что, наверно, все зря. Едва ли дядя Миша и его друзья сидят в яхт-клубе допоздна. Но попытаться все равно необходимо. Ждать до завтра нет сил.

Переулок привел к стене с бойницами. В ней были полукруглые ворота. У ворот светилась окошечком и открытой дверью фанерная будка. На пороге сидел вахтенный. Владик узнал вчерашнего усатого дядьку, которому попало от дяди Миши за ротозейство.

— Здрасте,— нерешительно сказал Владик.

Дядька встал. Он, кажется, обрадовался.

— Здравствуй, летун! Владик Арешки, да? Проходи. Велено пускать в любое время дня и ночи.

— А дядя Миша... он еще здесь?

— А куда он денется? Он со своим экипажем в клубе днюет и ночует!

В каземате с корабельным имуществом были все трое. Дядя Миша у столика под ярким фонарем листал большую книгу (наверно, вахтенный журнал). Зу-

риф сндел иа ящике и заплетал конец толстого троса. Лариса чистила подвешеиный к ржавому крюку небольшой корабельиый колокол. И напевала:

Ночь туманная,
Окаянная,
И тоска берет моряка...

Но видно было, что иикакая тоска ее не берет, а иаоборот, настроеиие прекрасиое.

— А, птичка вечерияя! — сказала оиа.

Зуриф сказал:

— Привет, дорогой! Привет, спаснтель!

Дядя Миша подиял голову от журиала.

— Владик? Здравствуй... Ты с зоитнком или без? Как жнзиь?

— Здравствуйте. Зонтик в мастерской, поэтому я без...— ответил Владик.— А так... жизиь ничего.

Это былн хорошие люди, добрые люди, ио рассказывать нм печальиую историю Владик не хотел. Во-первых, он боялся опять расплакаться. Во-вторых... по правде говоря, было стыдио. Ведь Гоша погиб из-за иего. Из-за его легкомыслия и глупости. Призиаваться в этом было мучительио... Да и разговор мог затянуться, а Владик хотел только одиого: скорее узнать про таннствеиную бухту.

— Я по делу,— сказал он.— Мы с ребятамн поспорили: есть иа нашем берегу бухта Синекаменная или иет? Однн... мальчишка говорит, что есть, а больше инкто ие слыхал. А вы про иее случайио ие зиаете?

Дядя Миша улыбиулся:

— Случайио зиаем. Слышали... Лариса, приготовь гостю чайку, да и иам заодио... Слышать-то слышалн, да только ведь это легенда... Ты садись.

Владнк послушио сел иа стопку спасательных кругов, провалился в иее, как в большой бублик, выбрался, сел на край н встревожеиио спросил:

— Какая легеида? Почему?

— Да вот так... Оиа пошла еще со времен зиаменитых Парусных Адмнралов. Говорят, эту бухту иельзя увидеть ин с суши, ии с моря. А попасть к ней можио только по стариииым подземным ходам...

— Но все-таки можно? — с надеждой перебил Владик.

— Это же сказка... Говорят, что давным-давно, когда город осаждали аигличаие и фраицузы, нашн солдаты пробиралнсь по этим ходам в тыл противику.

А в бухте прятался парусный тендер лейтенанта Новосильцева. Он по ночам подкрадывался к вражеским транспортам и стрелял по ним в упор. Его звали «Невидимый тендер»...

— Про Новосильцева я не слыхал, а насчет ходов точно,— заговорил Зуриф, любуясь заплетенным тросом.— Мы, когда пацанами были, эти ходы много раз искали, только они все засыпанные или ведут не туда, не к бухте... А между прочим, имеются сведения, что из нашего порохового погреба тоже ход есть. Как раз до Синекаменной...

Владик вздрогнул и опять провалился в круги. И замер так, с коленками выше головы. И услышал голос Ларисы:

— Ты, Зуриф, не дури мальчику голову.

— Ай, разве я что говорю? В погреб все равно не попасть.

— Да не погреб там, а просто кладовка,— сказал Владик из кругов. С хитрой мыслью сказал, нарочно. Потому что был он сейчас как разведчик.

— Ну почему же? Самый настоящий пороховой погреб там был,— подал голос дядя Миша.— В старину, конечно. Там и дверь старинная, кованая.

— Разве? — будто бы удивился Владик.— Я и не заметил... А можно посмотреть?

Дядя Миша покряхтел и поднялся из-за стола.

— Ну, уж если так хочется... Зуриф, дай фонарик.— Он вынул Владика из кругов, и они пошли в соседний каземат.

Дядя Миша включил свет. Владик опять увидел железную дверцу, вросшую нижним краем в бетон. На двери были кованые петли, могучие заклепки и тяжелое кольцо.

— Видишь? — сказал дядя Миша.— Это же старина. И мощь какая... Там раньше хранились заряды и ядра.

— Ага...— прошептал Владик.— А можно я туда загляну?

— Попробуй. Только все равно ничего не разглядишь.

— Попробую...

Владик взял фонарик. Щель между дверью и железным косяком была большая. Даже не щель, а промежуток шириною в две ладони. Владик просунул в него руку с фонариком. Луч забегал по замшелым, грубо

отесанным камням, по ступенькам и плитам... Владик толкнулся глубже. Продвинул плечо.

— Не застрянь,— сказал дядя Миша.

— Не-е...

Владик толкнул в щель голову. Железо сильно ободрало уши, но голова пролезла. Владик не хуже других мальчишек знал: если в лазейку прошла голова, пройдет и все тело. Он выдохнул воздух и рванулся.

И оказался на крутых, убегающих вниз ступеньках.

— Эй, Владик! — встревоженно крикнул дядя Миша.

— Ничего, ничего... Все в порядке.

И правда, все было в порядке, только рубашка порвалась на спине и на груди.

— Как ты туда просочился? Вылазь немедленно!

— Сейчас, сейчас! Я только посмотрю!

Владик сбежал на бугристые плиты пола. Опять зашарил фонариком по стенам. Камни, паутина, обрывок ржавой цепи, разбитый бочонок...

— Вла-дик!!

— Да-да, сейчас!

...Рядом с бочонком луч провалился в темный узкий четырехугольник.

Проход? Куда?

— Я сейчас! Я только посмотрю!

Это коридор. Сандалии застучали по плитам. Коридор круто повернул, превратился в тесный сводчатый туннель и полого повел под уклон. Сзади искаженно и глухо опять прозвучал голос дяди Миши.

— Не бойтесь, я скоро! — крикнул Владик. Крикнул так, для очистки совести. Он не знал, скоро ли вернется. Знал только, что подземный ход есть.

Значит, и Синекаменная бухта есть!

Значит, вперед!

Скоро туннель стал тесным и низким до жути. Свод царапает макушку, стены почти касаются локтей. Из грубых, неодинаковых камней сте́ны. Между ними корни торчат, сверху тоже — как голые хвосты каких-то отвратительных зверей...

Опять поворот и... решетка! Сверху донизу! Но прутья тонкие и, кажется, совсем проржавевшие. Владик ударил по ним ногой — прогнулись. Еще раз! Еще! Проломились. Владик раскачал и выломал два прута. И дальше!

Ход сделался пошнре, но дышать стало труднее. Воздух сырой н холодный, как в остывшей бане. Зябко, а все равно весь в поту. Бежать уже нет снл, можно только еле-еле шагать. Кажется, что к лнцу лнпнет мокрая густая паутнна. Забнвает рот. И усталость лнпкая тоже... И страх лнпкнй...

Он подкрался нензвестно откуда, этот протнвный, уннзительный страх. Кажется, что кто-то сзадн догоняет. Кажется, что кто-то впередн караулнт. Выключнть фонарнк? А как ндтн в темноте?.. Ой, кто это? Чудовнще?.. Нет, фонарнк высветнл под сводом светлый корявый камень, похожнй на лошаднный череп. Такнх камней много наверху, на днкнх пляжах под скаламн...

...Наверху — это где? Сколько метров земляной н каменной толщн до верха? До травы? До простора, над которым вндно небо? А еслн толща эта осядет, надавнт, сожмет? Вот она ннже, ннже, нельзя ндтн даже согнувшнсь...

Владнк, сдавленно дыша, встал на четвереренькн. Все равно надо вперед. Хоть на коленках. Хоть ползком, по-зменному. Трудно? Так н должно быть. «А ты что думал? — сказал он себе.— Что Гошу так легко вернуть? Что он прндет, сннмет колпачок: здрасте, вот он я? Сам собой? Ишь чего захотел!..»

На жнвоте так на жнвоте. Зато легче дышать: потянуло навстречу свежестью, запахом травы н моря. Засветнлась впередн зеленая лунная щель. Уже слышно, как шумят волны. Ну, давай, Владька! Еще рывок!

...Он выкатнлся в зарослн татарннка н белоцвета нз расщелнны средн прнземнстых глыб.

3

Несколько мннут Владнк лежал н нн о чем не думал. Просто он был счастлнв, что выбрался нз-под каменной толщн на волю, под открытое небо.

Небо это было по-прежнему в мелкнх, клочковатых облаках. Между облакамн мчалась луна, похожая на котенка, за которым гонятся мохнатые собакн. Иногда она с размаху прыгала за облако, но тут же выскакнвала н мчалась дальше...

Владнк встал. Он увндел небольшую полукруглую бухту с плоскнм берегом. Волны в бухте былн небольшне, н на ннх прыгалн лунные блнкн, словно кто-то

просыпал над водой сто мешков золотистой стружки.

На мерцающей воде Владик увидел силуэт большого парохода.

Пароход был старинный, похожий на парусник — с высокими мачтами, опутанными густым такелажем. Над бортами горбились кожухи громадных гребных колес, а между мачтами торчали высоченные наклонные трубы.

Владик обрадовался, но не удивился. Все шло как полагается. Иначе и быть не могло! Зря он разве столько времени пробирался по жуткому ходу?

Пароход стоял у самого берега: видимо, он давным-давно врос днищем в отмель. Владик стряхнул с рубашки и волос мусор, помотал головой, чтобы прогнать усталость и страхи, и пошел к черному пароходу.

С борта на песок был перекинут узенький трап — две доски, сбитые поперечинками. Доски закачались, когда Владик ступил на них. Он пошел осторожно. С парохода навстречу Владику вышел большой пес. Владик остановился на середине трапа. Кто его, этого пса, знает? Вон какой громадный. Пес подошел и внимательно посмотрел на Владика. В собачьих глазах отражалась двумя кружочками луна. Пес обнюхал Владику сандалии и колени. Владик зажмурился. И услышал:

— Пилерс, иди сюда... А там кто еще такой? Тут посторонним не положено.

Владик открыл глаза. На борту, у фонаря, стоял высокий сгорбленный дядька в зимней шапке. Наверно, сторож.

— Я по делу,— сказал Владик.

— Какое такое дело среди ночи?.. Ладно, ступай сюда... Пилерс!

Лохматый Пилерс осторожно повернулся и пошел на пароход. Оглянулся на Владика, махнул хвостом: не бойся, мол. Владик пошел следом.

У дядьки под щетинистыми усами горел огонек сигареты. Как маленький стоп-сигнал. Владик остановился на палубе.

— Ну, что за дело-то? — хрипло поинтересовался сторож.— Если опять корабельное имущество растаскивать для всяких своих школьных музеев, дак я не дам. Пока судно на слом не пошло, я за него отвечаю, вот так...

— Нет, я не за имуществом,— робко объяснил Владик.— Тут у вас, говорят, гномы живут.

— Чего-чего?

— Ну, гномы корабельные... Разве нет?

— Да есть, есть,— с досадой сказал сторож и бросил за борт цигарку.— Одна морока с ними... Появились не известно откудова, а как я могу охранять плавсредство, если на ём не известно кто и не известно сколько? Ходят, шебуршатся в трюмах. Не то люди, не то нечистая сила какая-то!.. А гнать их начальство не велит...

«Значит, есть!» — возликовал в душе Владик. Но открыто обрадоваться не посмел. Тихо спросил:

— А где они?

— А я знаю?.. Вон один с берега ковыляет, с самоволки возвращается.

Бородатый коротышка в джемпере до пят поднялся по прогнувшемуся трапу. Луна отражалась в его обширной лысине. Гном покладисто сказал сторожу:

— Ты, Федор Иннокентьич, посуди: какая самоволка? Я тебе не юнга, не матрос срочной службы, а уволенный пенсионер...

— А я, по-твоему, знать не должон, кто на берег сходит, кто обратно идет? Выходит, я тут вроде кофель-нагеля безмозглого торчу? А у меня тут должность уставом определенная, за которую мне зарплата идет...

— Никак, тебе старуха с утра похмелиться не дала...— заметил лысый гном.

— Ты мою старуху не трожь! — тонким голосом сказал Федор Иннокентьевич.— Мне она не капитан, не боцман! Похмелиться... Да я которую неделю капли в рот не беру. А у тебя, промежду прочим, бутылка за пазухой, у меня на их глаз точный. А проносить напитки на судно...

— Чего говоришь-то! — возвысил голос гном.— Напитки! Да корабельные гномы, кроме соленой воды, сроду ничего не употребляли! А это вот, гляди!

Он вытащил из-за пазухи пузатую бутылку. На ней заиграли зеленые лунные искры. Гном поднял бутылку над головой. На фоне светлого неба сквозь стекло Владик разглядел силуэт кораблика с тремя мачтами...

— Ух ты...— машинально сказал Владик. Он и раньше видел такие бутылки — с моделями внутри. В Кора-

бельном музее. Он знал, что такие хитрые сувениры любят мастерить старые моряки.

— С выставки несу,— сказал гном.— Эта вещь там три недели... как это говорят... экс-по-нировалась. Между прочим, премию обещают. А ты — «напитки»...

— Дак я чего... Если премия, это конечно...

— Внука бы постыдился,— сурово добавил гном.

— А кабы это внук...— сердито возразил Федор Иннокентьевич (обрадовался, что можно о другом, но виду не подал).— Сроду у меня таких внуков, которые по ночам гуляют, не было. Это вроде к тебе...

— Да?.. А...— Лысый гном сразу засмущался. Лысина потемнела (видимо, покраснела, но под луной и фонарем не разобрать).— Вы в самом деле ко мне? Я как-то... не очень...

— Нам бы поговорить,— тихо сказал Владик.— Один на один...

— А... ну, если вы настаиваете... А вот, давайте туда...

Гном засеменил от фонаря на носовую палубу. Там он присел на высокую крышку грузового люка, покрытую истлевшим брезентом.

Владик нерешительно сел рядом.

Один на один не получилось. Пришел следом пес Пилерс, положил на колени Владику добрую морду. Владик погладил его по лохматым ушам.

— Хорошая, знаете ли, собака,— деликатно начал разговор лысый гном.— Удивительно благородный характер. Не то что у хозяина... А, если не секрет, какое же у вас дело? Видите ли, в человеческих делах я разбираюсь крайне слабо и боюсь, что...

— У меня не человеческое,— прошептал Владик, и ему захотелось заплакать.— У меня гномье... то есть гномовое.... Вы корабельного гнома Гошу знали? То есть Георгия Лангустовича...

— Гошу? С «Кефали»? Ну как же! Правда, не очень близко, но... А... простите... Почему вы говорите «знали»? Разве он...

Владик всхлипнул и все рассказал. Лысый гном слушал молча и совсем как Гоша дергал бороду. И Пилерс слушал. И черные мачты, которые поднимались в высокое небо среди путаницы тросов и канатов. И луна...

И перед всеми Владик чувствовал себя вииоватым.

Но лысый гиом, которого звали Митя, повздыхал и сказал:

— Ну, при чем здесь вы... Эх, Гоша, Гоша. Зиаете, его погубила страсть к стихам. Все к звездам стремился, повыше... Вот и... Нет, я его ие осуждаю, что вы! У каждого свой характер. Но, когда гиомы иачииают мечтать о заоблачиых сферах, это чаще всего коичается печальио. Такое уже ие раз бывало...

— Но Рептилий Казимирович говорил, что Гоша может вериуться!

Митя покивал блестящей лысииой.

— Это коиечио... Только ведь иужио это... Как говорится, благоприятиые условия.

— Какие?

— Надо ведь что... Чтобы построили корабль с тем же изваиием, как у того, иа котором этот гиом раиьше плавал...

— Ои иа миогих плавал...

— Тогда с изваиием самого любимого его корабля... Я зиаю, ои все про «Кречет» свой вспомииал. Только теперь таких изваиий и ие дают. Все больше «Иртышлес» какой-иибудь, или, скажем, «Пиоиер Ашхабада», или зиамеиитое имя чье-иибудь. Это, коиечио, хорошо, да только Гоше-то ие легче. Да и ие пойдет ои иа судио, если оио без парусов, ои ведь ромаитик был...

— А если с парусами — пойдет? — с иепоиятиой иадеждой спросил Владик.

— Ну, тогда... отчего же ие пойти?

— Спасибо! — сказал Владик. Ои поиятия ие имел, где можио взять парусиик с изваиием «Кречет». Но все-таки стало легче: зиачит, Гоша и правда ие совсем умер.

Возвращаться через подземелье очеиь ие хотелось. Владик спросил у Мити, иельзя ли добраться до города по берегу. Оказалось, что очеиь просто. Надо пройти по тропиике через поросший белоцветом пустырь, вои за те старые дома. А там по шоссе ходит автобус иомер восемь.

Пилерс проводил Владика до остаиовки...

4

Ночные похождеиия Владика коичились благополучно. Мама дремала в своей комнате и ничего не заметила. Через окио Владик пробрался к себе.

Понедельник ему пришлось провести в постелн. Мама решила, что сыи еще ие совсем здоров, отпросилась иа работе н целый деиь поила Владика отвратительиой настойкой, которую ей дала Игиатия Львовна. Владик послушио глотал эту гадость н думал: «Что же делать дальше? Где взять иовое судно с нмеием «Кречет»?

Во вторник, после школы, Владик прибежал к воротам яхт-клуба. Стоял безоблачный день, и желтые стеиы форта отражали солиечиое тепло. Шторм утнх, и только слабый ветерок полоскал иа сигнальной вышке пестрые флаги.

— Здрасте,— бодро сказал Владик знакомому сторожу в морской фуражке. И хотел проскользнуть в ворота. Но сторож глянул неласково.

— Куда? Нечего делать.

— Вы меия, наверно, забыли,— сказал Владик.— Я...

— Никого я не забыл. А делать нечего. Так и приказаио: Арешкииа не пускать.

— Почему? — испугался и расстроился Владик.— Я к дяде Мише...

— А хоть к кому... Вои твой дядя Миша идет, спроси сам.

Бородатый капитаи «Тавриды» шагал через мощеный двор иедалеко от ворот.

— Дядя Миша! — отчаяиио крнкнул Владнк.

Тот оглянулся. Насупился. Медлеиио подошел.

— Почему меия не пускают? — чуть не со слезамн спроснл Владик.

Дядя Миша хмуро усмехиулся:

— А ты не зиаешь?

— Откуда же я знаю?

— Тогда извиии, ио ты... голова твоя совсем пустая! Тебя что, гладить по этой голове за тот фокус с подземиым ходом? Ныриул за дверь — и концы в воду!

Владькииа голова повисла будто не на шее, а иа шиурке. В самом деле — пустая башка. Почему сама про все это ие сообразила?

Чтобы хоть как-то оправдаться, Владик прошептал:

— Но со мной же ничего не случилось...

— *С тобой* ничего. Но мы-то откуда это знали? Герой... Мы подняли на ноги массу народа. Зуриф искал среди ночи знакомых газорезчиков, чтобы расширили дверь! Потом он целый час лез по этому дурацкому ходу и лишь под утро узнал у сторожа на каком-то ржавом корыте, что был там мальчик в очках и уехал домой... Целая ночь нервотрепки из-за того, что мальчику Владику захотелось приключений!

Владик сдернул очки, вытер глаза рукавом, надел очки снова и посмотрел на дядю Мишу.

— Я не хотел приключений! Вы же не знаете... Там совсем другое дело. Потому что Гоша погиб...— Владик в одну секунду ослеп от новых слез.

Дядя Миша чуть нагнулся.

— Кто погиб?

— Я расскажу,— прошептал Владик.— Только вы, наверно, не поверите... Но я правду расскажу, честное пионерское... Если хотите...

Дядя Миша оглянулся на сторожа, взял Владика за плечи и повел вдоль крепостной стены. Недалеко от ворот лежал в зарослях сурепки ствол старинной корабельной пушки. Дядя Миша сел на него и кивнул Владику: садись рядом. Потом потребовал:

— Ну, говори.

И Владик стал говорить. Про все по порядку. Сначала сквозь слезы и сбивчиво, потом поспокойнее. А когда рассказывал про сторожа Федора Иннокентьевича и гнома Митю, даже чуточку улыбнулся. Но сразу опять насупился.

Дядя Миша сказал:

— История странная, конечно, но я верю. Про корабельных гномов я слыхал, тут все понятно. Не пойму другое...

— Что?

— Почему ты из Синекаменной бухты не вернулся в яхт-клуб? Если не подземным ходом, так на автобусе. Хотя бы на минутку! Мы же там с ума сходили от беспокойства.

— Я не подумал,— прошептал Владик.

— Вот именно!

— Я боялся, что мама увидит, что меня нет. И будет волноваться...

— А по-моему, ты боялся другого,— усмехнулся дядя

Миша.— Что тебе крепко достанется от мамы... Хотя, может быть, и не боялся. Человек ты храбрый. Но легкомысленный. Много думаешь о себе и мало о других. Поэтому и храбрость твоя глупая. Начал фокусничать на балконе, а кончилось вон чем... Потом полез в подземный ход, а в клубе — ЧП.

Владик опять опустил голову до самых колен.

Дядя Миша продолжал:

— Теперь я думаю: наверно, ты и «Тавриду» спасал, только чтобы показать, какой ты герой...

Владик быстро встал. Потому что эти слова были совершенно несправедливые.

— Никакой я не герой! — со звоном сказал он.— Я боялся! А спасал, потому что надо было спасать! А вы... Если бы я от вас награду просил, а я же не за этим пришел. Я думал, что вы мне поможете. То есть не мне, а Гоше...

Дядя Миша смотрел своими синими глазами внимательно и несердито.

— Чем же теперь Гоше поможешь? — тихо спросил он.

— Но ведь можно построить новый «Кречет»! Пускай не клипер, а просто яхту большую. Только чтобы трюм был для Гоши.

Дядя Миша покачал головой.

— Что ты, мальчик. У нас тут спортивная организация, а не судоверфь...

— Но бывает же, что яхтсмены строят парусники!

— Бывает... Но тогда название готово гораздо раньше яхты. Потому что такая яхта — мечта. У каждого своя. Никто не захочет менять свое название на чужое.

— А если очень попросить...

Дядя Миша поднялся с пушки.

— Бесполезно просить. Если кто и согласится, не разрешит начальство.

— Почему? — удивился Владик.— Хорошее название!

— Хорошее, да не то, что нужно. Получится нарушение грамматических правил. Клипер плавал давным-давно, тогда все слова, которые кончаются на согласные, писали с твердым знаком на конце. Наверно, сам видел в старых книжках. А сейчас так не пишут, правила не те... Без твердого знака название будет выглядеть уже по-другому. Гоша его не узнает и на это судно не пойдет...

Дядя Миша замолчал. Владик тоже молчал. То, что

он услышал, поиять было иелегко. Он помусолил палец и иа пыльиой крышке своей корнчиевой сумкн медлеиио вывел:

КРЕЧЕТЪ

Потом сердито стер иадпись и сказал:

— Чепуха какая! Из-за одной буковки...

— Буковка не чепуха,— возразил дядя Миша.— Их в русском языке всего-то трндцать три. Ни одиу из слова ие выкинешь и зря не вставишь. Правила — штука серьезиая.

Владик думал мииуты две. Мысли его были грустиые, но ие беспомощные. Не глядя больше иа дядю Мишу, ои медлеиио и упрямо сказал:

— Ладно. Тогда я сам построю корабль. И иапншу иазвание так, чтобы узнал Гоша.

Дядя Миша вздохиул:

— Зря ты обиделся. Я ведь в самом деле ие зиаю, как помочь.

— Я ие обиделся. Просто...

Просто ие о чем было больше говорить. Не имело смысла. Владик рассеяиио сказал «до свидаиия» н пошел от форта.

Ои шел и думал, что для постройкн корабля иужио время и иужиы помощиикн. А откуда эти помощинки возьмутся?

Коиечио, проще всего рассказать о «Кречете» ребятам в классе.

Проще-то проще, а что получится?

Сегодня на классиом часе, когда его ругали за субботиий прогул, Владик пытался рассказать, что его уиесло штормом. Кое-кто сперва поверил, но звеиьевая Люська Башбицкая сморщилась и сказала:

— У Арешкина всегда фантазии.

И все захнхикали.

Расскажешь про Гошу, а они опять захихикают. Да и легко ли рассказывать четырем десяткам человек, как из-за твоей глупости сгииул корабельиый гиом?

А кроме того, корабль строить — ие металлолом собирать. Нужиа ие толпа, а иесколько надежных н упориых людей. Для иачала хотя бы один верный друг. Тот, кто все поймет, поможет советом и делами.

Но бывший друг Витька — он и есть бывший. Сегодия иа классиом часе встал и высказался:

— Хоть Арешкии и ие считает меия другом, но я его считаю и потому скажу правду в глаза: ты иам городишь всякие небылицы, потому что ие уважаешь товарищей. Ты зазнался. А зазиался ты потому, что у тебя в «Пиоиерской правде» иапечатали фотографию...

А Владик и думать-то забыл про эту фотографию! Разве теперь до иее?..

Витька просто бестолочь иепрозрачиая... Это Тилька так ругается. Кого это ои так иазвал? А, ту девчоику с рогаткой, Нику. Такая вредная девчонка... В драку полезла ни с того ни с сего... Хотя потом вроде бы сама пожалела...

И пошла с Владькой.

И говорит: «Скажу родителям, что зонтик я сломала. Чтобы тебе не влетело...» Значит, честная.

И смелая. Глаза у иее решительиые.

Раз пошла заступаться, зиачит, ие такая уж вредиая.

Может быть, даже добрая?

Зачем-то приснилась в позапрошлую ночь. Ха, жених и невеста! Невеста ии при чем, а помочь ему в деле оиа, пожалуй, смогла бы. По крайией мере, толку от иее было бы в тыщу раз больше, чем от Витьки Рукоиогова..

На этот раз Владик отыскал площадь с водокачкой быстро. И сразу увидел зиакомых — рыжего Костика в мешковатых штаиах и юркого белобрысого Матвейку. И еще нескольких мальчишек. И сердитых жеищии, которые за мальчишками гонялись.

Короче говоря, иа маленькой заросшей площади разгорался скаидал. Жеищиим отчаяино кричали и пытались помешать ребятам, которые отвязывали от врытых столбов бельевые веревки.

— Хулигаиы! — голосили жеищиим.

— Не ваша площадка! Мы тут играем! — вопили в ответ мальчишки. Справиться с иими было трудио. Их было больше. Пока грузиые тетушки бежали к одиому столбу, мальчишки успевали сбросить веревки с двух других.

Наконец могучая тетя в клееичатом передиике ух

ватнла рыжего Костнка за лямку. И обрадоваино поволокла на расправу.

— Не уйдешь, паршивец!

Но Костнк ушел. Скииул лямку с плеча и выскочил нз штанов, как заяц из мешка. И помчался по цветам сурепкн. В красиой просториой футболке и красных труснках он был похож иа летящнй флажок для морской семафориой азбуки.

— Эй! — оклнкиул Владик.

«Флажок» подлетел.

— Что тут у вас? — озадаченно спросил Владик.

— Бой с веревочинцамн! — В глазах у Костика сверкали отблески битвы.

Тетка в клеенчатом передиике бежать не могла — запыхалась. Она только снпло вскрикивала и размахивала взятыми в плен штанами. Потом швырнула их и прииялась яростио топтать.

— Она же их в клочья раздерет! — восклнкнул Владик.

— Ага,— злорадно сказал Костик.— У меня там в кармаие разрывиые сиаряды. Смотри сейчас...

Ои ие договорил. Из-под теткн рваиулся клуб зелеиого дыма. Ее отиесло в стороиу. Мальчишки захохотали. Веревочииццы гиевно заголосилн и иачали сами срывать веревки. Видно, поняли, что пора отступать. Веревки со столбов слетали с такой скоростью, что длнниые теии не успевали за ними н оставались качаться иа цветах и листьях сурепки. Но иа это ннкто пока ие обращал виимаиия.

— Ура! Наша победа! — орали мальчишки. Похожий иа флажок рыжий Костик тоже орал и прыгал.

— А где Ннка? — спроснл Владик.

— Она в Каиатном переулке, в засаде. Но теперь засада ие иужиа. Позвать?

— Ага...— сказал Владик.

Костик опять кииулся через площадь. За что-то запиулся, полетел в траву, ио тут же вскочил и помчался дальше.

Веревочинцы исчезли. Взъерошениые мальчишки-победители обступнли Владика и с молчаливым любопытством поглядывали иа иего. Оии были малеиькие, но их было миого.

— Я Нику жду,— на всякий случай сказал Владик.

— Вои оиа идет,— сказал Матвейка.

Ника подошла вместе с Костиком. Наклонила голову. Хлестнула по траве распущенной рогаткой. Спросила не очень приветливо, но и не сердито:

— Чего надо-то?

— Дело есть,— сказал Владик.— Долгий разговор...— Он глянул на мальчишек.— Отойдем в сторонку.

— Секрет, что ли?

— Вроде...

Ника подумала. Мальчишки открыли рты и развесили уши — ждали секрета. Ника вздохнула:

— Здесь не поговорить. Подожди меня две минуты.

Она скрылась за ближней калиткой и скоро появилась совсем другая. Не в наряде маленькой разбойницы, а в белом платьице и новых туфельках из серебристых ремешков. И даже с крошечными голубыми сережками в ушах. Только свежая ссадина у левого локтя говорила о недавнем боевом прошлом.

Мальчишки примолкли. Ника прикусила губу, мельком глянула на Владика и быстро сказала:

— Пошли куда-нибудь.

— Куда?

— Ну хотя бы на Приморский бульвар...— Потом она хмуро посмотрела на своих подчиненных: — А вы оставайтесь в карауле. А то веревочницы опять захватят территорию.

Мальчишки недовольно зашептались, но следом за Никой и Владиком не пошли.

5

Печальную историю Ника выслушала серьезно. Не перебила ни словечком. Они сидели на бульваре, на скамейке позади киоска с мороженым, и Владик говорил, а Ника медленно кивала и осторожно трогала свои сережки. Над скамейкой рос большой каштан. С него иногда падали и лопались колючие шарики. Ника не обращала внимания. Владик тоже.

Когда Владик закончил рассказ, Ника покачала головой и проговорила:

— Дядя Миша правду тебе сказал: ты очень легкомысленный.

— Хватит уж об этом,— насупился Владик.

— Ничего не хватит. Ну, полез на балкон, потому что не подумал. А почему ничего не сделал, когда Гоша упал?

— А что я мог сделать? Я же не знал, как помочь!.. Разве я виноват? Вот когда Тилька разбился, я сразу побежал! Потому что знал, как его спасать...

— А как? — спросила Ника.

Владик рассказал про стекольного мастера.

— Сплошные сказки,— задумчиво сказала Ника.

— Значит, не веришь...— вздохнул Владик.

— Почему? Я верю. Честное железное-якорное слово. Я сказки люблю... Только я не могу тебе помочь.

— Не хочешь?

— Хочу, но как? Я не знаю. Корабль нам ни за что не построить.

— А если совсем небольшой? Только чтобы трюм для Гоши был... А?

— Небольшой — это все равно настоящий. Мастерá даже маленькие модели годами делают.

— Ну уж...— сказал Владик.

— Вот тебе и «ну уж». Спроси своего знакомого.

— Какого?

— Ну, того гнома на пароходе. С моделью в бутылке...

— Так мы же не в бутылке будем строить!

— Да! И не модель, а громадину! А мы умеем? А из чего строить? А где чертежи?.. А... почему не в бутылке?

— Что? — сказал Владик.

— Сейчас,— сказала Ника, морща лоб.— У меня мысль...

— У меня тоже...— прошептал Владик.

— Если в бутылке... кораблик...

— Маленький «Кречет»...

— А бутылку попросить у стекольного мастера... Да, Владик?

— Да! Как ту, в которой Тилька... Ника!

— Что?

— Как здорово, что я догадался тебя разыскать! — восторженно сказал Владик.

Она улыбнулась и опять потрогала свои сережки. Но тут же сказала:

— Подожди, подожди. Здесь еще столько непонятного...

— Чего?

— А вдруг эти бутылки корабли не увеличивают? Может, они только для стеклянных человечков.

Владик приуиыл:

— Тогда все пропало...

— Да подождн... Что ты за нытик, честное слово! Надо все выяснить. Надо пойтн к стекольиому мастеру н про все расспросить.

— Так ои тебе н скажет,— вздохнул Владнк.— Начнет кричать, какие мы ужасные дети...

— Все равно без мастера не обойтнсь.

— Конечно. Только зачем лншний раз рнсковать? Давай лучше спроснм Тильку! Он про эти волшебиые бутылки, наверно, тоже знает.

Но Тильку надо было еще найти!

День стоял сухой, луж не было, н где моглн прятаться стеклянные музыканты, Владнк н Ника поиятня не нмели. Оин обошлн полгорода н успелн два раза поругаться. Потому что одни раз Владик сказал, что все бесполезио, а Ника снова назвала его ытиком. А второй раз у Ники выпала нз уха сережка, и ее долго прншлось искать в траве в Историческом парке, н Владнк говорил, что все девчоики воображалы н модиицы. Прнходнтся терять столько времеии из-за ерунды!

Но зато здесь же, в Историческом парке, где плескался фонтан с маленькими водопадами иа зеленых ступенях, Владик заметил среди струй крошечиых прозрачных плясунов со скрипками и флейтами.

Конечно, это мог быть совсем другой оркестр. Но Владнк прнгляделся и позвал:

— Тнль!

И стекляниый барабаищнк прыгиул ему иа ладонь.

Увндев Нику, Тилька сердито прозвенел:

— А з-зачем она здесь? Прогоии!

— Подождн, Тилька...

— Не хочу ждать! Она сказала, что я сосулька!

— Я больше ие буду,— тороплнво пообещала Ника.

— Мало лн что «ие буду»! Ты уже сказала!

— Я не подумала... Разве «сосулька» — это обидно? Сосулькн такне прозрачные и краснвые, в инх солнышко блестнт.

— Но они ледяные, а я живой!

Ннка вздохнула н поджала губы. Целую миную она усмиряла свою гордость. Потом сказала:

— Ты меня прости. Я очень виновата.

— Динь-да? Тогда ладно,— согласился Тилька.— Только больше не дразнись.

— Ни в коем случае не буду! — поклялась Ника и глазами напомнила Владику: «Спрашивай».

— Тилька! У стекольного мастера есть еще такие бутылки, в какой он тебя отремонтировал?

Тилька гордо сказал:

— У него тыщи всяких бутылок. А если нет, он — динь и сделал. Он же волшебный мастер.

— А если мы очень попросим, нам он сделает?

— Зачем?

Владик вздохнул и опять рассказал историю про Гошу. За сегодняшний день — третий раз. Тилька слушал, и капельки стекали с него Владику на ладонь.

— Тилька! Если сделать в бутылке кораблик, а потом бутылку о пол?! Что будет? — Владик смотрел жалобно и нетерпеливо.

Тилька важно подумал. Потом спросил:

— А из чего кораблик?

— Ну... из бумаги, из лучинок. Из картона...

— Будет куча дров,— уверенно сказал Тилька.

— Почему? — разом спросили Владик и Ника.

— Какие динь-бестолковые! Бутылка увеличивает только настоящее! От меня, от настоящего, был кусочек, из него мастер сделал человечка. И я снова вырос — как из семечка! У вас есть кусочек от настоящего «Кречета»?

Ника посмотрела на Владика испуганно и беспомощно. Владик тоже растерялся. Но только на несколько секунд. Потом сразу сказал:

— Есть!

Дверь в башенку была не заперта. И все в Гошиной комнатке оказалось как прежде. Видимо, никто в домоуправлении не знал еще, что Гоши уже нет. Даже на сломанные перила никто не обратил внимания.

В открытую балконную дверцу влетал ветерок. Переворачивал листы тетради с Гошиными стихами. Владик подумал и положил тетрадку в сумку.

Владик был здесь один: Ника с Тилькой ждали на улице. Он посидел на Гошиной койке, погладил колючее одеяло. Поправил на гвозде потертый Гошин буш-

лат. Потом взял с полки гладкую коричневую табакерку.

Крышка табакерки открывалась легко. Чтобы она не отскакивала сама собой, на табакерку было надето резиновое колечко. Владик спрятал его в карман. Затем он вышел на балкон, открыл табакерку, зажмурился и сильно дунул, чтобы улетел табак.

Табачная пыль взвилась желтым облачком. И облачко полетело вместе с легким ветром. Через полчаса оно оказалось у окна старого дома с облезлой штукатуркой. За окном, в неуютной комнате третьего этажа, шло экстренное заседание ТКВ. Веревочницы обсуждали сегодняшний бой на площади в Боцманской слободке.

Окно было плотно закрыто, но мелкая табачная пыль проникла в незаметные щели.

Председательница клуба веревочниц говорила:

— Эти события — крупное поражение для нас. Если дальше так пойдет дело, нам, уважаемые дамы, придется закрыть клуб...— Она вдруг сморщила нос и закатила глаза.— А-а... а-а-апчхи!

— Будьте здоровы... По-моему, у нас есть еще надежда,— сказала ее заместительница.— Ведь от веревок остаются на земле... А-а-апчхи! Ой...

— Будьте здор... а-апчхи! — разом сказали две дамы.

И члены клуба веревочниц стали чихать без перерыва. Это продолжалось около часа и было признано дурной приметой.

6

— Нет, вы посмотрите на этого ребенка! — кричал стекольный мастер.— Мальчику нужна волшебная бутылка, ни больше ни меньше! Может быть, мальчик думает, что сделать такую бутылку—это все равно что выдуть склянку для рыбьего жира?!

— Нет, я так не думаю,— робко подал голос Владик, а Ника вообще молчала и старалась держаться поближе к наружным дверям мастерской.

Мастер сел на скрипучий стул и печально подпер кулаками щетинистый подбородок.

— Но ведь, если не будет бутылки, Гоша никогда не вернется,— тихо сказал Владик.

— Но при чем здесь я?! — опять закричал мастер.— Гоша — корабельный гном, а я — специалист по не-

разгаданным свойствам стекла! Это совсем другой отдел волшебного ведомства: не морской, а стекольный!

— Вот поэтому мы к вам и пришли,— сказала от дверей Ника.— Кроме вас, никто-никто не сделает эту работу.

— Да? — грустно спросил мастер.— А что я получаю с такой работы? Одни несправедливости да еще всякие болезни и нервные переживания. Мне говорят: ах, вы артист в своем деле, вы имеете в вашей работе радость творчества. А что мне с той радости, когда начальство топает на меня ногами и кричит, что лишит меня премии, потому что мастерская не выполняет план по выпуску аптечных пузырьков!

— Мы вам соберем целую тысячу пузырьков! — пообещала Ника.— Я всех знакомых ребят на это дело подниму, мы все свалки облазим.

— Ну, конечно! — воскликнул мастер.— Лазить по свалкам — это они могут! По помойкам, по пустырям, по лужам! Там не надо думать про уроки или чтобы помочь бедным родителям, которые из-за таких детей раньше срока начинают глотать сердечные капли!..

Тилька сидел среди склянок, на краю фаянсового блюдца. Он поманил мастера прозрачной ручкой. Но тот опять закричал:

— Не буду я тебя слушать, не подлизывайся!.. Детям нужна бутылка! Ха! А дети спросили, из какого стекла делаются такие бутылки? Они делаются из чистейшего хрусталя, который у меня кончился еще до летнего солнцестояния! А к тому же надо увеличивать не стеклянного шалопая, а корабль! Значит, в хрусталь необходимо добавить оптическое стекло от подзорных труб и биноклей, в которых отражались морские просторы и волны! Может быть, у вас есть такие бинокли? Может быть, у детей хранятся дома трубы капитанов Крузенштерна и Лаперуза? У меня — нет! У меня не хранятся!

Владик и Ника беспомощно переглянулись.

Мастер нервно стучал волосатыми пальцами по столу.

— А может быть...— начал Владик.

— Что? — сердито спросил мастер.

— У меня есть аппарат «Зенит», а в нем хороший объектив. Тоже оптическое стекло. В нем тоже отражались волны и просторы, потому что я делал альбом с морскими снимками.

— Ну... допустим,— недовольно сказал стекольный мастер.— А хрусталь?

— Мы подумаем...— сказал Владик.

— Мы поищем,— сказала Ника.— Владька, пошли.

— Я с вами! — крикнул Тилька.

— Имейте в виду, что стеклянное волшебство действует лишь в теплую половину года,— ворчливо предупредил мастер.— Этот срок заканчивается в день осеннего равноденствия, двадцать первого сентября. У вас осталась неделя.

На улице Ника сказала:

— А где возьмем хрусталь?

— Понятия не имею,— отозвался Владик.— У бабушки есть люстра с хрустальными подвесками, но бабушка в Калуге. И люстра тоже.

— За подвески тебе оторвали бы голову.

— Какая разница? Мне все равно оторвут ее за объектив.

Ника задумчиво проговорила:

— У детей ужасно несправедливая жизнь. Все время за что-нибудь попадает.

— А тебе-то за что? — поинтересовался Владик.

— Мало ли... Например, за рогатку.

— Ну... а зачем тебе рогатка...— неуверенно сказал Владик.— Ты все же девочка. Да и вообще это свинство — по птицам стрелять. Сейчас везде борьба за охрану природы.

— А кто стреляет по птицам?! — взвинтилась Ника.— Балда ты! Не знаешь, а говоришь!

— Опять ругаются...— подал голос Тилька. Он сидел на ухе у Ники и держался за прядку волос.

— А чего он зря болтает! — сказала Ника.— Мы не с птицами воюем, а с веревочницами. Рогатки — это чтобы веревки перешибать!

— Из рогатки веревку не перешибешь,— сказал Владик.

— Если камушком, то не перешибешь. А если специальным разрывным снарядом...

— А! Как у Костика? — вспомнил Владик.— Когда тетка на его штанах взорвалась?

— Ага... Только мы их еще не до конца изобрели, они не всегда срабатывают,— призналась Ника.

Владику захотелось узнать, какой в этнх снарядах состав.

— Вообще-то это воеииая тайна,— сказала Ннка.— Ну ладио, ты ведь тоже протнв веревочниц... Там сера от спнчек, ржавчина от старнииой пушки и семеиа белоцвета.

— А при чем здесь белоцвет?

— Разве ты не видел, как у него головкн лопаются? В них очень сильная взрывчатая снла. Качается, качается такая головка, а потом — пух! — распушнлась белыми семенами. И полетели они...

— Все равно...— с сомнеиием проговорил Владик.— Что камень, что снаряд, из рогаткн им трудио попасть по веревке.

— Пфы! «Трудно»!.. На Боцманке любой первоклассник это может. Мы знаешь как тренируемся? Перегоревшне лампочкн подбрасываем и на лету их — дзынь!

Тилька перебрался к Владику. Ника с нимн попрощалась и отправилась домой. С Владиком договорилась, что оин встретятся завтра, а сегодня будут думать, где добыть хрусталь.

Владик озабоченно сказал Тильке:

— Хрусталь хрусталем, а у меня еще одна задача. Надо искать дорогу в Сниекамеииую бухту.

— Ты же говорил: иа автобусе иомер восемь.

— Это *оттуда* иа автобусе. А *туда* никакие автобусы ие ходят. А через подземный ход нельзя, меия теперь к яхт-клубу и блнзко ие пустят... Да н ход, иаверио, замуровали.

— Одиого не пойму,— сказал Тилька.— Зачем тебе эта бухта?

— А кто будет делать кораблик в бутылке? Я хотел попросить гиома Мнтю. Это же такая работа...

— Подумаешь, динь-работа! Вы с Ннкой сделайте отдельиые деталькн, а я залезу в бутылку н там нх соберу!

— Ой, Тиль... А у тебя получится?

— Думаешь, еслн я стекляииый, значит, совсем неумелый?

— Нет, что ты! Ты умелый...

— Главное — достать хрусталь,— сказал Тнлька.

— Будем думать,— сказал Владнк.

Но за целые сутки он ничего не придумал. Может быть, Ника нашла выход?

После обеда Владик поспешил в Исторический парк — там они с Никой договорились встретиться. Но Ника не пришла. Владик подождал полчаса, оставил Тильку в фонтане, а сам побежал в Боцманскую слободку.

По площади бродили мальчишки. Они шарили в траве какими-то приспособлениями на палках — будто самодельными миноискателями.

— Костик! Матвейка!

Те бросили палки и подбежали.

— Что делаете? — спросил Владик.

— Тени от веревок убираем,— разъяснил Костик.— Тетки их тут наоставляли, все запинаются...

На прожженных штанах Костика пестрела громадная заплата из клетчатого ситца.

— А Нику дома засадили,— сказал Матвейка.

— За что? За рогатку? — с пониманием спросил Владик.

— Нет. Она стеклянное блюдо грохнула. Бабушкино. Из хрусталя. Ну вот...

— Понятно,— сказал Владик и обрадованно подумал, что Ника, несмотря на вредность, человек деловой, и надежный. Потом спросил: — А скоро ее отпустят?

— Кто знает,— серьезно сказал Костик.— За само блюдо ей не очень попало, только от бабушки веником по шее. Потому что, если разбито, все равно не вернешь. Только Ника еще скандал устроила. Бабушка все осколки в мусорный бак выбросила, а бак машина увезла. Ника пришла из школы и давай кричать: «Что вы наделали! С ума сошли, что ли?!» Вот за это ее... Мы ей скоро передачу понесем. От тебя что передать?

— Горячий привет,— печально сказал Владик. А что еще было говорить? Последняя надежда лопнула.

Владик брел к дому и думал: что еще можно сделать? Накопить денег и купить хрустальную вазу в магазине? Сколько времени пройдет, пока накопишь! Продать фотоаппарат? Но кто его купит у мальчишки? И к тому же без объектива... Рассказать все маме и папе? Но мама в сказки не верит, а папа на репетициях. Да и все равно денег дома совсем мало, а зарплата у родителей не скоро...

Владнк шел, повеснв голову, н наткнулся на прохожего. Не глядя сказал «простнте» н хотел обойти. Но тот взял его за плечо. Оказалось — дядя Мнша.

— Опять встретнлнсь,— задумчнво сказал дядя Мнша.— Почему ты такой угрюмый, Владнк Арешкнн?

Владнк шевельнул плечом н промолчал. Зашагал дальше. Дядя Мнша пошел рядом.

— Ты все еще сердншься, что тебя не пустнлн в клуб? Я тут нн прн чем, это распоряднлся главный начальннк... Да, в конце концов, ты же сам вноват.

— Я про клуб н не думаю,— отозвался Владнк.

— А! Не думаешь,— слегка обнделся дядя Мнша.— И совесть тебя не мучает. Она у тебя чнстая, прозрачная, хрустальная...

Владнк серднто сказал:

— Еслн бы она была хрустальная, я бы ее вынул н отдал на переплавку.

— Даже так?

— Потому что выхода нет,— сумрачно ответнл Владнк.

— А что опять случнлось?

— Это не опять. Это все та же нсторня про Гошу,— вздохнул Владнк.

— Ну-ка объяснн.

Владнк нехотя объяснนл про бутылку. Он нн на что не надеялся, просто неловко было отмалчнваться.

— Ну-ка пойдем,— сказал дядя Мнша.

— Куда?

— Ко мне.

Дядя Мнша жнл недалеко, почтн напротив бнблнотекн с Гошнной башенкой. Владнк оказался в комнате, где на полках стоялн моделн яхт и разноцветные кубкн, а на стенах, на яркнх сигнальных флагах, блестелн спортнвные медалн.

Дядя Мнша вынул нз шкафа граненый сверкающнй кубок, от которого сразу разлетелнсь радужные зайчнкн. На кубке была крышка с прозрачным кораблнком.

— Я вынграл его в гонках одннучек по Южному залнву,— сказал дядя Мнша.— Штормовое было дело... Хрусталь чнстейшнй. Возьмн.

Владнк, еще не веря в такое чудо, прннял в ладонн холодный кубок. Он был очень тяжелый.

Владнк поднял на дядю Мншу глаза.

— Ну-ну...— проворчал дядя Мнша.— Отказываться

не смей, это не для тебя, а для Гошн. Морякн должны помогать друг другу. И благодарить много не надо. Хватнт, еслн один раз скажешь «спасибо».

— Спасибо,— прошептал Владик.— Знаете что... Вы крышку с корабликом оставьте себе. Все-таки память...

7

Бутылка была готова вечером в пятницу. Пузатая, с шнроким горлышком, очень прозрачная, из тонкого звенящего стекла. Когда мастер хмуро вручил ее Владику, она была еще теплая.

— Имей в виду: разбивать надо в полдень,— предупредил стекольный мастер.— Если опоздаешь хотя бы на минуту, никакого толку не будет, а будут неприятностн.

— А если на полминуты? — осторожно спросил Владик.

— Можно. Только не больше... И еще имейте в виду: я тут совершенно ни при чем. О том, где взяли бутылку, никому ни слова! У меня и так два выговора за внеплановое волшебство.

— Честное железное-якорное слово! — поклялся Владик.— Никому!.. Большущее вам спасибо.

— Не смей говорить мне «спасибо»! Узнает начальство — меня лншат премни!.. И не забудь, что послезавтра последннй срок. Двадцать первое сентября, день осеннего равноденствия.

— Мы успеем! Спа... До свидания.

Дома Владика ждала Ннка: ее наконец выпустили из заточения.

— Привет, узница,— сказал Владик и гордо поставил перед ней бутылку.

Ника вздохнула:

— Зря я только блюдо грохнула. Такое было красное...

— Все равно ты молодец,— утешил Владик.

Ннка не оценила этой похвалы. Она сварлнво заметила:

— Теперь-то я «молодец». А пока меня дома держалн три дня, даже носу не казал.

— Откуда я знал, где ты там сндишь? Может, в

темиом чулаие. Твоя бабушка даже Костика с передачей прогиала. Мие бы тоже влетело...

— Тебе-то за что? Это мие веииком влетело...

— Веиик — ои мягкий,— примирительио сказал Владик.

— Балда! Рукояткой же! По шее... Тебе бы так...

— У меия все впереди,— печальио сообщил Владик.— Вот узиают мама с папой про объектив...

— А ты уже зараиее от страха сииеешь,— буркиула Ника.

— Вы ругаться собрались или дело делать? — строго спросил Тилька.— Что за люди...

Стали делать дело. За те дии, пока мастер колдовал иад бутылкой, Владик позаботился о деталях для сборки. Вырезал из табакерки корпус кораблика — остроиосый и узкий,— чтобы влез в горлышко. Выстрогал лучиики-мачты, приготовил тоиеиькие реи и иитки для сиастей. К реям зараиее привязал свериутые паруса из мягкого батиста (выпросил для иих у мамы платочек). Посоветовался с Тилькой:

— Ничего, что парусииа ие настоящая?

— Ничего,— сказал Тилька.— Главиое, что корпус из корабельиого дерева. Программа задаиа. Остальиое получится само собой.

Теперь Тилька залез в бутылку и там иачал собирать малеиький клипер.

Корпус кораблика ои прикрепил к стеклу пластилиіом. Работа была иелегкая. Тилька — крошечиый, корпус для иего — тяжелый. Это все равио что иастоящему мальчишке ворочать в одииочку грузиую лодку. Когда иакоиец «Кречет» — еще без мачт и сиастей — прочио стал иа место, за окиами стемиело.

— Остальиое завтра доделаем,— решил Тилька.— А то я уже ие длиць и ие дзыиь...— И ои усиул прямо в бутылке.

В субботу после школы Владик, Ника и Тилька опять взялись за работу. Собствеиио говоря, работать мог только Тилька. Ои устаиавливал мачты, прицеплял к иим реи, иатягивал ваиты и штаги. Владику и Нике оставалось просовывать в бутылку деталь за деталью. Дело было иехитрое, поэтому им хватало времеии для споров.

Владик сказал:

— Без чертежа делаем. Вдруг что-иибудь ие так?

Ника фыркнула:

— Тебе же объяснилн: главное, чтобы хоть немного было похоже. Задать программу, что это кораблик. Остальное само собой...

— Все равно страшно немного...

— Тебе все время страшно.

— Почему это все время?

— Потому что всегда канючишь н жалуешься...

— Я?! — возмутнлся Владнк.— У тебя не язык, а швабра!

— А ты нытнк.

— А ты язва.

Тнлька высунулся наружу.

— Опять ругаетесь? Еслн не перестанете, не буду работать! Лезьте в бутылку сами.

— Она и так все время лезет в бутылку,— сказал Владик.— В переносном смысле.

— Я что сказ-зал! — сердито зазвенел Тнлька. Он был сейчас команднр.

— Не будем, не будем,— поспешно пообещала Ника. И украдкой показала Владнку маленькнй исцарапанный кулак.

Владнк показал ей язык..

Ника двинула Владнка ногой.

Владик шепотом сказал:

— Навязалась ты на нашу голову.

— Я? Навязалась? А кто меня позвал?

— А кто охал: «Я так люблю сказкн»?

— Еслн бы в этой сказке не было нытнков...

— Еслн бы не было таких ядовитых медуз...

— Вот как тресну по загрнвку. И уйду.

— Ну н без тебя справнмся,— сказал Владнк, хотя в душе забеспоконлся.

— Интересно, как это ты справишься? — язвительно спроснла Ннка.— Может быть, ты умеешь стрелять из рогаткн?

— На кой шут мне рогатка?

— А как ты разобьешь бутылку? Да еще точно в полдень!

— Очень просто. О камнн...

— Бедный ребенок повредился в уме,— печально сказала Ника.— Ты хочешь, чтобы клнпер засел на камнях?

— Ой...— прошептал Владик. Он до снх пор об этом не думал.

— А кроме того,— продолжала Ника,— ты вообще-то представляешь, как это будет? Бутылка — трах! А на ее месте громадный кораблище. Мачты по пятьдесят метров. Тебя же пришибет или придавит, как глупую лягушку, если будешь рядом.

— Ой...— опять сказал Владик.— А как быть?

— Наконец-то головушка твоя заработала! «Как быть»... Бутылку придется забросить подальше на глубину, чтобы «Кречет» не сел на мель. А потом по ней трахнуть с берега из рогатки.

— А если промажешь? Бутылка будет на волнах прыгать...

— Не твоя забота. Я за полминуты успею пятнадцать раз выстрелить. И все разрывными... Они теперь безотказные...

— Это ты хорошо придумала,— признался Владик.

— Еще бы! Так что придется тебе, Владичек, меня терпеть. Пока не сделаешь корабль и пока не вернется Гоша... А уж потом...

— Что?

— Потом сказке конец, и ты от меня избавишься.

— Да не хочу я избавляться,— пробормотал Владик.— Просто хочу, чтобы ты не вредничала.

— А я хочу, чтобы ты не хныкал.

— А я хочу, чтобы ты...

— Опять?! — грозно спросил из бутылки Тилька.

— Нет, что ты! — хором сказали Владик и Ника.

Мама иногда заглядывала в комнату и улыбалась. Она была очень довольна, что Владик познакомился с такой славной девочкой и что они так дружно мастерят кораблик. Мама была уверена, что Владик и Ника готовят экспонат для осенней выставки во Дворце пионеров.

Тильку мама не замечала: стеклянный барабанщик сливался со стеклом бутылочных стенок.

— Это такие динь-законы преломления света,— важно разъяснил он.

До вечера Владик и Ника успели поругаться еще несколько раз. Тилька наконец разозлился всерьез и зазвенел в бутылке, как сто сердитых колокольчиков. О том, что зря он связался с такими скан-динь-далистами и без-динь-дельниками. У него и так нет времени, скоро дождики — предвестники равноденственных бурь, все стеклянные музыканты готовятся к большим

концертам, и только он торчит в этой бутылке, как горошина в глупой погремушке... Если завтра начнется дождик, пусть Владик и Ника на него, на Тильку, больше не рассчитывают!

8

Утром погода была ясная. Летняя. Никаких намеков на дождик и тем более на равноденственные бури.

Ника прибежала к Владику очень рано. Она была в школьной форме с белым фартуком. Владик удивился:

— Ты чего это как на праздник?

Ника объяснила, что, во-первых, и так праздник: не каждый день спускают на воду клипер. А во-вторых, под фартуком удобно прятать рогатку.

Они разбудили Тильку. Тот, сердито звякая, начал завязывать на снастях клипера последние узелки. Потом сказал из бутылки:

— Все динь-дон. Готово.

— Ой...— сказал Владик.

— Опять «ой»... Что? — поморщилась Ника.

— А название?

— Зачем? И так ясно, что это «Кречет».

— Все равно надо. На всякий случай,— настаивал Владик.

— Почему же заранее не написал?

— А почему ты не напомнила?

— А почему...

— Опять? — подал голос Тилька.— До чего несносные люди! Давайте я напишу!

— А ты умеешь? — удивилась Ника.

— Думаешь, если в школу не ходил, значит, совсем безграмотный?

Конечно, орудовать карандашом Тилька не мог. Это все равно что Владик взялся бы писать телеграфным столбом. Ника расщепила химический карандаш, отломила от грифеля кусочек и просунула в бутылку. Тилька начал выводить на коричневом дереве лиловые буквы.

— Кы... Ры... Че...

— Твердый знак не забудь,— сказал Владик.

— Чего ты лезешь к нему под руку,— сказала Ника.

— Это ты лезешь в разговор, когда не просят!

— Ну-ка прекратите! — велел Тилька. И протянул грифель: — Послюнявьте его как следует.

— Дай я,— предложил Владик.— У нее слюна ядовитая.

— А у тебя слюны вообще нет. Только слезы горючие.

— Скорпиои с сережками,— вздохиул Владик.

— Рыдаиье в очках...

— Сейчас ка-ак...

— Всё! — сказал Тилька. Крупио и криво, но зато очень заметно иа обоих бортах было выведеио:

КРЕЧЕТЪ

Бутылка лежала на залитом солнцем подокоииике. Тилька, блестя розовой искоркой, выбрался из нее и сладко потяиулся, раскииув прозрачиые ручки.

— Длиив-дело сделано. Теперь только пробка нужиа.

Владик и Ника перегляиулись.

— А... мастер не дал,— сказал Владик.

— А ои и не должеи. Пробку иадо ие стекляиную, а простую. Из пробкового дерева.

— Где же ее взять? — забеспокоилась Ника.

— Где-где! — рассердился Тилька.— Откуда я зиаю? Идите во двор, поищите! Этого добра на мусориых кучах полиым-полио!

Ника и Владик помчались во двор. Никаких куч там, коиечио, ие было, мусор сваливали в коитейиеры, а их увозила машииа. Ника язвительио гляиула иа Владика: «Сейчас иачиешь ныть?» Но Владик ие иачал. Ои иабрал воздуху и закричал:

— Андрюшка-а!!

Во двор выскочил второклассник Андрюшка Лопушков — известиый всей улице рыбак-любитель и добрый человек.

— Ты вроде бы собирал пробки для поплавков...— сказал Владик.

Андрюшка сбегал домой и подарил Владику и Нике прекрасную пробку — тугую и скрипучую.

— Тилька! Во какая! — похвастался Владик, вериувшись в комиату.

Но Тильки ие было. К шпиигалету была привязаиа суровая нитка. Она уходила из окна вниз и терялась в траве. На подоконнике химическим карандашом было иацарапаио:

Миня вызвали на рипитицыю

— Просто мы ему надоели,— вздохнул Владик.

— Кто это «мы»? У меня с ним были прекрасные отношения.

Владик промолчал и вставил пробку в бутылку.

За белым, похожим на пароход стадионом «Юный моряк» лежал пустырь. Он зарос вперемешку сурепкой и белоцветом — пыльной высокой травой с пушистыми головками. В траве кое-где виднелись желто-серые глыбы песчаника. Торчало несколько столбов для веревок: тетушки из тайного клуба недавно пытались захватить эту территорию, но им оказали сопротивление ребята с улицы Матроса Кошки — те, что играли здесь в разведчиков и пряталки.

Одним краем пустырь выходил на береговой обрыв — между оконечностью Приморского бульвара и яхт-клубом. Под обрывом громоздились обломки скал, за ними, у самой воды, тянулась узкая полоса галечника. Дно здесь круто убегало на глубину. Ника и Владик решили, что это место — самое подходящее для спуска «Кречета», если ветер будет дуть от берега.

Ветер дул от берега. Мягкий и теплый. Владик отбросил газету, в которую была завернута бутылка. Газетный лист поплыл по ветру к обрыву. Он задевал головки белоцвета, и похожие на шелковистых пауков семена летели за ним.

На пустыре сейчас никого не было. Только трещали кузнечики. Их звон был похож на звук Тилькиного барабана.

«Жалко все-таки, что Тилька убежал»,— подумал Владик. Но вслух не сказал: Ника опять заявит, что он хнычет.

Владик положил бутылку на плоский камень. Потом они с Никой вышли на обрыв. Море было спокойное. У берега -- темно-зеленое, дальше — очень синее. У скал плавали медузы, похожие на громадные белые пуговицы. До воды было метров пятнадцать.

— Добросишь? — строго спросила Ника.— Не грохнешь о камни?

— Не грохну,— серьезно сказал Владик.— Но я боюсь: бутылка упадет слишком близко от берега.

— А что делать?

— Давай спустимся, я отплыву с бутылкой метров

на тридцать н сразу вернусь... Ты попадешь с трндцати метров?

— Не волнуйся...

Ника посмотрела иа часнкн.

— Поторапливайся,— велела она.— Пять мннут осталось.

Прозевать точиое время онн не боялись: ровно в полдеиь иа бастиоие, у выхода нз бухты, грохала старинная пушка. Но к этому моменту бутылка должиа плавать в иужиом месте, а Ннка — стоять с рогаткой наготове.

Владик повериулся, чтобы бежать за бутылкой.

На камне бутылки ие было.

Оиа была в руках у волосатого парня. Ои сндел иа велосипеде и, опираясь ногой о камеиь, вертел бутылку перед носом. Два другнх парня — тоже на велосипедах — тяиули к бутылке рукн.

Владик и Ника подбежали.

— Дайте, пожалуйста, это наша,— быстро н осторожио сказал Владик.

Парень приподиял над седлом обтянутый джинсамн зад и обериулся. У него было круглое мясистое лицо, очеиь похожее иа лнцо Игнатнн Львовны.

— Что за писк? — спросил пареиь н осклабился.

— Это иаша,— повторнл Владик.

— Кыш, мотыльки,— сказал другой пареиь н перехватил бутылку.— Ну-ка, ну-ка? Чегой-то в ней такое? Братцы, музейиая вещь! — Он прнподнял чериую, будто иарисоваииую бровь.— А что иам дадут на рыике за этот экспоиат?

Ои подбросил и ловко поймал бутылку за горлышко.

У Владика подскочнло н упало сердце.

— Это иаша! — отчаяино сказал Владик.

— А доказательства? — вкрадчнво сказал третнй парень — длиииолицый и белобрысый.

Ника решительио протянула руку:

— Дайте сюда!

— Цыц, сявка-малявка, а то отшлепаю,— добродушно сказал пареиь с мясистой рожей. И отодвинул Нику. Ника отлетела в стеблн белоцвета и заорала:

— Отдай сейчас же, шпана проклятая!

— Такие маленькие и так ругаются,— укоризнеино сказал пареиь с иарнсованнымн бровямн. И опять кн-

нул бутылку. Владик бросился к нему и отлетел от встречного толчка.

Парни оттолкнулись от камня и поехали, перебрасываясь бутылкой, как мячиком.

...Владику казалось, что это было очень долго. Что он несколько часов гонялся за парнями, то умоляя отдать бутылку, то ругаясь, то угрожая милицией. Он не стесиялся ни слез, ни своего крика. Главное — успеть. Потому что — последний день, последний срок! Неужели все погибнет из-за глупой случайности? Из-за каких-то гадов, которые захотели погоготать и поиздеваться...

Они носились между камней, терзая колесами траву и кидая бутылку из рук в руки. И каждый раз она могла грохнуться! И минуты бежали!..

Владик выдохся и встал, опустив руки. И увидел рядом Нику.

— Осталась минута,— как-то очень спокойно сказала Ника.

— Не успеть.

— Если бросить с обрыва, успеем.

— Они не отдадут...

Ника, сжав губы, размотала рогатку и взяла из кармашка сухой глиняный шарик.

— Беги к ним. Как поедут, я грохну по колесу. Из колеса будет дым.

— Нельзя. Они уронят бутылку, она разобьется.

— В траве, может, не разобьется.

Владик опять бросился к велосипедистам. Они заржали, им нравилась такая игра.

И в этот миг, растолкав теплые пласты воздуха, мягко ухнула на бастионе пушка.

— Ура-а-а! Салют! — заорал парень с мясистой рожей и швырнул бутылку высоко-высоко.

Владик видел, как она вертится в воздухе, разбрасывая искры. Потом, достигнув самой верхней точки полета, она замерла на миг...

И взорвалась!

Воздух туго ударил Владика и опрокинул в траву. Мгновенная тень накрыла пустырь. Узкое темное тело повисло над землей на высоте трехэтажного дома.

И Владик увидел, что это корабельный корпус.

В те секунды, лежа в стеблях белоцвета, Владик увидел сразу очень многое. Как вскакивают на велосипеды и, пригибаясь, мчатся прочь похитители бутыл-

кн. Как Ника со сжатыми губамн медлеино опускает рогатку. Как длннное тело корабля, обросшее снизу слоем серых ракушек, плавио передвнгается в сторону обрыва...

Владик вскочнл.

Возникший в воздухе клипер ие падал, не снижался. Ои плыл к морю, словно поимал, что именно там его место, его жнзиь.

Владик задохнулся от восторга. С полмниуты ои молча смотрел на это радостное чудо. С желтых реев клипера сами собой скользилн, расправляясь на ветру и округло надуваясь, снежные паруса.

— Это ты выстрелила?! — крикнул Владик Нике. У Ники были широко открыты глаза, и клипер отражался в иих белыми огоньками.

— Да! — крикнула она.— Я решила: пускай лучше на земле останется, чем совсем пропадет! Пускай даже разобьется! Как-нибудь починим н спустим!

— Он ие разобьется! — ликовал Владик.— Он понимает!

— Ты думаешь? — сказала Ника.

9

Клипер был уже над морем.

— Сейчас, сейчас,— прошептал Владик.— Смотри, он ищет место, где опуститься.

Но клипер не сиижался. Неторопливо и ровио уходил он от берега на прежией высоте.

— Стой! Ты куда? — закричал Владик н бросился за кораблем.— Опускайся! Опускайся, «Кречет»!

Клипер не слышал. Или не понимал. Илн не хотел спускаться. Он уплывал и был уже в сотне метров от кромки обрыва. И Владик понял, что скоро Гошин клипер уйдет далеко-далеко. Дальше желтого обрывистого мыса с похожим на белый карандаш маяком, дальше синих сторожевиков, которые маячат у горизонта. И растает, как тают маленькие светлые облака.

— Не надо! Подожди!! — крикнул Владик. Но «Кречет» продолжал свой бесшумный, ровный путь.

Больше Владик не кричал. Он почувствовал, что громадному, окрыленному солнечными парусами кораблю нет иикакого дела до мальчишки, который мчится где-то далеко позади и внизу. С высоты он похож иа букашку.

Но Владик бежал — молчаливо и отчаянно. Потому что улетала иадежда увидеть Гошу. Бежал, хотя знал, что это бесполезио. Скоро обрыв...

Если бы оказаться там, на палубе! Владик ухватился бы за штурвал... Нет, не за штурвал. Там на брашпилях есть стопора. Владик зиает, надо их выбить, и тогда с грохотом рииутся вниз иа цепях якоря...

Он бежал, бежал, мчался и ни иа что ие иадеялся, ио каждой клеточкой тела стремился хоть иа чуточку приблизиться к кораблю!.. Если бы полететь! Рвануться вверх, ввиититься в воздух, который упругими волнами бьет навстречу! Это же можно, если еще быстрей, если еще отчаянней вперед!..

И Владик полетел.

Он летел очень иизко, издали казалось, что ои все еще бежит. Но саидалии не касались земли, они чиркали по головкам белоцвета и желтым цветам сурепки.

Владик протяиул руки к улетающему клиперу. Воздух рвал его рубашку, оттягивал иазад волосы, остро прижимал к переиосице очки. Трава хлестала по сандалиям все быстрее и жестче. Владик рванулся вверх и...

Что-то похожее на тугой резииовый шиур зацепило ему иоги.

Иперция бросила Владика вперед, в ломкие стебли, швыриула через голову, протащила плашмя по мелким камиям. Владик затих в траве и сначала ничего не чувствовал. Только давила темиота и тишина, будто его завалили тяжелыми кожаиыми подушками. «Вот так и разбиваются насмерть»,— подумал Владик. Но тут в него десятками ржавых гвоздей воткиулась боль.

Ои застонал и подиялся, опираясь иа руки.

— Владька, ты где? Ты что? Живой?

— Нет,— сказал он разбитыми губами. И поморгал. Залитые слезами глаза видели только размытые пятна света.

— Где очки? — простонал ои.

— Очки? Не зиаю... ой, вот они. Только одно растрескалось...

— Дай...

Ника иацепила на него очки и сказала:

— Вставай.

— Ага, «вставай». Тебе бы так... Где «Кречет»?

— Вон, у мыса.

Владик снова поморгал. И различил наконец правее мыса улетающий клипер. Он казался теперь совсем небольшим — как модель в Корабельном музее.

— Ушел,— сказал Владик. И заплакал от боли и от горечи.

— Наверно, он не смог опуститься,— вздохнула Ника.— Он ведь родился в воздухе, значит, и будет навсегда воздушный корабль. Волшебный.

Владик продолжал плакать.

— Ну-ка встань,— сказала Ника.

Всхлипывая, он встал.

— Здорово ты треснулся,— заметила Ника.— Ладно, перестань. Пройдет.

— Дура ты,— всхлипнул Владик.— Что пройдет? Мастер не будет делать новую бутылку. И Гоша не вернется...

— Ну... почему не вернется? — неуверенно сказала Ника.— Корабль-то есть. По-моему, Гоша уже там.

Владик забыл про боль.

— Откуда ты знаешь?

— По-моему, я видела... На корме...

— Гошу?

— Я же не знаю: Гоша там или кто. Но кто-то был...

— Врешь,— сквозь слезы сказал Владик.

Ника вскинула в салюте руку с зажатой рогаткой:

— Честное железное, надежное-якорное: видела, как мелькала на корме тельняшка.

Владик опять всхлипнул, но уже обрадованно.

— Перестань реветь,— сказала Ника.— Ох и нытик ты, честное слово...

— А ты...— сказал Владик.— А ты...

— Давай-ка спустимся к воде,— усмехнулась она.— Промоешь боевые раны.

Владик облизнул распухшие губы, потрогал ушибленное плечо, осторожно переступил побитыми ногами. Царапины набухали темной кровью. Ника взяла его за локоть. Хромая и постанывая, Владик пошел с ней к обрыву.

Медленно и осторожно они спустились по изломанной тропинке среди нависающих глыб. На узком галечном пляже Владик начал расстегивать сандалии, чтобы войти в воду.

— Не разувайся, ндн так,— сказала Ника.— Здесь дракоичнкн водятся. Наступншь на плавинк — вот тогда повизжишь.

Владик сердито хмыкнул, но послушался. Прямо в саидалиях забрел по скользкой гальке в воду. Выше колен. Плеснул пригоршней в лицо, потом окуиул руки до локтей. Ссадины сильно защнпало, но это была уже не страшиая боль: в морской воде много йода, от нее инчего, кроме пользы. Владик выпрямился. С пальцев, с подбородка и с ушей капало. Очки былн в брызгах, ио все-таки Владик снова разглядел в небе клнпер. Тот был уже далеко и казался светлым пятиышком. На мысу, у подножия маяка, бегалн и махали руками людн. Маяк вдруг замнгал красными вспышкамн. Прн свете дия это было уднвнтельио...

Когда поднялнсь по тропинке, Владик опять охнул и прнсел иа плоский камеиь.

— Подожди, передохиу. Костн трещат.

— Только не строй из себя нивалида,— сурово сказала Ника.

— Как ты мие надоела,— вздохиул Владнк.— Только и зиаешь воспитывать...

Он опять отыскал глазами «Кречет». Тот был еле видеи — тающая белая звездочка.

— Пора домой,— тихо сказала Ника.— Сказка про воздушиый корабль кончилась. Все хорошо.

— Что хорошего? — отозвался Владик.— Гоша-то ие вериулся.

— Да,— кивиула Ника.— Но главиое ие в этом.

— А в чем?

— В том, что он все-таки ожнл.

— Если бы это зиать точио,— печально проговорнл Владнк.

Ника серьезно сказала:

— Посуди сам. Все вышло, как было задумаио: бутылку сделали, деревяшку от «Кречета» иашлн, корабль появнлся. Значит, и последнее чудо обязательно получнлось, только мы ие виделн. Гоша иаверияка на «Кречете».

— Правнльио! — обрадовался Владик и вскочнл. Сморщился от боли и снова сел.— Да... Но тогда, я думаю, Гоша еще прилетит.

Нника смотрела виимательио н немножко грустио.

— Может быть...— сказала она.— Только ни в од-

ной сказке я не читала, чтобы летучие волшебные корабли возвращались.

— Потому что им незачем было возвращаться,— возразил Владик.— А на этот раз есть зачем... Гоша вернется. Спорим?

— Не буду я спорить,— вздохнула Ника.— Пусть вернется... Все равно это будет совсем другая сказка...

— Почему? Какая еще другая?

Ника сорвала головку белоцвета, дунула и, глядя, как улетают семена, сказала:

— Другая. Твоя... А до сих пор была наша с тобой, общая...

Владик моргнул. Поправил треснувшие очки, чтобы внимательней взглянуть на Нику. Но почему-то смутился и стал смотреть на прилипшую к разбитому колену паутинку. Один ее конец дрожал на ветерке. В паутинке играла крошечная искорка. Будто на плече у Тильки.

Владик сипловато спросил:

— А теперь?

— Что? — тихо отозвалась Ника.

— Сказка... Теперь уже, что ли, не общая?

Ника усмехнулась.

— Ты забыл,— сказала она снисходительно, как маленькому.— Я же обещала: кончим возню с твоим «Кречетом» и я больше не буду надоедать. Ну, пока...

Она медленно шагнула от камня. Остановилась. Сделала еще шаг. Владик вскочил. Ойкнул от боли в колене и все же прыгнул за Никой. И крепко схватил ее за руку.

— Ты куда?

— Домой,— сказала Ника насупленно и не очень уверенно.— Ты чего? Пусти...

Владик сказал:

— Но это же... Ника! Просто свинство непрозрачное!

— Почему? — она отвернулась.

— Конечно,— пробормотал Владик.— Тут человек весь ободранный, искалеченный... а она... домой.

— Ах ты несчастненький! — воскликнула Ника.— Ладно уж, провожу. А может, на ручках отнести?

— Обойдусь,— буркнул Владик и, морщась, пошел по тропинке к шоссе.

На шоссе мелькали разноцветные машины, их было гораздо больше, чем всегда. Среди этих машин мча-

лись лиловые «Жигули». Конечно, Владик и Ника не знали, что это едет профессор Чайнозаварский. Он спешил в редакцию со срочной статьей, в которой говорилось, что никакого летучего корабля над городом не было. Потому что, если он был, его следует отнести к неопознанным летающим объектам (НЛО), а таких объектов не бывает. Это знают все, кто читал его книгу «Небесный бред — опасный вред»...

Ника шла рядом с Владиком. Тропинка была очень узкая, и Нике пришлось шагать по траве. Они с Владиком быстро посмотрели друг на друга. Отвернулись и прикусили губы, потому что у обоих поползли улыбки. Владик споткнулся, опять охнул и захромал сильнее.

— Может, палочку найти? — торопливо спросила Ника. То ли всерьез, то ли с подковыркой.

— Все-таки ты ужасная вредина,— вздохнул Владик.

— А ты кошмарный нытик.

— Ах ты... Ох... Наверно, у меня трещина в коленной чашечке.

— В языке у тебя трещина! — рассердилась Ника.— Давай держись за меня, мученик...

Владик подумал и легонько оперся о ее плечо. Потом вдруг взял покрепче. И сказал:

— Теперь не убежишь.

Ника растерянно мигнула. Отвернулась и хмыкнула:

— Хитрюга.

Они прошли еще с десяток метров и увидели, что из-за камня шагнул им навстречу мальчишка.

10

Мальчишке было лет семь.

У него были волосы, как стеклянное волокно, и дерзкие голубые глаза.

Он был худой, незагорелый и голый.

Ника смущенно замигала, но тут же строго сказала:

— Ты чего это так гуляешь!

— Я не гуляю, а вас жду,— сказал мальчишка звонким и немного капризным голоском.

— Ну, все равно... в таком виде.

— А в каком же мне быть виде, если я такой появился?

— Откуда ты появился? — удивилась Ника.

— Из бутылки, конечно!
Владик обалдело заморгал.
— Из какой бутылки?
— Да вы что! — закричал мальчишка.— Совсем не видите, что ли? Совсем не понимаете?
Он выхватил из высокой травы и надел через плечо большущий сверкающий барабан.
— Тилька-а...— ахнул Владик.
— А кто же еще!
— Как это ты... получился?
— Потому что я хотел стать настоящим! Я в бутылке спрятался под корабликом и ногами за руль зацепился, чтобы о стенку не длинькнуться. А когда бутылка лопнула, меня ка-ак кинет! Вон туда, в траву! Воздушной волной! Я же не знал, что бутылка в воздухе разорвется. Думал, что мне совсем длинь...
— Тут такая заваруха была....— сказал Владик.
— Я все видел,— отозвался Тилька.— И как ты о тень дзынькнулся. Думал сперва, ты совсем вдребез-з-зги.
— О какую тень? — удивился Владик.
— Ты разве ничего не понял? Тень от веревки. Она качалась на траве. А когда ты зацепился, она — динь! — и пропала.
— Чертовы веревочницы! — сказала Ника.— Завтра я объявлю им решительную войну. А пока пора домой... Владик, дай Тильке рубашку, она ему до колен будет, сойдет за весь костюм.
Владик остался в майке. Тильку обрядили. Он сказал капризно:
— Как платье. Все смотреть будут.
— Смотреть будут на твой барабан. А тебя из-за него и не видать почти, ты еще маленький,— разъяснила Ника.
— Не такой уж я маленький. Я в первый класс пойду. Должны принять, сейчас еще самое начало учебного года.
— А жить-то где будешь? — спохватился Владик.
— Как где? У стекольного мастера. Я же все-таки его ребенок!
Ника ехидно сказала:
— Теперь-то он тебя сможет воспитывать как надо.
— Динь-да? — опасливо отозвался Тилька.— Ну уж фигушки вам стеклянные...
— Пошли! — скомандовала Ника.

И они опять двннулнсь через пустырь. Впереди — веселый барабанщик в длнннной голубой рубашке н с белым барабаном, на котором снялн хрустальные обручи. Шагах в пяти от барабанщика — Владик н Нника. Владик уже не держался за Ннку, но все еще прихрамывал н морщнлся. Одни раз охиул.

— Не стони, не стонн,— сказала Ннка.— Костн целы, остальиое зажнвет.

— Ох н зануда,— сказал Владик.

Тнлька оглянулся на ннх:

— Опять ругаетесь?

— Да нет, что ты! — по привычке сказали Ннка н Владнк. Посмотрели друг иа друга и засмеялнсь. Но потом все-таки показали друг другу языкн.

— Что это у тебя с языком? — уднвнлся Владнк.— Совершенно сиинй!

— Я же грнфель мусолила. Забыл?

— Да? А я думал...

— Что ты думал?

Владик усмехнулся:

— Когда я маленький был, меня пугали: если буду ругаться или что-нибудь нехорошее говорнть, язык посннеет н отвалнтся...

— А что я такое иехорошее сказала?

— То, что Гоша не вернется! Разве не говорила?

— Я же ие точио. Просто я сомневалась,— примирительио сказала Ннка.

— А теперь? — быстро спроснл Владик.— Сомневаешься?

Ника подумала и осторожно прнзналась:

— Немножко...

— Он вериется,— тнхо сказал Владнк.

— Обяз-зательно,— подал голос Тнлька н стукнул в барабан.

— Ну н хорошо,— отозвалась Ннка.

— По-моему, ои вериется...— Владнк остаиовился.— А как же иначе? Я же ему рнфму придумал.

Ннка молчала, будто ие решалась спроснть. Но через минуту все же спросила:

— А... что за рифма?

Потом отвернулась и стала щелкать рогаткой по головкам белоцвета.

«Ни еднному человеку ие скажу»,— вспомнил Владик разговор с Гошей.

«Ну, почему ни единому. Надежному-то можно. Если он... это самое... скажем, твой хороший друг».

Владик опять взялся за Никино плечо. И сказал:

...«Кречет»!
Лети мне навстречу...

И тогда он, и Ника, и Тилька услышали сперва летящий шелест, потом шум рвущегося воздуха и голос ветра среди надутого полотна и натянутых тросов.

И солнце закрыли вырастающие паруса.

ТОПОЛИНАЯ РУБАШКА

РЕКВИЕМ

Реквием — это песня печали и памяти. Ее посвящают тем, кого уже иет. Людям, которых любили. Но этот реквием — ие о человеке. Ои о старом тополе, который был для меия живым, как человек, и любимым, как человек.

Да разве только для меня!

Тополь рос на углу улиц Дзержинского и Герцена, во дворе, где прошло мое детство. Ои был самый большой в городе. Сейчас это трудно доказать: у деревьев ие бывает документов. Но в те времена все ребята и взрослые зиали точио: ои самый высокий и самый старый.

Мой дядюшка — дядя Боря,— который живет в Тюмеии полсотни лет, однажды прислал мие свои стихи о тополе, а к иим приложил небольшую историческую справку:

«Впервые этот тополь я увидел в 1937 году, он был таким же, как теперь, а наша соседка Анна Васильевна

рассказывала, что домику, где мы поселились, восемьдесят лет, а когда его строили, тополь уже стоял...»

В стихах, посвященных тополю, дядюшка писал об этом же:

> Ты в минувшем веке родился,
> И шумишь весь двадцатый наш век,
> И с грядущим веком сроднишься,
> Коль не сгубит тебя человек.

Опасения дяди Бори оказались ненапрасными. Люди срезали тополь...

Я давно уже знал, что приземистого флигеля, куда меня принесли из роддома, больше нет. И что двухэтажный угловой дом, где жили друзья моего детства, тоже снесли. Да и всего квартала, где шла наша мальчишечья жизнь с деревянными мечами, футболом, воздушными змеями и парусными эскадрами в синих лужах, больше нет.

Ну ладно. Мы теперь взрослые люди и понимаем, что жизнь идет и обветшалые домики должны уступать места новым зданиям. И я хотя и с печалью, но и с пониманием тоже узнал, что на месте нашего флигеля теперь стоянка автомашин, а за ней, на месте старой пекарни (от которой по утрам так дразняще пахло свежими булками), стоит многоэтажное административное здание.

Но тополь-то кому помешал?

Или показалось, что нарушает он гармонию административного ансамбля?

Или испугались, что летом веселый тополиный пух будет залетать в окна кабинетов и легкомысленно оседать на страницах важных деловых бумаг?

И спилили...

А ведь он был живой, наш тополь.

И он был родной нам.

В своих нехитрых стихах дядя Боря написал:

> Жизнь ребячья здесь весело мчалась
> Чистым, звонким, как медь, ручейком.
> Только память о ней осталась
> Под зеленым и шумным шатром...

Даже не верится, что этого шатра больше нет.

Тополь осенял наше детство. Может быть, это звучит слишком романтично и старомодно, только иначе не ска-

жешь. Именно осенял. Да и не только наше. Сколько мальчишек и девчонок выросло под ним — и в прошлом веке, и в нашем, двадцатом. Вырастали, нянчили и учили жить своих детей. Уходили воевать, и случалось, что возвращались. Мне кажется, тополь помнил всех. Всех, кто, сцепившись друг с другом руками, пытался обхватить внизу необъятный ствол. Всех, кто прижимался лбом к бугристой коре и, зажмурившись и нетерпеливо переступая исцарапанными ногами, тараторил:

Раз-два-три-четыре-пять,
Я иду искать.
Кого первого найду —
В темный терем отведу.

Тополь помнил всех, кто ссаживал на коленях кожу, пытаясь добраться хотя бы до первой развилки. Всех, кто, окончив школу, вбегал во двор и радостно лупил по стволу ненужным теперь портфелем.

И тех, кто жил здесь всегда, и тех, кого заносили в наш сибирский город ветры военных эвакуаций...

Тополь не обижался ни на ребят, ни на взрослых. Не обижался, когда по нему били тугими мячами, когда вырезали на его коре инициалы и сердца со стрелами, когда стреляли в него из пугачей. Не обиделся на соседку Василису Тимофеевну, когда она вбила в ствол железный штырь, чтобы привязывать бельевую веревку. Не обиделся, когда в него кузовом впилил грузовик с дровами соседа Ивана Георгиевича. Был наш тополь незыблемый и вечный, как гранитная скала. Что ему какие-то царапины...

Он щедро кидал свою тень на двор, заросший по краям лебедой, крапивой и лопухами, на длинное трехступенчатое крыльцо, где мы любили играть в лото, в фантики или просто сидеть и рассуждать о жизни. (Крыльцо всегда пахло вымытыми досками, а сквозь щели нижней ступеньки прорастали одуванчики.) Иногда мы засиживались на крыльце до позднего вечера. Листва делалась черной, и сквозь нее мерцали живые, беспокойные звезды. Сквозь нее или просто среди листьев? Ведь тополь был до неба!

В годы моего детства было у ребят такое выражение: «До неба!» Это значит что-то очень большое. Больше всего на свете. «У меня знаешь сколько фантиков? Целая

тыща!», «Подумаешь! А у меня вообще до неба!», «Мама, я тебя знаешь как люблю! Вот так, до неба!».

Тополь наш тоже был «до неба».

И он связан был с небом, с высотой, с полетами. Сколько стрел из наших луков затерялось в его чаще и не вернулось на землю! Сколько воздушных змеев запуталось и навсегда сгинуло в его листве... Но мы не обижались на тополь, так же как он не обижался на нас.

Несколько раз ночные июльские грозы, белые от электрических вспышек и оглушительные (сейчас, по-моему, таких и не бывает), обрушивали на тополь молнии и шквалы. И тогда он с грохотом ронял на крышу нашего флигеля громадные горизонтальные ветви. Да что там ветви — целые деревья! Они пробивали кровельные листы, а крыльцо и двор буквально заваливали сучьями с мокрой зеленоватой корой и блестящими от дождя листьями.

Но тополь ничуть не становился меньше, его крона нисколько не редела. Я думаю, что свои упавшие ветви тополь с доброй усмешкой просто дарил нам. Утром выскакивали мы в сверкающий от солнца и луж двор, ныряли в прохладный воздух, который состоял из свежести и запаха тополиных листьев, вымытых дождевой водой. Холодные листья прилипали к лицу и голым локтям, когда мы стаскивали исполинские сучья к забору.

Из этих сучьев и ветвей мы строили большущий шалаш. Внутри шалаша было как в тополиной роще. Солнце среди листьев зажигалось белыми звездами с такими сверкающими и острыми лучами, что, казалось, они покалывали кожу. А тополиный запах заполнял весь мир. И вся наша жизнь делалась радостной, беззаботной, бесстрашной, потому что мы сливались с этой свежестью, с этим запахом листьев и солнечными звездами. Словно кровь наша перемешивалась с тополиным соком.

А может, и правда перемешивалась? И капелька этого сока осталась в крови до сих пор?

Когда уже не было старых наших домов и улица стала совсем другой, а тополь все еще стоял, он казался

мне нздалека — нз другнх городов, нз взрослой моей жнзин — иадежиым береговым ориентиром. Ои словно возвышался иа берегу моря, у самой воды, и можно было подплыть и привязать к стволу свою лодку. Я надеялся, что когда-инбудь так и сделаю. Подойду к тополю, прислонюсь лбом к бугрнстой коре, закрою глаза и на миг представлю, что все вокруг — как прежде. Услышу голоса приятелей-мальчишек, смех, скороговорку считалкн и патефоиииую песню «Любимый город» нз распахнутого окиа второго этажа. Это будет совсем иедолго. Долго н ие иадо. Из взрослой жизни не уйдешь, да и нечестно это было бы — убегать от своих дел н забот. Но короткий мнг возвращеиия в детство нужеи каждому. Такая вот отчетливая вспышка памяти о том, что было, н о тех, кто был. Без такой памяти трудно быть большнм. И каждому настоящему взрослому, помоему, иужеи такой тополь у зиакомой пристанн, к которому иногда можио привязать свою лодку...

Я утешаю себя тем, что хотя тополя иет, в памятн моей ои стоит всегда. Но все-таки до боли обидно, что его сгубили.

Интересно, как с иим справились эти равнодушные дядьки с пилами и топорамн? Наверио, пнлнлн по частям. Ииаче, рухнув, тополь мог бы разгромить наш флигель... Ах да, флнгеля уже не было. А блестящие «Волги» и «Москвичи» с автоплощадки, конечно, вовремя увели. дело иехитрое...

Наверио, к моей крови н в самом деле прнмешалась капелька тополниого сока. Поэтому каждый год цветеиие тополей я встречаю, как праздник. Миогне люди ворчат, нм ие иравится пух, оседающнй на модиые пиджакн, щекочущий лнца. Ои влетает в комиаты и льнет к полировке современных мебельных стеиок и телевизоров. Этот пух для миогих — надоедливый сор. А я люблю ласковую, тихую метель июньскнх дией.

...В мае у тополя дружио разбухли острые почки. Потом кожура почек, похожая иа желтые раздвииутые клювики, сыпалась на двор. Она, клейкая и пахучая, лнпла к сандалиям, а иа ладоиях оставляла похожне иа весиушки пятиышки. Тополь окутывался прозрачиым зелеиым облаком. Скоро облако делалось гуще: рядом с молодымн лнстиками вывешнвалнсь длииные сереж-

ки — зеленые стебельки, усыпанные продолговатыми зернышками.

В июне зернышки лопались. Теперь тополиные сережки издалека были похожи на цветы черемухи. И весь тополь делался похожим на громадное черемуховое дерево. Но пух тополиных семян был, конечно, совсем непохож на мелкие сыпучие лепестки. Он плыл, плыл, плыл...

Воспоминанием об этой теплой медленной вьюге я и хочу закончить реквием старому тополю.

С этого же воспоминания начну повесть о тополиной рубашке — одну из незабывшихся сказок своего детства.

СКАЗКИ УЛИЦЫ НАГОРНОЙ

Стоял июнь сорок восьмого года. Цвели тополя.

Цвел громадный тополь во дворе на улице Герцена, цвели сотни других тополей на разных улицах и в переулках, над откосами длинного лога и над высоким берегом Туры. Эти тополя мне всегда казались детьми и внуками *нашего* тополя — самого большого. Ветер бесшумно снимал пушинки с ветвей, и миллиарды их плыли всюду: и у самой травы, и вдоль заборов, и над рыжими от ржавчины крышами, и высоко в синеве. И весь мой путь от улицы Герцена до Нагорной (что тянется по слободе Затюменке от реки, вдоль западных склонов лога) лежал сквозь тихую, пушистую метель. Тысячи летучих семян трогали меня невесомыми мохнатыми лапками.

Я купался в щекочущей метели и в лучах солнца — тоже щекочущих и пушистых. В самом полном смысле купался. На мне и одежды-то было только новые сатиновые трусики (их по маминой просьбе сшила недавно соседка Нюра). В те времена мода была попроще и считалось обычным делом, если мальчишки гуляли по городу в одних трусиках и босиком. Можно было так и в кино пойти, и в библиотеку, и в Сад пионеров на улице Республики. Никому и в голову не пришло бы удивляться или сердиться. В теплые дни преимущества такой одежды были самые явные. Для родителей — сплошная экономия, для нас — полное удобство. С берега в речку бултых без всяких хлопот. Когда бежишь — чувствуешь себя как пушинка. Окажешься под ливнем —

никакой беды, а одна только радость. Через пару летних недель кожа делалась коричневой, прокаленной и приобретала удивительное свойство: солнечные лучи, ласковость тополиного пуха, пушистые касания ветерков она чувствовала каждой крошечной чешуйкой, а для всяких колючек и ядовитых трав делалась неуязвимой. Не брал нас ни кусачий чертополох, ни сердитый шиповник, ни вечный враг мальчишек — крапива. Та, что густо росла вдоль заборов и несла добровольную сторожевую службу в садах, где зрели мелкие сибирские яблочки. Хозяйками таких садов были всегда пожилые крикливые тетушки.

К таким тетушкам принадлежала и хозяйка на улице Нагорной, где с недавних пор я жил с мамой, отчимом и годовалым братом Лёськой. Вообще-то тетя Тася была ничего, не злая, но при каждом удобном случае говорила, что «робяты — как котяты, ума ни на грош, а писку цельный ковш, и учить вас уму-разуму надо не как в школе, а по-старому». И любила рассказывать, как воспитывала своего племянника. Но я тетю Тасю не боялся. Во-первых, яблочки еще не созрели; во-вторых, я вообще не боялся взрослых.

А вот незнакомых мальчишек я, честно говоря, опасался, хотя уже не маленький был — десятый год. Почему-то в любой новой компании меня быстро начинали дразнить и даже поколачивать. То ли не везло мне на знакомых, то ли мальчишки сразу угадывали мой страх перед ними, а боязливых нигде не жалуют. Поэтому, куда бы наше семейство ни переезжало, я продолжал ходить в старый двор на улице Герцена. Здесь прошло мое дошкольное детство, здесь друзья были надежные, а недруги — привычные и нестрашные. А на других улицах...

Вот и сейчас я радовался лету, но на всякий случай поглядывал по сторонам.

Мой легонький наряд, несмотря на массу достоинств, страдал все же одним неудобством — ни единого кармашка. И подарок дяди Бори — маленький пластмассовый компас — я нес в кулаке. За него-то я и боялся: не отобрали бы.

Ремешка у компаса не было. Одно ушко отколото, черная пластмасса корпуса — в царапинах. Но мне это даже нравилось: сразу видно — бывалый компас. Может, из экспедиции или с фронта.

Дядя Боря объяснил, что купил компас за пятерку на толкучке, когда искал для бритвы лезвия «Экстра» (бриться грубым «Стандартом» он не любил). Продавал какой-то подвыпивший мужичок: видать, не хватало на стопку. Дядя Боря н купнл. А мне сказал:

— Бери, пригоднтся. У меня в детстве был почти такой же...

Детство дяди Бори мне казалось спрятанным за небывалой толщей времен. Первые двенадцать лет мой будущий дядюшка прожнл еще до революции. Случалось, он рассказывал о своей ребячьей жизни и приключениях, н я слушал эти рассказы с интересом, но, по правде говоря, представить дядю Борю мальчиком не мог. А теперь компас будто проколол острой стрелкой трндцать с лншннм лет и соедннял нас, двух мальчишек. На секундочку, на миг.

Я тнхо спросил:

— Неужели ты был такой же, как я?

— Немножко не такой. Темноволосый был, а ты вон как пух тополиный...

Я подумал, что цвет волос — не главное. Похожесть людей не в этом... Все равно дядя Боря был когда-то *такой же*...

Компас показался мне чем-то вроде талисмана. Немножко волшебным.

Я сжал подарок в ладони н поспешнл домой, чтобы насладнться нм не спеша н без помех. Несколько раз по дороге я, оглянувшнсь, останавливался н включал стрелку. Она — жнвая — вздрагивала, начннала метаться и наконец поворачивала белое острие в сторону прохладной реки, а черный хвостик к дальнему берегу лога — там, высоко над крышамн н тополями кварталов, которые назывались Большое Городище, пылало полуденное солнце.

Но, играя с компасом, я не забывал об осторожности. И правнльно. Скоро я услышал гогочущие голоса, гвалт и перебранку. Навстречу двигалась ватага. Виднмо, с купанья. Впередн шагал тощий цыганистый Вовка Жмых — известная личность нз большого двора на улице Запольной. Я остановнлся и затрепетал в душе. Ватага могла и не обратить внимання на пацаненка вроде меня, а могла и «прнскрестнсь» ради забавы. Особенно если увидят, что боюсь... А еслн увидят, что нду незавнснмо, решат: нахальннчает малявка. И тоже привяжутся.

Рядом в заборе я заметил оторванную доску. Забор отгораживал от улицы чьи-то чахлые грядки. А за грядками — откос лога.

Щель была узка, ио ватага была близко. Кое-кто уже поглядывал иа меия. Я стал торопливо протискиваться. Плечо, голова, иога...

— Эй ты! — послышалось с улицы.— А иу, стой!

Я рваиулся, расцарапал грудь и пузо, зацепился, чуть ие оставил на улице единственную свою одежку, подхватил ее и кинулся через гряды. За мной метиулась рыжая косматая шавка. Но я уже катился по откосу сквозь пружииистый бурьян.

Виизу, в глиинистой воде Тюменки, я промыл царапииы, иа ободраииое плечо наклеил подорожиик и в таком виде явился домой.

Тетя Тася кормила на дворе кур. Она покосилась иа меия.

— Ишь испластался-то... Брюхо будто грабля́ми драл.

Я сообщил тете Тасе, что брюхо мое — как хочу, так и деру.

— Вот они, ионешние-то,— сказала тетя Тася.— Мать-то все по-культуриому его воспитывает, а ои вои чё... Лучше бы взяла крапиву...

— Вы только одио и зиаете,— огрызнулся я.

— Можно и другое. Можно вицу взять...

— Ага! Или ржавым ведьмам отдать, чтоб сварили,— ехидио добавил я.

Тетя Тася рассердилась:

— Не мели языком-то, про чё не зиашь...

Я хмыкиул и ушел в дом.

Про ржавых ведьм я кое-что знал. От той же тети Таси. И ие только про ведьм, про всякие другие страхи тоже.

Мы переехали в этот дом в январе. Квартиру подыскало иам Управление охоты и рыболовства, в котором работал отчим. Хотя «квартира» — это слишком громко звучит. Была просто комиата, разделеиная фаиерной перегородкой.

Кроме иашей комнаты были в доме еще две — хозяйкины. И широкая кухня с русской печью. В кухне обитала пожилая квартирантка Нюра. Она помогала тете Тасе по хозяйству. Хозяйство здесь было совсем деревен-

ское. Во дворе — стойло, где жили две коровы и добродушный боров Борька (я на нем иногда катался верхом). Большой огород, который кончался на берегу лога. В огороде стояла банька.

У тети Таси был взрослый сын, только видели мы его редко. Он все время где-то ездил. И все время то женился, то разводился, на что тетя Тася реагировала философски: «Ну и холера с им, пущай. Их вон сколь, девок-то! Ладно хоть внуками меня не наградил, а то куда я с имя́ на старости лет».

На это однажды квартирантка Нюра сказала:

— Ну чё радуешься-то, глупая. Тебе бы только сейчас и сидеть с внуками-то. А ты только с телкой да с боровом возишься, а кому это надо? Помрешь — эти животины тебя не вспомнят.

И они с тетей Тасей поругались.

Сама Нюра — рябая высокая тетка — жила одиноко: муж погиб в войну, детей у нее не было. А ей хотелось маленького, чтоб любить и нянчиться. Поэтому она тайком баловала меня: то три рубля сунет на мороженое, то пряником угостит, то просто вздохнет и приласкает. Мне это, по правде говоря, нравилось. Не из-за трешки и пряников, а так... Мама-то все больше с Леськой возилась, отчим был человек угрюмый, и я чувствовал себя слегка неприкаянным. Оставался еще у меня дядя Боря, но мы уже два года жили порознь...

Тетя Тася осуждала Нюру за ласковый характер и любовь к ребятишкам. И рассказывала, что сына своего воспитывала «без нежностев», а он вот «ничё, не глупее других вырос». Однако и сам сын «нежностев» к мамаше не питал, по полгода не казал к ней носа. Нюра так и сказала однажды.

— А Жора! — возразила тетя Тася.— Я его тоже сызмальства воспитывала, а он ко мне лучше, чем к родной матери...

Жора был ее племянник. Здоровый розовый дядька с редкими белобрысыми волосками. Он заведовал ветеринарной лабораторией. Этот Жора и правда испытывал к тетушке необъяснимую привязанность, часто навещал ее, и всегда с подарками.

Впрочем, Жора к моему рассказу отношения не имеет. Просто я впервые услышал про ржавых ведьм, когда тетя Тася вела очередной разговор про воспитание племянничка.

Но сначала надо вообще рассказать про те разговоры на кухне. Они случались зимними вечерами. Я в такое время уже лежал под одеялом в комнате без света. Моя кровать была придвинута к заколоченной двери, которая раньше вела на кухню. Все «кухонные беседы» были слышны до последнего слова. Леська спал, мне тоже полагалось спать, отчим был в командировке по охотничьим делам, и мама, чтобы совсем не заскучать, часто сидела с тетей Тасей и Нюрой.

Иногда приходили соседки из других домов. Порой пили чай или гадали на картах. Жаловались на свою бабью долю, привычно вздыхали и, бывало, рассказывали, как угадывать сны и приметы, чтобы избежать лишних бед. А отсюда недалеко было и до страшных историй — про домовых, покойников и водяных, с которыми эти тетушки, оказывается, все имели дело.

Их рассказы я слушал, ежась в темноте от цепкого ужаса.

Тетя Тася очень любила истории про злого домового по кличке Суседка.

— ...Я посреди грядок так и села. А он из ботвы-то космату башку выставил да говорит: «Иди-тко сюды, голубушка, иди, не боись...» А я вся закоченела со страху-то, еле языком шевелю. «Зачем,— говорю,— Суседушка, я тебе? Не надо»,— говорю... А он сладенько так, а все равно страшно: «Иди, иди сюда...» Тут меня как каленой кочергой по голове... Ой, девоньки, юбку я подхватила и домой без памяти. До утра тряслася, спать не могла...

Нюра сказала что-то неразборчивое, и все долго смеялись. Потом опять потянулся тети Тасин рассказ:

— ...А как вошла в баню-то — батюшки мои! — он с запечки-то на меня и глядит! У меня ноги-то и отнялись. Я на лавку хлоп, не могу ни рученькой шевельнуть, ни рта открыть. А он посопел, попыхтел да и вылазит весь. Сам коротусенький, настоящему-то мужику до пупа не будет, а широкий зато, и руки длинюшши. Рубаха синя, полосата до полу, а с-под рубахи-то пимы разлапистые, подшитые. Башка космата, а бороденка жиденька. И улыбается так, вроде по-добренькому. Только глазишши-то — вот где страх! — не глазишши, а дырищи черные. И тут я девоньки ка-ак...

«Девоньки» так и не узнали, чем окончился очередной контакт тети Таси с нечистой силой. Потому что я завопил:

— Ма-ма!

Страх, который копился во мие, рваиулся иакоиец в этом крике. Не мог я больше. В глуховатом голосе тетн Таси, в сумраке комнаты, в проблеске фоиаря и теиях на стене таилась необъяснимая жуть, н чуднлись в углах Суседки, бабы-яги и прочая иечисть. И подступалн, подступали н смотрели «чериымн дырнщамн»...

Мама влетела в комиату.

— Что с тобой? Присиилось что-то?

За несколько секунд я пришел в себя и понял, какой жуткий позор грозит мие, еслн откровенно призиаюсь в своих страхах. И сердито объясиил:

— Чего тут прнсиится, если усиуть иевозможно? Болтают-болтают всякую ерунду, как тут засиешь! Скажи им, чтоб ие так голоснли.

Мама все поияла н даже ие стала говорить, что нехорошо так выражаться про взрослых. В тот вечер иа кухию больше не пошла, а в другой раз сказала соседкам:

— Давайте-ка потише про всякне страхи разговаривать, а то Славка у меия от этого не спит.

— Ох уж, ие спит ои,— завелась тетя Тася.— Давно уж, иебось, дрыхнет без задиих ног. Оин как дием-то иаскачутся, дак ннчё к вечеру ие помият. Одна дурь в ихиих головах...

— У тебя как ребенок, так обязательно дурь,— сказала Нюра.

— А то ли я ие зиаю! С нмя́ без страху-то н ие сладнть, я по Жорке это поняла. Упрямый был, сладу иет. Говорю ему, говорю по-доброму — хоть бы какой прок. Рукавицы надену, крапнву сорву. «Иди,— говорю,— сюды». Другой бы бежать иаладился или «тетечка, больше не буду», а этот набычится только да сопит. Начиу его жучить, как оио полагается, а он опять сопит только и ие пикиет, паразит такой... Спрашиваю: «Будешь еще пакостнть да тетку срамить перед соседями?» А он: «Чё я сделал-то?» Совсем уж голову я поломала, как с им управиться, а потом будто кто меия надоумил. «Вот запру тебя,— говорю,— в баиьке иа цельиую иочь, там с тобой ржавы-то ведьмы не так поговорят. Огонекто разведут пожарче да в котел тебя...»

— И все ты перепутала, Таисья,— перебила старая соседка Полииа.— Сроду никого ржавы ведьмы в котел не совалн. Защекотать оин могут алн волосы выщнпать. А еще мие моя бабка сказывала...

Тетя Тася обиделась:

— Я про что сама знаю, про то и говорю. Кого защекотать, а кого и в котел, если банный день...

— Заврались вы, бабки,— с зевком сказала Нюра.— Все напутали. Те, которые щекочут,— это русалки. Они в воде водятся.

Тут обиделась Полина:

— Молодые-то, они шибко грамотные... А про русалок мы и сами знам, только сказки это. Русские народные... А ржавы-то ведьмы не по-русалочьи щекочут, не до смерти, а только от их потом лишаи идут, будто ржавчина, н чесотка всякая... У их для щекотки нарочно пальцы волосатые...

Я поежился под одеялом. Но все же слушать про ржавых ведьм было не так страшно, как про Суседку. Да и привык уже. Случалось и сейчас, что страх обволакивал меня с головы до ног, но теперь у него был какой-то сладковатый привкус. К страху примешивался ннтерес, похожнй на ожидание жутковатой тайны. Добра от такой тайны не жди, а знать все равно хочется...

МНОГОЭТАЖНЫЕ СНЫ

И вот здесь я начинаю писать про то, чего не было. Не было, н все. Кому неинтересны сказки, дальше может не читать, сразу предупреждаю. Кое-что из этой истории я увидел во сне, кое-что потом придумалось, чтобы в сказке не было запутанности...

Начало мне, конечно, приснилось.

Это был один из тех жутковатых снов, когда невозможно понять: что тебе привиделось, а что случилось уже наяву. Просыпаешься с колотящимся сердцем и думаешь: «Ух, слава богу, это был сон». Но... страх подкрадывается к тебе опять. И то, что пуга́ло, снова рядом. И вновь стараешься убежать, порвать упругие резиновые веревки сна... Проснулся? Или еще нет?

Такне сны я называл многоэтажными.

В тот вечер тоже пришел многоэтажный сон. Только я не спасался из него, а наоборот, уходил вглубь. Как бы спускался со ступеньки на ступеньку.

Мне снилось, что я лег спать, но уснуть не решаюсь. Знаю: как только засну, сразу увижу что-то жуткое. И поэтому мне страшно уже сейчас.

И все же глубокая дрема охватывает меня. И в этом новом сне (уже вторая ступенька, да?) я снова томлюсь от страха в своей постели. Сквозь ресницы вижу, как ползают по цветастым обоям светлые пятна от уличной лампочки и тени от сиреневых кустов в палисаднике. «Не смотри,— говорю я себе.— Не смотри, Славка... Ой, не надо...» Но не могу удержаться, смотрю. И случается то, что должно случиться: тени превращаются в громадное уродливое лицо. Лицо это беззвучно произносит круглым черным ртом: «Не вздумай заснуть. Хуже будет».

Я понимаю, что будет хуже. Нельзя закрывать глаза. Но чтобы не видеть страшного великаньего лица, я зажмуриваюсь и чувствую, что проваливаюсь в новый сон. И на этом, более глубоком этаже сна вижу, что все по-старому (только лицо чудовища растаяло). Я по-прежнему лежу на своей твердой кровати, съежился и смотрю из-за краешка одеяла сквозь слипшиеся ресницы. Стало светлее. Наверно, разошлись облака, а чистое небо июньской ночи темным не бывает. В комнате белесый полусвет, все видно. Тени на стене стали мягче. Но именно здесь ко мне приходит тот главный, настоящий страх. Сейчас-то и должно случиться *то самое*. То, ради чего сон...

Кругом все как на самом деле. Трет переносицу кромка жесткого одеяла (я натянул его до глаз). Колет ногу попавшая в постель крошка (это неправда, что во сне люди боли не чувствуют). На улице фыркнул и махнул отблесками фар случайный автомобиль. За перегородкой хныкнул Леська, и мама, не просыпаясь, машинально качнула его кроватку. На кухне постанывает и ворочается на скрипучих полатях Нюра. Но все это теперь не имеет ко мне отношения. Все это рядом, но за тройным слоем сна. А у меня теперь один страх, одна задача: *больше не смотреть на стену*. Потому что как взглянешь, так *оно* и случится.

«Не смотри, Славка. Ну, пожалуйста, не надо...»

И обмерев до полной неподвижности, со стоном в каждой жилке, с холодом в животе я расклеиваю ресницы и смотрю на обои широкими, отчаянными глазами.

И, конечно, вижу то, чего ждал.

На первый взгляд ничего особенного. Просто круглые часы в деревянном ободке, с фарфоровым треснувшим циферблатом, черными римскими цифрами и тонкими узорными стрелками.

Старые знакомые часы. Но весь страх в том, что их здесь не может быть. Они были у нас раньше, в моем самом раннем детстве. А потом сломались, механизм рассыпался, циферблат раскололся, а деревянным ободком я играл — катал вместо обруча по двору и по тротуарам на улице Герцена...

И вот они опять висят. И я не удивляюсь. Я знал заранее, что опять увижу их. И что часовая стрелка будет стоять на двенадцати, а минутная подползать к этому числу. Подползать тихо, но ощутимо. И вот, когда подползет... Что поделаешь, именно в полночь *такое* и случается.

И я, уже готовый к любому ужасу, гляжу не моргая, как две стрелки сливаются в одну. Сейчас раздастся скрежещущий гул, потом первый медный удар, и тогда... Вот! Просыпается в часах дребезжащая пружина... и...

Позвенела немножко и замерла. И дальше ни звука. Наоборот, еще сильнее тишина. Такая, что в ушах нарастает стремительный звон. Но это не опасный звон...

Значит, всё? Больше ничего не будет? Можно облегченно вытянуться под одеялом и передохнуть. Страх оказался напрасным. Ух как хорошо...

Он еще не совсем ушел, этот страх, но уже можно дышать. Я встряхиваю головой, чтобы прогнать звон из ушей... Прогоняю... Опять совершенно тихо. Совсем-совсем. И... что?

Сквозь эту тишину проходит еле слышный *звук*...

Что такое? Да нет же, это просто во дворе ветка царапнула о забор. Или шевельнулся на насесте петух Петька. Или в соседнем квартале простучали по деревянному тротуару чьи-то босоножки...

Но вот *опять*...

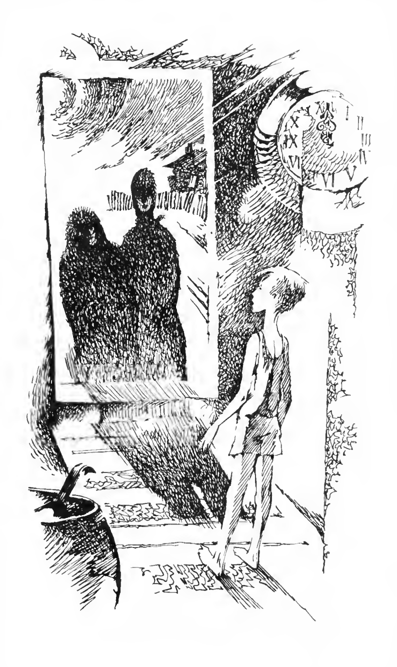
Нет, не босоножки это. Не ветка, не петух.

Это кто-то осторожно постучал согнутым пальцем в наружную дверь.

Ну и пусть постукивает. Мне-то что? Я буду здесь, с головой под одеялом... Но сквозь одеяло, сквозь ватную тишину снова — то ли стук, то ли царапанье...

Я не вижу, но знаю, чувствую, как в спрятанном под подушкой компасе повернулась белым наконечником к двери стрелка.

Ну и пусть повернулась. Я ни при чем! Это не ко мне! Кто-нибудь из взрослых проснется, пойдет и спросит: кого там принесло среди ночи?



Не проснутся. Они за тройной границей моего сна. Этот звук слышу только я. Он для меня одного.

Это — з а м н о й...

Не надо вставать, надо съежиться и замереть. Но у сказочных снов свои законы. И я поднимаюсь на слабых ногах. Седоватый сумрак меня окутывает, как туман. И страх снова окутывает — плотный и глухой. В этом тумане и в этом страхе я выхожу в темный коридор (вязаные половики щекочут ступни), медленно иду мимо спящих дверей, против своей воли отодвигаю тяжелую дверь в сени...

В дощатых сенях прохладно, пахнет влажной кадушкой и рогожами. Сумрачно светятся щели. За наружной дверью теперь тихо. Но я знаю — о н и т а м. Я это чувствую каждым волоском, каждым квадратным миллиметром дрожащей кожи. И не надо отпирать дверь, не надо. Надо тихонько вернуться и забраться в постель. А еще лучше — под кровать. Там, наверно, не найдут...

А ноги сами по себе медленно двигают меня к двери. А руки сами по себе нащупывают холодный дверной крючок и вынимают его из кольца. И дверь тихо-тихо отходит. И я вижу на крыльце и х.

Ночь светлая, и я вижу тех, кто пришел за мной, достаточно ясно. Это две тетки в глухих платках и длинных, косматых каких-то платьях (такими я и х и представлял). Одна — низкая, квадратная и не то чтобы старуха, но очень пожилая. Другая — высокая и помоложе. Впрочем, лица почти неразличимы, да и страшно мне смотреть на них.

Однако теперь я испытываю какое-то облегчение. Все равно жутко, но уже не так. Э т о наконец случилось, никуда не денешься. Так что уж все равно. Пусть...

— Вот он, появился, душа ненаглядная,— говорит пожилая тетка хрипловато и недобро.— Ну-ка, давай...

Она деловито разворачивает большущий мешок. Край мешка чиркает меня по ногам грубой тканью и какими-то колючками.

— Ну-ка, берися,— говорит она молодой. Вдвоем они растягивают верх мешка, и он разверзается передо мной темной пастью. Из «пасти» пахнет гнилой материей, пылью и отрубями. Я хочу отшатнуться, только сил нет.

— Лезь,— требует пожилая.— Неча время тянуть.

Я представляю, как там темно, душно и колюче.

— Не...— беспомощно говорю я.— Не надо...
— Как это не надо? Ну-ка, давай...
— Так полагается,— объясняет высокая. Голос у нее почище и несердитый.
— Ну, пожалуйста, не надо...— бормочу я.— Лучше я... так...
— Чегой-то «так»? — недоверчиво сипит пожилая.
— Я сам пойду. Без мешка...
— Ишь чё надумал. Без мешка дело не делают...
— Да пусть,— говорит высокая.— Не все ль равно?
— Ну, пущай...— ворчливо соглашается квадратная тетка.— Мне чё? Оно и лучше, тяжесть не таскать.
— Тяжести-то в нем...— тихонько говорит высокая.— Ладно, пошли.

Они сходят с крыльца, не оглядываясь,— знают, что я никуда не денусь. И я заколдованно бреду за ними. Через двор, через огород, между грядок, где хватает за ноги холодная картофельная ботва...

Я понимаю, куда мы идем. К бане. Там, в квадратном окошке с перекрестьем, качается желтый огонек.

Кто там? Что там? И что со мной сделают?

Банька недалеко, но мы идем к ней долго-долго — будто через большое поле. И над нами половинка луны — обесцвеченная в светлом небе.

И вот дверь...

Сколоченная из тяжелых плах, дверь эта отъезжает в сторону с натужным визгом. Изнутри вырывается запах остывшей бани: влажного дерева, березовых листьев, золы, холодных мочалок. Меня подталкивают вперед. «Проснуться бы»,— безнадежно думаю я напоследок. Но теперь такое чувство, что все это не во сне, а по правде. Делать нечего, шагаю в предбанник. Здесь темно, однако приоткрыта дверь в главное помещение (тетя Тася зовет его «мыльня»). Там колеблется свет.

— Иди-иди...— шепотом говорят мне в спину.

Я иду...

Раньше, когда я бывал в этой бане, мыльня казалась мне тесной. Того и гляди, зацепишься то за горячую печку, то за лавку с ведрами, то за мохнатые веники на стене.

Но сейчас я увидел, что мыльня стала просторнее. Посреди нее появился щелястый стол из некрашеных

досок, вокруг стола — табуреты. Печка с вмазанным в нее котлом словно отодвинулась в угол, полка, на которой парились с вениками, поднялась к потолку. А сам потолок стал выше.

Горели две свечи — на столе и на краю высокой полки. А лампочка у потолка не горела. Оно и понятно: всяким злодеям и нечистой силе электрический свет не по душе. В дальнем углу маячила какая-то машина с деревянным колесом и высокой рамой. Вроде как станок для пыток (я видел такой в трофейном фильме «Собор Парижской богоматери»). Я подумал об этом отупело и без особой тревоги. В другом углу — у печки — кто-то тяжело возился и кряхтел. Я разглядел пышную груду тряпья, блестящие очки и цветастый платок. И через несколько секунд понял, что там возится и сопит, сидя на скамье, толстая очкастая старуха с мясистым носом.

У меня из-за спины пожилая тетка сиплым басом сообщила:

— Ну вот, Степанида, привели его, валетика нагаданного. Он и есть...

— Ну, коли есть — сварить да съесть...— в рифму пробубнила старуха.

Меня продрало колючим холодком. Но сквозь новый испуг все же скользнула здравая мысль: «Сразу не сварят, котел-то холодный». Печка не горела, от котла пахло остывшим железом.

Та, что помоложе, недовольно сказала:

— Хватит пугать мальчонку-то. Ты, Степанида, сварить обещаешь, а Глафира на него с мешком... Он сомлеет раньше срока...

— А я чё? Я как по правилам,— все так же сипло огрызнулась квадратная Глафира.

А старуха Степанида сняла очки, глянула на меня булавочными глазками и наставительно пробубнила:

— Как надо, так и дéлам. Больше пользы будет. С их, с непуганых-то, какой прок?.. Это надо же, до чего костлявый... Ладно, говори.

«Говори»,— это уже мне.

— Чего? — прошептал я.

Глафира нагнулась, вполголоса объяснила:

— В чем виноват, все и говори.

Вообще-то в разговорах со взрослыми я был упрям и даже нахален. Заставить меня признаться в какой-

нибудь вне и просить прощенья обычно никому не удавалось. Но тут было не до фокусов. У меня сами собой выскочили слова — те, что говорят все прижатые к стенке мальчишки:

— Я больше не буду.

— Чё не будешь, мы и сами знам,— забурчала Степанида.— Ты давай про то, что было...

— Я же вам ничего не сделал,— жалобно сказал я.

— Не нам, а всем,— строго сказала Глафира. Она и ее приятельница все стояли за моей спиной.

— Про все свои грехи говори,— сказала высокая тетка и, кажется, слегка усмехнулась.

Я повесил голову (и в прямом и в переносном смысле). Грехов было множество. Даже за последние дни. Играл недавно в чику по пятаку за кон, а маме сказал, что понарошке. Катался верхом на борове Борьке, несмотря на суровый запрет. Рассорился с мамой, когда она просила посидеть меня с Леськой, чтобы сама могла сходить в мастерскую (а когда все же согласился и мама ушла, со злости хлопнул Леську за то, что он ползал под ногами и гремел сломанной машиной). В магазине устроил недавно скандал. Хлебные карточки уже отменили, но очереди еще случались, и вот я нахально пытался пролезть вперед, врал, что занимал очередь раньше всех, и для убедительности даже заревел (очень уж хотелось поскорее развязаться с делами и махнуть на речку).

Но самое главное — патроны. Я стянул четыре штуки у отчима из берестяной коробки, где он хранил охотничьи припасы. На улице Герцена мы с Толькой Петровым и Амиром Рашидовым выковырили дробь и порох, а гильзы утопили в уборной. Дробью мы стреляли из рогаток, а порох пустили на фейерверк — поздно вечером подожгли на помойке. Туда как раз тащила ведро Толькина соседка Василиса Тимофеевна... Крику было! Но нас, конечно, не поймали, только дядя Боря в тот вечер поглядывал на меня особенно пристально...

Вот такая история была на моей совести.

Но, с другой стороны, сам я похищение патронов грехом не считал. Отчима я не признавал ни за отца, ни даже за дальнего родственника, часто с ним не ладил, он ко мне тоже придирался. Поэтому на дело с патронами я смотрел не как на кражу, а как на месть вредному человеку...

— Ну! — сурово напомнила Степанида.— Чё молчишь-то, будто губы зашил? Все равно всё знам. Гляди, сварим...

— Про патроны тоже говорить? — подавленно спросил я.

— Про патроны не будем,— хмуро ответила Степанида и опять надела строгие очки.— Что было, то было, никуда уже не уйдет. Расскажи-ка нам, как у приятеля у свово в школе, которого завут Вовка Хряк, хотел деньгу́ старинну с орлом сташшить прямо из его сумки, когда ему у доски стоять было велено...

— Я же не стащил!

— Не сташшил, а хотел. И не совести побоялся, а что узнает да побьет... Вот про такие мысли, когда нехорошее дело задумывал, сейчас и говори... А то сразу съедим.

Я опять ужаснулся, хотя, казалось, дальше некуда. Мало ли какие мысли порой у человека в черепушке заводятся! Им ведь не прикажешь, мыслям-то. Иногда такие появятся, что самого себя стыдно. Как тут расскажешь?

— Ладно вам, тетки,— вдруг ясным голосом сказала высокая.— Чего маете мальчишку? Сами видите, какой он есть, а другого и вовсе нету. Не годится, что ль?

— Годится не годится, а по мне, так лучше сразу съесть,— пробубнила Степанида.— Ты, Настя, слишком добрая, вот чё. Молода еще. Гляди, наплачешься.

Высокая Настя засмеялась. А Глафира хрипловато посоветовала:

— На картишках бы ишшо раз проверить...— Она ткнула меня в плечо: — В карты играшь?

Я хотел соврать, что не играю. Но вспомнил: они же все равно всё знают. И как мы с Лешкой Шалимовым, Вовкой Покрасовым и Амиром по вечерам на крыльце...

— Маленько. В подкидного... и еще в «пьяницу».

— Пьяницы нам ни к чему,— сказала Настя.— А в подкидного давай. Как раз нас двое на двое. Степанидушка с Глафирой сядет, а мы с тобой.

Меня усадили к столу на гладкий холодный табурет. Я опять вздрогнул. Настя вздохнула, покачала головой, взяла откуда-то (будто прямо из воздуха) серый большущий платок и одним махом закутала меня вместе с табуретом. От платка немного пахло ржавчиной, но

он был пушистый, уютный такой, и страх мой поубавился. Может быть, это от тепла, а может быть, я уже устал бояться. То есть я боялся, конечно, только не как раньше, не до жути. И стало даже капельку интересно.

Старуха Степанида со скрипом и охами придвинулась к столу вместе со скамьей. Я разглядел ее получше. «Профессорские» очки в тонкой оправе совсем не подходили этой бабке, и я решил почему-то, что они краденые. Лицо Степаниды было в бурых бородавках, большущих, как соски козьего вымени. На бородавках торчали редкие волоски. Глазки за очками смотрели колюче, не по-старушечьи. Коричневый с черными горошинами платок был новый и торчал твердыми складками. Поверх серого платья на Степаниде косматилась вывернутая мехом наружу безрукавка.

Настя и Глафира тоже сели к столу. Глафира оказалась сбоку, я глянул на нее лишь мельком и даже не запомнил, в чем она. Помню только, что платок был черно-серый, клетчатый, повязанный низко над глазами. А лицо квадратное и какое-то очень равнодушное.

А у Насти лицо было круглое и красивое. Совсем еще нестарое. Даже почти молодое. Только морщинки у глаз и тени под нижними веками мешали полной молодости. Зато щеки были гладкие, как у девчонки, и губы красные и пухлые. Из-под зеленого платка торчала темно-рыжая, как старая медная проволока, прядка. А глаза ее оказались желтовато-серые, я это заметил, когда Настя близко глянула на меня и сказала:

— На, тасуй колоду. Умеешь?

Я взял. Карты были твердые, новые. На оборотной стороне, которая называется «рубашка», темнел красно-коричневый узор из листьев и завитушек, а в середине его проступала фигурка глазастой совы. Я сразу вспомнил, что такие карты весной пропали у Нюры. Она долго горевала и все расспрашивала, не видал ли кто случайно. А тетя Тася с явным намеком поглядывала на меня. Однако Нюра сказала: «Чё ты на ребенка-то зря глядишь». А я шепотом обозвал тетю Тасю «свинячьей дурой». Она услыхала, наябедничала маме, мне влетело, велели просить прощения. Конечно, я не стал... В общем, было дело...

А карты, значит, вот они! Я даже разозлился: за что страдал?

Я сердито стал тасовать краденую колоду и тут же увидел: нет, не краденая! Это были совсем другие карты. Странные! Карты «наоборот»!

Черви и бубны оказались черные, а пики и трефы — ярко-алые. Кроме них встречались и совсем незнакомые знаки: крошечные черные коты, коричневые черепа, зеленые листики... Но не это меня больше всего удивило. Поразили фигуры. Королей, валетов и дам рисуют до половины: одна голова вверху, другая внизу. Здесь тоже были половинки, только нижние: от пояса до пяток! Я видел длинные пышные юбки и острые туфельки, красные ботфорты с отворотами, атласные штаны с бантами, разноцветные чулки, башмаки с пряжками и полусапожки со шпорами. Колода оказалась толстенная — наверно, не меньше сотни карт. И, конечно, каждая карта — заколдованная...

— Чё разглядывать, дело делать надо,— сказала Глафира. Взяла у меня колоду, раздала каждому по шесть карт, оставшуюся пачку шлепнула посреди стола. Хихикнула: — Мурки — козыри.

Я увидел, что козыри — черные кошки.

Пошла игра в подкидного. Я осторожно сказал, что боюсь запутаться в незнакомых мастях.

— Как запутаешься — съедим,— пообещала Степанида. Настя неласково зыркнула на нее.

Я не запутался. Хотя и робел, но играл аккуратно. К тому же мне везло: достался козырный туз — одинокий черный кот с задранным хвостом. Его я и выложил в конце игры со скромно-победным видом.

Проигравшие Глафира и Степанида обиженно сопели. Степанида что-то опять буркнула насчет съесть, но себе под нос.

Вторая игра пошла азартно. Тетки с размаха хлопали картами по столу, и всякий раз по доскам стукали железные браслеты. У каждой был браслет. Я разглядел, что они тяжелые и ржавые. (Интересно, зачем они?) От первых ударов я вздрагивал, потом привык. И вообще потихоньку перестал бояться. Увлекся. Тем более что на этот раз мы с Настей проигрывали, надо было не зевать. Степанида, видно, прибрала себе немало козырей и довольно хихикала.

— ...А ну, стойте, бабы! — вдруг весело крикнула Настя. Я даже подскочил.

Настя хлопнула свои карты о стол, только одну оста-

вила в пальцах. Проговорнла хнтровато н ласково:

— А вот и ои, листик наш тополниый. А вы-то не вернлн...

И повериула карту к иам.

Вндмо, это был валет масти «зелеиый лнст»: в углах карты буква «В» и яркие лнсточки. Но странный какой-то валет. И дело ие в том, что ногн вместо головы (к этому я уже прнвык). Сами по себе ногн былн страииые, ие «прндвориые»: в мятых штанах до колен, в корнчиевых рубчатых чулках — полниялых н с дыркой на щиколотке. В брезеитовых полуботинках — одна подошва слегка оттопырнлась, как капризная губа.

Рисуиок был четкнй, будто цветная фотографня. И я опять испугался, потому что сразу все узиал: н оттопырениую подошву, н разлохмаченные шнуркн (один чериый, другой коричневый), и белую кляксу иа башмаке (Нюра капиула белнламн, когда краснла подоконннк). В этих башмаках я ходнл в школу в апреле — как раз когда у Нюры пропалн карты. И дырку на щнколотке я вспомнил: зацепился за щепку, когда мы на школьиом дворе помогали разгружать дрова. А самое главиое — тут уже не отопрешься,— нз кармаиа штанов торчала рукоять рогатки, оплетеииая желтым н красным проводом. Эту рогатку я выменял у Амнра на шарнкоподшипник для самоката...

— Ну? Разве ие похож? — с победной ноткой спросила Настя.— И белобрысеинькнй такой же, н нос сапожком, и ухи оттопыренные да облезлые. Чнсто фотокарточка!

«Где они увндели нос и «ухи»?» — подумал я н опять испугался. Глафнра хнхикиула н подтолкнула меня локтем. Стало щекотио. И мие показалось, что все четыре иогн иа карте беспокойно дрыгнулнсь. Я мнгнул. Настя быстро суиула карту под другие.

— Ну дак чё тогда,— скучиым голосом сказала Степаинда.— Тогда, зиачнт, нгре коиец...

Оии разом вздохнули, сделались иеподвнжные, задумалнсь про что-то, а про меия, кажется, забылн. Долго мы так сндели в тншнне. За окном сделалось светлее. Мие стало зябко, несмотря на платок. Я пошевелился н осторожно спроснл:

— Можио я пойду домой?

Оин будто просиулись. Громко затрещала свечка на столе. Степаиида пробубнила:

— Ишшо чё. Домой... Вон чё надумал...

— Вторых петухов-то еще не было,— недовольно проговорила Глафира.— И про оброк не сказали.

— Да ладно вам,— вмешалась Настя.— Чего ему эти петухи ваши? Дитю спать надо... А про оброк можно и до петухов сказать.— Она повернулась ко мне: — Ты вот что послушай... Без выкупа-то тебя отвязать от нас нельзя теперь. А выкуп такой: возьми Глафирин мешок, а завтра наберешь в него пуху тополиного...

— Зачем? — пробормотал я.

— Зачем — это дело длинное. Потом узнаешь.

— Полный мешок? Он во какой...— хмуро сказал я.

— А ты сильно-то не набивай, легонько клади, чтобы пух-то мягкий остался... А помнешь, дак сразу и съедим,— подала голос Степанида.

Я хотел спать и уже совсем не боялся. Я сказал:

— Ох и надоели вы с этим своим «съедим»...

Настя засмеялась, Глафира не то закашляла, не то захихикала опять. А Степанида обиженно откликнулась:

— Я же говорила... Вон они какие, нонешние-то... Шибко грамотные.

...Дальше помню смутно. Вышел из бани. За логом вставал золотой рассвет. Я бросил мешок на огородный плетень: больно он мне нужен! Дурак я, что ли, возиться с пухом? Пробрался в дом. Было тихо. Я сразу уснул...

ПОВЕСТИ БЕЛКИНА

Сами понимаете, утром я решил, что ведьмы мне приснились. А что оставалось думать? Мне помнилось, что сон был страшноватый, но приятный. Сказочный. А ведьмы теперь, когда сняло солнышко, вспоминались вовсе нестрашными. Даже Степанида казалась чуточку симпатичной.

Я подумал: не рассказать ли маме такой жутковато-волшебный сон? Маме, однако, было некогда. Перед этим она поссорилась с моим отчимом, а теперь воевала с Леськой, который добыл синьку, разрисовал себя и не хотел мыться. Мама дала Леське шлепка, а мне велела вытащить на помойку мусор.

Помойка была на краю лога, тропинка к ней вела через огород. Я вышел и... присох к земле. На плетне висел большой серый мешок.

Страх меня пробил, как ударом тока, от макушки до пяток. Несколько секунд я смотрел на мешок, будто увидел самих ржавых ведьм. Потом я рассмеялся. Потому что дурак я был: мешок наверняка повесила здесь тетя Тася. Вон она возится у коровьей стайки.

— Тетя Тася, здрасте! Это ваш мешок висит на заплоте?

Она выглянула из-под навеса.

— Не мой. Чё это я мешок буду на улице кидать? Чтоб сташшили?.. Нюрин, видать, она завсегда растеряха...

На ослабевших ногах я сходил к помойке, вернулся к дому. На крыльце ласково щурилась от утреннего солнышка Нюра.

— Нюра, это твой мешок там висит?

— Не, Славушка. На кой мне мешок? У меня их ни одного нету, я без приданого живу.— Она засмеялась, сходила в дом, вынесла мне горсточку липких карамелек.

Я машинально взял их, сел на ступеньку и задумался.

Мешок неизвестно чей. На плетень попал неизвестно откуда. Но легче уж предположить, что он выпал из пролетавшего ночью самолета, чем поверить в ржавых ведьм. А скорее всего, его принес зачем-нибудь тети Тасин племянник или достала где-то мама, приготовила под картошку. Но спрашивать никого я больше не стал. В самой глубине души я чувствовал: все откажутся. А так оставалось хоть какое-то реальное объяснение.

Мешок я спрятал под крыльцо. Никто его не хватился. Я полдня ходил по окрестным переулкам, брал у заборов горсти тополиного пуха, прятал под майку. Когда майка надувалась на животе, я относил добычу во двор и складывал в мешок.

Я понимал, что занимаюсь ерундой. Даже перед самим собой было стыдно. И я убеждал себя, что просто играю. Имею я право играть как хочу? Вот и придумал себе сказку про ржавых ведьм.

Но играл я только наполовину. А наполовину собирал тополиный оброк по правде. Потому что боялся. Это так же, как если запинаешься левой ногой. Знаешь, что никакого несчастья не будет и все приметы — чепуха, а все равно незаметно складываешь пальцы замочком...

К обеду мешок наполнился легким, неслежавшимся пухом на четверть. Тут я как-то сразу устал, обругал себя за глупость, заскучал по друзьям-приятелям и отпросился у мамы на улицу Герцена.

Мы с ребятами сходили на Туру и выкупались, потом с компанией из соседнего большого двора погоняли на пустыре мячик. Затем сыграли два раза в мушкетерскую игру «королевские подвески», и вдруг наступил вечер. И я увидел, что пора домой. И вспомнил, что мешок на три четверти пустой. Опять я выругал себя за дурацкие мысли и боязливость, но... теперь сумерки и время снов были уже близки. И я, вздохнув, подобрал у забора и спрятал под майку несколько горстей пуха — того, что разлетался по окрестным кварталам со старого тополя.

Это мое тайное дело заметил Толька Петров и, конечно, сунулся с вопросом: зачем? Я ничего не мог придумать с ходу и огрызнулся: не суй свой рыжий нос. Это было необдуманно: Толька сразу настроился на кулачный лад. Нас растащил дядя Боря, вовремя вышедший на крыльцо. Он сказал, что честные рыцарские поединки надо устраивать ясным днем, а сейчас уже десятый час. Солнце висело в самом конце улицы большущим красным глобусом. И я направился туда, к этому глобусу. В той стороне была улица Нагорная...

Дома я поужинал и лег спать. То есть не спать, а ждать: случится э т о или нет? Дом неторопливо затихал, за окнами так же не спеша собирались прозрачные, будто марля, июньские сумерки. А я ждал полуночи, ждал со смесью страха и желания. По-прежнему боялся я ведьм, но... жаль, если сказки больше не будет. И зря я, что ли, собирал пух? А если они рассердятся, что мало? Степанида опять заведет свое: «Съедим, да и дело с концом...» Да ну, чушь все это, не съедят. За такими мыслями я сам не заметил, как оказался на первом этаже сна. Просто понял, что уже сплю. Сказка неслышно звенела в тишине тысячью струн-паутинок. Это звенело во мне ожидание.

Но... звенело, звенело, а дальше — ничего. Часы не появлялись. Сказке чего-то не хватало. От досады мой страх почти исчез. Я встал, будто кто-то посоветовал мне, что делать. Нащупал на столе, среди раскиданных

книжек, огрызок синего карандаша и быстро, коряво нарисовал на обоях круг и цифры. И две стрелки: короткая на двенадцати, а длинная... она чуть-чуть не дошла до верхней черты.

И тогда... тогда сказка набрала полную силу. Сидя на кровати, я увидел, как нарисованная длинная стрелка шевельнулась. Я забыл дышать. А стрелка эта тихо двинулась вправо и слилась с другой в одну черту. В ту же секунду я ощутил нервами неслышный стук в дверь...

Всё было как вчера. Так же за дверью оказались Настя и Глафира. Так же шли мы через огород к баньке, а в ней мерцал огонек. Я нес на плече тощий мешок с невесомым оброком.

Конечно, Степанида просипела:

— Вот они, нонешние-то, работать им неохота. Ничего не набрал...

— Да ладно, хватит и того,— отозвалась Настя. И добавила непонятно: — Много ль ему надо...

— Ишшо н свалялось, поди, все... Тогда съедим.

Я вздохнул: надоело уже.

Никто меня, конечно, не съел. Сказали, чтобы сел на лавку у окошка и вел себя тихо, «не шебуршался и не мешался». Из темных углов ведьмы достали прялки — я такую видел у тети Таси. Разделили на три охапки тополиный пух, привязали к узорчатым лопаткам на подставках, сели, взяли веретена.

Веретена завертелись, запели, как быстрые волчки, из пуха из-под ведьминых пальцев побежала тонкая серебристая нить.

«Вот оно что! Волшебную пряжу делают...» — догадался я.

Веретена жужжали ровно, минуты бежали однообразно, а мне было нисколечко не скучно. Меня завораживал бег серебристых нитей. И от мысли, что я вижу колдовство, опять появилось сладковатое замирание.

Ведьмы негромко запели. Вернее, пела Настя — чисто и хорошо,— а Глафира и Степанида лишь хрипловато подтягивали.

Ночью выйду за околицу,
Огоньки погаснут ясные,
А луна, как желто яблочко,
По зелену небу катится...

Не возьму я злата-серебра,
А возьму я медных грошиков.
Прилетит из леса темного
Птица-филин говорящая.

Клюнет птица-филин денежку,
Медный грошик — будто семечко.
Клюнет раз, другой, а с третьего
Скажет мне слова разумные:

«В тихом доме у околицы
Разбуди мальчонку малого.
Пусть мальчонке будет от роду
Девять лет и девять месяцев.

Сшей обновку ему шелкову,
Награди добром да ласкою.
Будет он тебе помощником,
Для цепей тяжелых ключиком».

— Ну, чё про нашу песню скажешь? Али совсем плохо поем? — проворчала в углу Степанида.

— А чё сказать? — откликнулся я с некоторым ехидством.— Если скажу, что плохо, так вы сразу: «Съедим!»

Глафира тихонько закашляла-захихикала. А Настя смотрела серьезно и вопросительно.

Я, конечно, уловил в песне намек. Мне как раз было девять лет и девять месяцев. Но ни обновки, ни особой ласки я пока не видел, поэтому ответил уклончиво:

— Хорошая песня. Только непонятная какая-то. И грустная...

— Ох, батюшки, «грустная»,— забубнила старуха Степанида.— Будто есть нам с чего веселиться-то...

— Кабы кто развеселил,— поддержала ее Глафира.— А то мы только и знаем песни выть... Хоть бы ты, Тополек, рассказал нам что хорошее.

Она впервые назвала меня так ласково. И я от благодарности сразу сказал:

— Я рассказывать плохо умею, а книжку могу почитать, если хотите.

— Какую книжку-то? — оживленно спросила Настя. И даже веретено остановила.

Я мысленно перебрал свои любимые книги. «Робинзон» и «Гулливер», пожалуй, не годились. «Тимур и его команда» тоже не для такой обстановки. «Морские рассказы» Станюковича? Нет, это не для ведьм. И я вспомнил Пушкина. «Повести Белкина»! Там есть рассказ «Гро-

бовщик». Про мертвецов и всякие страхи. Наверно, ведьмам поиравится.

— Сейчас принесу! — Я поднялся с табуретки.

— Сбегёт,— нерешительно сказала Степанида.— Ои ведь иас всё ишшо опасается...

— Да вернусь я, честное пиоиерское!

— Зачем бегать-то,— возразила Настя.— Ты вспомии, какая киига и где оиа. Получше вспомни...

— Да помию я!

— Эта, что ль? — Настя махиула веретеиом, и знакомые «Повести Белкииа» в старых колеикоровых корочках оказались на краю стола.

— Ой...— сказал я с испугом. Это было первое явиое колдовство, которое сотворили на моих глазах ведьмы. Глафира самодовольио кашлянула. Степанида покряхтела:

— Вот и читай теперя, как хотел, неча бегать-то...

И я стал читать «Гробовщика» вслух. Негромко, старательно, с выражеиием. Когда я читал его раиьше (одии, вечером), было жутковато, а сейчас иисколечко, хотя рядом были ведьмы, и волшебство, и вообще сказка.

Слушали меня виимательно. Даже Степанида не кряхтела и ие охала. Но когда я коичил, оиа завозилась и недовольно сказала:

— Ну чё... Тута все дела известиые, лучше бы чё другое. Чувствительиое...

Глафира скрипуче хихикиула, а Настя проговорила вроде бы в шутку, ио с капелькой смущения:

— Нам бы, бабам, про любовь чего-иибудь.

Я немиожко обиделся за Пушкииа, ио сказал, что, пожалуйста, можио и про любовь. И прочитал «Метель». Эта повесть ведьмам поиравилась.

Глафира проворчала:

— Ну, Тополек, ты это... да...— И закашляла как-то по-особому. А Степаиида сияла очки и достала из-под безрукавки большущий платок, от которого на всю баню запахло ржавчииой...

— А я раньше-то и ие слыхала, что Пушкин повести писал,— со вздохом сказала Настя.— Думала, он только стихи...

— Стихи-то у Алексаидра Сергеевича тоже есть чувствительные,— проговорила из-за платка Степаиида.

А я, утомлеиный чтеиием, вдруг поиял, что ужасно

хочу спать. Хотел спросить, можно ли пойти домой, да лень было. Хорошо сидеть, закутавшись в пушистый Настин платок и привалившись к стенке...

— Ребенок-от спит совсем...— подала голос Глафира.

— Пусть,— отозвалась из уютного сумрака Настя.— Я его сама...

И я утонул в дремоте. И проснулся солнечным утром в своей постели.

«Повести Белкина» оказались на месте — на этажерке рядом с «Робинзоном» и «Гаврошем».

«Значит, все-таки приснилось»,— подумал я. И сам удивился, что мне чуточку грустно.

На всякий случай посмотрел под крыльцо: там ли мешок с пухом?

Мешка не было. Но не было там и другого барахла, которое валялось раньше. Видимо, тетя Тася устроила чистку и все оттуда выкинула.

Скоро я перестал думать о приснившихся ведьмах. Мама послала меня за керосином, а после обеда я помчался на улицу Герцена, и там до вечера мы были заняты разными важными делами: сперва стреляли из рогаток по аптечным пузырькам, потом гоняли в сквере у цирка драный резиновый мяч, потом сидели на крыльце, а дядя Боря рассказывал нам, как устроены фокусы знаменитого циркового артиста Мартина Марчеса... А уж после ужина (когда дядя Боря покормил меня жареной картошкой с луком) была на улице игра в пова́-гонялу. Это по дороге две команды гонят палками круглую короткую чурку. Крики на весь квартал и пыль клубами.

Наконец мне попало битой по ноге (по самой косточке — ой-ей-ей...), и я вспомнил, что пора домой.

Когда я, хромая, добрался до Нагорной, были сумерки и меня ждала нахлобучка. Потому что меня черти где-то носят до ночи, а мама должна сходить с ума от беспокойства.

От нахлобучки и боли в ноге настроение у меня было скверное. Я бухнулся в постель, пошмыгал носом и будто провалился в темную яму. Не увидел никаких снов: ни про часы, ни про ночные страхи, ни про ведьм... Но через какое-то время (уж не знаю, через какое) меня разбудил стук.

Я проснулся сразу. Стучали в стекло. Тихонечко. Лампочка на улице не горела, в синем ночном окне я увидел черную голову в платке и плечи. Сердце прыгнуло туда-сюда, хотя я почти не испугался. Сразу узнал Настю.

Зябко ежась и хромая, подошел я к окошку, неслышно отворились створки, которые обычно скрипели.

— Чё не приходишь-то? — шепотом спросила Настя.— Надоело с бабками сидеть? Ты уж не кидай нас пока... Хоть книжечку дочитал бы...

Она говорила не сердито, а вроде бы с неловкостью.

— Али все еще боишься? — спросила она.

— Да не боюсь я... Я не знал, что сегодня тоже надо. Часов-то не было...

— Зачем им каждый-то раз появляться? Ну, пойдем?

Спать уже не хотелось, и я был не прочь навестить ведьм. То ли немножко привязался уже к ним, то ли просто сказка приманивала. Но на всякий случай я сказал:

— Нога болит...

— Где болит? Ну-ка дай...

Я поставил ногу на подоконник. Настя взяла меня за щиколотку горячими пальцами, тихонько погладила припухшую косточку, дунула на нее:

— Ну вот, больше и не болит.

— Ой... В самом деле не болит... Книжку брать?

— Возьми, Тополенок,— ласково сказала она.— Да оденься, зябко сейчас.

Я натянул штаны, дернул со спинки стула ковбойку. Легкий стул опрокинулся, грохнул. Я обмер.

— Да не пугайся,— сказала в окошке Настя.— Никто до утра не проснется, я свое дело знаю...

Свечи в баньке на этот раз горели совсем неярко, зато месяц за окном стал пухлый, больше половинки, и светил, как фонарь. От него на серебристой пряже загорелись искорки. Одна свечка стояла на краю стола, Глафира пристроила рядом зеркальце, чтобы на книгу падало больше света. Я, хотя и одетый, кутался для уюта в Настин платок и читал повесть «Выстрел». Веретена тихо жужжали. Степанида шумно вздыхала, Глафира покашливала, Настя сидела неслышно...

Я дочитал до половины, когда снаружи послыша-

лись чьи-то шумные, даже нахальные шаги, завизжала дверь в предбаннике... Я ужасно перепугался: решил, что это меня ищут. Вот влетит-то! Я был уверен, что обязательно влетит, если узнают, что провожу время с ведьмами.

Под потолком зажглась яркая лампочка. На пороге появился дядька. Первое, что я испытал,— это радость: дядька был незнакомый. А потом уж разглядел его подробно.

Гость был в длинном черном пиджаке, к которому прилипли травинки. В жеваных парусиновых брюках. На шее — тощий полуразвязанный галстук. И сам дядька — тощий, длинный и мятый. С острым, вытянутым лицом и горбатым, скособоченным носом. Только прическа его с пробором была аккуратная, даже прилизанная. Блестела под лампочкой.

Дядька покачнулся и веселым голосом сказал:

— Мое почтение, красавицы... «Три девицы под окном пряли поздно вечерком...»

— Тьфу на тебя, окаянный! — рассердилась Глафира.— Чё шляешься по ночам? Свет погаси!

— Виноват-с...— Лампочка погасла. Дядька шагнул к столу.— «Кабы я была царица, говорит одна девица...»

— Кабы я была царица,— пробубнила Степанида,— на порог бы тебя не пускала...

— Степанида Ннок... ик... кентьевна внешне всегда строга,— известил нас дядька.— Но в глубине души она человек... ик... редкой доброты и ик... красоты. И я уверен, что она мне даст сегодня десять рублей. И Настенька даст... А два рубля у меня есть...

— Десять пинков тебе,— неожиданно ясным голосом сообщила Степанида.— Хоть бы мальчонки постеснялся, попрошайка.

Дядька нагнулся надо мной.

— Да... Поэтому меня и перестали здесь любить. Появился юный кавалер... Но я не в об... биб... биде. Позвольте представиться, молодой человек. Лев Эдуардович Пяткин. Бывший музыкант театрального оркестра, выпускн... ик консерватории, а ныне...

— А ныне пьяница,— сказала Настя.— Не трогай дитё.

Лев Эдуардович Пяткин по-петушиному дернул головкой, шагнул мимо меня и сел на лавку у окна, загородил месяц. От Пяткина пахло ржавой сыростью и

еще — довольно ощутимо — водкой. Так же, как иногда попахивало от моего отчима.

— В ваших словах, Анастасия Вик... икторовна, есть доля горькой истины. Но только доля... С другой стороны...

— С другой стороны, съесть бы тебя, паразита,— проворчала Степанида.— И со всех сторон. Только не сжевать ведь. Одни жилы мозольные.

— Съесть меня, девушки, никак невозможно,— охотно отозвался Лев Эдуардович.— Многие пытались. Жена, начальство... Судьба... И никак.

— Зато сам себя сглодал,— сказала Глафира.— Дать ему, чё ль, два червонца? А то ить не уйдет до утра.

— Дай, голубушка! — возликовал выпускник консерватории.— Дай, и через неделю я верну! Как штык... Долг чести... Вы меня знаете.

— Да уж знаем,— буркнула Степанида.— Опять с дежурства ушел. Вот обожди, узнает хозяин...

— Ну и узнает,— с достоинством возразил Лев Эдуардович.— Что с того? Я человек вольный, я пришел к нему не со страху, а по душевной склонности. Могу так же и уйти...

— «Могу»,— хмыкнула Глафира.— Сперва колечко сними, вольный...

Бывший музыкант Пяткин сгорбился, поставил на худые колени локти. Помолчал и спросил сумрачно, без прежней игривости:

— Ну так что, ведьмочки? В смысле двух червонцев?

— Бери и уматывай,— вздохнула Глафира.

Когда он ушел, ведьмы долго молчали. Мне казалось, что им стыдно за Пяткина передо мной.

— Вот ведь, шалапут,— сердито проговорила Глафира.

— А он кто? — осторожно спросил я.— Тоже?..— И сбился. Как спросить? «Тоже ведьма?» Но он ведь не тетенька. Может, черт? Но какой же он черт... Просто «нечистая сила»? Но тогда, пожалуй, ведьмы обидятся.

— В том-то и беда, что «тоже»...— вздохнула Глафира. Ей, кажется, было немножко жаль Пяткина.— Ну, ты чё, Тополек, заскучал? Читай давай...

И зажужжали веретена.

Я стал ходить к ржавым ведьмам почти каждую ночь. Почти потому, что изредка случалось: набегаюсь за день, а вечером бухнусь в постель и усну (и Настя меня больше не будила). Но чаще бывало, что я просыпался около полуночи, тихонько одевался, выскальзывал в окошко и пробирался в огород, к баньке.

Что меня туда тянуло? Меньше всего сами ведьмы. К тому, что они какая-то нечистая сила, и к их мелкому волшебству я привык, а больше ничего интересного в сиплых и ворчливых тетушках не усматривал. Правда, теперь они стали со мной ласковыми (а Настя вообще всегда была лучше остальных), но не это меня привлекало.

Мне нравилась сама сказка. Ее настроение. Ее звуки, полусвет, загадочность. Нравилось, как жужжат веретена, как мерцают свечки, как звучит мой собственный голос, когда я читаю «Дубровского» или «Пиковую даму». Читать я не уставал. А ведьмы не уставали слушать. Правда, когда кончалась глава или повесть, они говорили: «Отдохни маленько». Несколько минут сидели, вздыхая, потом пели какую-нибудь протяжную песню (только про филина и медный грошик больше не пели), а затем Глафира кашляла и просила:

— Ну, давай дальше, Тополек.

И опять они слушали меня, покачивая головами в платках, и луна за окном тоже слушала. Она стала совсем круглолицая и к середине ночи делалась очень яркой.

В ночь, когда луна вошла в полную силу, ведьмы кончили прясть и стали натягивать серебристые нити на раму деревянной машины. Сотни белых искорок забегали по пряже. Я хотел подойти, но Глафира сказала:

— Ты это, Тополек... не надо. Дело такое...

А Настя, чтобы я не обиделся, шепнула:

— Потом посмотришь. А сейчас нельзя, сглазить можешь, тогда целый год ждать...

Скоро деревянное колесо машины закрутилось, рама заскрипела и задвигалась, что-то тихонько заухало, и я понял наконец, что в темном углу работает ткацкий станок.

С полчаса мы сидели молча. Я слушал скрип и ритмичные вздохи станка, смотрел на лунные искры и по-

тихоньку начинал понимать, что сказка шагнула на новую ступеньку. Что-то будет впереди... Что? Стало страшновато, но страх был приятный, с примесью тайны...

Однако ничего загадочного не случилось в этот вечер. А случилось дело обычное и неприятное: появился Лев Эдуардович Пяткин.

Я забыл сказать, что после первого своего прихода он заглядывал к нам еще несколько раз. И всегда встречали его с досадой. Ведьмы потому, что он мешал чтению, а я — потому, что от него пропадала сказка. Был он всегда шумный, подвыпивший, помятый, молол всякую чепуху и просил взаймы. Мне он однажды принес леденцового петуха на палочке, но я не обрадовался и сердито сунул подарок в карман (карман у штанов потом склеился, и мне попало от мамы).

Степанида однажды недовольно проворчала:

— Ходит, ходит... Невесту, чё ли, среди нас ищет?

— Невесту! Денежек на выпивку ищет, вот и все дело,— хмуро откликнулась Глафира.— Те двадцать рублей отдал, а потом опять занял три червонца... Бутылка его невеста.

— Да с чего ему среди нас-то, среди старух, невесту искать,— вздохнула Настя.

Я решил сделать ей комплимент:

— Да что ты, Настя! Ты еще совсем нестарая. И не такие замуж выходят.

— Да? — странным голосом переспросила Настя.— Ну-ка, иди-ка сюды...

Я почуял: что-то не так. Но подошел. Настя аккуратно повернула меня к себе спиной и несколько раз хлопнула по пыльным вельветовым штанам. Небольно, зато очень шумно. Я отскочил. Ни разу в жизни взрослые не задевали меня пальцем. А тут чужая тетка, да еще при свидетелях! Я собрался вознегодовать... но почему-то не сумел. Только сказал издалека:

— Чё руки-то распускать!

Настя хмыкнула:

— Могу и не руки. Вон веник сниму со стены...

Я отошел к порогу и сообщил:

— Фиг догонишь.

Настя засмеялась:

— «Фиг догонишь»... Ох ты, Тополечек мой... Да если хочешь, я самолет догоню. Делов-то... Да ты не дуй губы-то, я же играючи...

— «Играючи»...— передразнил я для порядка.
А Глафира сказала:
— А чё, Настя, он же дело сказал насчет замужества-то. Аль нет?
— Тьфу на тебя,— ответила Настя несердито.— Сваты́ нашлись... Уж этот-то Пяткин все равно не ко мне ходит. Обормот мятый.
— И точно, мятый да пьяный,— согласилась Степанида.— Ты, Глафира, смотри...
Но сегодня Лев Эдуардович пришел трезвый. Галстук был завязан аккуратно, парусиновые штаны поглажены (хотя по-прежнему в пятнах). Он раскланялся, вихляя плечами и коленками, присел на лавку и вкрадчиво проговорил:
— Обратите внимание, дорогие дамы, какая луна.
— Ну дак и чё! — отозвалась Глафира.— Луна как луна. Без тебя ее видим.
— Я к тому, что... кхм... Может быть, прогуляться до бочек и... тряхнуть стариной, а? Не чувствуете ли вы такого предрасположения?
— Не чувствуем, не чувствуем,— торопливо пробубнила в углу Степанида.— Иди-ка ты отседова. Тряхнуть ему, вишь, охота... Нашел молодых.
Однако Настя быстро поднялась и сказала:
— А что, тетки? Не охота разве? Будет врать-то! Луна-то, она по жилушкам бежит что у молодых, что у старых. А, Степанида?
— Грехи одни...— отозвалась Степанида и шумно заворочалась.— Куды я пойду? Еле двигаюсь...
— Вот и разомнете косточки,— ввернул Лев Эдуардович.— А дойти мы вам поможем. Я и молодой человек...
— Ему-то зачем туда? — недовольно сказала Настя.— Ты, Тополек, домой ступай.
Но мне ужасно захотелось узнать, куда они собираются. Я чуял какую-то новую тайну. Правда, было и опасение: а куда это идти? А не узнают ли дома?
— Это совсем недалеко,— доверительным шепотом объяснил мне Пяткин.— Там, где склад железного вторсырья. Иначе выражаясь, свалка...
Слова «вторсырье» и «свалка» не вязались со сказкой. Но отступать уже было нельзя, потому что Настя грустно сказала:
— А и ладно, пусть. Все одно скоро придется рассказать...

Опять загадка: про что рассказать? И почему Настя стала печальная?

Но размышлять было иекогда, ведьмы уже выбирались из баии.

На огороде пахло сырой картофельиой ботвой. Между гряд лежали клочки тумаиа. Оии светились под луной и были похожи на остатки тополиного пуха. Мы оказались на краю лога. Верхушки бурьяна и полыни иа заросшем откосе тоже искрились от луны. Вниз вела тропинка. Мы стали спускаться. Сухая глииа сыпалась из-под ног. Толстая, тяжелая Степанида охала и стонала, хваталась за меия и чуть не раздавила. Я был в сандалиях, кожаные подошвы скользили... В общем, иамаялся я, пока спустились. Уж и не до сказок стало.

Но, так или иначе, мы оказались иа берегу Тюмеики. Вода журчала и поблескивала. Сладко пахло сырой прибрежной травой, которую мы, мальчишки, иазывали «зеленка» (оиа красила ноги в бледно-зелеиый цвет, и эти полосы долго не смывались).

Мы пошли тропкой вдоль воды. Кромки высоких берегов лога с избушками и тополями чернели над иами в лунном иебе. Степанида держалась теперь за Льва Эдуардовича, и я шел свободно. Настя шагала впереди, а я за ней.

Лог разветвлялся. Мы свернули в стороиу от речки и оказались в болотистом тупичке. Под иогами захлюпало, сандалии сразу раскисли, по ногам заскребла осока, потом шлепиуло что-то живое — иаверно, лягушка. Я тихо ойкнул. Настя оглянулась и сказала шепотом:
— Сейчас придем.

Впереди, на фоне темного склона, подымалось что-то еще более темное.. Оттуда крепко несло запахом ржавого железа. На левом запястье у меня ощутимо шевельнулся компас. Я глянул на него и увидел при луне, что стрелка просто сошла с ума: вертится, как пропеллер.

Скоро мы оказались на краю поляны, окруженной кучами железного хлама. Среди высокой мокрой травы торчали металлические бочки. К ним брели через траву темные фигуры. Я пригляделся и увидел, что это тетки — вроде моих знакомых ведьм.

Настя шепнула:

— Дальше не ходи, обожди нас тут, Тополек.

Я остался, а Настя, Глафира и Степаиида пошли к бочкам. Пяткии хихикиул и тоже пошел. В траве и ржавых лужицах кричали лягушкн. Я вдруг поиял, что они очеиь дружио крнчат. Будто поют мелодию вальса. В самом деле! Это звучало так: «Бу́м-ква-ква, бу́м-ква-ква...» Мие даже смешио сделалось: лягушки-музыканты. Но я ие успел засмеяться, послышались другие звуки. Кто-то барабанил, кажется, иа тазах, гулких железных корытах и какой-то жестяиой мелочи (может, Пяткин?). «Та́м-та-та, та́м-та-та» — это был осиовной ритм. Он звучал на фоие медленного (как от пустых бочек) гудеиья.

Ведьмы легко повскакивали иа бочки. Будто ие грузиые тетки, а девчоики! Замерли на ннх, потом вскииули руки, дернулись, крутнулись и заплясали, выгибаясь. Частые удары их каблуков звоико пересыпали звучание железной музыки н лягушачнй хор.

Ведьмы закидывались назад, взмахнвали широкими рукавами, юбки стремительио мотались вокруг мелькающих иог, платки упали, и волосы метались по воздуху.

Я смотрел, замерев. Что это было? Обычай какой-то? Или такое колдовство? Или ведьмы иабнрались от луиы и железиой музыки волшебиой силы? Или просто радовались по-своему?..

Сперва мие было иитересио н жутковато. Пляска завораживала, а сказочиая луиа и чериые груды железа будто разрастались в воздухе и грозили с гулом рухиуть. Или еще что-то страшное могло случиться...

Но иичего ие случалось.

Страх постепенно прошел, а ритм таица совсем захватил меня. Я заметнл вдруг, что притопываю сандалиями и дергаю плечамн. Заметил — н стало как-то неловко. Я тряхиул головой, оглянулся. Нет, луиа и железные кучи были прежиими. Ведьмы на бочках все извивались и топалн, но теперь я смотрел на это спокойио. Стало даже скучновато. Что-то слишком уж долго они плясалн под монотонный железный гул н одиообразную дробь. Я подумал, не смыться лн потнхоиьку домой, но побоялся: вдруг ведьмы обндятся...

Я отошел от края поляны н прнсел на перевернутое мятое ведро у кособокой хибарки нз листового железа, рядом с крнвым столбом, на котором висела негоревшая лампочка под жестяным отражателем. Кто-то дребезжаще кашлянул.

Я вскинулся.

Рядом стоял худой старичок со свалявшейся, как ржавая проволока, бороденкой. Старичок смотрел несердито, даже ласково, и я почти не испугался. Но смутился и пробормотал:

— Здрасте...

— Здравствуй и ты, мой хороший,— обрадованным голоском сказал старичок. Запахнул драный ватник, сел напротив меня на другое дырявое ведро (их тут много валялось), беззубо заулыбался.— А я вышел, гляжу: кто-то махонький сидит. Откуль ты? Али заблудился?

— Да нет, я с ними...— Я кивнул в сторону ведьм (было мне за них неловко).— Так... гуляем.

— А-а...— Он ко мне нагнулся, глянул внимательней.— Слыхал я... Приголубили они тебя, значит. Ну, ничего, дело хорошее, скушно им одним-то...

— Я им книжки читаю,— пробормотал я.— Они просят, а я... мне ведь не жалко...

— Молодец ты,— дребезжаще сказал старичок.— Ой, молодец... Мне бы внучка такого...— Он вдруг мелко закашлялся и отвернулся.

— А у вас разве нет внуков?— спросил я, чтобы поддержать разговор.

— Они есть вроде бы, да только далёко. Тыщу лет уж не видал, не слыхал...

— А чего же в гости не съездите?— вежливо поинтересовался я.

— Да куды ж мне... Нам на люди показываться не положено, Хозяин не велит.

— Какой Хозяин?

— Али не слыхал?— Старичок поглядел на пляшущих ведьм.— Не говорили они, что ль?

Я помотал головой.

Старичок поскреб проволочную бородку, мелко повздыхал, поежился, но разъяснил с охотой (видать, любил поговорить):

— Хозяин — он кто? Человек такой. Паршивенький, надо сказать, человек, заместо крови в ём одна ржавая жижа. А, однако, силу себе забрал...

Пока я слушал, железный танец зазвучал потише, лягушачий хор сделался отчетливей («бум-ква-ква, бум-ква-ква»), а пространство кругом словно напружинилось и стало гулким. Каждое слово, каждый вздох в нем

отдавались теперь эхом. И, казалось, кто-то подслушивал нас. Я ощутил это не только слухом, а всей кожей, по которой пробежали колючие искорки. Стрелка в моем компасе опять рванулась и завертелась.

— А почему у него... у этого Хозяина сила?— прошептал я. («Сила, сила, сила...» — прошелестело вокруг.)

— А потому,— наставительно отозвался старичок,— что у других силы нету ему противодействовать. Он ведь кого в плен-то себе тянет? У кого какая ржавчина в душе. По-всякому заманивает: кого испугом, кого лаской. Кого насильно берет. А некоторых попросту за бутылку. Вроде как этого, Эдуардыча...

— Вы, папаша, простите, но ерунду вы излагаете,— солидно возразил музыкант Пяткин. Он появился рядом неизвестно откуда.— Я с ним сам познакомился, на совершенно добровольных началах.

— Добровольных али нет, а колечко-то, небось, носишь,— хихикнул старичок (и кругом шелестяще захихикало эхо).

— А это уж не ваше дело!— Пяткин обиженно отошел. Потом оглянулся, предупредил: — Вы, между прочим, язык попридержали бы, папаша. Сами знаете, что к чему...

— А чего мне бояться-то?— огрызнулся старичок.— Хуже чем в сторожа он все равно меня не определит.— Он опять повздыхал.— Караулим, караулим эту ржавчину, будь она не по-хорошему помянута. Вот и жизнь прошла, а для чего прошла, не ведаем.

—...Ведаем, ведаем...— прошел над хибаркой жестяной шепот. И меня опять закололи мурашки.

А сторож вздернул колючую бородку и храбро сказал:

— Он, может, и ведает, а я ничегошеньки... Глупости одни на старости лет. Мне бы внучат нянчить, а я тут дни и ночи знай торчи...

— ...Торчи — не ворчи,— внятно отозвалось в воздухе, и сильнее запахло сырым железом.

Я поежился и спросил, чтобы прогнать страх:

— А зачем он так делает? Ну, Хозяин этот...

— Зачем? А он, вишь, в императоры всемирные метит. Я, говорит, весь мир без всякой войны захвачу, потихоньку. Потому что люди-то сами весь белый свет в свалку ржавую превращают, а я над ржавчиной, мол, хозяин...

— А эти... ну, которые ведьмы...— Я опять смущенно глянул туда, где шел танец.— Они, значит, от этого Хозяина колдовству научились?

— Ясно дело, от него... Хозяину помощники-то нужны, вот и учит. Да только эта наука им не в радость. Невольные они...

— Значит, у него колдовство злое?

Сторож сердито подергал бородку.

— Оно никакое, колдовство-то. Оно просто сила такая. Ну, вроде как электричество. Для чего хошь использовать можно. Когда для света и для радости...— Он взглянул на негоревшую лампочку.— А когда для стула электрического, как американцы эти... Значит, в какие руки попадет, так и будет.

— И магнитное притяжение тоже!— вспомнил я и вытянул руку с компасом.— Вот... Иногда оно чтобы верный путь узнавать, а иногда для магнитных мин, как немцы придумали...

— Ну, вот то-то...— Старичок погладил компас заскорузлым пальцем.— Ладная вещичка. Но ты гляди, если до Хозяина будешь добираться, стрелку эту дома оставь. Он железо издалека чует, а магнитное особо...

— А зачем мне до него добираться?— спросил я с испугом.

— Да нет, это я так... Ты, главное дело, в себе ржавчины не допускай, чтоб к ему в сети не попасть...

Я хотел было спросить, как это «ржавчина в себе», но не стал. Во-первых, я уже догадывался, что это такое. А во-вторых... стало очень тихо. И воздух сделался опять болотным и душным. И меня начала давить сонливость.

Подошла Настя.

— Ой, Тополек, спишь совсем!

Она подхватила меня на руки и быстро понесла. Но я не сразу поддался сну. Я спросил шепотом:

— Настя, а правда есть на свете Хозяин? Он вас правда заколдовал?

Она ответила тоже шепотом:

— Потерпи малость. Потом узнаешь.

— Когда узнаю? Завтра?

— Нет, завтра не приходи. Теперь у нас такая работа, что сторонний глаз ни к чему... Срок придет — позовем...

Я огорчился:

— А когда срок-то?
— Потерпи маленько. Скоро...
— Когда скоро-то?
— А вот луна усохнет до половинки...

ОБНОВА

За луной я не следил. Да и невозможно это было, потому что каждый вечер небо загромождали душные грозовые тучи. Громадные такие и непроницаемые.

Грозы я побаивался. Поэтому я плотно затворял окошко, задергивал шторки и, когда ложился в постель, ставил на табурет лампу в самодельном картонном абажуре. Говорил маме, что почитаю перед сном. Но дело было не в чтении. Если комната темная, вспышки грозы пробивают занавеску и озаряют стены жутковатым неподвижным светом — то лиловым, то розоватым, то белым. Иногда после вспышки сильно грохает. А иногда, если гроза далеко, наступает тягучая тишина, а потом накатывается медленный, ленивый такой рокот. Это не так страшно, как близкие разряды, но все равно нервы натянуты.

В один из таких «рокочущих» вечеров я читал толстую книжку про рыцаря Айвенго (выпросил у Лешки Шалимова) и прислушивался: не делается ли гроза ближе? Было уже поздно, и мама сказала из-за перегородки:

— Хватит глаза портить. Спи.

— Я еще маленько...

— Кому я говорю!

Пришлось выдернуть вилку из штепселя.

И сразу комната озарилась розовой неторопливой вспышкой. Я напрягся и стал ждать громового удара. Ждал, ждал... Глухой грохот донесся лишь через полминуты. Но за эти полминуты я не успокоился. Наоборот, страх вырос, натянул во мне звенящие струнки, и они отзывались на каждый толчок сердца.

Я вдруг понял, что боюсь не только грозы. Вообще боюсь. Чего-то непонятного. Страх был такой, как т о г д а. В ночь знакомства с ведьмами.

А может быть, я уже сплю и боюсь во сне? Но я лежу с «растопыренными» глазами. И закрыл бы, да не получается...

Прошло минут пятнадцать. Леська поворочался, похныкал и опять уснул. Мама тоже ровно дышала за стенкой. Гроза то приближалась, то откатывалась. И опять приближалась! И вот зажглась такая молния, будто за окном включили тысячу фонарей (ну и грохнет!). Но не грохало. Я опять вытаращил глаза. Молния угасала очень медленно, и в этом слабеющем свете я успел заметить на стене... знакомые часы!

И стрелки стояли на двенадцати.

Я начал суетливо одеваться. Штаны, ковбойка, сандалии... Черт, никак не застегиваются. Ладно, и так сойдет. Старый свитер (я его надеваю, когда стою в футбольных воротах). Будет, конечно, жарко, зато в плотной одежде чувствуешь себя больше защищенным от грозы... Тут наконец прикатился гром и обрушился на крышу, на меня, как товарный поезд с откоса. Я присел, заткнул уши. И вот этими заткнутыми ушами сквозь ватную глухоту, сквозь замерший грохот грозы и расстояние спящих комнат я услышал еле ощутимое, но настойчивое постукивание в наружную дверь.

Как в тот раз.

Да, я уже понял, я иду!

Хотя я не знаю зачем. Почему именно в грозу? Почему я опять боюсь? Что случилось?

В щелкающих по полу, незастегнутых сандалиях я выскочил в сени (щели засветились от новой вспышки). Я откинул крюк. На крыльце стояла Глафира.

— Идем,— как-то неласково сказала она. И пошла не оглядываясь. Я засеменил следом.

— А Настя где?

— Дошивает,— сумрачно отозвалась Глафира.

— Чего дошивает-то?

— Иди, узнаешь...

Неуютно мне было, нехорошо. Но что делать, я шел, пригибаясь от вспышек. Тяжелая капля ударила меня в шею и поползла под ковбойку...

В бане было светло. Горело несколько свечей, причем у двух стояли зеркала. Старуха Степанида неподвижно сидела в своем углу, и свечки отражались в ее очках. Настя широко махала иглой над куском шелковистой белой ткани.

— Здрасте,— неловко сказал я.

Степанида только очками шевельнула, а Настя будто и не слыхала. Все вскидывала руку с иглой. Глафира

подтолкнула меня к скамье, над которой висели мохнатые веники. Сказала глуховато:

— Сымай одежку-то...

У меня обмякли коленки и захолодел живот.

— Ка...кую одежку? — пробормотал я.

— Все сымай.

— З-зачем?

Степанида пробубнила из угла:

— Ты будешь слушаться али нет? Узнаешь зачем, про это сразу не сказывают...

Я промямлил, что не хочу. И даже подумал, что надо зареветь, но не получилось.

— Давай-давай,— поторопила Глафира.— Хочу не хочу, теперь какая разница? Время пришло.

Я умоляюще взглянул на Настю. Но она как раз встряхивала свое шитье и дула на него. Ее лицо было спрятано за тканью.

И все же она отозвалась на мой отчаянный взгляд:

— Не бойся, Тополенок, так полагается, чтобы обновку нашу примерить...

Что было делать? Я ослабел от всех своих страхов и спорить больше не мог. Отодвинулся к самому краю скамейки, где было больше тени, потянул через голову свитер, стряхнул сандалики...

Ужасно неловко было раздеваться при тетках, но самое главное даже не это. Главное — как я боялся. Слова Насти про обновку успокоили меня лишь самую капельку. Тем более что и голос у нее нынче был какой-то странный.

А вдруг это уловка? Может, они что-то страшное задумали? Вдруг съедят, как обещали в первую ночь? Нет, котел холодный... Или защекочут, как тетя Тася рассказывала! И весь я покроюсь ржавчиной... Да ладно, живым бы остаться...

Я ежился и путался в пуговицах, а Глафира стояла рядом и шепотом поторапливала, пока я не остался без единой ниточки. Тогда она взяла меня горячими пальцами за бока и вынесла к свету, как выносят самовар.

Поставила на табурет. Хихикнула.

— Весу-то в ём, как в пухе... Дунь, дак и так полетит, без етого...

— Цыц,— сказала Степанида.

Я стоял съеженный, тощий, беззащитный и ничего не понимал.

Но это было совсем недолго. Шагнула ко мне Настя, взмахнула над головой своим шитьем, и по мне пробежали прохладные шелковые волны — широкая белая одежда накрыла меня до колен.

Только не думайте, что я обрадовался. Я еще больше перепугался. Показалось, что обрядили меня в какой-то саван. А саваны — это же все знают! — наряд для того света.

Настя шагнула назад. Странно улыбнулась. Степанида прищуренно глядела сквозь очки. И наконец сказала она не бубнящим, а ясным голосом:

— Ну, Глафира, давай!

Что они задумали? Что «давай»? Ай!..

Глафира быстро нагнулась и рванула из-под меня табурет! И я грохнулся на пол!

То есть я должен был грохнуться. Но я не хотел. Я схватился за пустоту, чтобы удержаться...

И повис в этой пустоте.

В воздухе повис. В полной невесомости, от которой перепуганно и сладковато замерла душа.

Я дрыгнул ногами. Меня медленно развернуло, опустило к полу. Я уперся ладошками, ощутил свою тяжесть, обалдело вскочил...

И услышал, что ведьмы смеются.

Они не просто смеялись. Они хохотали от радости! Степанида булькала, сипела, вскрикивала, отгибалась назад и хлопала себя по толстому животу. Очки ее упали. Сквозь смех она причитала тонко и с привизгиванием:

— Ох ты, золотце мое! Огонек мой ясненький! Солнышко мое летнее! Ах ты, ласточка моя летучая!

Глафира топталась надо мной и с кашляющим смехом всплескивала руками.

— Ну, Тополечек! Ну, обрадовал ведьмушек!

Настя подхватила меня, прижала, чмокнула в щеку, покружила, поставила. Горячо сказала:

— Тополеночек наш, спасеньице наше! Ох, молодец!

Я не понимал, почему я спасеньице и молодец. Совсем обалдел. Но сквозь обалделость пришла все же догадка, что ничего страшного не будет. Наоборот, все мной довольны!

Тут же я осмелел и спросил сердито:

— Чё веселитесь-то? Хоть бы объяснили толком...

— Дак ведь летаешь! — взвизгнула Степанида.— Не понял, что ль? Получилося у нас!..

Настя радостио объяснила:

— Ты же теперь летать можешь. Рубашечка-то твоя нз тополиного пуха волшебиая получилась.— Оиа отошла в дальний угол.— А ну, попробуй! Летн ко мие! Ну?

Как это летн? Я ие мог. Я ие умел. Чего это онн выдумали!

— Да ие бойсь,— прошептала Глафнра.— Ты только захотн. Потяинсь каждой жнлочкой, куды полететь хочешь, постарайся, тогда получится.

Свечи пылали и отражались в зеркалах. Настя смотрела иа меия очеиь большнмн, очеиь темными глазами. Потом протяиула ко мие руку. Губы ее шевельнулись: «Ну, Тополек...»

Может, я правда умею летать? Вот сейчас приподиимусь иад половицами, вытяиусь в воздухе, медлеиио подплыву к Насте, возьму ее за палец... Ну? Давай же!

Меия прнподияло, бросило к Насте очень быстро, она отскочила. Я зацепил плечом печку, треснулся о пол, охиул. Настя меня опять подхватила.

— Ой ты, маленький мой... Ушибся?

Я ушибся. Но это была чепуха! Зато я все же полетел! Неуклюже вышло, потому что уменья нет, ио я научусь. Сейчас...

— Пустн,— шепнул я Насте. Оиа разжала руки, и я повис в воздухе. Заболтал ногами, зацарапал рукамн пустоту, будто поплыл по-собачьи. И поднялся к потолку. Потом тихо-тихо опустился на скамью. Сердце у меия ие билось, а упруго сжималось и разжималось, и прн каждом разжимании я торопливо переглатывал. Наверио, от волиения. Но я не чувствовал этого волиеиия, только радость чувствовал.

Глафира весело сказала:

— В этой конуре-то миого ль налетаешь? Айда иа двор, Тополек. Айда, бабы...

Мы вышли нз баиьки. Лопухи зашуршали о подол моей длинной рубахи. Было сумрачио, и пахло близким грозовым дождем.

— Ну, вот оио...— вздохиула Глафира и закашлялась.— Теперь хоть в самое иебо...

Но небо в этот миг высветилось заринцей, и мие туда совсем ие захотелось. Я увидел такие облачиые горы, пропасти, провалы и вершиины, будто к Земле вплотиую подошла другая плаиета.

— Не,— сказал я и передериул плечами.— Вдруг в меня молиия попадет...

— Какая еще молния? — удивилась Глафира.— А, это от грозы, что ль? Не боись....

Она глянула вверх, взяла за руку Настю.

— Дай-ка, Настюшка... Чегой-то я одна не управлюсь...

Она постояла с поднятым лицом, охнула тихонько... И я почуял, что мне уже не страшно. Было по-прежнему пасмурно, только в этом сумраке уже не ощущалось грозовой напряженности. Словно все электричество разрядилось и утекло в землю. Были обыкновенные мирные тучи, из которых в крайнем случае мог пролиться спокойный дождик.

Но дождик пока не проливался. Тучи слегка раздвинулись, из-за лохматого края высунулся ярко-желтый бок луны...

— Ну, лети,— шепнула Настя.

Сердце у меня часто забухало. Я попробовал полететь. Не получилось. Я опять, как в баньке, заскреб воздух руками, будто плыву из глубины вверх, оттолкнулся босой ногой. Повис в воздухе. Потом понесло меня в высоту. Я испугался, захотел опуститься. Опустился. Захотел пролететь над грядками и неуклюже, бочком, пролетел. Тогда я осмелел, напружинил мускулы и нащупал в себе и окружающем воздухе какие-то неведомые струнки. Может быть, это были силовые линии магнитного поля, о котором сейчас много пишут ученые. А может быть, во мне и вокруг просто зазвенела моя радость, моя уверенность. Я рванулся вперед, тело сделалось послушным, воздух зашуршал по бокам, обтянул на мне рубашку, прижал ее, шелковистую, к коже. И я понял, что теперь могу летать ловко, быстро и уверенно. Главное — верить в себя и не бояться.

Я пронесся над грядами, взмыл над банькой, пролетел над сумрачной и влажной глубиной лога. Потом, хохоча от радости, сделал еще круг, спикировал к самой воде речки Тюменки, снова взлетел и наконец ловко встал перед ведьмами. Щеки горели, обдутые встречным ветром...

Настя смеялась, а Глафира сказала радостным шепотом:

— Научился! Ах ты, родненький наш...— И рывком притиснула меня к себе. Я застеснялся, засопел и вырвался. Тогда Глафира проговорила уже иначе, наставительно:

— Вот так и летай. Только гляди, ничего, окромя рубахи, не надевай на себя. Все, что не из этого полотна, к земле потянет, любая пуговка, любая ниточка, самая махонькая...

Я поморгал, соображая, про что она говорит. Понял, и радость моя поубавилась. Я набычился:

— А как я... Ну, без штанов-то...

Настя тихонько хихикнула, а Глафира сказала:

— Вот так и будешь. Кто тебя видит ночью...

— А днем, что ли, нельзя летать?

— Летай, когда хошь, привыкай,— подала голос Степанида,— только береги ее, рубаху-то.

— А штаны? — жалобно спросил я.— Разве нельзя сшить из такой же материи?

— Дак ее не осталось ни кусочка,— хмуро сказала Глафира.

Я представил, как появлюсь перед ребятами в таком не то платье, не то саване, и взмолился:

— Настя! Ну, обрежь ты ее вот так! — Я чиркнул ладонью по животу.— А что останется — из того штаны. Пускай хоть самые коротенькие...

— Дай-ко, смеряю,— согласилась Настя. Но Глафира насупилась:

— Не по правилам это. Сказано, что рубаха должна быть...

Мне показалось, что Настя колеблется. Однако неожиданно за меня вступилась Степанида.

— Ты, Глаха, сама посуди,— сипло заговорила она.— Тебе не старое время, сейчас ребятишки и в деревнях без порток не бегают, а он мальчоника городской. Надо одеть по-нонешнему, чтоб не боялся ничего...

Меня снова привели в баньку, рубашку велели снять. Я долго сидел в углу, кутаясь в чей-то старый ватник. А Настя то лязгала ножницами, то стучала на швейной машине. Эта громадная ножная машина с чугунным колесом появилась в баньке неизвестно откуда (от нее пахло ржавчиной).

Потом нарядили меня в штанишки без застежек, с узкой лямкой через плечо (на вторую не хватило материи) и в короткую просторную рубашку навыпуск.

— Полетит ли? — с опаской сказала Глафира.

Я подпрыгнул, поджал коленки и клубочком всплыл к потолку. Медленно опустился на стол.

— Ну вот! — радостно и почти без сипения прогуде-

ла Степанида.— Ишь, как полетел, будто пташка. И глянь, какой ладненький стал. А то была какая-то привидения, прости господи... Хошь на себя глянуть?

Она выволокла из-за печки большой кусок мутного зеркала, я глянул... и опять огорчился. Рубашка — без воротника, с треугольным вырезом на груди — была очень похожа на нижнюю, вроде солдатского белья. Задразнят...

«Воротник бы сюда матросский»,— печально подумал я, но ничего не сказал. Потому что бесполезно: все равно тополиной ткани больше нет. Однако Настя уловила мой тихий вздох. И сказала с недовольной ноткой:

— Ладно, сымай. Еще кой-чего подошью...

Она понесла рубашку к машине. Я, смущенный, побрел за ней.

— Покажи-ка пальчик,— вдруг попросила Настя.— Вот этот, левый.

Я удивился, протянул указательный палец. Настя ловко ткнула его иглой. Я громко ойкнул, дернулся. Она меня удержала:

— Не бойся. Дай-ка капельку... Краску-то нельзя, она, тяжелая, а у тебя кровь тополиная — свежая да летучая...

К пальцу, на котором набухла красная капля, Настя поднесла кончик намотанной на катушке нити. Нить была серебристая — конечно, тоже из тополиного пуха. Кровь побежала по нитке, как по фитильку, и скоро вся катушка сделалась красной. У меня слегка закружилась голова, но Настя дунула мне в лоб, и сразу все прошло.

— Погуляй пока,— ласково сказала Настя.

Я сунул палец в рот, но не отошел. Смотрел, как Настя прилаживает катушку на машину, как укладывает под иглу рубашку. Вот она крутнула колесо, игла прыгнула...

Машина, без сомнения, была волшебная. Игла стукнулась несколько раз, и под ней на белой материи появился вышитый красный листик. Круглый, но с острым кончиком, тополиный. Стук-стук-стук — и еще листик! И еще.... Листики вытягивались в цепочку. Скоро эта цепочка у ворота и на спине обрисовала контур большого квадратного воротника.

Я тихо возликовал. Конечно, рубашка не стала насто-

ящей матроской, но и на ннжнюю сорочку теперь тоже не была похожа. Оиа сделалась краснвой, празднячной. А когда Настя вручиую вышила на левом рукавчнке алый якорь, я чуть иа шею к ией ие броснлся. Но постесиялся.

И вот я опять встал в тополниой своей обиовке перед ведьмами.

— Теперь-то как? — озабочено спроснла Степаиида.— Сойдет?

— Во! — Я показал большой палец.

Ведьмы дружио засмеялнсь. Степанида сипло и с кряхтеиьем, Глафира сквозь кашель, а Настя ясно и негромко. Потом Настя взяла меня за плечо.

— Вот и все, Тополек. Ты пока к иам больше ие ходи. Надо будет — позовем. Летай, привыкай пока. Шибко-то ие хвастайся да людей ие пугай, но и ие бойся зря. Да одежку тополииую береги.

Я радостио кивал.

— Ладно, лети,— вздохнула Настя н подтолкнула меия к двери.

Прямо с порога я круто взмыл в высоту и помчался над крышами — под иебом, где среди разбежавшихся туч летела вместе со миой яркая половннка луны. Прохладиый воздух был полои резкими запахами недавиего дождя, мокрых крыш и листьев. Он летел мимо щек, отбрасывал мои отросшие за лето волосы, рвал коротеиькие рукава, трепал края рубашкн, обтекал упругнмн струями иоги и срывался с босых пяток щекочущими вихорьками.

И этот полет — самый радостный момент моей сказки.

ПОЛЕТЫ

Утром я испытал ужасный испуг и огорчение...

Проснулся я поздно. Сразу все вспомиил, глянул на кривую спинку стула, где повеснл иочью тополиную рубашку,— иа спинке иичего не было!

Сердце у меия пискиуло, как проколотый мячик, и покатилось в какую-то холодную трубу. «Все...» — тоскливо подумал я.

Было ясио, что сказка кончнлась. Коиечио! Такое замечательиое волшебство н ие могло быть долгнм. Нн-

какой колдовской силы иа это не хватит. Виднмо, летучая ткань растаяла при первом утрением свете...

А может быть, это ведьмы взяли свой подарок назад? Да, скорее всего, так. А старую одежду вернулн: вон пыльные штаиы и выцветшая ковбойка аккуратно сложены на стуле (я их сроду так не складывал!).

За что же меия так обмаиулн? Или иаказали? Может, за то, что я слншком долго ночью иосился над крышами и деревьями, резвнлся н дурачился в воздухе? Но что здесь плохого? Сами же сказали: летай...

Нет, наверио, просто кончилось волшебство...

Первое ощущеиие страха н острого горя прошло, ио большая печаль от потерн сказки осталась. Я мнгал мокрыми ресиицамн н гадал: что же случилось? И только об одиом ие подумал: что история с тополниой рубашкой привиделась мне во сне. Не могло это быть сном! Вот и локоть до сих пор болит — я ободрал его о жестяиой флажок иа башеике деревянного дома иад речиым откосом (иа флажке были сквозные цнфры «1909», от иего пахло сырым железом, и он со скрежетом повериулся, когда я зацепил его).

Я помию все так подробно! Как пахло березамн, как быстро щекотали мне лнцо, ладоии и иогн зубчатые лнстнкн, когда я летал над верхушками городского сада. Как я рассмеялся от этой щекотки, ладоии выброснл вверх, сам изогнулся тугнм луком и понесся сквозь шуршаиье воздуха к ватным клочкам облаков и разбухающей половиике луны. Потом раскииул рукн и ногн и повис там, в пустоте, винз лицом.

С высоты все казалось иеиастоящим: огоиьки — искоркамн, река — полоской фольгн (мы такие добывали из старых коиденсаторов, найдеиных иа свалках), серебрнстый купол цирка иа краю сада — крышкой алюмниевого чайиика. А сад клубился внизу косматой темнотой, в которой кое-где мерцала светлая пыльца: иаверно, это луииые лучн отскакивали от дрожащих лнстьев.

Только луиа, горевшая надо миой, осталась настоящей. И таким же иастоящнм — яркнм, большим и кривобоким — было ее отражение в тарелке с темной водой н светлой горошииой посередиие.

Тарелка лежала в мохиатом сумраке сада.

Я, ие шевельиув даже пальчнком, иачал тихо опускаться, погружаясь то в прохладиые, то в теплые

пласты воздуха. Тарелка увелнчнвалась. И иаконец я понял, что это фонтан. Круглый бассейн со светлым камнем в центре, а на камне — тонкий бронзовый журавль со вскиутой головой. Этого журавля я знал с малолетства — поминл, как до войиы меня прнводнл сюда во время прогулок отец. Обычно нз поднятого журавлииого клюва била струя, но сейчас фоитан не работал и вода в бассейне стояла стекляиио-гладкая.

Я опустился мимо журавля и повис у воды. А сннзу, из отражеииого луииого иеба, иавстречу мне всплыл мальчишка, такой же, как я: белоголовый, в серебристой рубашке, с тоикими растопыреииымн рукамн и ногами. Мы остановились в метре друг от друга.

Я не любил своих отражений в зеркале. Моему круглощекому курносому лнцу, белобрысой челке и оттопыреииым ушам явио не хватало мужествеииости. Но этот мальчик мне поиравился. Ои был серьезиее меня, большеглазый, с виимательиым взглядом и смело сжатыми губами. Кажется, ои зиал про меия больше, чем я сам. Наверно, это был ие совсем я. Скорее мой товарищ по иочиым летучим приключениям. Мы с мннуту смотрели друг иа друга, и я слегка оробел перед ннм. Но потом мы друг другу тнхонько улыбиулнсь, помахали ладошками и разлетелись: ои — в свою, опрокинутую в воде сказку, я — в свою...

А еще помню, как я стоял иа шпнле пожарной вышкн.

Вышка подинмалась иад крышей городского музея, иад чериыми часами (которые тогда ие шли). Музей был стариииый, камеииый, с колоииамн, а вышка — деревяиная, узорчатая, иемного похожая иа китайскую фаизу. Ее опоясывал квадратиый балкон. По доскам балконного иастила, бухая сапогамн н кашляя, ходнл дядька в медиой каске с гребешком (тогда еще у пожариых были такие, старомодиые). Каска ярко отражала луиу. «Жарко, тяжело ему в ией,— пожалел я дядьку.— А сиять нельзя, устав не разрешает».

Я дядьку хорошо видел сверху, а он меия — нет. Пожарные не смотрят в небо, там ие может ничего загореться. Я прилетел с высоты, опустился иа длииный сигнальиый шест и теперь стоял иа нем, как петушок на шпиле. Вериее, не стоял, а просто касался большим пальцем правой ноги плоского деревяииого шарика на верхушке шеста. Левую иогу я вытяиул назад,

нагнулся, раскинул рукн — в общем, сделал что-то вроде ласточки. Сам я думал, что со стороиы похож на серебряиый самолетик. Если кто увиднт меня над вышкой, решнт, что на шесте укрепили новый флюгер. Разве кому-нибудь прндет в голову, что там, иа высоте, крутится на одиом пальчнке жнвой мальчншка?

Я поворачивался, как стрелка компаса на острие булавки. Огоньков стало совсем мало. Луна слегка пожухла. Со стороиы реки потяиул ветер. Ои мягкнм крылом снял меня с шеста н развернул лнцом к востоку. Там светлело иебо. Я поиял, что пора домой, синзнлся к логу и полетел вдоль берега над темиымн огородами. Кое-где запоздало тявкали мие вслед собакн. Сильио пахло полыиью...

...Ну, скажите: могло лн все это прнсннться?

За фаиерной стеикой что-то весело залопотал Леська. Раздались мамиии шагн. Я локтем торопливо вытер глаза. Сейчас мие попадет, что допоздна валяюсь в постели...

Мама вошла... Но сначала я увидел не маму, а то, что оиа держала! Сжав пальцы, как бельевые прищепки, мама несла перед собой мой тополнный костюм!

Я дериулся, привстал на локтях, ослабел от радости и растерянностн н бухнулся затылком на подушку.

— Славка, откуда у тебя этот иаряд? — спросила мама. Не серднто, но с ноткой подозрительности.

— Что? А... сейчас,— забормотал я, совершенно не зная, что ответить. Не рассказывать же про ведьм! Я всем иутром чувствовал: сказку выдавать нельзя. Нпкому, даже маме. Да и не поверит никто. Еще н влетит...

Мама нахмурнлась:

— Что ты бормочешь? Откуда костюм?

— Сейчас...— беспомощно повторил я. Надо было протяиуть время, чтобы придумать хоть какой-то ответ. Я зашарил под подушкой, словио что-то ищу. А что я мог там найти? Объяснеине для мамы? Под руку попал компас. Я обычио прятал его там от Леськи.

Я вытащнл компас и стал внимательно разглядывать пляшущую стрелку.

— Владислав...— иехорошим голосом сказала мама.

— А? — Я подиял глаза и благодарно сжал дяди Бории компас в кулаке.— Костюм-то? Ну, что такого... Дядя Боря подарил вчера. Купнл иа толкучке и вот...

Мама очень удивилась. Но повернла. А что ей оставалось делать?

— Страиио... Что это он выдумал?

— Ну, так просто. Он любит дарить...

— Я поннмаю, когда нгрушка, а тут одежда... С толкучки. Не известно, кто носил раньше. А еслн здесь микробы?.. Хотя нет, все новое, только что сшито... И матерьяльчик славный...

Я опять взгляиул иа компас. И снова живая стрелка словио соедиииила меня с дядей Борей. Не с ыиешним, а с тем — с давним мальчишкой. Теперь я врал уже вдохновенно:

— Он сказал, что, когда был малеинькнй, у него тоже была похожая матроска. Я, говорнт, буду иа тебя смотреть н детство вспомииать.

— Вечно у него фантазин,— с непоиятной досадой сказала мама.— Не было у него такой матроски.

— Ты, иаверно, не помнишь...

— Я все отличио помню,— возразнла мама, ио уже помягче.— Матроска у него была, ио не такая, а черная, суконная. Он ее терпеть не мог. Говорил, что кусается.

— Ну, ие знаю...— вздохнул я, словно хотел сказать: «Вы уж сами разбирайтесь в своих детских годах».

В этот миг за стенкой что-то грохнуло н взвыл мой братец. Мама метиулась за дверь. А я метнулся из постели, заторопнлся, натягивая иа голое тело штаны н рубашку, ощутил радостную шелковистую прохладу н взмыл к потолку. Перевернулся через голову рядом с пыльиым абажуром, шлепнулся на пол и выскочил в другую комиату. Леська ревел уже иегромко, а мама прижимала к его лбу медиый тети Тасии подсвечннк.

— Стукиулся маленький,— сказал я подхалимским голосом.— Ннчего, все пройдет у Лесеньки.— Мне надо было с утра завоевать доброе мамиио отиошенне, чтобы ие засаднла ияичиться с Леськой илн ие погиала на рынок за картошкой.

Мама покосилась на меня и велела умываться н завтракать.

За столом я послушио глотал неиавистиую кашу из овсяиых хлопьев «Геркулес» н не брызгал, когда дул на блюдечко с чаем. Но мама все равно сказала:

— Не заляпай обновку... Не таскал бы ты этот костюмчнк каждый деиь. Ои такой праздничиый.

— А зачем беречь-то? — испуганно возразил я.— Лето скоро пройдет. А потом я — у-у-у! Знаешь, как выросту! Сама говоришь, что тянусь без удержкн...

— Это верно,— вздохнула мама.— Давно ли иад столом одна голова виднелась, а теперь вон как торчишь. По пояс.

Я фыркнул. Потому что я не сидел на табурете, а внсел над ним сантиметрах в пяти. Леська, глядя иа меня, тоже с готовностью фыркнул и пустил ртом пузырь нз мутной геркулесовой жижи. На лбу у братца синела роскошная шишка, но он уже обрел жизнерадостность...

— Выставлю из-за стола,— сказала мама. И добавила: — Прнберись в комнате н можешь свистать к друзьям-приятелям. Я ведь вижу, что ты как на шиле сиднішь... А мы с Лесенькой пойдем в полнклнннику. Ох и очередь там...

Я не подал внда, что ужасно радуюсь, и сказал:

— Из-за шишки-то в поликлинику?

— Не нз-за шишки, а на проверку... К обеду будь дома. Придет Артур Сергеевич, скажешь ему, что кастрюля с супом завернута в ватнике, а картошка на сковородке.

Артур Сергеевич был мой отчим. Он рано уходил на работу в Управление охотннчьего хозяйства н рано приходил на обед. Я решил, что оставлю ему запнску...

Нет, не такой я был дурак, чтобы выдавать себя и летать на глазах у прохожнх среди бела дня. Я сел в автобус и поехал на край города. Автобус — это одно иазвание. Настоящих автобусов тогда в нашем городе почти не было, а вместо них по маршрутам ходили полуторкн с поперечными сиденьями в открытых кузовах. Обычные тряские грузовички. В заднем борту у них была прорезана дверца, а к ней подвешены железные ступеньки. Вот на таком общественном транспорте я и катил в сторону загородного дома отдыха Рыбкоопа. Вернее, не катил, а летел, чуть приподнявшись над скамейкой и уравняв свою скорость со скоростью машины. Ветер бил в лицо, волосы вставали торчком, рубашка трепетала. И все было прекрасно... Прекрасно, пока на меня не обратила пытливый взор строгая пожилая кондукторша.

— Мальчик, а ты брал билет?

Мальчику стало неуютно, он не брал билета. У него не было ни копейки. Во-первых, потому, что их некуда было положить: карманов-то Настя не пришила. Во-вторых, потому, что самая крошечная копеечка не дала бы мальчику летать.

Кондукторша встала и, шагая через скамейки брезентовыми сапогами, двинулась ко мне. На груди ее подпрыгивала сумка и разноцветные рулончики билетов.

И что оставалось делать? Только одно: я взмыл над скамейкой и остановился в воздухе. Машина умчалась из-под меня, и на прощанье я увидел разинутые рты кондукторши и пассажиров.

Я опустился на горячую от солнца мостовую и бросился в ближайший переулок.

Сперва я бежал просто так, забыв про свою летучесть. Потом понял: можно же мчаться по воздуху и только едва касаться пальцами травы. Со стороны будет казаться, что я бегу, и никто не догадается, что это полет.

Ура! Я помчался длинными плавными скачками, потом полетел над росшими у дощатого тротуара лопухами и медленно, не в лад со скоростью передвигал ноги. Наверно, это не очень походило на бег. Но прохожих все равно не было, только пыльные козы у заборов провожали меня задумчивыми глазами.

Я покинул машину уже на окраине и скоро оказался на границе лугов и леса за домом отдыха.

Этот день запомнился мне как сплошная солнечная карусель. Я летал среди кустов на опушке вместе с разноцветными бабочками. В лесу, если не было близко людей, я взлетал на вершины сосен, кидался с них к земле, в густую смолистую тень, и у самой травы тормозил полет. Повисал над узорчатыми папоротниками. Качался на их упругих листьях, сделав свое тело почти невесомым.

Тело было послушно мне. Без всякого напряжения, одним радостным желанием я мог вознести его над землей, остановить в воздухе, помчаться со скоростью ласточки или полететь по ветру плавно, как тополиная пушинка. Я ликовал и не пытался объяснить себе самому волшебство. Просто ощущал внутри миллионы

послушных мне струнок. Они упруго и весело звенели, когда я начинал полет. А тополиная рубашка трепетала на ветру...

Где-то в середине дня я вылетел к чистому озерцу с кувшинками на тихой воде. На берегу разостлали одеяло и устроились на отдых молодая женщина и девочка. Девочке было лет восемь. Посреди воды плавал блестящий красный мяч.

Я приземлился за кустом, а оттуда вышел уже как нормальный, не волшебный мальчик. Даже воспитанный.

— Здрасте,— сказал я.— Мячик уплыл, да?

Они удивленно уставились на меня. Видно, я выглядел слишком нарядно для леса. Да и вообще откуда взялся?

Потом девочка виновато заморгала, а женщина улыбнулась и жалобно сказала:

— Да, сбежал наш мяч. А мы обе плавать не умеем. Ты не смог бы до него доплыть?

Доплыть мне ничего не стоило. Я мог это озерцо десять раз перемахнуть любым стилем туда и обратно без отдыха. Только... под тополиным костюмчиком-то ничего у меня не было. А не раздевшись плыть, конечно, нельзя: вода наберется в материю, будет потом посторонняя тяжесть.

Но... перед девочкой и ее мамой лежали такие восхитительные бутерброды с маленькими котлетками. А я так проголодался.

И я голосом веселого, храброго мальчика сказал:

— Тут и не надо плыть. Тут глубина совсем маленькая. Смотрите.

И, окуная ноги по колено, будто бреду по мелководью, я тихо полетел к мячику. Там я дал ему крепкого пинка, и он вылетел прямо к хозяевам. А я «вышел» следом.

— Надо же! — удивилась женщина.— А я была уверена, что здесь очень глубоко. Надо будет, Галочка, набрать кувшинок... Галя, скажи мальчику «спасибо» за мяч.

И золотоволосая симпатичная Галя в голубом платьице сказала мальчику «спасибо». И мальчика, разумеется, пригласили пообедать, спросили, как зовут, где живет и так далее. И удивлялись, что мальчик вдруг поскучнел и бутерброды жует без аппетита.

«А ведь на самом-то деле глубина здесь большая,—

тоскливо думал я.— Вдруг они и правда сунутся за кувшинками?»

— Лучше бы вам не ходить в воду,— наконец промямлил я.— Там стекла на дне. И главное, эти... пиявки. Большие такие. И даже ядовитые.

Галочка перестала жевать и отвесила нижнюю губу. Ее мама испуганно сказала:

— А ты? Тебя не укусили?

— Не... То есть два раза. Но я привычный... Спасибо большое, я полечу... То есть побегу.

И я исчез с поляны, чувствуя себя виноватым и даже напуганным. Впервые подумал я, что с волшебным даром надо обращаться осторожно. Вспомнил слова старика сторожа на свалке: «Волшебство — оно никакое. Его для чего хочешь использовать можно».

И я решил использовать свое летучее умение обдуманно и только для хороших дел. Но в этот день как-то не получилось. Просто так летал до вечера. И решил еще полетать ночью.

РАЗГОВОРЫ С ЛЕШКОЙ

Когда все в доме уснули и сам дом уснул (только тихо поскрипывал во сне), я выбрался из постели и ступил на светлые квадраты, которые расстелила на половицах луна. Они были такие яркие, что половицы казались нагретыми. Я опять натянул свой летучий костюмчик, тихо развел створки и вылетел из окна.

Я взмыл над крышами.

Мне хотелось побывать во многих местах: пролететь над жутковатым Текутьевским кладбищем (наверху-то не очень страшно), обследовать башню старой церкви, где расположилась библиотека, проникнуть в открытые окна у выпуклой крыши цирка и поакробатничать под куполом, присаживаясь на блестящие трапеции...

Но прежде всего я полетел на улицу Герцена. К тополю.

Я неторопливо проплыл над спящими дворами и огородами и опустился на железную крышу длинного старого флигеля. Прямо на гребень. Присел на корточки.

Тополь раскидывал надо мной свою необъятную темную чащу. Она еле слышно лопотала, и кое-где зажигались лунные искры. Я встал, вытянул над головой

руки и, будто серебристая иголка в громадный стог, вошел в тополиную крону.

Здесь ошеломляюще пахло сразу и весной и летом. Все тополиные запахи собрались в густоте мягких, ласковых листьев: запах клейких кожурок, оставшийся с мая; запах сладковатого сока; запах старых, подсыхающих листьев; запах вчерашнего дождика, который не успел высохнуть в глубине вымытой листвы; запах тонкой кожицы на молодых ветках...

Я дышал этими запахами, впитывал их кожей, а листья щекотали и гладили меня, когда я пробирался от дерева к дереву. Именно от дерева к дереву. Могучие старые ветви толщиной напоминали большие деревья. Их было очень много, этих ветвей-деревьев, и я, наверно, целый час блуждал в чаще, отдыхал в широких развилках, качался на тонких сучьях, раздвигал шелестящие лиственные завесы, пока наконец не выбрался к вершине — под чистое небо с маленькой и неполной, но очень яркой луной. Там я повисел в воздухе, рядом с самой верхней веткой, погладил ее аккуратные небольшие листики и снова — головой вперед — упал в тополиную чащу. И еще долго путешествовал в ней.

В одном месте я нашел истлевшие остатки воздушного змея, в другом — скелет модели планера. А еще — стрелу с наконечником из пустой пули (он наполовину засел в коре). А еще — теплый резиновый мячик, прочно застрявший в развилке. Он-то как попал на такую высоту? С земли не добросишь. Может, его кто-то уронил с самолета? Или его закинули сюда, когда тополь был еще молодой и невысокий?..

Я не стал ничего трогать. Это все было не мое, а тополя. Его имущество, его игрушки. Я теперь понимал, что наш тополь совершенно живой добрый великан. Я любил его и не хотел обидеть.

Наконец я устал от блужданий в зарослях. Они были бесконечными. Я подумал, что наш великан больше, наверно, того дерева, на котором спасались во время потопа дети капитана Гранта и их путники.

Тут я вспомнил, что книжку про детей капитана Гранта не дочитал. Лешка Шалимов давал ее мне на неделю, а потом забрал: сказал, что сам будет читать. Я знал от ребят (и кино смотрел), что в романе все

кончается хорошо, но прочитать про это самому все-таки хотелось.

А что, если проникнуть к Лешке, свистнуть «Детей капитана Гранта» с этажерки, а на следующую ночь так же незаметно вернуть? Пускай завтра Лешка похлопает глазами и поломает голову (а послезавтра еще сильнее!). Я тихонько засмеялся, вылетел из тополиного леса и перемахнул через гребень крыши.

Лешка спал всегда с открытым окном, он был закаленный, а грабителей не боялся. Во-первых, воровать у Шалимовых было нечего; во-вторых, окна их смотрели в соседний огород, который охраняла овчарка Барс.

Я опустился так тихо, что Барс меня не учуял. Выгнувшись дугой, я скользнул в окошко и даже ничего не зацепил, только макушка герани мазнула по коленкам. Я поднялся к потолочной балке и оттуда глянул на Лешку.

И вздрогнул.

Лешка лежал на спине, глаза его были открыты. В них блестели лунные точки. Мне стало страшно, как жулику, попавшему в засаду. В комнате было светло от луны и тихо. Только в кровати за шкафом тихонько храпел Володя, старший Лешкин брат. Лешка смотрел на меня и не шевелился. Я тоже замер. Но в носу у меня защипало от известкового запаха и — хочешь не хочешь — пришлось крепко чихнуть.

Володя на секунду перестал храпеть. Лешка не шевельнулся, но губы его расползлись в хорошую, несердитую улыбку, и он полушепотом спросил:

— Ты что там делаешь?

— Это... я тебе снюсь,— нерешительно сказал я.

— А-а...— Лешка, видимо, не удивился.— Ну ладно... А как ты там держишься?

— Да не держусь я. Просто летаю. Вот...— Я описал круг около лампочки.

Лешка приподнялся на локте. Усмехнулся.

— Я раньше сны видал, будто сам летаю, а чтобы кто другой — первый раз.

— Всякое бывает,— дипломатично отозвался я.

— Ну, спускайся,— сказал Лешка.

— Зачем?

— Так и будешь, что ли, сниться под потолком? Спускайся, поговорим...

Я осторожно приземлился у Лешки в ногах на кусачее солдатское одеяло. Лешка задумчиво спросил:

— Интересно, сейчас только ты́ мне снишься или я тебе тоже снюсь?

— Н-не знаю...— пробормотал я. Это был сложный вопрос.

— Завтра я тебя спрошу,— решил Лешка,— снился я тебе или нет.

«Так я тебе и признаюсь! Фигушки!» — подумал я.

— А зачем ты́ ко мне прилетел? — тихо и без улыбки спросил Лешка.

Я пожал плечами:

— Откуда я знаю? Это же сон.

— Ну, а во сне-то зачем?

— Так... Летаю, вот и решил... навестить.

— А-а...— опять откликнулся Лешка.

Я неожиданно для себя признался:

— Скучаю по этому дому. Жалко, что уехал...

— Еще бы,— согласился Лешка.— Ты же здесь с самых пеленок рос.

От такого его ласкового понимания мне стало хорошо-хорошо. А Лешка добавил со вздохом:

— Мне тоже иногда жалко, что ты уехал.

Я даже задохнулся от удивления: неужели правда? Да врет он, больно я ему нужен! Ничего я не сказал, только недоверчиво повозился на одеяле.

Лешка меня понял.

— Нет, в самом деле,— сказал он.— Все-таки мы привыкли друг к другу... Ну, по-разному у нас бывало, но ведь бывало и хорошее... А, Славка?

Я кивнул молча, потому что вдруг защекотало в горле. Потому что хорошее в самом деле бывало. Как он книжки самые интересные давал читать, хотя и ворчал при этом. Как я сидел у него допоздна, если мама долго не возвращалась с работы, а дядя Боря был в отъезде. Как заступался на улице перед длинным дураком по кличке Хрын... Ну а если иногда дразнил или тычка давал, так я и сам хорош был...

— А помнишь, как ты пиратский роман про остров с привидением написал? — тихо засмеялся Лешка.— А я не поверил.

— Ага... А потом поверил. И вы в своем классе читали.

— Читали. Он тогда еще Вальке Садовской понравился очень.

— Кому?

— Ну, ты не знаешь... У нас в классе одна...

— А! Конопатая такая...

— Ну и что? — неласково спросил Лешка.

— Да ничего, с конопушками тоже бывают красивые.

Лешка обмяк и вдруг признался шепотом:

— Славка... Я перед тобой очень виноват.

— Как это? — не повернул я.

— Сейчас скажу... Сейчас можно, потому что во сне... Ладно, скажу. Славка, я тогда сказал ребятам и ей, что... ну, наврал, в общем, что это я сам про остров с привидением сочинил.

Я молчал. Ревность ощутимо кольнула меня. Но тут же я подумал, что дело это давнее и свой «пиратский роман», написанный на старых газетах, я давно потерял. А Лешка сейчас такой доверчивый, сам признался. Правда, он думает, что это во сне, но все равно он хороший.

— Ладно, Лешка,— вздохнул я.— Подумаешь... Если хочешь знать, я перед тобой тоже виноват. Я в том году у тебя картинку стащил из коробки с елочными игрушками, чтобы на книжку наклеить. Помнишь, такой кораблик серебряный с раздутыми парусами?

— Да знаю я,— усмехнулся Лешка.

— Знаешь?!

— Конечно. Ты потом два дня перепуганный ходил и на меня смотрел, как жулик на милицию... Я сперва хотел сказать, а потом думаю: лучше я у него немецкую открытку стырю, чтобы... ну, в общем, Садовскую надо было с Новым годом поздравить...

— Ну и... поздравил?

— Ага,— виновато сказал он.— Ты только про это никому не проболтайся.

— Как я проболтаюсь? Мы же во сне говорим... Да мне и не жалко ничуточки эту открытку.

— Да я не про нее... Про остров с привидением... А то она меня презирать будет. Я лучше потом сам ей признаюсь.

— Не надо. Мне это привидение нисколько не жалко.

— Нет, я признаюсь... Потом. Надо все же честность в себе вырабатывать.

— Я тоже стараюсь... Чтобы ие врать очеиь часто. И если уж честиое слово скажу, тогда изо всех сил держусь... Маме дал слово, что ие буду с Артурычем спорить, и уже три иеделн не спорю. Правда, он десять дией в командировке был.

— Артурыч — это отчим, что лн?

— Ага. Я его так зову про себя...

— Здорово вредиый?

— Как когда... Прнднрается.

— А отец пншет?

— Пншет, конечно. И деньги прнсылает.

— А к себе ие зовет?

— Зовет... Да иу, ие хочу я. Тут все свое, а там что... И маме трудио будет с Леськой управляться.

Я хотел сказать, что прежде всего не хочу расставаться с мамой, ио постеснялся. Лешка, одиако, понял:

— Правильно. Без матери разве жизнь? У меия вот на иеделю в Курск ездила, дак я н то...

— А зачем ездила?

— Там отец похоронеи, под Курском. В братской... А твои почему развелнсь?

Я пожал плечами. Я не зиал тогда н узнал прнчины гораздо позже, когда стал большим. И поиял, что вниоваты были ие мама и не отец, а чужие равиодушиые людн, вломнвшнеся в нх судьбу. Но эта тема уже ие для сказки. Это грустиая реальиость тогдашией жизин...

Лешка перемеинл разговор. Сказал задумчиво:

— Я иногда думаю: что лучше? Честность нли смелость?

— По-моему, всего лучше, когда вместе,— уверенио сказал я.

— А если вместе нету? Тогда как?

Я раздумчиво посопел.

— По-моему, честиость лучше,— твердо проговорил Лешка. Виднмо, для себя это ои уже решил.— Потому что если смелый, а ие честный, тогда какой толк? Смелые и среди фашистов были, а все равио сволочи. А еслн человек честиый, то пускай ои даже боится. Ои скажет: даю себе честиое слово, что буду делать все как надо, а на страх мие иаплевать. Вот...

— А ты... давал?— осторожио спросил я.

— Ага...— тихонько выдохиул Лешка.— Что буду стараться.

Тогда я сказал:

— Я тоже...
— Что?
— Тоже даю... что буду стараться быть честным.
Лешка подумал.
— Это, наверно, не считается,— вздохнул он.— Это ведь не по правде. Ты мне просто снишься.
— Ну и что...— отозвался я.
Мы замолчали. Я почувствовал, что такой важный разговор лучше не разбавлять болтовней.
— Ну, пока,— сказал я Лешке и с кровати рыбкой скользнул в окно. И герань опять оставила пыльцу на моих ногах.

Утром я собрался бежать к приятелям, а мама сказала:
— Что за привычка скакать босиком. Надень сандалии.
Я не стал спорить. Пожалуйста, надену!
Конечно, в обуви полететь я не смогу, ну и ладно, успеется. Зато мчаться по тротуарам легко: я напружинил жилки как для полета и тяжести во мне осталось всего ничего — как раз только истертые до бумажной легкости сандалики.
Однако в квартале от нашего старого двора я сбавил скорость. Как отнесутся к моей обновке мальчишки? Два года назад Лешка дразнил меня непонятным, но обидным словцом «Кнабель» за иностранные штаны и рубашку с перламутровыми пуговками (их прислал из Германии отец, он тогда еще служил там). И сейчас я затрепыхался: не покажется ли ребятам мой белый костюмчик чересчур модным, а вышивка из красных листиков — девчоночьей?
Во двор я вошел неторопливо, с равнодушно-независимым лицом и нехорошим холодком в желудке. У тополя сидели на корточках Вовка Покрасов и Амир Рашидов. Они накачивали велосипедным насосом латаный-перелатаный волейбольный мяч. Я подошел, спросил небрежно:
— Чё, не качает?
— Качает...— Вовка поднял глаза, поморгал и добродушно ухмыльнулся: — Во какой... артековец...
Амир уважительно помял грязными пальцами краешек моих штанов и спросил:
— Парашютный шелк?

— Не знаю, на рынке купили,— ответил я с зевком и подумал: «Проиесло». И тут же догадался, что говорить дальше:

— Похоже, что парашютный. Потому что я себя в нем таким летучим чувствую... и прыгучим.

— Как это? — Амир уперся в меня черными колючими глазками.

— А вот так! — Я прыгнул в длину и пролетел метров пять. Сандалики приземлили меня в пыльную траву перед крыльцом флигеля. На крыльце стоял дядя Боря.

— Дитя мое,— сказал дядюшка с насмешливыми лучиками в глазах.— Что это за странная легенда о костюме, который я будто бы подарил тебе в память о собственном безгрешном детстве?

Я заморгал.

— Встречает вчера меня твоя мама,— продолжал дядя Боря,— излагает эту историю и задает всякие вопросы... Я еле выкрутился.

Ура! Дядя Боря меня не выдал! Это самое главное! Я сделал виноватое лицо и пробормотал:

— Да это, понимаешь, такое дело... Это Нюра, наша соседка, сшила из старой скатерти. Она маленьких любит, часто подарки делает. А маме просила не говорить, потому что маме не нравится, когда меня чужие балуют...

Дядя Боря качнул головой и сказал непонятным голосом:

— Хитер ты, мой юный племянничек, не по годам...

— А что такого? Я же правду сказал...

— Ну, правду так правду... Ладно, прыгай и веселись...

Но прыгать и веселиться не получилось, потому что на крыльце возник Лешка.

Лешка вытаращил глаза.

Я тоже вытаращил на него. С испугу. Хотел мигнуть и не мог. Только сейчас я сообразил: ночью-то Лешка видел меня в тополиной рубашке, она светилась при луне. Сейчас он обо всем догадается!

Не знаю, догадался ли Лешка. Поглядел он на меня, сказал «м-да», хихикнул и спросил Вовку:

— Накачали?

— Ага. Только шипит маленько...

Мы еще с полчаса возились с волейбольной камерой, заклеивали. Лешка больше не смотрел на меня

по-особому и ни о чем не спрашивал. Я успокоился. А потом так осмелел, что даже показал «чемпионский» прыжок. Амир сболтнул, что «Славка научился прыгать, как эта самая... кенгуруха... Пускай покажет», ну я и сиганул через лужайку — от поленницы до бревенчатой стены двухэтажного сарая.

Тогда Лешка негромко, но отчетливо сказал:

— Да-а, сны-то сбываются.

Я опять очень оробел, но спросил небрежно:

— Какие сны?

— Да так... Ерунда.

Ну и ладно, если ерунда.

Мы для пробы попинали накачанный мячик, и Лешка поддал его так здорово, что он, бедняга, улетел на сарай. И остался там, на загнутой кромке железной крыши.

— Запрыгнешь? — с подковыркой спросил Лешка.

Нет уж, дудки! Ты меня не подловишь!

— Не запрыгну, а залезть могу.

Я скинул сандалии и стал медленно подниматься вдоль стены. И при этом делал вид, что цепляюсь пальцами рук и ног за выступы и щели в бревнах.

— Как муха,— удивленно сказал внизу Вовка Покрасов.

Я сбросил с крыши мяч, и тут меня опять бес толкнул под ребро. Я прыгнул вниз и лишь у самой земли притормозил падение.

Вовка совсем по-девчоночьи взвизгнул. Я сел в подорожники, потер пятки. Сказал небрежно:

— Отбил маленько. Высоко все-таки...

Лешка хмыкнул.

Толька Петров (он тоже был здесь) презрительно пошевелил ноздрей.

— Делов-то... Я оттуда тоже прыгал.

— Ты в сугроб прыгал, зимой,— напомнил Вовка. Он был справедливый человек.

— Делов-то... Могу и щас.

— Можешь, дак прыгни,— предложил Амир.

— Он может,— сказал я.— У него трусы вместо парашюта.

Толька ходил в широченных оранжевых трусах до колен, он воображал себя непобедимым вратарем вроде знаменитого Хомича. За «парашют» он оскорбился и выразил желание перевести разговор на кулаки. Я за-

смеялся н скакнул на поленннцу. В это время пршлн большне ребята, Лешкнны одноклассннкн, н мы всей компанней отправнлнсь купаться на Пескн — так назывался уютный пляжнк под заросшнм откосом Туры. Девчонок поблнзостн не оказалось, можно было купаться голышом, н я отвел душу за вчерашннй день н за нынешннй. Выбрался нз воды я после всех н увндел, что зловредный Толька колдует над моей одеждой. Затянуть узламн короткне штаннны н рукава он не сумел, зато напутал узлов на едннственной лямке н скрутнл жгутом рубашку.

Ах ты, рыжая сколопендра! Ну ладно... Толька отскочнл, я прнвел штаны н рубашку в порядок, нетороплнво оделся, н мы деловнто подралнсь в кружке молчалнвых свндетелей н судей. Толька разбнл мне нос, н кровь закапала на тополную ткань, но это было ннчего, это моя собственная кровь, она не мешает летучестн. А я зато вляпал Тольке под глаз краснвый фннгал н крепко вделал ему по губе. Лешка сказал, что у нас, как всегда, ннчья, н велел кончать. Я пообещал Тольке добавнть потом еще. Он мне тоже.

Мы еще долго былн на берегу, дурачнлнсь, лазалн по заросшнм полынью н бурьяном кручам, кндалн друг в друга песочнымн бомбамн. Я попал такой бомбой точно за шнворот большому белобрысому Вальке Сндору, н он погнался за мной, чтобы «сделать нз этого щенка готовую Муму́». Я по бурьянным верхушкам взлетел на откос. Валька совершенно обалдел от моей прытн н застрял в сорняках.

А когда я спустнлся на песок, Лешка снова смотрел на меня непонятно...

Вечером во дворе Лешка сказал:

— Ну-ка, пошлн...

Я почему-то загрустнл н побрел с ннм за поленннцу без всякой охоты. Лешка сел на чурбак, а меня поставнл перед собой.

— Может, ты н сейчас мне снншься? — ехндно спроснл он.

— Не...— осторожно сказал я.

— А ночью?

— Какой ночью? Чё такое?...— забормотал я.

— Ну, повертнсь, поотпнрайся,— хмыкнул Лешка.

Я безнадежно посопел прнпухшнм носом.

Лешка помуслнл указательный палец н пронзнес прнговор:

— Десять шалабанов. Подставляй лобешннк.

— За что?

— За то, что врал.

— А с чего я должен тебе всегда правду говорить? — взъерошнлся я.

— А кто слово давал? Что будешь стараться быть честным! Мы оба давалн. Тоже во сне?

— Слово — это уж потом. А про сон я сперва...

— Вертишься? — сказал он.

Мне инчего не стонло стряхнуть сандалнкн н взмыть на забор. Но... что-то в самом деле миого я «вертелся» в этн дни. «Хнтер ты, мой юный племяиинчек, не по годам»,— вспоминл я дядю Борю.

А что я такого сделал? Ну, разок соврал, два схнтрнл. Так н раньше бывало, без этого не прожнвешь. Но... нет, не улетел я от Лешкн. Вниоватость удержала меня грузом потяжелее сандалий. Будто обулн меия в размокшие бахилы, которые ие стряхнешь. Я переступил обмякшими ногами, зажмурился и наклоиил голову. Тнхоиько попросил:

— Только без оттяжки...

Ждал я долго. Не дождался шалабаиа, открыл глаза. Лешка смотрел серьезно н тоже как-то виновато. Он взял меия холодиыми пальцами за локти, придвинул поближе.

— Про Вальку Садовскую ннкому ие говорн, ладно?

Я налился горячей благодарностью до ушей, до глаз. До макушкн.

— Лешка, да я же поинмаю! Лешка, я...

— Ну ладио,— сказал ои со вздохом.— А как это ты сделался такой? Прыгучнй-летучнй...

— Лешка... я расскажу... Только ие сейчас, ладно?

Рассказывать так сразу о ведьмах я не решался, а врать больше не хотел, протнвно.

— Ладно,— покладнсто сказал Лешка.

И мы пошли в иаш флигель, иа кухию, где на уютном таганке, в зеве русской печи, дядя Боря варнл душистую картошку.

ПРО ХОЗЯИНА

Прошло иесколько суток. Сколько точно, не помню. Помню только, что луна опять иабрала полиую силу —

из половннки сделалась круглой и светила в летнем небе пуще прежнего. В одиу такую иочь, когда все усиули, я снова собрался в полет. Я и до этого летал почти каждую ночь, и мие ни капельки ие иадоело. Только самую чуточку точило меня какое-то беспокойство. Илн даже ие беспокойство, а едва заметная печаль. Потому что летал я совсем одии, даже птнцы спали.

И тогда прндумал игру с самим собой. Вериее, со своим двойииком.

Я улетал к озеру за домом отдыха, подиимался высоко над водой, а оттуда ласточкой несся вниз — так, что воздух забнвал уши и обжнмал иа теле рубашку. А из перевериутого луииого неба ко мие мчался, раскинув руки, похожий иа меия мальчишка. Мы иа секуиду останавливалнсь друг перед другом, замирали, улыбались, подмигнвалн и улеталн опять: я в высоту, ои в глубииу...

В этой игре была стремнтельиость полета, сдержаиный восторг и короткие радости встреч. Я иногда совсем забывал, что мальчишка в озере — это я. Ои казался мне лучше, смелее. У иего в душе ие было тайиых страхов, а на совести всяких мелких темных дел... Может быть, и я стаиу когда-иибудь таким же...

Тнхонько сопя от иатуги, я иатяиул свой «летчиковый» костюм. Ои серебристо светился в сумерках. Два дня назад мама выстирала его. Я сперва ие давал, ужасио боялся, что от стирки пропадет волшебиая сила. Но мама рассердилась, прикрикиула и обозвала меия пугалом. В самом деле, рубашка была уже серой от пыли, а штаиами я иедавио уселся в овсяиую кашу, которую размазал по табурету Леська...

Волшебных свойств тополиная ткаиь ие потеряла, ио от воды села. Штаиы сделались тесиоватыми, рубашка узкой в плечах. Я с грустью думал, что скоро подрасту н тогда сказке конец. Но пока еще сказка продолжалась. Рубашка, хотя и жала под мышками, в поясе оставалась широкой и трепетала иа лету, как маленький белый костер...

Я встал коленками иа твердый облупленный подокоиник, раздвииул створки н вздрогнул: у палисадиика стоял кто-то темиый и молчаливый. Но по-иастоящему испугаться я не успел: узиал Настю.

— Тополеиок...— сказала оиа громким шепотом.

Я обрадовался. Я вдруг понял, что соскучился по Насте. По Степаниде и Глафире тоже немножко соскучился, а по Насте — сильно. Хорошо, что она пришла! Может, ведьмы тоже соскучились? Может, хотят, чтобы я опять посидел с ними и почитал вслух? Ладно, я могу. А еще я расскажу им о своих летучих приключениях!

Настя ласково спросила:

— Ну что, летаешь, значит?

— Ага...— выдохнул я. Тихо слетел с подоконника, описал над Настей круг и встал с ней рядом. Она взяла меня за плечи. Луна была яркая, глаза у Насти сильно блестели.

— Пойдем-ка погуляем,— сказала она.

Я немножко удивился. Но все равно мне было радостно и хорошо.

— Пойдем! — согласился я.

Она взяла меня за руку. Сперва я послушно шел следом. Потом тихонько оттолкнулся от тротуара, вытянулся в воздухе горизонтально и поплыл за Настей «на буксире».

— Ох и баловник...— усмехнулась она.

Я засмеялся, освободил руку, на лету перевернулся на спину. Подтянул к подбородку колени и стал соскребать с них прилипшие на подоконнике чешуйки краски. Поглядел Насте в лицо и спросил:

— А как там живут ваши? Ну, Глафира, Степанида...

— Живут,— отозвалась Настя непривычно сумрачным голосом.— И я живу... Чего хорошего-то в нашей жизни? Маемся только... Ты помог бы нам, Тополечек, а?

— Как?

— А вот слушай. Я затем и пришла... Да ты встань по-человечески.

Я торопливо перевернулся в воздухе и встал перед Настей. Тревожно мне сделалось. Настя поправила косынку, глянула мимо меня (а улица под луной была пустынная и очень тихая, даже собаки не гавкали; а у заборов и в палисадниках притаились косматые тени).

— Про Хозяина-то слыхал? — негромко спросила Настя.

Я кивнул и переступил босыми ступнями на теплых досках тротуара.

— Ну вот,— опять вздохнула Настя.— Всех он нас под свою власть забрал. Что велит, то и делаем... Вроде и на воле живем, а все равно как в тюрьме, никакой ра-

дости нет. И волшебство наше тут без пользы. Сами ржавеем и других заставляем. Как зараза для души эта ржавчина...

Она опять пошла тихонько вдоль забора. Я — рядышком.

— Он ведь нам какую цель жизни сделал-то...— говорила Настя.— Вы, мол, живите и следите: кто с нечистой душой вам встретится, того к себе приманивайте... А потом железное колечко на него хлоп... И сделали ему нового прислужника...

— И меня тоже?! — ужаснулся я.

Настя улыбнулась:

— Да нет же... К тебе ржавчина-то не пристает, у тебя кровь светлая, тополиная, да и худого ты еще ничего не сделал...

«Ну уж...» — подумал я.

— Вот мы тебе рубашечку-то и сшили,— сказала Настя.— С пуха тополиного летучую рубашечку, от Хозяина крадучись. Потому что живет Хозяин-то посреди ржавого леса, сквозь его не продерешься, можно только по воздуху, как пташка.

Я сразу и сильно испугался. В одну секунду понял, что беспечные полеты кончились. Ясное дело! Не для того мне ведьмы шили тополиную рубашку, чтобы я по ночам акробатичал над крышами, а днем дурачил прыгучими фокусами приятелей. Сказка-то, она всегда вот таким делом кончается — битвой со змеем-горынычем или колдуном каким-нибудь.

Как я раньше не додумался? Теперь не отвертишься.

От пяток до шеи меня проколола тысяча холодных иголок. Нет, я в тот момент не Хозяина боялся. Я боялся н е и з б е ж н о с т и: никуда не денешься, попал в страшную сказку, как в капкан.

А Настя вдруг сказала:

— Коли боишься, дак не надо. Летай себе на здоровье, а мы уж как-нибудь... С ним чтобы воевать, надо твердо решиться, а если со страхом, то все равно без пользы.

Мы долго молчали и тихо шли рядом. Я теребил подол тополиной рубашки и вспоминал. Как они меня летать учили, как я шептался со старым тополем в его чаще, как дал честное слово Лешке, как летел ко мне из озерной глубины похожий на меня мальчишка. Похожий, только честнее и смелее, чем я...

А может, мне сейчас только кажется, что это я вспомннал тогда. Но так или нначе, а что-то сдвннулось в моей душе, и я спросил:

— Настя... А если у меня страх, но я все равно твердо решусь... тогда можно? Тогда что делать?

КЛЮЧИК

Я летел к заколдоваиному ржавому лесу, посредн которого жил в железном доме Хозяни.

Настя объяснила, что я должен сделать. Надо пробраться в дом, снять с шен спящего Хозянна ключик н отпереть на Хозяиновой руке браслет.

— Ты легоиькнй, проберешься потнхоньку,— тепло шептала мие в ухо Настя.— А как отопрешь колечко-то, все уже ие страшно будет. Ключнк, он сразу рассыплется, а Хозяин, еслн проснется, пущай ругается, снлыто у него не станет. Да ты и не слушай, летн себе домой сразу, вот и все...

— А вашн браслеты? — спроснл я.— Их-то кто отопрет, если ключнка не будет?

— А и не надо,— со смешком отозвалась Настя.— Онн самн развалятся. Это ведь одиа вндимость, что оии по отдельностн заперты, а по правде-то онн в одну цепочку связаны, потому нас Хозяин н держнт. А в цепочке еслн одно колечко рвется, вся в ней сила пропадает...

А еще Настя сказала, что людей со ржавымн кольцамн полиым-полно на белом свете. У некоторых этн кольца иа вcase — у тех, кто колдуны да ведьмы,— а у многнх оии незаметны. Кое-кто про ннх н сам не знает, не ведает, что в душе у него завелась ржавая зараза. И вот этих людей могу я освободнть от Хозяина, еслн не побоюсь. И никто другой это сделать не может, потому что лншь у меня есть тополнная рубашка.

И вот я летел... Ржавый лес начинался за железной свалкой, где в прошлое полиолуние танцевалн ведьмы. Раньше я бы рассказу про лес не поверил, потому что знал: за свалкой кончается ответвленне лога н там, наверху, стоят ветхне домншкн н тяиутся огороды. Но сейчас все было по-другому, по сказочным законам, н я ннчуть не сомневался, что скоро окажусь над ржавым лесом.

Летел я низко по руслу речкн Тюменки, среди поросшнх осокой берегов. Я это делал на всякий случай: вдруг у Хозяина есть перед лесом тайные караульные посты! Я торопился н скорость развил такую, что на поворотах меня заносило к берегу, н тогда коварио царапалась осока. По журчащей и ребристой воде передо миой иеслось скомканиое отражеиие луиы. Оиа сияла в эту иочь ярче прежнего. Воздух, который летел иавстречу, обдавал меня болотистыми запахами.

Потом я учуял запах ржавчины н различил впереди темные груды свалки.

Подлетел. Медленно подиялся иад железными кучами. За свалкой ие было домнков н огородов, а тяиулось что-то черное и лохматое, и ветерок все сильиее пах сырым железом.

Настя говорила, что треугольная поляна с домом Хозяина лежит в железной чаще, к югу от свалки. Я прикинул, где он, юг, н двииулся вперед.

Теперь я летел ие очень быстро и ие очеиь инзко, метрах в двадцатн от верхушек леса. Это и правда был лес — непривычный и страшный. В свете луиы я видел, как громоздятся, переплетаются и тяиутся вверх, принимая вид деревьев, черные разветвлеиные трубы, рваные кровельные листы, клубки и плети колючей проволокн. И еще всякнй старый, нскореженный металл. Мертвый, ннкому не нужный... Я подумал, что в этой ржавой путанице может укрываться стража Хозяина. А меня так хорошо вндно в ясном иебе, и так ярко блестит при луне тополнная рубашка.

Я почувствовал себя беззащитиым! И взмыл в высоту, чтобы нз леса не шарахнули по мне нз какойнибудь ржавой пушкн.

Но почтн сразу я успоконлся. Настя ведь ии словечком не обмолвилась, что у Хозяина есть часовые. Оиа рассказывала, что он спит спокойно и крепко, потому что знает: ннкто к нему не проберется.

Страх у меня пропал. Почти. Вообще-то я иемножко боялся, но не Хозяина. Хозяин что мне сделает? В крайнем случае взовьюсь свечкой н пусть ловит в небе! Я боялся, что не сумею добыть ключик и отпереть браслет. Тогда столько людей останутся ржавымн пленнками! И я буду виноват! И эта моя вина будет такой громадной по сравненню со всеми прежнимн... Раиьше-то что я делал плохого? Ну, двойки нногда скрывал

от мамы. Ну, лодырничал, не хотел на рынок за картошкой ходить. Бывало, трусил перед дракой. Случалось, что Леську шлепал, если тот крепко надоедал (правда, потом всегда жалел его). А еще что? Да, патроны, которые свистнул у Артура Сергеича. Это дело посерьезнее... Но все равно от этого никто, кроме отчима, не пострадал. А теперь если струшу или растеряюсь, тогда что? Тогда хоть прямо с высоты головой о железяку...

Ну почему так получилось? Почему именно я должен лететь к Хозяину?

«А когда просто так летал, небось радовался! — сказал я себе. Или не я сказал, а скорее, тот мальчишка, который прилетал ко мне из лунного озера.— Тогда вон какой счастливый был, что есть у тебя тополиная рубашка...»

«А ведь правда»,— подумал я. И понял, что за прежние радости надо платить. Добром за добро. Такой закон у сказки и у жизни. Иначе ты будешь не человек, а последняя ржавая лягушка. Я это понял смутно, без слов, но сделалось спокойнее. И смелости стало побольше. Словно я наконец-то превратился в того ясного и храброго мальчишку...

И когда я увидел с высоты треугольную поляну, я уже твердо знал, что все сделаю как надо...

Я, пока летел, думал, что дом Хозяина — это громадный железный за́мок, опутанный колючей проволокой, и что мне придется пробираться по ржавым переходам и гулким лестницам.

А на поляне стоял мятый троллейбус без колес. Я сразу понял, что это троллейбус, хотя никогда их наяву не видел (разве что в кино). Над обшарпанным фургоном торчали длинные погнутые «усы». Краска на троллейбусе облупилась, темнели ржавые пятна, однако окна почти все были целые.

Поляну покрывала аккуратная трава. Ее заливал ровный голубой свет, она искрилась (роса на ней, что ли?). Было пусто — ни кустика, ни холмика. Негде спрятаться. Только от троллейбуса падала короткая, очень черная тень. В эту тень я и приземлился на полной скорости — почти упал. Посидел на корточках в траве — она оказалась сырой и холодной. Подождал, когда перестанет прыгать сердце. Оглядел ряд троллейбусиых

окон. В стеклах отражалось светлое небо, и лишь одно окно было черным и пустым.

На четвереньках я подобрался к окну. Встал, ухватился за край. Царапая коленками железо, подтянулся, заглянул в ржавую пустоту... И сразу в локти мне впились железные колючки, меня дернули в сторону, я услышал проволочный скрежет...

Меня держали за руки два чудовища. Две косматые железные куклы ростом со взрослого дядьку. Они состояли из клубков колючей проволоки. Вместо головы — комок ржавого железа, ни лица, ни глаз. Понятно было, что нисколечко они не живые, а вроде заводных.

Я подумал, что все пропало, но — удивительное дело — в тот момент ничуть не испугался. Потом я узнал, что такое состояние называется по-научному «защитная реакция организма». Ну вот, из-за этой реакции я и вел себя спокойно. Проволока въедалась в голые руки, и я сказал:

— Пустите вы, болваны, больно ведь.

Но колючие болваны покачивались с легким скрежетом и не пускали.

Они не очень крепко держали, я мог бы вырваться, но понимал, что ржавыми шипами издеру кожу.

Сзади, противно скрипя, подошло третье чудовище, ткнуло колючим кулаком в мою спину, и меня повели к передней части троллейбуса. Мокрая трава щекотала босые ноги, и ее холодные касания казались мне теперь такими приятными по сравнению с царапающей хваткой железных кукол...

Дверь кабины со скрежетом раздвинулась, и я увидел Хозяина.

Я думал, что Хозяин — это страшный колдун вроде Кащея, а оказалось, что это низкорослый мужичок с круглым животиком, лысоватый, с дряблыми щеками. У него были заплывшие глазки и мясистый нос. И одежда совсем не колдунская — старые галифе, из-под которых спускались завязки кальсон, стоптанные чувяки и мятый черный пиджак, под которым, кажется, ничего не было. В общем, никакой не злой волшебник, а хозяин частного огорода, который спекулирует овощами. Или жулик-завхоз с мелкого склада.

Но я сразу понял, что это Хозяин. Потому что в вырезе пиджака на волосатой груди его светился клю-

чик из блестящей нержавейки. Маленький ключик вроде чемоданного. На шнурке.

Хозяин деловито вытер о галифе ладони, шагнул в траву, глянул на меня и хихикнул:

— Привели голубчика? Ну-ну...

Я все еще не боялся.

— Чего они вцепились? Скажите, чтоб отпустили! — сердито потребовал я.

— Отпустят, отпустят,— пообещал Хозяин.— Конечно. Только маленько опосля́... Хе-хе... Как все дела оформим, так и отпустим.

— Какие еще дела?

— Документик надо составить. Как, значит, полагается. Что попытка воровства. То есть хищения...

— Врете вы все! Я у вас ничего не брал!

— А ключик-то кто хотел стащить? А? Мы тебя давно проследили, не отопрешься.

— Врете вы все,— опять сказал я. И глупо проговорился: — Не могли вы за мной следить, у меня ничего железного нет.

— Хе-хе... Как это нет? Да ты от своего компаса весь промагниченный. И еще есть железное, только ты сам не знал. Эта самая... железная решимость, чтобы, значит, ключик чужой украсть и колечко не свое отпереть. Это мы нашим уловителем сразу определили. Не выйдет у тебя, нет... Освободитель нашелся! Сейчас мы на освободителя актик составим, а потом в суд. Все по закону...

«При чем тут суд? Псих какой-то»,— подумал я. И все смотрел на блестящий ключик. И еще пытался разглядеть под рукавом пиджака браслет, но не видел.

Хозяин сел на ступеньку в двери троллейбуса, достал из-за пазухи большущий блокнот и ручку-самописку. Зачем-то лизнул у ручки перо, добродушно посопел и поднял на меня глазки.

— Ну дак, значит, как фамилия, имя-отчество, год рождения и место-проживание?..

— Фиг вам,— сказал я.

Мои проволочные конвоиры сердито заскрежетали и сильнее вдавили колючки. А Хозяин ничуть не разозлился.

— Ну и ладно. Ну и так знаем... Хе-хе. Пяткин-то Лев Эдуардыч про тебя все данные сообщил. Вот так, хороший ты мой...

Вот оно что!

— Гад он, ваш Пяткин,— искренне сказал я.— Пьяница проклятая, всю совесть за бутылку продал. Шпион...

— Хе-хе, кому шпион, а кому надежный помощничек. Он у меня на тебе премию заработал, так что не отпирайся.

Я кипел от злой обиды и молчал.

— Ну и молчи,— покладисто проговорил Хозяин.— Все одно судить будем. Степа, давай принадлежности.

Колючий болван, который стоял в сторонке, со скрежетом полез в заднюю дверь троллейбуса и оттуда вывалил железную бочку. Подкатил, поставил перед Хозяином, как стол. Потом... потом приволок и положил на бочку громадный, как у палача, топор! С полукруглым зазубренным лезвием и кривым топорищем.

Вот тут я перепугался. Весь ослабел даже. И дышать перестал.

— Хе-хе,— обрадовался Хозяин.— Поржавела железная решимость-то, а?

— Ничего не поржавела...— слабо сказал я.

— Да ты не боись,— утешил он.— Топор-то, он так, для авторитету. Голову я тебе рубить не буду, что я, зверь кровожадный какой-нибудь? А вот постегать тебя придется, железной крапивой.— Он опять ржаво и отвратительно хихикнул.— Такой сорт специальный, очень для воспитания подходящий.

— У вас у всех одно и то же на уме,— бессильно огрызнулся я, вспомнив тетю Тасю.

— Хе-хе,— обрадованно отозвался Хозяин.— А уж опосля того дела браслет тебе для послушания... Степа, давай-ка.

Безобразный Степа, переваливаясь, побежал к темной опушке и вернулся с чем-то черным, длинным и колючим в лапе.

И тогда я рванулся!

Я боялся унижения не меньше, чем топора, и отчаянно дернулся из ржавых когтей. Они разодрали мне руки от плеч до кистей, но я взмыл над поляной и с высоты, не чуя боли, радостно и освобожденно заорал:

— Эй ты, ржавая кадушка! Взял, да?! Фашист паршивый! Прыгни сюда, я оборву тебе завязки на подштанниках!

Он и правда запрыгал! Забегал по поляне, хлопая

чувяками, и несколько раз подскочил. Я снизился метров до трех и плюнул ему на макушку. И попал! Он завизжал, замахал кулаками, заорал:

— Хулиган! Спускайся, а то хуже будет!

Я захохотал. Знал, что хуже не будет.

Но... ведь и лучше не будет. Ключик-то у Хозяина. И заперты наглухо все ржавые браслеты...

Хозяин все бегал по кругу, ключик серебристой искоркой вздрагивал у него на груди.

И еще что-то сильно сверкало внизу. В траве. У передней стенки троллейбуса. Может, еще один ключик?

Мысль была, конечно, совершенно глупая, но я все же спикировал к земле. Хозяин со злорадным воплем кинулся на меня и, конечно, не успел: я взвился опять. Однако за секунду мне удалось разглядеть, что блестит среди травяных стеблей осколок стекла. Наверно, от разбитой фары.

У расколотых стекол всегда острые края...

А шнурок у ключика совсем тонкий.

Ну, давай, Славка, думай. Решайся...

Конечно, отпереть браслет на Хозяине я не сумею. Он со своими ржавыми дураками десять раз успеет меня скрутить. Но есть же другие браслеты! На Насте, на Глафире, на Степаниде. Был бы ключик!

— Спускайся лучше добром!— опять завопил Хозяин. Он стоял задрав голову и все тер ладонью лысую макушку.

Я сказал ненатурально и плаксиво:

— Ага, «спускайся». Чтобы вы меня отлупили, да?

Он сразу учуял новые нотки в моем голосе. Торопливо пообещал:

— Не буду, не буду! Да что ты! Пошутил это я... Ты спускайся, поговорим, обсудим все. По-хорошему, значит...

— Мне ваш ключик вовсе и не нужен,— обиженно сообщил я с высоты.— Пяткин вам наболтал, а вы этому пьянице и поверили... А я и не за ключиком прилетел, я хотел у вас колдовать научиться, вот...

— Ну и хорошо, ну и давай!— суетился он.— Я ведь чего... Я, конечно... это... научим! Ты давай, лети вниз-то... А? Ну, не бойсь.

— Ага, «не бойсь»... А эти дураки опять полезут. И так всего исцарапали!

— Степа, Федот, Кузя! Брысь!— гаркнул Хозяин, и прислужники торопливо полезли в троллейбус. Хозяин опять задрал голову.

— Ладно...— сказал я. И почти со скоростью падения опустился перед троллейбусной кабиной. Сел. Правой ладонью быстро накрыл стеклянный осколок, а левой вцепился в согнутую коленку и громко ойкнул.

Хозяин быстро засеменил ко мне.

— Ой,— опять сказал я.— Кажется, ногу подвернул. И в пятке колючка. Посмотрите, пожалуйста.

Хозяин сокрушенно закачал головой и наклонился надо мной, как добрый дядюшка. Ключик закачался у меня перед глазами. Я вцепился в него, потянул, а краем стекла полоснул по шнурку. И с добычей в кулаке рванулся вверх.

Хозяин страшно, нечеловечески завизжал. Запрыгал. Проволочные болваны стремительно выкатились из троллейбуса.

Но я уже летел к опушке леса! Мчался изо всех сил!

Только... Что это? Непонятная тяжесть перевернула меня вниз головой. Я задрыгал ногами и брякнулся в траву у железных уродливых кустов.

Почему? Ох, балда, это же ключик! Я забыл, что с посторонними вещами летать нельзя, даже с самыми маленькими. Ключик совсем крошечный, а для меня все равно что якорь.

Но не мог же я его бросить!

А Хозяин и его колючие балбесы уже подбегали. Хозяин визжал:

— Шпана! Ворюга! В лапшу искрошу, сопляк паршивый!

И я по земле бегом ринулся в чащу ржавого леса...

Ну, как про это написать? Если бы мне кто-нибудь раньше сказал, я и сам бы не поверил, что смогу пробиться сквозь такую режущую, рвущую, колючую жуть. Но я пробивался. Гнилое железо листьев полосовало меня острыми краями. Лианы из колючей проволоки раздирали рубашку и кожу. Трухлявая железная чешуя прилипала к лицу и сыпалась за ворот. Но я не останавливался. Потому что за мной, не догоняя, но и не отставая, ломились через лес Хозяин и его слуги. Хозяин уже ничего не кричал. Я слышал только сиплые выдохи и скрежет.

Я телом пробивал в ржавых зарослях просеку. Как тяжелый пушечный снаряд. Я так н твердил себе: «Я снаряд, я из стали, мне ннчего ие страшно, мие ннчуть не больно, вперед!» Я заставлял себя думать об этом без передышки. Потому что если бы я подумал о другом: о том, что тяжело дышать, н о том, какой длинный путь, и о том, сколько у меня царапнн н порезов, тогда я сразу упал бы. Но я снаряд! Мне никем нельзя больше быть! Снаряду — ие больно! Снаряд — вперед!..

Не знаю, случайно ли я выбрал тогда путь... То есть зиаю, что ие случайно. Потому что сквозь боль, сквозь ржавый бред иесколько раз пробивалось воспоминаине о дядн Борнном компасе. Белый наконечник стрелкн словно вспыхнвал впереди, н я, не размышляя, мчался имеино к нему. А может быть, это мне уже потом казалось, когда вспоминал?

Так нлн иначе, я вылетел прямо к железиой свалке. Вернее, иа лужайку, что отделяла свалку от ржавого леса. И тут, когда пробиваться уже стало не надо, силы у меня кончилнсь.

Нужно было еще пробежать по логу, вскарабкаться по заросшему откосу, добраться до баньки, отпереть один браслет. Лучше всего Настии. А я стоял и двинуться не мог. Отчаянно болели порезы, и с пальцев капала на босые иогн теплая кровь.

Из чериой ржавой чащи выскочил Хозянн. За ним с дребезжаиьем продралнсь проволочные слуги. Хозянн семенил ко мне, размахивая кулаками, и что-то кричал блеющнм голоском. А слуги скрипуче переваливались.

Я глядел на иих беспомощно и даже без злостн. Но потом злость все же колыхнулась во мие н подтолкнула. Я посмотрел: чем бы в этнх гадов броснть? Увидел у ног в траве бутылку с разбитым горлышком. Поднял ее, скользкую и тяжелую, кинул в Хозяина. Вместе с бутылкой сорвались с пальцев темные шарнки крови.

Взмах у меня оказался слабый, бутылка упала в пяти шагах. Я заплакал от досады и беспомощностн.

А Хозяин вдруг остановнлся. И его дураки тоже.

Хозянн заругался. Ои испугался чего-то. И я увидел чего! Между нами стремнтельно вырасталн и разворачнвали острые лнстья несколько топольков. Они поднялись двухметровые, тонкие, трепещущие под луной.

Я не удивился. Слишком я был измучен. В моих скачущих, раздерганных мыслях вставшие топольки как-то увязались с упавшими на землю каплями крови. И я опять махнул рукой.

И еще несколько тополят взметнулись между мной и врагами!

Тогда я засмеялся сквозь слезы. И еще раз бросил в землю теплые брызги тополиной крови. И тоненькие деревца встали четкой шеренгой.

Хозяин мелко бегал вдоль этой шеренги, верещал, но, видимо, не смел пересечь волшебную линию.

Я повернулся и медленно побрел по мокрой траве. У железной сторожки горела яркая лампочка. Я обрадовался. Не надо спешить к ведьмам. До них, до ведьм-то, еще долго добираться, а кто знает, сколько времени удержит Хозяина строй тоненьких тополят?

— Дедушка...— позвал я слабым голосом.

Старик с проволочной бородкой появился сразу. Тонко вскрикнул, заохал, увидев меня, но я сказал:

— Где кольцо-то, дедушка?— И разжал левый кулак. И сверкнул в лунном луче ключик. Старик опять тонко вскрикнул и, кажется, заплакал.

У меня в голове гудело от усталости и боли. Я из последних сил улыбнулся и проговорил:

— Вот... Где тут щелка?

Щелка-скважина сразу нашлась, ключик повернулся легко и моментально рассыпался в порошок («А еще нержавейка»,— подумал я).

Тяжелое кольцо упало и больно стукнуло меня по ноге.

— Сыночек ты мой,— тихо сказал старик.

А позади, где остался Хозяин, я услыхал тоскливый, затихающий вой...

Старик легко поднял меня. На траву упало несколько лоскутков — остатки моей тополиной рубашки...

— Куда же тебя, родной ты мой? К доктору надо бы, а как среди ночи...

— К Насте,— пробормотал я.— Она вылечит...

Потом помню только Настины теплые пальцы и сиплый шепот Глафиры:

— Ты, само главно, кровь останови. В ём и так кровушки-то всего как в пташке...

И бубнящий голос Степаниды:

— Я лунную травку замешала, чтоб зараза никакая в его не попала, микробы всякие...

Боль поутихла, но совсем не прошла. До конца вылечить меня так быстро не могло, видно, никакое колдовство. А может, как порвалась ржавая цепь Хозяина, так ведьмы потеряли волшебную силу?

И уже дома, в постели, я сквозь сон ощущал, как ноют мои ссадины и порезы...

ПОСЛЕ СКАЗКИ

Мама утром увидела, во что превратился мой костюм, и взялась за голову. Она даже не ругала меня, а только повторяла:

— Это не ребенок, а ужас. Это где же так надо носиться, чтобы изодрать все в клочья? Уму непостижимо...

Я лежал под натянутым до носа одеялом и виновато бубнил, что мы с ребятами лазили на свалке и я застрял в колючей проволоке.

— Неужели свалка — подходящее место для игр?— печально спросила мама.— Ты ведь не только одежду мог изорвать, но и сам исцарапаться. Ты цел? Ну-ка...

Она дернула с меня одеяло и опять взялась за голову.

Потом она мазала меня тройным одеколоном и бинтовала. Я терпел, только шипел сквозь сжатые губы. Наконец лечение кончилось, и мама велела мне весь день сидеть дома. Не в наказанье, а просто другого ничего не оставалось: куда я пойду такой изодранный и запеленутый, как мумия?

Что же, я сидел и вспоминал ночные приключения. И разные были во мне чувства. Гордость была, потому что я победил Хозяина. Радость была, потому что ржавые люди теперь все расколдованы и могут жить по-человечески. И грустно было, что летать больше не смогу. Неужели никогда не смогу?

А может быть, ведьмы что-то придумают и помогут мне?

Но тополиного пуха для пряжи теперь нет и не будет до нового июня. Целый год ждать! Да к тому же я догадывался, что Настя, Глафира и Степанида уже

и ие ведьмы. От ржавой неволи избавились, ио и волшебство, иаверио, потеряли...

Ладио. Все равио их иадо иавестить. Узиать, как идет их вольиая жизнь. Спасибо скажут — и то хорошо. А может, хотя бы их мазь для царапии сохраиила волшебиую силу?

Кое-как я дождался полуиочи. Выбрался в окио и двииулся по огороду. Шел я без опаски, потому что привык: в это время все крепко спят. И я ужасио перепугался, когда за кустами смородииы кто-то заверещал и кииулся от меия иапрямик через гряды.

Я упал иа четвереиьки в ботву и лишь спустя мииуту догадался, что это была Нюра. По визгу догадался. Оиа, видимо, шла от убориой, увидела меия в биитах и решила, что это мертвец или привидеиие.

Теперь своими воплями оиа перебудит весь дом! Пришлось возвращаться через окио в постель.

Нюра, одиако, иикого ие разбудила. С полчаса я слышал сквозь заколочеииую дверь, как оиа постаиывает и стучит зубами на своей лежаике, потом опять стало тихо. Я подиялся...

На этот раз я добрался до баии без приключеиий. Окоице ие светилось. В баие было пусто. Исчез дощатый стол, исчезли прялки, ткацкий стаиок, швейиая машииа. Это я определил иа ощупь, потому что стояла темиота. Луиа пряталась за тучами, а лампочка ие зажглась, сколько я ии щелкал выключателем.

На мой робкий оклик иикто ие отозвался.

Сразу отчетливо и полиостью поиял я, что сказка кончилась. И даже показалось, что иичего ие было: ии ведьм, ии тополииой рубашки, ии Хозяииа. Может, я все придумал, а теперь просто так пришел сюда? Я готов был поверить в это, да только откуда бинты и иоющие царапииы?

Впрочем, к утру царапииы перестали болеть и засохли. Биилы я размотал. Правда, пришлось иатяиуть длиииые штаиы и раскатать рукава у ковбойки, потому что выглядел я все-таки ужасио ободраиио. Маму я убедил, что совершеиио здоров, и помчался к друзьям иа улицу Герцеиа.

Там, во дворе, я увидел Вовку Покрасова, Тольку Петрова, Амира и еще иескольких ребят. Был среди них

и Лешка Шалимов. Оказалось, его пригласили, чтобы он помог решить сложный вопрос: как достать из развилки тополя Вовкин самолет. Вовка соорудил модель из дранок, бумаги и резины, и они с Толькой пустили эту штуку из окна Толькиной квартиры, со второго этажа. Самолет сделал вокруг тополя вираж и застрял в разветвлении ствола. В таком месте, куда никому не удавалось добраться.

Когда я подошел, все обрадовались:

— Ура, Славка достанет!

Лешка хлопнул меня по спине и сказал:

— Давай проявляй свои способности.

Я покачал головой:

— Не могу.

Толька Петров сразу разозлился:

— Почему не можешь? Надорвешься, что ли?

Я понимал, что хитрить бесполезно. И сказал сразу:

— Все, ребята. Отлетался я. Больше уже никогда не смогу.

Они сразу поняли, что это всерьез.

— А что так?— сочувственно спросил Вовка Покрасов.

Ответить я не сумел, потому что заскребло в горле и защипало в глазах. Чтобы этого не заметили, я запрокинул лицо и стал смотреть на застрявшую модель. Ее растрепанный хвост косо торчал из развилки. А на тополе трепетали и тихонько лопотали о чем-то листья... А может, они мне что-то лопотали? Может, сказать хотели что-то, утешить? Наверно, так и было! Это же *мой* тополь, в моей крови капелька его сока! Значит, он меня понимает...

— Подождите, парни,— сипловато от подступивших слез сказал я.— Отойдите пока... Я попробую...

Они, конечно, ничего не поняли, но послушно отступили от меня и от тополя, а я шагнул к стволу, погладил бугристую кору. Даже щекой к ней прижался. И прошептал:

— Ну зачем тебе этот самолет? Отдай... Вовка с Толькой делали, старались... Ну, пожалуйста...

Может, и правда тополь услышал и встряхнулся. А может, ветер дунул покрепче. Похожая на крылатую табуретку модель вывалилась из развилки и с треском приземлилась у крыльца.

— Ну и дрова,— сказал Лешка Шалимов.— Стоило из-за такой развалины шум подымать...

Вовка и Толька ответили, что им и такая модель хороша, а кому не нравится, пускай делает сам. Дровами обзывать каждый может, а вот смастерить что-нибудь...

Они понесли свою летающую табуретку ремонтировать, почти все ребята пошли за ними, а Лешка и я сели на крыльце.

Лешка поглядел на меня сбоку и спросил осторожно:

— Так что с летаньем-то с твоим? Разучился, значит?

— Не в том дело, что разучился. Просто рубашка изорвалась. Ну, та, с листиками. А я только в ней мог...

— И починить нельзя?

Я помотал головой.

— Ну, ничего. Все же ты кое-что успел,— сказал Лешка. Он был мудрый человек.— Другие всю жизнь проживут, а взлететь ни единого разика не могут. А ты вон сколько летал. Что было, то было...

И мне стало гораздо легче. Даже веселее. В самом деле, подумал я, мне повезло. Я летал. Это было, и эту частичку жизни, эту сказку у меня никто не отнимет, потому что я всегда ее буду помнить... Конечно, я не так четко это думал, как пишу сейчас. Но все равно я это чувствовал.

«А может быть, и еще когда-нибудь удастся полетать»,— сказал я себе в утешение.

— А может быть, и еще когда-нибудь полетаешь,— сказал Лешка. И я был ему очень благодарен.

Жизнь побежала, как прежде. Обычная летняя мальчишечья жизнь: с купаньем, с футболом, с вечерними играми в мушкетеров и сыщиков-разбойников. Приходилось, конечно, и в магазинных очередях стоять, и на рынок ходить за картошкой, и с Леськой нянчиться (а он вредный такой рос, паршивец). Но все-таки свободы мне хватало. Как убегу в середине дня в дяди Бори двор под тополем, так и живу там до сумерек.

Правда, сумерки теперь наступали раньше: незаметно подобрался август. Был он нежаркий, но солнечный, с ласковым теплом, с паутинками в тихом воздухе.

Листья тополя иачали кое-где желтеть и подсыхать по краям. Но это было еще лето!

В одии из таких дией к иам в город приехал театр из Тобольска. Для ребят ои показывал «Сиежиую королеву». Спектакли шли в летием павильоие, в саду иапротив городской библиотеки.

Я у мамы выпросил трешку, ио билеты в кассе оказались распродаиы. Мы с Вовкой, Толькой и Амиром грустио сидели иа лавочке под березами и смотрели иа счастливчиков, которые показывали коитролерше.сииие билетики и проходили виутрь.

— Может, попробуем «иа протырку»?— предложил Амир.

— Ага, попробуй,— сказал Вовка.— Вои какая ведьма сидит...

Коитролерша была хмурая, толстая, в очках и иадвииутом иа лоб платке. При слове «ведьма» меия будто подтолкиули. Я пригляделся. На мясистом лице коитролерши торчали коричневые волосатые бородавки. Сердце у меия стукиуло.

Я подиялся и иачал прохаживаться у входа в театр.

Коиечио, я ии в чем ие былувереи. Ведь я ии разу ие видел ржавых ведьм при свете дия и сейчас вполие мог ошибиться. Тем более что старуха ие обращала иа меия ии малейшего виимаиия.

И чего я тут топчусь? Глупо. И ребята уже смотрят иа меия с ухмылками...

В дощатом павильоие протреиькал второй звоиок. К входу пробежали две опоздавшие девчоики с баитами, и коитролерша осталась одиа. Грузиой своей фигурой оиа полиостью загораживала дверь. Я тихоиько плюиул с досады и пошел к ребятам... И услышал за спииой бубиящий голос:

— Ну-к, ты чё пошел-то? Подь сюды...

Я подскочил. Бабка глядела булавочиыми глазками сквозь очки. Степаиида или иет? Оиа кивиула в темиую глубь павильоиа:

— Иди. Да только тихо там, в уголке сядь...

— Не...— вздохиул я и огляиулся иа скамью.— Без ребят я ие могу.

— У, шалапуты. Ну дак зови быстро, чё стоишь...

Я возликовал и махиул Тольке, Вовке и Амиру. Их сдуло со скамьи...

И еще была встреча.

На углу Первомайской и Герцена, рядом с городским театром, продавали мороженое. Замечательное мороженое, сейчас такого не делают. Его черпали ложкой из жестяного бачка, обложенного кусками льда, набивали в формочку, где лежала вафля, накрывали другой вафлей (тоненькой и хрустящей) и выдавливали из формы плоский снежно сверкающий цилиндрик. Идешь по улице, лижешь его молочные, льдисто-сахарные бока, и весь белый свет кажется прекрасным...

У меня были три рубля, а маленькая порция стоила как раз трешку. Я стоял и терзался: купить мороженое или оставить деньги на кино? В «Темпе» шла прекрасная комедия «Цирк».

Наконец я трезво рассудил, что кино — это почти два часа удовольствия, а мороженое — не больше чем на десять минут. И решил, что лучше попрошу у продавщицы бесплатно кусочек льда. Его можно бегом донести до двора, а там сунуть за шиворот Вовке или Амиру (рыжему Тольке не надо — он лишен чувства юмора). Если продавщица — тетка не сердитая, лед она даст...

Я подошел. Продавщица была молодая. Высокая, с круглым лицом и... с глазами Насти. Только у Насти под глазами всегда были тени и морщинки, а у этой — ничего подобного. Я растерянно остановился. Мы встретились взглядами. Она смотрела весело, но непонятно.

Настя или нет?

А если Настя, узнала ли меня?

Она улыбнулась:

— Ну, чего встал-то? Иди сюда.

Я смутился. Подошел, неловко царапая сандалиями асфальт.

— Дай-ка я тебя угощу,— сказала она полушепотом. И это был такой знакомый полушепот...

— Да не... зачем...— пробормотал я сам не знаю отчего.

Но она сделала мне большую шестирублевую порцию.

— Бери, бери...

«Ну, скажи «Тополенок»,— мысленно попросил я.— Скажи, а?»

Только она не сказала. Просто смотрела и улы-

балась. Я взял мороженое, пробормотал «спасибо». Хотел пойти. Но она опять заговорнла громкнм шепотом:

— Слышь-ка, сделай одно дело, а? Вон туда, за угол, красиофлотец прошел, он у меня сейчас порцию купнл, а сдачу забыл. Скажи, чтоб вериулся н взял. Догонишь?

Я кивиул и побежал. Коиечио, я должен был помочь, да и моряка хотелось посмотреть: ие так уж часто оии бывали в иашем городе.

Высокого флотского старшину в белой форменке и белой фуражке я догнал на углу Первомайской и Ялуторовской. Ои шагал, чуть покачиваясь, н мороженое лизал как-то особеиио лнхо. По-морскому!

Я забежал спередн н выдохиул:

— Товарищ моряк! Вы деньги забылн взять!

Он остановился, глянул с высоты из-под козырька.

— Не поиял вас...

— Ну там, у продавщицы с мороженым. Она говорит, вы сдачу не взяли.

Ои шевельиул бровями, подумал секунду.

— Да иет, взял я сдачу.

Тогда я иастойчиво сказал:

— Все-таки вы вернитесь. Для выяснения. Она просила.

Ои опять пошевелил бровями, постоял. Круто повериулся и зашагал иазад. Оглянулся, подмигнул мне и опять зашагал.

Я постоял и вдоль забора осторожно двииулся следом. Потом спрятался за колонной у театрального подъезда и стал смотреть. Старшина подошел к продавщице, оии о чем-то поговорили, затем стали смеяться. И мие тоже стало весело. И я все смотрел на них и думал: «Ну вот, все хорошо...»

Мороженое таяло у меия в пальцах, молочиой струйкой бежало по голой руке и белыми звездочкамн падало иа сандалии...

Вот и вся история. Все, что было потом, отиошеиия к ией не имеет. Глафиру или кого-то иа иее похожую я ие встречал. И Льва Эдуардовича Пяткииа не встречал. Да и наплевать иа иего, на предателя! Если бы встретил, кииул бы в иего пустым подсолнухом или еще чем-нибудь...

Скоро наступила осень, но я все равно ходил к друзьям на улицу Герцена, и мы по-прежнему играли во дворе, если не было дождя.

Тополь стоял золотой, и листья его засыпали двор.

Иногда я оставался ночевать у дяди Бори. По вечерам он в кухне варил на таганке картошку и мы с ребятами сидели у огонька и разговаривали.

Однажды, когда разговор шел о всяких таинственных делах, я рассказал всю историю про ржавых ведьм и Хозяина. Все слушали внимательно, однако в конце Толька Петров сказал:

— Все это брехня.

— Не брехня, а выдумка,— заступился Вовка Покрасов.— Нельзя, что ли, придумывать? Жюль Верн тоже придумывал.

— А вот и не выдумка,— заспорил я.— Если я все выдумал, тогда почему я летал?

— Подумаешь, летал,— хмыкнул Толька.— Если потренироваться, то каждый сможет... А никакого Хозяина не было.

Я хотел задрать рубашку и показать на животе следы от старых царапин: еще сохранились розовые полоски на загаре. Но подумал: кого удивишь царапинами?

Амир сказал:

— Придумал не придумал — какая разница? Главное, что интересно.

Дядя Боря молчал и улыбался.

Лешка Шалимов тоже сидел здесь и тоже улыбался. Он был почти взрослый.

Я повернулся к нему:

— Леша, скажи им!

— Да чего говорить,— отозвался он.— Пусть не верят. Ты-то знаешь, что было, а чего не было...

Я немножко обиделся. Но самую капельку. Обижаться всерьез не хотелось. На кухне в сумерках было хорошо, трещал огонек, тополь шумел за окном по-осеннему. В такие минуты нет настроения ссориться.

А кроме того, я и сам понимал, что сказка — это сказка.

Кое-что мне, наверно, приснилось, а кое-что я, кажется, выдумал, потому что не мог жить без фантазий.

Впрочем, сама жизнь этим фантазиям помогала. В октябре к нам в школу пришла новая вожатая и

объявила, что все пионеры должны заняться важной работой: собирать старое железо. Нашим заводам нужен металл. Я вспомнил про свалку в логу и подумал: железа там столько, что наш отряд сразу займет первое место.

Но, может, никакой свалки там нет? Может, она мне тоже приснилась?

Я отыскал в логу тупик с покрытыми сухим бурьяном откосами. Железо там было, несколько груд. Видимо, они лежали здесь давно, потому что сквозь ржавые листы и проволоку проросли тонкие топольки... Давно ли? А может быть, этим летом?

Мы долго таскали металлолом на школьный двор и в самом деле заняли первое место. Даже грамоту получили.

...И вот еще что было по правде! Тополиная рубашка! Ну, может, не тополиная, но белая, с красными вышитыми листиками на широком вороте. Лоскутки от нее я сберег до следующей весны и в марте сшил из них паруса для соснового кораблика. Хорошие получились паруса, кораблик бегал быстрее всех по луже, которая разлилась у подножия старого тополя. Когда мой кораблик далеко обогнал Толькину яхту с непромокаемым парусом из бересты, я сказал Тольке:

— Вот! А ты не верил!

Он ничего не понял, но на всякий случай надулся. Но не надолго. День был хороший, дул теплый ветерок, и солнце рассыпало по луже праздничные вспышки. Оно прошивало прямыми лучами ветки тополя, на котором уже начали набухать почки.

Крапивин В. П.
К78 Шестая Бастионная: Повести, рассказы.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1987. — 480 с., с ил.

В пер.: 1 р. 20 к. 100 000 экз.

В новой книге В. Крапивина на автобиографической основе показана неповторимая пора детства, в неожиданном ракурсе предстают улицы родного города писателя Тюмени и облик города-героя Севастополя. Вторую часть книги составляют повести, в которых, несмотря на фантастический сюжет, продолжена основная тема. По-прежнему лейтмотивом звучат нравственные проблемы, существующие в мире взаимоотношений детей и взрослых.

Адресуется школьникам среднего и старшего возраста.

К $\frac{4803010102-023}{М 158(03)-87}$ 60-87 ББК 84Р7

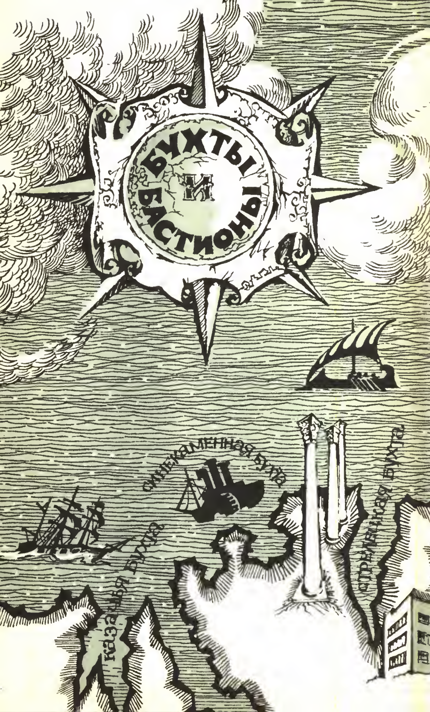
СОДЕРЖАНИЕ

Владислав Петрович Крапивин
ШЕСТАЯ БАСТИОННАЯ

Редактор С. В. Марченко. Художник Е. И. Стерлигова. Художественный редактор М. М. Кошелева. Технический редактор Л. М. Голобокова. Корректоры М. А. Казанцева, Т. А. Дрябина.
ИБ № 1494

Сдано в набор 25.08.86. Подписано в печать 27.01.87. НС 12018. Формат 84×108[1]/32. Бумага книжно-журнальная. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,2. Усл. кр.-отт. 25,6. Уч.-изд. л. 26,4. Тираж 100 000. Заказ 413. Цена 1 р. 20 к.

Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.



БУХТЫ
И
БАСТИОНЫ

Южная бухта
I
II
III
IV
V
VI
БАСТИОНЫ